

Майкл Дэвид-Фокс

ПЕРЕСЕКАЯ ГРАНИЦЫ

библиотека
журнала

АНТРОПОЛОГИЯ СОЦИОЛОГИЯ ПОЛИТИКА ИСТОРИЯ

неприкосновенный
запас

Модерность,
идеология
и культура
в России
и Советском
Союзе



БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА

НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ ЗАПАС



Новое
Литературное
Обозрение

Michael David-Fox

CROSSING BORDERS
MODERNITY, IDEOLOGY,
AND CULTURE IN RUSSIA
AND THE SOVIET UNION

UNIVERSITY OF PITTSBURGH PRESS

2015

Майкл Дэвис-Фокс

ПЕРЕСЕКАЯ ГРАНИЦЫ
МОДЕРНОСТЬ, ИДЕОЛОГИЯ
И КУЛЬТУРА В РОССИИ
И СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
МОСКВА • 2020

УДК [008(47+57)"6"]:303.446.4

ББК 63.3(2)6г

Д94

Редактор серии

Т. Вайзер

Дэвид-Фокс, М.

Д94 Пересекая границы: модернность, идеология и культура в России и Советском Союзе / Майкл Дэвид-Фокс; пер. с англ. Т. Пирусской. — М.: Новое литературное обозрение, 2020. — 464 с. (Библиотека журнала «Неприкосновенный запас»)

ISBN 978-5-4448-1214-3

ISSN 1815-7912

В книге «Пересекая границы» американский историк М. Дэвид-Фокс анализирует подходы и теории, наиболее характерные для западных исследований советской истории в последние десятилетия, выступая с их критикой и предлагая новые трактовки с транснациональных позиций. Как полагает Дэвид-Фокс, советская история формировалась в диалоге поверх границ Советского Союза. Переосмысляя понятия модерности, идеологии и трансформации культуры, он уходит от противопоставления «особого пути» СССР и общей модерности, стараясь найти золотую середину — теоретически и практически обоснованный подход, который бы послужил почвой для новой, творческой, многогранной интерпретации.

УДК [008(47+57)"6"]:303.446.4

ББК 63.3(2)6г

© Michael David-Fox

Crossing Borders: Modernity, Ideology, and Culture in Russia and the Soviet Union

© 2015, University of Pittsburgh Press

All rights reserved

© Т. Пируская, перевод с английского, 2020

© ООО «Новое литературное обозрение», 2020

Благодарности

Поскольку работа над многими из этих эссе продолжалась долгое время, представляется попросту невозможным перечислить все накопленные мной за этот период долги. Но я хочу начать с одного давнего события, которое во многом оказалось решающим. В 1996 году я в течение семестра занимался научной работой в Шведской коллегии специальных исследований (SCAS), когда там находился покойный израильский социолог Шмуэль Эйзенштадт. Эйзенштадт, ушедший из жизни в 2010 году, на тот момент совместно с Бьорном Уиттроком и другими занимался тем, что позже вылилось в работу о множественных модерностях. Читатели этой книги заметят, насколько этот опыт впоследствии наложил отпечаток на мои размышления о российской и советской модерности. В Упсале началось также мое продолжительное знакомство с Дьёрдем Петери, беседы с которым о государственном социализме и различных попытках сопоставления я высоко ценил многие годы. Однако замысел этой книги сложился и первоначальная работа над ней началась гораздо позже, в 2010 году, когда я работал в Центре исторических исследований Дэвиса в Принстоне. Там мне особенно помогло присутствие Майкла Гордина, Стивена Коткина и Дэниэла Роджерса.

За ценные комментарии и предложения, касающиеся отдельных глав, я благодарен многим коллегам, в том числе Мартину Байссвенгеру, Стиву Гранту, Маше Кирасировой, Стефани Миддендорф, Яну Пламперу и Эрику ван Ри. Питер Холквист, открывший многие из обсуждаемых в этой книге вопросов, любезно поделился своими соображениями по поводу второй и третьей глав. Дэвид Л. Хоффман читал в рукописи объемные отрывки, и я признателен ему за его ценный вклад. Элизабет Папазиан подарила мне подробные и заставляющие задуматься замечания о книге, повлекшие за собой существенные переработки, даже когда я не мог ответить на все ее пытливые вопросы. Я представил третью главу так называемому «малому кружку» в Европейском читальном зале Библиотеки Конгресса, и мне хотелось бы выразить благодарность Сьюзан Смит, Адибу Халиду, а также моим студентам Мишель Мелтон и Владимиру Рыжковскому, принимавшим участие в дискуссии. Марк Стерн, талантливый тогда еще студент Джорджтаунского университета, вызвался помогать мне в моих исследованиях на протяжении лета. Кроме того, я получил существенную пользу, представив вторую главу в Университете штата Мичиган, а третью — в Мичиганском университете. Я признателен Льюису Зигельбауму, Рональду Григору Суни и Джеффри Вейдлингеру за гостеприимство, Джеймсу Медору — как вдумчивому респонденту в Анн-Арборе, а также всем, кто участвовал в обсуждениях.

С 2011 года, когда я активно работал над этой книгой, я обособился в товарищеском и вдохновляющем на новые мысли кругу кафедры истории и школы дипломатических отношений Джорджтаунского университета. В апреле 2014 года я представил вторую главу книги на преподавательском семинаре кафедры истории Джорджтауна. Благодарю коллег за их комментарии, в особенности Дэвида Голдфранка, Авеля Рошвальда, Джордана Сэнда и Джеймса Шедела. Зарождению или развитию некоторых моих идей способствовал коллоквиум для аспирантов Джорджтауна «Основные подходы к российской и советской истории», и мне хочется громко заявить о своей признательности каждому

из моих нынешних аспирантов, занимающихся российской и советской политикой и культурой: Саймону Белоковски, Кэрол Докэм, Эбби Холкэмп, Исабель Каплан, Аните Кондояниди, Тому Лойду, Эрине Мегоуэн, Джонатану Сикотту и Владимиру Рыжковскому.

Я также в долгу перед своими коллегами из московской Высшей школы экономики, с которыми тесно сотрудничаю, — каждого из них можно назвать образцом глобально ориентированного, глубокого и готового к совместной работе исследователя: это Олег Будницкий, Олег Хлевнюк и Людмила Новикова. Я завершил эту книгу, будучи научным руководителем в Международном центре истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Книга подготовлена в ходе проведения работы в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и с использованием средств субсидии в рамках государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации «5–100».

Глава 1 претерпела существенные изменения по сравнению с публикацией: *Multiple Modernities vs. Neo-Traditionalism: On Recent Debates in Russian and Soviet History* // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*. Vol. 55. No. 4. 2006. P. 535–555.

Глава 3 ранее не публиковалась, однако включает в себя переработанный фрагмент статьи: *Soviet Revisionists and Holocaust Deniers (In Response to Martin Malia)* // *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*. Vol. 5. No. 1. 2004. P. 81–106.

Глава 4 была серьезно переработана по сравнению со статьей: *What Is Cultural Revolution?* // *Russian Review*. Vol. 58. No. 2. 1999. P. 181–201.

Глава 5 представляет собой незначительно измененный текст публикации: *Symbiosis to Synthesis: The Communist Academy and the Bolshevization of the Russian Academy of Sciences, 1918–1929* // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*. Vol. 46. No. 2. 1998. P. 219–243.

БЛАГОДАРНОСТИ

Глава 6 ранее не публиковалась, но содержит некоторые переработанные фрагменты статьи: The 'Heroic Life' of a Friend of Stalinism: Romain Rolland and Soviet Culture // Slavonica. Vol. 11. No. 1. 2005. P. 3–29.

ВВЕДЕНИЕ.

ПРОКЛАДЫВАЯ ПУТЬ

СОВЕТСКИЙ СТРОЙ МЕЖДУ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬЮ И ОБЩЕЙ МОДЕРНОСТЬЮ

Во что бы ни верили революционеры, они склонны полагать, что переворачивают совершенно новую страницу истории. Когда революционные правители утверждают новый порядок, они все более настойчиво подчеркивают его уникальность. Большевицкая революция, по сути, дала импульс для растянувшихся на десятилетия глубоких изменений; первоначально ей сопутствовала волна иконоборчества, насилия и утопизма, которые подпитывали представление о советской исключительности как в СССР, так и за рубежом. Даже после того, как в результате сталинской «второй революции» сформировался гибрид, сочетающий в себе радикальные перемены и то, что можно было бы назвать статично-консервативными элементами, советская идеология продолжала провозглашать неповторимость и самобытность коммунизма — утверждение, игравшее значимую роль в пропаганде, предназначенной как для советской, так и для иностранной аудитории. Дополнительный вес ему придавал ряд обстоятельств: обособленность сталинского СССР от «капиталистического» мира, новизна пятилеток и отмены частной собственности, политической системы и партийного государственного устройства, а также радикально изменившиеся культура и общество. Эти особенности советского строя без

труда замечали даже те, кто мог разглядеть за бесконечными разговорами о «новом мире» и новой исторической эпохе начало первого в мире социалистического государства.

Признание новизны коммунизма, однако, было обусловлено не только революционной природой этого начинания. Его укоренению внутри страны и за ее пределами способствовало наложение советских притязаний на оживленные споры XIX столетия о русской национальной идентичности, в которых уже усиленно подчеркивалась непохожесть России. Сами эти притязания возникли как реакция на авторитетную европейскую традицию, с позиций которой Россия воспринималась как отсталая и варварская страна¹.

Еще не улеглась пыль после первых революционных беспорядков, как началась длительная попытка противодействия, направленная на то, чтобы развеять или опровергнуть революционные претензии на уникальность. На самом деле такие попытки имели место задолго до прихода революции в Россию. Как воскликнул Алексис де Токвиль в своей книге «Старый порядок и революция» (1856): «Действительно ли это событие [революция] столь необыкновенно, как оно казалось его современникам? Настолько ли оно неслыханно, настолько ли возмущало

¹ Ключевые работы на эту тему: *Poe M.T.* 'A People Born to Slavery': Russia in Early Modern Ethnography, 1476–1748. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2000; *Riber A.J.* Persistent Factors in Russian Foreign Policy: An Interpretive Essay // *Imperial Russian Foreign Policy* / ed. Hugh Ragsdale. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. P. 315–359; *Wolff L.* Inventing Eastern Europe: The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment. Stanford, CA: Stanford University Press, 1994; *Kelly C.* Refining Russia: Advice Literature, Polite Culture, and Gender from Catherine to Yeltsin. Oxford: Oxford University Press, 2001; *Neumann I.B.* Russia and the Idea of Europe: A Study in Identity and International Relations. London: Routledge, 1996; *Neumann I.B.* Uses of the Other: The 'East' in European Identity Formation. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999; *Naarden B.* Socialist Europe and Revolutionary Russia: Perception and Prejudice, 1848–1923. Cambridge: Cambridge University Press, 1992; о революционном иконоборчестве см. также: *Stites R.* Revolutionary Dreams: Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution. Oxford, Oxford University Press, 1989.

общественное спокойствие и было настолько обновляющим, как они предполагали?»». Делая знаменитый вывод о том, что французская административная система пережила свержение тирана и в результате стала лишь еще более централизованной, Токвиль отозвался об этом новом режиме так: «Предприятие казалось необычайно дерзким, а успех его был неслыханным, ибо люди думали только о дне сегодняшнем, забыв о том, что им доводилось видеть раньше»¹.

Однако в случае советского строя, в противоположность относящемуся к Франции XVIII века суждению Токвиля, мало кто из критиков в самой стране или за границей попросту забыл о прошлом России. Часто те, кто стремился оспорить хвастливые заявления большевиков о заре новой эпохи, говорили, что большевизм многое унаследовал от самодержавия. Это было характерно и для первых политических противников большевизма на его родине, и для западных наблюдателей того и более позднего времени, ориентирующихся в дискуссии об отсталости России. Сталинская революция конца 1920-х годов значительно расширила область происходивших перемен, которые теперь сочетались с репрессивной социальной инженерией, террором и «воспитательным принуждением»². В то же время она воскресила некоторых героев дореволюционного российского прошлого, отказалась от раннего советского эгалитаризма как «уравниловки», а в эстетическом и культурном плане, в особенности начиная с середины 1930-х годов, сформировала мироощущение, казавшееся некоторым критикам из радикалов и интеллигенции безнадежно мелкобуржуазным³. Все это делало споры о рево-

¹ Токвиль А. де. Старый порядок и революция / Пер. с. фр. М. Федоровой. М.: Моск. философский фонд, 1997. С. 12, 165.

² О термине «воспитательное принуждение» см.: *Gerlach Ch., Werth N. State Violence — Violent Societies // Totalitarianism: Stalinism and Nazism Compared / ed. M. Geyer, Sh. Fitzpatrick. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. P. 175–176.*

³ Среди наиболее влиятельных работ того времени об этих изменениях: *Timasheff N. The Great Retreat: The Growth and Decline of Communism in Russia.*

люционной новизне еще более ожесточенными. Одним из объяснений того факта, что к коммунизму после 1930-х годов так охотно применяли понятие тоталитаризма, послужило то, что это понятие опровергало высказывания режима о себе самом, не обращаясь к наследию прошлого, а помещая коммунистический строй по одну сторону баррикад с его заклятым врагом — фашистской Германией¹.

Научные исследования советской истории, в особенности в США, но также и в странах Европы, зародились в переходный — от межвоенного к послевоенному времени — период, вобрав в себя споры современников и политические настроения русских эмигрантов. Поэтому неудивительно, что перед исследователями, которые занимались этой темой, с самого начала возникала та же базовая дилемма: как примирить новизну и уникальность советской системы с присущими ей противоположными чертами — преемственностью по отношению к прошлому, универсальностью исторических процессов и сходством с другими странами. Когда ученым приходится оперировать новыми

New York: E.P. Dutton, 1946. Один из самых авторитетных научных подходов представлен Верой С. Данэм: *Dunham V.S.* In *Stalin's Time: Middle Class Values in Soviet Fiction*. Cambridge: Cambridge University Press, 1976. Понятие «уравниловка» последовательно вводилось в 1920-е годы представителями профсоюзов в контексте попыток добиться равной для всех зарплаты, однако Сталин изначально отверг его в своей речи 1931 года «Новая обстановка — новые задачи хозяйственного строительства», говоря о сдельной заработной плате и других факторах, обуславливающих разницу в оплате труда. См.: *Goldman W.Z.* *Women at the Gates: Gender and Industry in Stalin's Russia*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. P. 246; *Hoffmann D.L.* *Peasant Metropolis: Social Identities in Moscow, 1929–1941*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1994. P. 94.

¹ Классическую историю концепции тоталитаризма и обзор многолетней дискуссии вокруг нее можно найти в книге: *Gleason A.* *Totalitarianism: The Inner History of the Cold War*. New York: Oxford University Press, 1995. О более раннем употреблении этого термина см. также: *Bongiovanni B.* *Totalitarianism: The Word and the Thing* // *Journal of Modern European History*. 2005. Vol. 3. № 1. P. 5–17.

и меняющимися терминами, обращаясь к одним и тем же проблемам, поднимаемым участниками и наблюдателями исторического процесса, особенно если контекст в значительной степени политизирован, это всегда создает дополнительные сложности и препятствия для самосознания на практике.

Каждое поколение исследователей российской и советской истории находило собственный путь между двумя крайностями — утверждением советской исключительности и преуменьшением либо отрицанием коренного отличия. Противоположностью уникальности было приравнение советского строя к другим обществам, которое я здесь для удобства называю родовой, или «общей», модерностью. Разумеется, сравнивать советский коммунизм с происходившими где-то еще более обширными процессами можно по-разному. В некоторых случаях отрицание исключительности рассматривалось как нормализация, при которой игнорировались или сводились к минимуму отличительные черты прежде всего сталинского периода, в том числе и масштаб террора. В других случаях Советский Союз могли сравнивать с Западом или странами «третьего мира». Однако по мере развития современного изучения России и Советского Союза в послевоенные десятилетия наиболее искушенные исследователи отмечают элементы как исключительности, так и общности.

Так, представители первого послевоенного поколения историков, социологов и социальных теоретиков были не просто сторонниками уникальности коммунизма или тоталитаризма. Они также высказывали авторитетные гипотезы о советской модернизации и индустриальном обществе¹. Позже исследователи, считавшие нужным пересмотреть эту позицию, а также поколение социальных историков были склонны — в силу специфики своего профессионального взгляда и установки на поиск прежде всего социального импульса, а не отслеживания того, как

¹ См. в особенности: *Engerman D.C. Know Your Enemy: The Rise and Fall of America's Soviet Experts*. New York: Oxford University Press, 2009. Chap. 2.

развивалась идея тоталитаризма, — находить удовлетворение в сложной картине исторических деталей. Но они нередко разрабатывали социологические концепции, вводимые их собратьями-советологами в других дисциплинах и тяготевшие к более универсалистскому и ориентированному на сравнение подходу¹. Кажущееся укрепление советского строя и окончание массовых репрессий после Сталина поставило вопросы о судьбе радикального утопизма и сближении с развитыми странами Запада. Эти проблемы резко подчеркиваются нарочито парадоксальными словосочетаниями, которые мы встречаем в названиях книг: «обыкновенный сталинизм», «нормальный тоталитаризм»².

Конец коммунизма не привел к согласию, а в каком-то плане и обострил сохраняющийся конфликт между исключительностью и общей модерностью. Мартин Малиа, чьи основные работы вышли в 1990-е годы, но были написаны десятилетиями ранее, пошел по пути русских эмигрантов-либералов, облекших новую теорию в убедительную, современную научную формулировку. Он поместил Российскую империю прямо в европейский континент, подорванный сюрреалистичной идеократией коммунизма³.

¹ Самая известная из них — концепция социальной мобильности, см.: *Fitzpatrick Sh.* Education and Social Mobility in the Soviet Union. Cambridge: Cambridge University Press, 1979; см. также: *Engerman D.C.* The Soviet Union as a Modern Society // Know Your Enemy. Chap. 7.

² *Shlapentokh V.* A Normal Totalitarian Society: The Soviet Union — How it Functioned and How It Collapsed. Armonk, NY: M.E. Sharpe, 2001; *Tiesky R.* Ordinary Stalinism: Democratic Centralism and the Question of Communist Development. Boston: Allen and Unwin, 1985. Исторический анализ книги Николая Тимашева «Великое отступление» (The Great Retreat (1946), ставшей классикой у советских историков, исследующих отношение позднего сталинизма к революции, см. в статье: *Brooks J.* Declassifying a 'Classic' // *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History* [далее — *Kritika*]. 2004. Vol. 5. № 4. P. 709–719, в рамках дискуссии из четырех статей «Stalinism and the „Great Retreat“».

³ *Malia M.* The Soviet Tragedy: A History of Socialism in Russia, 1917–1991. New York: Free Press, 1994; *Malia M.* Russia under Western Eyes: From the Bronze Horseman to the Lenin Mausoleum. Cambridge, MA: Harvard University

Переход от общности с Европой к советской идеологической уникальности, который постулировал Малиа, вызвал критику со стороны Ричарда Пайпса, на протяжении многих десятилетий указывавшего на глубинную преемственность советского полицейского государства по отношению к царскому патримониализму и позднеимперскому периоду¹. Но в этот спор оказались вовлечены не только Малиа и Пайпс — или, говоря шире, тенденция винить либо марксизм, либо российскую традицию в катастрофе революционного террора². Среди специалистов по истории Советского Союза дискуссия о концепции советской модерности также началась в 1990-е годы. В ее центре также оказались связи СССР с прошлым России и степень несходства советской системы с либеральными и модерными индустриальными государствами³.

С момента крушения коммунизма в ходе обсуждения революционного и межвоенного периодов велись ожесточенные споры о советской исключительности в противовес общей модерности. Авторам растущего количества книг о постсталинской эпохе понятие советской модерности не показалось таким уж противоречивым, по крайней мере, они не говорили об этом явно⁴.

Press, 1999. См. также: *Evtuhov C., Kotkin S. (eds.). The Cultural Gradient: The Transmission of Ideas in Europe, 1789–1991*. Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 2003.

¹ *Pipes R.* Russia under the Old Regime. New York: Scribner's, 1974; *Pipes R.* The Russian Revolution. New York: Knopf, 1990; *Pipes R.* East is East // The New Republic. 1999. April 26 — May 3. URL: www.misterdann.com/eurareastiseat.htm (рецензия на: *Malia M.* Russia under Western Eyes).

² Как отметил Питер Холквист в своей статье: *Holquist P.* Violent Russia, Deadly Marxism? Russia in the Epoch of Violence, 1905–21 // *Kritika*. 2003. Vol. 4. № 3. P. 627–652.

³ Одна полноценная сопоставительная работа, родившаяся из этой дискуссии: *Hoffmann D.L.* Cultivating the Masses: Modern State Practices and Soviet Socialism, 1914–1939. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2011.

⁴ См., например: *Fürst J. (ed.). Late Stalinist Russia: Society between Reconstruction and Reinvention*. London: Routledge, 2006; *Ilić M., Smith J. (eds.). Soviet State and Society under Nikita Khrushchev*. London: Routledge, 2009;

Однако если исследователи, изучающие послевоенный период истории СССР — а их сегодня все больше, — хотят серьезно проанализировать события 1991 года, они сталкиваются с той же проблемой. Иначе говоря, понимание российской и советской истории до сих пор не ушло от представления о ее исключительности и бинарных оппозиций, сквозь призму которых эта история рассматривается: преемственность и ее нарушение, частное и универсальное, уникальность и сопоставимость. Хотя сохраняющаяся от эпохи к эпохе значимость этой проблемы действительно кажется отличительной чертой российской истории, научные и политические дебаты вокруг немецкого *Sonderweg* («особого пути») и американского эксепционализма свидетельствуют о том, что история России в этом плане не уникальна. Национальная история почти любой неевропейской страны сталкивается со схожими теоретическими проблемами, когда речь идет об эпохе поворота к Западу и модернизации. В этом отношении ранняя европеизация России начиная с Петра Великого и ее попытка найти альтернативную дорогу после 1917 года указывают на ее нетипичность, но одновременно с новой силой поднимают вопрос о ее включенности в определенную парадигму.

В своей книге «Пересекая границы» я предлагаю третий путь — срединный, то есть движение к радикальному центру мимо враждебных друг другу противоположностей, сформировавших современные посвященные России исследования. В ней предложены теоретический и эмпирический методы, позволяющие совместить изучение частных случаев с установкой на сопоставление. Этой цели служит ряд эссе, вобравших в себя работу над темами, которыми я занимался значительную часть последних

Repenser le Dégel: Cahiers du monde russe. 2006. Vol. 47. № 1–2; Jones P. (ed.). The Dilemmas of De-Stalinization: Negotiating Cultural and Social Change in the Khrushchev Era. London: Routledge, 2006; Crowley D., Reid S.E. (eds.). Style and Socialism: Modernity and Material Culture in Post-War Eastern Europe. Oxford: Berg, 2000; а также историографический обзор Мириам Добсон: Dobson M. The Post-Stalin Era: De-Stalinization, Daily Life, and Dissent // Kritika. 2011. Vol. 12. № 4. P. 905–924.

двадцати лет¹. У книги три составляющие, которые пересекаются с тремя ее частями, но не тождественны им. Первая составляющая — это теория и концептуализация основных проблем исторической траектории России / СССР, включая проблемы модерности и идеологии; вторая — изучение культуры и политики раннего советского периода по архивам и первоисточникам; третья — историография и более общая история самой дисциплины. Хотя три эти компонента одновременно присутствуют во многих главах, книга так же делится на три части, в которых рассматриваются, соответственно, проблемы модерности, раннего советского периода и сталинизма и, наконец, транснациональной истории. Каждую из глав можно читать как самостоятельный текст, но при этом они содержат отсылки друг к другу и следуют в определенном порядке. В этом введении последовательно обозначены темы, затронутые в каждой главе, и показана связь между несоизмеримыми элементами книги.

В теоретических эссе о российской и советской модерности я прежде всего обращаюсь к ключевому вопросу единичности и универсализма, пытаюсь обрисовать основные дилеммы этого спора и проложить собственный срединный путь. В главах, материалом для которых послужило изучение архивов и первоисточников, наоборот, исследуются главные отличительные черты советского строя: идеология, культура и институциональные структуры партийной государственности. Это подробное рассмотрение процессов формирования и эволюции советской системы — то есть ее непохожести — необходимо, чтобы найти средний путь между Сциллой исключительности и Харибдой общей модерности.

¹ Две из представленных здесь глав (главы 2 и 7) новые; две другие (главы 3 и 6) ранее не публиковались, однако включают в себя один переработанный фрагмент (в первом случае) и отдельные отрывки (во втором случае) из уже изданных статей. Еще две (главы 1 и 4) выходили в более ранней редакции, однако подверглись существенной переработке в соответствии с моим нынешним видением проблемы и современным состоянием дисциплины. Текст одной из глав (главы 5) лишь немного отличается от своей изначальной формы.

В центре двух глав третьей части, посвященной транснациональной истории, — точки зрения и реакции зарубежных современников, находящихся по ту сторону культурных и политических границ. Как мне кажется, транснациональная история в контексте Советского Союза может придать новое интригующее измерение любым размышлениям о самобытности советского строя и открыть новые подходы к «национальной» (в данном случае советской) истории. Взаимные заимствования и циркуляция идей между разными странами являлись неотъемлемым свойством современной теории и практики (особенно интересная тема для исследования, которая бы выиграла от более полноценного анализа, чем возможный здесь). Кроме того, поездки за рубеж и взаимодействие, подразумевавшие вовлечение живого опыта индивидуальных акторов, дает возможность для скрупулезного исследования, которые бы показало, что внешним наблюдателям казалось непривычным, что — общепринятым, а что воспринималось искаженно. Вдобавок значительный объем историографического материала в этой книге демонстрирует, как ключевые проблемы вновь вышли на поверхность и эволюционировали со временем, по мере развития исследований России.

В чем противоречие идеи советской модерности? Почему понятие советской модерности оказалось одним из наиболее спорных для исследователей в постсоветские десятилетия?

На первый, более поверхностный взгляд, если смотреть на основные черты Советского Союза, в нем действительно происходили процессы, прочно ассоциирующиеся с модернизацией, такие как урбанизация, индустриализация, кампании, нацеленные на всеобщую грамотность и образование, а также развитие науки и техники. Эти усилия принесли еще больше плодов в послевоенный период, и, может быть, поэтому тем, кто изучает поздний социализм, проблема модерности в меньшей степени казалась заслуживающей обсуждения и исследования¹. У СССР была космическая

¹ Например, Алексей Юрчак в своей знаменитой книге «Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение» утверждает

и ядерная программа. Карательные операции в нем проводились настолько централизованно, что предшествующему монархическому режиму нечего было даже думать с ним сравниться. Элементы, в которых часто усматривают связь с царистским прошлым, такие как культ Сталина, ассоциируемый с благоговением перед царем, имели более обширную историю в современной политике и пропаганде¹. Джеймс Скотт окрестил эту «безжалостную рациональную инженерию» общества и природы «высоким модернизмом» сильного централизованного государства, явлением, несводимым к какой-либо конкретной идеологии или политической системе². Сталинский Советский Союз, с его государственной экономикой, запретом частной собственности, взятием под контроль независимых учреждений, а также всепроникающей и беспощадной, хотя при этом вопиюще бесполезной и неповоротливой бюрократией, являл собой, возможно, самую навязчивую форму государственного контроля и авторитарной идеологии «высокого модернизма» из всех известных. Хотя можно, разумеется, преувеличивать действенность и охват сталинизма, он стал тем, что Моше Левин называет «сверхгосударством»³.

просто: «Как и западная демократия, советский социализм был частью модерности»: *Yurchak A. Everything Was Forever, until It Was No More: The Last Soviet Generation*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2006. P. 10. Но см. более подробное исследование в контексте Восточной Германии: *Pence K., Betts P. (eds.). Socialist Modern: East German Everyday Culture and Politics*. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2008.

¹ О возможных сопоставлениях различных культов лидера в Новое время начиная с Наполеона III во Франции см.: *Plamper J. The Stalin Cult: A Study in the Alchemy of Power*. New Haven, CT: Yale University Press, 2012; о возможных сравнениях в рамках советской культурной дипломатии и пропаганды см.: *David-Fox M. Showcasing the Great Experiment: Cultural Diplomacy and Western Visitors to Soviet Union, 1921–1941*. New York: Oxford University Press, 2011. Chap. 1.

² *Scott J.C. Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. New Haven, CT: Yale University Press, 1998. P. 88.

³ *Lewin M. Russia — USSR — Russia: The Drive and Drift of a Superstate*. New York: New Press, 1995.

Но эти наблюдения не ставят точку. Все эти черты современного государства не просто развивались весьма характерным, часто уникальным образом; помимо этого, Советский Союз был лишен важных особенностей современных индустриальных государств Европы и Запада, территории, которая исторически задавала современные тенденции. Конечно, концепция множественных модерностей важна для того, чтобы сместить фокус с освященного веками сравнения России и Европы на другие части планеты, и изучение многих значимых взаимодействий СССР с развивающимися странами становится все более существенным полем для исследований¹. Важно также не забывать, что влияние не было односторонним и что Россия и СССР сами участвовали в формировании современного мира². Однако фактом остается то, что ряд явлений, изначально тесно связанных с модерностью в западных странах, а затем распространившихся по всему миру, таких как рыночная экономика или массовое потребление, в советской действительности отсутствовали, по крайней мере в легко опознаваемой форме³. Черты, которые часто ассоцииру-

¹ См., например: *Engerman D.C. The Second World's Third World // Kritika. 2011. Vol. 12. № 1. P. 183–211.*

² См. обширный и увлекательный, хотя и обобщенный обзор: *Marks S.G. How Russia Shaped the Modern World: From Art to Anti-Semitism, Ballet to Bolshevism. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2004.* О модели, предполагающей скорее не переход, а циркуляцию, см.: *Circulation of Knowledge and the Human Sciences in Russia // Kritika. 2008. Vol. 9. № 1 (spec. iss.).* Инновации и влияние СССР были ключевой темой моей собственной работы о культурной дипломатии (*David-Fox M. Showcasing the Great Experiment*).

³ О рынках остаточной продукции даже при сталинизме см.: *Hessler J. A Social History of Soviet Trade: Trade Policy, Retail Practices, and Consumption, 1917–1953. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2004.* О сходствах и различиях между советской моделью розничной торговли и потребления и «ранней» историей потребления в западных странах см.: *Randall A.E. The Soviet Dream World of Retail Trade and Consumption in 1930s. London: Palgrave Macmillan, 2008.* О социальном обеспечении, медицине и некоторых других предметах сопоставления с точки зрения политики государственного вмешательства см.: *Hoffmann D.L. Cultivating the Masses.*

ются с традиционным или монархическим обществом, такие как высокая степень иерархичности социальных отношений и роль личных связей, в 1930-е годы, как многие отмечали, проступили с большей отчетливостью¹. Сам я полагаю, что эти личные связи переплетались с советской системой, по мере того как государственная бюрократия росла в масштабах и увеличивалась ее способность к радикальному вмешательству, но что, невзирая на это обстоятельство, не стоит обесценивать значимость ни институциональных структур, ни идеологии². Фактом остается то, что лавиной долей экономики всего Союза управляла при Сталине тайная полиция, которая следила за по сути рабским трудом обитателей ГУЛАГа. Те, кто, подобно Александру Эткинду, яростно оспаривает само понятие советской модерности, могут сослаться на значительную часть государственной экономики, построенную на миллионах людей, принужденных орудовать лопатами и другими примитивными инструментами в «исправительно-трудовых» лагерях, из которых никогда не выходил Новый Человек — «может быть, даже», говоря словами Эткинда, «один-единственный»³. Сельское население было привязано к колхозам и осознавало связь с прошлым, используя аббревиатуру Всесоюзной коммунистической партии (ВКП) для обозначения «второго крепостного права». Коммунистическая экономика, несопоставимая с экономикой развитых промышленных держав, возникшие при сталинизме социальные иерархии и политическая диктатура, опирающаяся на масштабный террор, — все эти особенности рассматриваются как несовместимые с модерностью и противоречащие ей. Важно держать в уме эти

¹ Возможно, даже отчетливее, чем когда-либо, — см.: *Fitzpatrick Sh. Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times. Soviet Russia in 1930s. Oxford: Oxford University Press, 1999.*

² *David-Fox M. Showcasing the Great Experiment. P. 89–97.*

³ См., например: *Etkind A. Soviet Subjectivity: Torture for the Sake of Salvation? // Kritika. 2005. Vol. 6. № 1. P. 171–186; spec. P. 174–175, цитата: P. 177.*

сложности, связанные с идеей советской модерности, если мы проблематизируем понятие традиции.

Другое немаловажное возражение основано на том, что сами советские люди на самом деле не использовали понятия модерности. Русские слова «современный» и «современность» могут обладать схожими коннотациями, но без той концептуальной и социологической нагрузки, которую приобрел в постсоветскую эпоху заимствованный неологизм «модерность». Даже словосочетание ‘modern period’ на русский переводится как «новая история». Вместо того чтобы говорить о «современном» (модерном), участники советского исторического процесса говорили о социализме как новом этапе истории. Фредерик Купер, который в своей критике концепции модерности сближается с другими, подчеркивая «понятийную путаницу», «сбивающую с толку», считает, что исследователям «не стоит пытаться найти чуть более подходящее определение, чтобы говорить о модерности яснее». Вместо этого он предлагает им «прислушаться к тому, что говорится в мире. Если они услышат слово „модерность“, им следует выяснить, как и почему оно употребляется; иначе классификация политического дискурса как современного, антимодерного либо постмодерного или разделение на „нашу“ и „их“ модерность приведут скорее к путанице, чем к открытию чего-то нового»¹.

Это ценное указание, но если мы как историки ничего не «слышим» о концепции советской модерности как таковой, должны ли мы отказываться принимать ее во внимание? Я бы хотел отметить, что идеи, стоящие за действительными высказываниями советских акторов (о социализме как следующей, более высокой ступени исторического развития), уже достаточно долго были предметом обсуждения. Изменить угол зрения могло бы оказаться полезным. Также не следует забывать о том, что как исследователи мы едва ли можем ограничить себя понятийным

¹ *Cooper F. Modernity // Colonialism in Question: Theory, Knowledge, History. Berkeley: University of California Press, 2005.*

аппаратом персонажей наших исторических исследований, даже если бы нам этого хотелось.

Остаются вопросы: были ли все вышеперечисленные черты советской системы элементами модерности или свидетельствовали о ее отсутствии? Следует ли обсуждать их, совсем не прибегая к сомнительно неопределенному понятию модерности? Или их можно включить в исследование альтернативной — и потерпевшей полное крушение — формы советской или коммунистической модерности? Появление таких вопросов закономерно и полезно, и стоит попробовать их обсудить.

Несоразмерности в весьма поверхностном подведении баланса, представленном выше, призваны с максимальной резкостью очертить проблему советской модерности. Их иногда устраняли, ссылаясь на то, что современные программы, планы или идеологии не были полностью реализованы или на практике превратились во что-то другое. Вспомним часто цитируемые слова Терри Мартина: «Модернизация — это теория советских планов; неотрадиционализм — теория их незапланированных последствий»¹. Но понятийные проблемы усложняются, если учитывать, что концепция модерности (более гибкая по сравнению с модернизацией) — одна из самых неуловимых и обширных в гуманитарных науках. К тому же золотой стандарт модерности вырабатывался в Европе и Северной Америке на протяжении долгого времени, со многими существенными национальными особенностями; и он тоже не реализовал себя полностью, особенно на ранних этапах. Дискуссия о модерности, опять же в отличие от ранних социологических работ о модернизации, изобилует не измеримыми процессами, а метафизическими сдвигами, такими как новые концепции времени, способность осмыслить различные типы преобразований или взаимобратная связь в отношениях между знаниями и социо-

¹ *Martin T. Modernization of Neo-Traditionalism? Ascribed Nationality and Soviet Primordialism // Hoffmann D., Kotsonis Y. (eds.). Russian Modernity: Politics, Knowledge, Practices. New York: Macmillan, 2000. P. 161–184; цитата: P. 176.*

политической системой. С учетом того, что это концептуальная проблема, которая не может быть решена на уровне исчислимых данных, любой попытке подвести некий баланс в отношении России и СССР будет сопутствовать непоследовательный и вводящий в заблуждение анализ.

Одно из легких решений заключается в том, чтобы игнорировать проблему модерности в этом контексте или избегать ее, критиковать ее посылы или сложности либо сосредоточиться на других вопросах. На самом деле многие специалисты в данной области пришли именно к такому выводу относительно проблемы российской / советской модерности — возможно, в ответ на ту форму, какую споры о российской и советской модерности приняли в 1990-е годы. Я также занял критическую позицию в отношении дискуссии о модерности в противоположность неоконсерватизму, которая способствовала обострению споров, но одновременно завела в некоторый тупик в начале 2000-х годов, оставив при этом заметные следы. В то же время этот ключевой вопрос представляет собой последний поворот в более обширном противопоставлении исключительности и общей модерности. Кто-то на свой страх и риск прячет его куда подальше, но лишь для того, чтобы вновь обнаружить его скрытое или неявное присутствие. На мой взгляд, главный теоретический сдвиг — воспринимать модерность скорее как точку зрения, эвристический инструмент, чем как проблему, которую можно решить с помощью какого-либо искусственно навязанного тезиса или эмпирического прорыва. Это едва ли единственная такая точка зрения, доступная на сегодняшний день, но она приобретает значимость, будучи ключевой концепцией многих гуманитарных дисциплин и многих областей исторической науки. По мере того, как изучение России сохраняет постсоветскую тенденцию, обнаруживая свою значимость и связь с другими областями знаний, вовлеченность в спор о модерности становится важным мостиком к более обширному в сопоставительном плане и в плане международного охвата диалогу с другими исследовательскими направлениями и дисциплинами.

В таком ключе я хотел бы представить первую главу, в которой рассматриваются научные дискуссии о российском и советском модернизме и модерности постсоветского периода. В ней утверждается, что «первое поколение» участников спора о советской модерности в 1990-х и начале 2000-х годов было ограничено текущей ситуацией и сформировавшими его теоретическими установками. Но вопреки, а отчасти и благодаря этим препятствиям эта дискуссия получилась такой продолжительной, вплоть до прозвучавших в позднейшее время голосов, которые, отвергая категорию советской модерности, говорят об архаичных пережитках российского прошлого¹. Эти дискуссии скрупулезно изучаются не только чтобы прояснить обсуждаемые проблемы, но и чтобы высказать предположение, что исследования, связанные с Россией, выиграли бы от более пристального внимания к концепции множественных модерностей². Конечно, в рамках этой категории возникают свои концептуальные проблемы. Понятием множественных модерностей и альтернативных модерностей, как и многими другими терминами, могут прикрываться в различных интеллектуальных и политических целях; идея своеобразия, например, французской модерности может быть использована как лозунг борьбы с американизацией. В 2013 году Штефан Плаггенборг, отметив в своем высказывании значимость «молчания» социологической теории модерности о Восточной Европе и в особенности о советском коммунизме, тем не менее отвергает теорию множественных модерностей Ш.Н. Эйзенштадта как «тривиальную» и почему-то «излишне научную», хотя речь шла о социологической теории, прямо назвавшей коммунизм современной формой. В призыве Эйзенштадта видеть различия Плаггенборг видит отвечающий моде на мультикульту-

¹ *Getty J.A. Practicing Stalinism: Bolsheviks, Boyars, and the Persistence of Tradition.* New Haven, CT: Yale University Press, 2014.

² Ключевой в этом отношении текст: *Eisenstadt Sh.N. (ed.). Multiple Modernities.* New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 2002 (Daedalus. Vol. 129. 2000. No. 1 (Winter): Multiple Modernities).

рализм, а потому политизированный жест, затрудняющий точное определение модерности; теория множественных модерностей предполагает опознание многих «деревьев», которые в совокупности, однако, не образуют какого-то обозримого «леса»¹. Совершенно справедливо замечено, что понятие множественных модерностей несопоставимо с единственным, конкретным определением современного. Правда и то, что сама по себе множественность не решает проблемы. Однако Плаггенборг оставляет без ответа вопрос, который сам ставит, если не считать лишенного особенного энтузиазма призыва поместить обсуждение модерности в исторический контекст².

Однако как раз с исторической точки зрения понятие множественных модерностей ценно, поскольку подразумевает, что нет единого пути к модерному. Модерность самым тесным образом связана с процессами и идеями становящегося мира. Западная Европа могла быть родоначальницей многих современных процессов, позже усвоенных или разработанных мировым сообществом, однако в основе концепции множественных модерностей лежит понимание, что модерность — не исключительно западное явление³. В ней также подчеркивается, что нет целостного «Запада». Из этого следует, что анализировать культурные и цивилизационные модели стран за пределами Западной Европы особенно важно, чтобы составить какое-то представление о вариантах

¹ *Plaggenborg S.* Schweigen ist Gold: Die Moderntheorie und der Kommunismus // Osteuropa. 2013. Vol. 63. № 5–6. S. 67–78; цитата: P. 71.

² *Plaggenborg S.* Schweigen ist Gold. S. 78.

³ В числе все чаще появляющихся работ о незападных модерностях: *Agrawal A., Agrawal S. (eds.)*. Regional Modernities: The Cultural Politics of Development in India. Stanford, CA: Stanford University Press, 2003; *Deutsch J.-H., Probst P., Schmidt H. (eds.)*. African Modernities: Entangled Meanings in Current Debate. Portsmouth, NH: Heinemann, 2002; *Aksikas J.* Arab Modernities: Islamism, Nationalism, and Liberalism in the Post-Colonial Arab World. New York: Peter Lang, 2009; *Islamoglu H., Perdue P.C. (eds.)*. Shared Histories of Modernity: China, India, and the Ottoman Empire. New Dehli: Routledge, 2009. См. заслуживающий внимания критический анализ использования понятия «модерность» в колониальных исследованиях: *Cooper F.* Modernity.

модерности в этих странах. Иначе все сведется попросту к изучению того, как перенимали западные схемы. Наконец, проблема сходств и различий неизбежно выходит на первый план, если речь идет о советском коммунизме как альтернативной форме. В конечном счете, моя собственная цель состоит в том, чтобы разъяснить, что границы, препятствия и продолжение постсоветских научных споров о модерности должны уступить место обсуждению в обновленном русле.

Но высказывать предложения и критику, не намечая на практике никаких альтернативных конструкций, легко. Поэтому во второй главе я перехожу от аналитической критики к попытке исторического синтеза. В ходе этого я предлагаю понятие интеллигентско-этатистской модерности (*intelligentsia-statist modernity*), вбирающее в себе некоторые — не все — устойчивые, но исторически эволюционирующие особенности российско-советской вариации модерности. В основе здесь лежит допущение, что между царской Россией и Советским Союзом существовали огромные различия и что русская революция и советский строй были сопряжены с целым рядом новых планов и практик. Но никакой анализ, ограниченный периодом после 1917 года, не способен уловить более широких культурных предпосылок и траекторий, необходимых для рассмотрения глубинных моделей развития, и историки Советского Союза сегодня уделяют намного меньше внимания, чем могли бы, как сложностям поздеимперского периода, так и *longue durée* («большой длительности»). Несмотря на оживленные споры и дискуссии, которыми пестрит история России и Советского Союза, в особенности в революционный и ранний советский периоды, простое противопоставление преемственности и ее отсутствия скорее отвлекает от сути вопроса. Всегда присутствует преемственность и всегда есть разрывы; вопрос в том, чтобы локализовать и понять их, а также их соотношение. Внимание к сохранившейся на фоне разрыва 1917 года преемственности может дать историку более широкое видение разломов и разрывов, выявляя то, что сохраняется, даже когда

некоторые пути уже закрыты¹. Пересечение границы 1917 года здесь являет собой попытку разработать категории для размышления о траектории российской / советской модерности по обе стороны революционной пропасти. Эта попытка приобретает особую значимость, поскольку те, кто особенно критикует концепцию советской модерности, обычно обосновывают это, указывая на «традиционную» для России преемственность и ее сохранение после 1917 года, то есть, грубо говоря, на российскую / советскую «отсталость»².

Ключевым для моего собственного подхода к проблеме модерности в российском и советском контексте можно назвать, кроме того, вывод, что бинарная оппозиция исключительности и общей модерности является ложной; она снова и снова уводит разговор от его сути. Если мы согласимся, что российская / советская модерность не тождественна другим, мы должны уделить особое внимание ее собственным отличительным чертам, но за шагом к тому, чтобы усмотреть в них модерность, стоит сравнение общих черт. Понимая советский коммунизм как альтернативную модерность, впитавшую в себя наследие России, мы получаем возможность одновременно исследовать специфику и общность в рамках единой, согласованной научной перспективы. Признать существенные отличия Советского Союза от других государств не означает его уникальности; усмотрение в нем связей с модерностью не делает его «нормой».

Но, проследивая этот путь, мы сталкиваемся со множеством других непростых проблем. Если советский коммунизм представлял собой альтернативную модерность, значит, он также был современным проектом, потерпевшим неудачу в качестве альтернативы. Хотя между исследователями нет согласия относительно

¹ Хотя у меня не было возможности говорить в этой книге о 1991 годе, специалистам по истории России и СССР придется справляться с многочисленными сменами режима в XX веке, подобно тому, что происходило в истории Германии в 1918, 1933, в период активного развития двух Германий в 1945–1947 годах и в 1989 году.

² См. одну из последних работ на эту тему: *Getty J.A. Practicing Stalinism.*

того, насколько «альтернативной» можно считать советскую модель, когда и как она провалилась, факт остается фактом: советский коммунизм не был способен к решению собственных проблем и поддержанию самого себя на протяжении семидесятилетнего жизненного цикла, поэтому совсем исчез как альтернатива. Именно в этом плане я говорю о несостоявшейся модерности. Однако наше изучение глубинных проблем, с которыми сталкивалась и которые создавала, но не могла решить советская система, должно было уравниваться осознанием риска, сопряженного с интерпретацией истории с 1991 года и до него.

В третьей главе в более косвенной форме, но более прицельно рассматривается проблема советской исключительности посредством рефлексии над определением и ролью идеологии в советском контексте. Содержание конкретной идеологии (в отличие от ее стимулирующей или узаконивающей роли) долгое время оставалось на втором плане или игнорировалось, например, в структуралистских сопоставительных интерпретациях революций¹. Идеи как таковые также часто оставались в стороне в дискуссиях о тоталитаризме, предметом которых становилась скорее роль идеологий или присущие им функции, а не их содержание. Вот почему в большей части интерпретаций тоталитаризма в исследованиях, посвященных России / СССР, начиная с раннего периода и заканчивая тем, что можно назвать неототалитарной установкой позднего Мартина Малиа, подчеркивалась необычайная значимость идеологии в контексте Советского Союза и утверждалась причинная модель, в рамках которой исторические следствия выводились из положений марксизма-ленинизма. На протяжении полувека практикующие историки уклонялись от

¹ Приведу один яркий пример: Теда Скочпол в своем классическом сравнительном исследовании революций (*Skocpol Th. States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia, and China. Cambridge: Cambridge University Press, 1979*), рассматривая последствия крупных революций, полностью отрицает объясняющую роль идеологий, на что, как известно, указал Уильям Сьюэлл: *Sewell W.H., Jr. Ideologies and Social Revolutions: Reflections on the French Case // Journal of Modern History. 1985. Vol. 57. № 1. P. 58–85, spec. 59.*

такого понимания идеологии, ставя таким образом под сомнение идеологию как категорию исторического анализа. Однако расцвет культурологических подходов к изучению России принес с собой и новый всплеск интереса к идеям и идеологиям как к каузальному, объясняющему элементу. Большое внимание стало уделяться и рассмотрению сути коммунистической идеологии, а также значению тех или иных политических идей в конкретных контекстах, а не просто в глобальном историческом плане. Об этом свидетельствует положение дел в области сопоставления сталинизма и нацизма, в связи с которым снова и снова звучит утверждение, что природа идеологии в каждом конкретном случае влечет за собой серьезные последствия, связанные с вопросами жизни и смерти¹.

В исследованиях, глубоко проникающих в содержание и смыслы какой-то определенной идеологии, обычно акцентируются ее отличительные черты. Если говорить об СССР, то в число таких характерных особенностей входили сама вездесущность насаждаемой официальной идеологии, масштаб идеологического аппарата, задействованного в ее доработке, и ее роль в формировании самой структуры советской системы, основанной на таких ключевых принципах, как, например, антикапитализм. Неудивительно, что идеология находится не на последнем месте в дискуссиях об уникальности Советского Союза. Поэтому на противоположном полюсе от структуралистского пренебрежения идеологией (или преуменьшения ее роли за счет встраивания в другие компоненты исторического объяснительного контекста либо подчиненности им) находятся известные исследователи, считающие идеологию движущей силой советской истории. Крайнюю позицию здесь опять же занял Мартин Малиа, рассматривавший идеологию как элемент, делающий коммунизм «фантастичным и сюрреальным» — то есть полной

¹ Я ссылаюсь на эссе из сборника: *Beyond Totalitarianism: Stalinism and Nazism Compared* / ed. M. Geyer, Sh. Fitzpatrick. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

противоположностью общей модерности¹. Вариация на тему этой интерпретации была разработана крупным политическим теоретиком идеологии Майклом Фриденем. Фриден, основатель и редактор «Журнала политических идеологий», поставил перед собой важнейшую цель — освободить понятие идеологии от присущих ему негативных коннотаций и воспринимать его как нормальный элемент современного общества и политики. Однако, выполняя свое намерение, Фриден счел необходимым назвать «тоталитарные» идеологии «исключительными»². Наряду с теми, кто впадает в крайности, считая идеологию ключом к истории советского коммунизма или вовсе пренебрегая ею, существует множество историков-практиков, которые стремятся не сводить исторический процесс к идеологическим постулатам, но при этом рискуют не отдать должное идеологической составляющей этого процесса.

Трактовка идеологии, намеченная в третьей главе, занимает ключевую позицию посередине между исключительностью и общей модерностью. Полагаю, роль идеологии в советском контексте очень заметна; в то же время многие важные черты советской идеологической арены (не говоря уже об истории ее интерпретации) все же роднят этот неординарный случай с другими эпохами и странами. Как и в случае с множественными модерностями, обозначенный в третьей главе подход потенциально плюралистичен: он утверждает правомерность множественных толкований идеологии и воздерживается от того, чтобы отдавать явное предпочтение какому-либо из них. Измерения идеологии в советском контексте, анализируемые в этой главе, включают в себя идеологию как доктрину, как мировоззрение, как дискурс, как действие, как систему убеждений и — не в последнюю очередь — как историческое понятие из марксистского и марксистско-ленинского словаря. Некоторые из

¹ *Malia M.* The Soviet Tragedy. P. 7.

² *Freeden M.* Ideology: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2003. P. 93.

этих «шести обличий идеологии» отсылают к более широким планам специфики советского строя; в ходе рассмотрения других выявляются аналогии и сходство с другими эпохами и странами, а исторический анализ смыкается с другими типами исследований в этой области. Таким образом, в данном случае я снова ухожу от окончательного выбора в пользу установки на универсализм или исключительность; это делается с целью не только наметить срединный вектор, но и развернуто описать эту область. В конце концов, учитывая важность проблемы идеологии для исследований Советского Союза, по-настоящему удивительно, что столь немногие историки-практики высказывались на тему определения идеологии и ее роли. Моей целью было сделать эту главу доступной для студентов и выпускников, начинающих осваивать поле своей работы, и я надеюсь, что будущие поколения историков СССР учтут множественность возможных трактовок идеологии.

Четвертая глава представляет собой беглый экскурс в историю понятий (*Begriffsgeschichte*), соединенную с анализом культурного аспекта революции в первые десятилетия Советского Союза¹. В первоначальной редакции (1998 год) этот текст составлял часть диалога с Шейлой Фицпатрик, сформулировавшей в конце 1970-х годов определение концепции культурной революции в рамках современных исследований о России. Когда я только начал писать, классическое употребление понятия «культурная революция» Фицпатрик трансформировалось, термин стал синонимом периода первого в советской истории пятилетнего плана и, к неудовольствию самой Фицпатрик, превратился во

¹ Авторы исследований по истории идей, относительно редких среди посвященных России работ, намного охотнее обращаются к имперскому периоду. См., например: *Миллер А., Свижков Д., Ширли И. (ред.). Понятия о России: к исторической семантике имперского периода. М.: Новое литературное обозрение, 2012. См. критическую реплику в ответ на возрождение Begriffsgeschichte: Sperling W. 'Sleeping Beauty'? Or What Can We Expect From a Begriffsgeschichte of Russia Today? A Critical View on a Historical Perspective // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 2012. Vol. 60. № 3. P. 373–406.*

что-то вроде принятой по умолчанию традиции, отсылки к которой не требуются. Я стремился заменить это унаследованное предание интерпретацией культурной революции как развивающегося понятия, ключевого для двух десятилетий большевистских и советских попыток культурных преобразований¹. Даже сегодня многие исследователи по-прежнему используют выражение «культурная революция» именно как синоним периода с 1928 по 1931 год или по крайней мере агрессивных культурных кампаний исключительно первой пятилетки, в то время как другие, в том числе и я сам, предпочитают — в силу причин, изложенных в следующей главе, — следуя постсоветской российской практике, говорить об этом периоде как о сталинском «великом переломе». В рамках этой попытки переосмысления я расширяю поле исследования, включая в него примыкающие к понятию культурной революции концепции — в частности, «быт» в социалистической трактовке и «культурность».

Поставив перед собой задачу вписать свою историю понятия культурной революции в более обширный контекст советских культурных преобразований, я оказался вовлеченным в необычную и для меня пока в своем роде единственную форму научного диалога. Я знал, что на мою статью 1998 года ряд исследователей откликнулся в своих крупных монографиях, многие из которых были опубликованы почти десятью годами позже. В этих работах анализировался центральный постулат статьи о том, что понятие культурной революции не следует воспринимать как относящееся исключительно к «великому перелому»; их авторы также предлагали свои варианты расширенного понимания культурной революции, опираясь на собственные оригинальные исследования. Особенно это касалось разросшейся литературы,

¹ *David-Fox M.* What is Cultural Revolution? // *Russian Review*. 1999. Vol. 58. № 2. P. 181–201; *Fitzpatrick Sh.* Cultural Revolution Revisited // *Ibid.* P. 202–209; *David-Fox M.* Mentalité or Cultural System: A Reply to Sheila Fitzpatrick // *Ibid.* P. 210–211. Ключевой текст: *Fitzpatrick Sh. (ed.).* Cultural Revolution in Russia, 1928–1931. Bloomington: Indiana University Press, 1978.

связанной с «имперским поворотом» в российской и советской истории: изучением нерусских культур, политикой в отношении отдельных национальностей, советизацией и культурной политикой в советских республиках. То, что я почерпнул из их работ, я впоследствии учел в этой своей новой книге и расширил данный фрагмент.

История коммунистических культурных преобразований, в центре которой находится идеологическая концепция в культуре и политике раннего СССР, опять же строится на одном существенном аспекте советской самобытности. Однако в четвертой главе культурная революция становится и основанием для сравнения — в данном случае между советской и китайской версиями коммунизма. Разумеется, две коммунистические революции были напрямую связаны между собой, и маоизм можно рассматривать и как разновидность сталинизма, и как отступление от него. Однако два гиганта «второго мира» пережили ключевую смену различных между собой революционных этапов, что наглядно демонстрируется сквозь призму их отношений с культурной революцией — как самим понятием, так и стоящим за ним явлением¹.

Глава пятая вошла в эту книгу, поскольку в ней представлен важный аспект моей работы — институциональная история. Кроме того, в ней анализируется история не одного, а двух институтов: одного из старейших — Академии наук, основанной Петром Великим, и ее революционной соперницы 1920-х годов — Социалистической (с 1924 года — Коммунистической) академии. Существование Академии наук и ее революционного конкурента после 1918 года привело к роковой «большевизации» старой Академии в 1929 году, подразумевавшей контроль и преобразование всего

¹ См. недавние исследования в области сопоставления революций, посвященные их стадиям и итогам, включая феномен повторных революций: *Goldstone J.A. Rethinking Revolutions: Integrating Origins, Processes, and Outcomes // Comparative Studies of South Asia, Africa, and the Middle East. 2009. Vol. 29. № 1. P. 18–32; Goldstone J.A. Revolutions: A Very Short Introduction. New York: Oxford University Press, 2014.*

механизма советской научной системы, а в конечном счете — ее слияние с партийной организацией в 1936 году. Рассматривая, как взаимодействовали две академии, мы наблюдаем необычное слияние двух очень разных организаций: дореволюционного российского учреждения, подчиняющегося государству, и его революционного противника, подчиняющегося партии. Для меня это более чем существенный эпизод в истории советской науки и интеллектуальной жизни. На него в какой-то мере опирается еще один столп советской специфики — институциональная история управляемого партией государства.

Выдающийся советолог Роберт Ч. Такер охарактеризовал природу партийного государства, назвав молодой Советский Союз «режимом в движении», при котором государство возглавляла революционная партия. С его точки зрения, это открывало новые возможности сравнения; в основе лежала его ранняя (1960) попытка поставить под вопрос концепцию тоталитаризма и сопоставить советскую систему с другими авторитарными однопартийными режимами, такими как кемалистская Турция¹. Одновременно то обстоятельство, что государством управляла вызывающая массовое движение партия, сформировало одну из самых своеобразных черт советской системы (которая, однако, проявлялась и в других коммунистических странах) — систематическую и всепроникающую двойственность, с которой партия постоянно производила чистку всего государственного аппарата и при этом затемняла его. В административном плане несомненно, что, например, нацистская партия занимала в Третьем рейхе намного более скромное и зависящее от случая положение. Как объяснил Стивен Коткин с опорой на свою концепцию сталинизма как теократии — и как это сделал до него Такер, говоривший

¹ *Tucker R.C. The Soviet Political Mind: Studies in Stalinism and Post-Stalin Change. New York: Praeger, 1963; Tucker R.C. Toward a Comparative Politics of Movement-Regimes // American Political Science Review. 1961. Vol. 55. № 2. P. 281–290; Gleason A. Totalitarianism. P. 127.*

о растущем сходстве партийного государства с государством церковным, — одной из функций партии, скрывавшей происходящие в государстве процессы, было хранение революционной идеологии¹. В 1920-е годы одним из классических разделений, обусловленных нэпом (новой экономической политикой), стало разделение между «красными», то есть представителями партии, и «буржуазными специалистами», оставшимися работать в условиях нового режима. Так, в промышленности беспартийных работников умственного труда и специалистов должны были контролировать красные — партийные чиновники; в области культуры и науки им соответствовала партийная интеллигенция, пытавшаяся создать новую прослойку красных интеллигентов. Однако высшими инстанциями контроля были те, кто все чаще присваивал себе роль новых красных специалистов в социальной инженерии и политическом терроре, — партийные лидеры.

Как можно понять из сказанного, разделение между партией и государством, красными и представителями свободной профессии было важно не только для зарождающейся политической системы и институциональных структур советского строя в целом, особенно в период его расцвета в 1920-х годах. Это было и разделение, основополагающее для истории советской науки, образования и культуры². В этом отношении культурная революция обладала важным институциональным измерением. Если период нэпа характеризовался вынужденным компромиссом между непартийными организациями (такими, как Академия наук) и новыми партийными учреждениями и кадрами, то «великий перелом» был сопряжен с критикой и беспорядками,

¹ *Tucker R.C.* Stalin in Power: The Revolution from Above. New York: W.W. Norton, 1990. P. 38; *Kotkin S.* Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization. Berkeley: University of California Press, 1995 (spec. p. 293–298).

² Классическая англоязычная работа о разделении на красных и специалистов: *Bailes K.E.* Technology and Society under Lenin and Stalin: Origins of the Soviet Technical Intelligentsia, 1917–1941. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1978.

за которыми последовала реабилитация Сталиным в 1932 году прежних «буржуазных специалистов». В результате возник синтез, но у этого синтеза была своя долгая история, в ходе которой сменяющие друг друга группы и поколения представителей теперь, в теории, единой советской интеллигенции обсуждали давние различия, связанные с ранним советским разделением на красных и образованную прослойку. Академия наук была единой — благодаря своей уникальной дореволюционной истории, благодаря нетипичным образом сохраненному в 1920-е годы статусу и в силу того, что эти разделения очень по-разному выражались в различных областях культуры и отраслях знания. Но их изучение полнее раскрывает более общие процессы в других сферах.

Хотя Академия наук была государственной организацией, основанной Петром Первым и формировавшейся на протяжении двухвекового взаимодействия сначала с царским, а затем с советским правительством, в 1920-е годы она обоснованно считалась главным бастионом научной интеллигенции высочайшего уровня, которая в период, когда бал правили неповские предприниматели, была наиболее полезной и защищенной прослойкой. История ее коммунистического конкурента, надежд первых коммунистических академиков, принудительной реорганизации старой Академии и итогового включения незначительной Коммунистической академии в новый советский центр власти являет, таким образом, в миниатюре конфликт между беспартийным и большевистским крылом интеллигенции на разных этапах революции.

В одном из своих наиболее пронизательных, глубоких эссе Шейла Фицпатрик писала об интеллигенции и представителях партии как о двух сохранившихся после революции элитах, «оскорбленно-независимых, завистливо неразборчивых в средствах и при всем том — единственных возможных претендентах на лидерство в раздробленном и нестабильном послереволюционном обществе». Между ними было больше общего, чем признала бы каждая из сторон: острое сознание своей исторической

миссии и морального превосходства наряду с «представлениями о культуре как о чем-то, что (подобно революции) образованное меньшинство приносит массам, чтобы возвысить их»¹. Глава пятая построена на этих убедительных суждениях применительно к конкретному значимому контексту, но выводы о конечных итогах оказываются неоднородными. Ни интеллигенция, ни партия не были статичны или монолитны, и если мы даже представляем себе их таким образом только в исследовательских целях, это может упростить результат. Цитируя Фицпатрик, «интеллигенция потеряла на этом пути свободу и самоуважение, хотя и победила в культурной борьбе, в то время как коммунисты потеряли уверенность в наличии связи между коммунизмом и культурой, выиграв в борьбе за власть»². Представленный здесь в связи с разговором о двух академиях анализ приводит к менее однозначным выводам. Он наводит на мысль, что их «симбиоз» в 1920-е годы способствовал значительному взаимопроникновению между двумя лагерями.

Кроме того, размышляя, что представляли собой эти две «стороны» на протяжении советской эпохи с ее резкими и извилистыми поворотами, следует учитывать смену поколений³. С точки зрения представителей поколения 1920-х годов, проиграли обе стороны, но можно также заключить, что синтез развивался так, как никто не планировал и не ожидал. Над следствиями этих рассуждений — что каким-то неожиданным, даже скрытым образом Коммунистическая академия частично

¹ *Fitzpatrick Sh. On Power and Culture // The Cultural Front: Power and Culture in Revolutionary Russia. Ithaca, NY: Cornell Univ. Press, 1992. P. 5–6.*

² *Ibid. P. 15.*

³ Последовательный анализ проблемы поколений в советской истории встречается редко; см. работу, содержащую в себе большое количество советского материала: *Lovell S. (ed.). Generations in Twentieth-Century Europe. London: Palgrave Macmillan, 2007. О формировании идеи поколения в России как феномене интеллигенции XIX столетия см.: Lovell S. From Genealogy to Generation: The Birth of Cohort Thinking in Russia // Kritika. Vol. 9. № 3. 2008. P. 567–594.*

привила свой дух и миссию большевистской Академии наук — стоит задуматься. Это означает, что советская Академия наук, один из главных бастионов компромисса сталинской эры с прошлым, консерватизмом, путь к «отступлению», представляла собой, если глубже изучать историю «большевизации», синтез главных революционных нововведений 1920-х годов и преобразованной старой академической среды. Это, в свою очередь, дает дальнейший исторический материал, позволяющий обогатить концепцию интеллигентско-элитарной модерности.

Предметом заключительной, транснациональной части книги стали визиты иностранцев и их восприятие Советского Союза, формируемое советскими посредниками и практиками приема, а также их собственными убеждениями и интересами. Однако три фигуры, стоящие в центре шестой и седьмой глав, не могли бы быть более несхожими: попутчик Ромен Роллан, возможно наиболее известный из западных интеллектуалов, защищавших сталинизм в 1930-е годы; его жена Мари Роллан, или Мария Кудашева, «посредник» между великим французским писателем и советской политикой и культурой и Эрнст Никиш, крайний правый противник гитлеризма из «национально-революционного» лагеря периода поздней Веймарской республики, создавший смешанное учение и основавший движение, которое сочетало в себе элементы социал-демократии и фашизма, фантазировавший на тему «пруско-русской» геополитической «общности судеб». Таким образом, три рассматриваемые фигуры обладали совершенно разным политическим багажом и разными взглядами; кроме того, Кудашева видела Советский Союз «изнутри», в то время как два других иностранца были именно «чужаками», наблюдающими извне и — каждый по-своему — захваченными увиденным.

В каком-то смысле фигуры Роллана и Никиша призваны — по-разному — поместить в исторический контекст стержневой вопрос об универсализме или самобытности советского строя. Ключом к восприятию Ролланом Советского Союза и сталинизма были его представления о русской революции, на которую он

смотрел сквозь призму революционных событий во Франции; об общеевропейском противостоянии фашизму, в котором СССР был союзником прогрессивной Европы; наконец, о поучительном, просветительском монументализме сталинской культуры, которая лично его привлекала намного больше по сравнению с авангардом. Но Роллан, видевший универсализм везде, когда он смотрел на восток, вскоре столкнулся с ужасами Большого террора и чудовищными подробностями сталинской политической культуры. Никиш же, наоборот, в соответствии со своим ультранационалистическим «прусским большевизмом», придумал теорию о взаимной близости двух лагерей — молодого и полного сил Востока и традиционно единообразного прусского милитаризма и государственного контроля, которые, вероятно, могли бы им вдохновляться. Его взгляды на советский коммунизм отчасти были продиктованы яростной идеологической и геополитической ненавистью к Западу.

Политические и идеологические воззрения Кудашевой, которые, согласно источникам, в 1920-е годы были просоветскими, а в период ее жизни с Ролланом в 1930-е годы — резко антифашистскими, намного более фрагментарны и менее уловимы. Что касается сталинизма, она, разумеется, во многом была существенно ограничена. Но именно ее посредническая функция — как секретаря Роллана, его переводчика и устроительницы его интенсивного общения с советским руководством, прессой и представителями культурных институтов — делает ее по-своему значимой исторической фигурой. Кудашева была одной из тех многих, чья роль — установление диалога между западными посетителями и наблюдателями и советскими людьми — приобретала все большую значимость в 1930-е годы. Но она принадлежала к более узкому кругу тех, кого я бы назвал интимными посредниками — это возлюбленные или супруги, у которых формировались эмоциональные связи со значимыми для советских людей личностями и которые обладали особым и продолжительным влиянием на этих людей. Кудашева, например, быстро стала для Роллана

олицетворением «новой России» и сыграла ключевую роль в том, что он сделался главным «другом Советского Союза» среди западных интеллектуалов.

И Никиш, и Роллан бывали в СССР — в 1932 и 1935 году соответственно. Но чтобы осмыслить даже этот их краткий опыт знакомства с Советским Союзом, мы должны учитывать всю совокупность биографических, личностных и более общих, связанных с различными обстоятельствами факторов. В случае с Ролланом не последнюю роль в его поездке и встрече со Сталиным в Кремле сыграла Кудашева. Если говорить о Никише, то его опыт взаимодействия с советской действительностью трактуется в рамках долгой идеологической одиссеи, в которой этот опыт был укоренен и которая включала в себя переход от революционной социал-демократии к крайнему правому национализму под сильным влиянием некоторых аспектов ленинизма и сталинизма (тому, что в связи с немецкой консервативной революцией обычно называют национал-большевизмом). В 1945 году в ГДР он вернулся к коммунизму. Я попытался здесь проследить эту необычную, по-настоящему незаурядную траекторию если и не как парадигматическую, то по крайней мере в каком-то смысле показательную. Она указывает, во-первых, на взаимодействия между крайним левым и крайним правым крылом интеллектуалов и их политических идеологий в XX веке. С этой точки зрения Никиш представляет собой готовую иллюстрацию к тому, как надо интерпретировать идеологию, учитывая другие многочисленные факторы в определенном историческом контексте. Во-вторых, она указывает на околосоветские (или национал-большевистские) настроения в так называемом национальном революционном лагере Веймара, на которые повлияло и становление национал-социализма, и Коммунистическая партия Германии. Эта сложная веймарская территория оказалась также вовлечена в международную обстановку за счет влияния советской политики и попыток отвлечь национал-большевиков от крайнего правого курса. Наконец, образы и впечатления, с которыми изначально ассоциировались у современников эти три фигуры

и которые сохранились в восприятии их как исторических личностей, важно иметь в виду, обращаясь к их биографиям. Сюда, в частности, относятся упорные слухи о Кудашевой как агенте НКВД, Роллан как образец европейца в сталинской культурной среде и Никиш как противник гитлеризма — тема, вновь открытая участниками беспорядков в Германии после 1968 года, вновь обратившимися к национальной проблематике.

На первый взгляд может показаться, что транснациональные главы этой книги в меньшей степени связаны с центральным вопросом, с которого начинаются главы теоретические, — обширной дискуссией об исключительности или общей модерности в рамках исследований о России и альтернативными подходами, обозначенными в этой книге. Но я утверждаю, что они также относятся к общей теме этой работы. Изучение кросс-культурных и трансидеологических обнаруживает, чего именно не хватает советской истории как области науки: она должна учитывать международные и транснациональные аспекты; должна быть ориентирована на сопоставление, хотя бы подразумевать его; должна вступать во взаимодействие и соприкасаться с другими странами, культурами и политическими традициями¹. Этих целей можно достичь вне зависимости от того, какую историю мы пишем: политическую, социальную, культурную или интеллектуальную. В то же время экскурсы в транснациональную историю снова подводят нас к тем особенностям советского строя — например, институциональному устройству партийного государства, — которые были необычными и поражали внешних наблюдателей, живших в то время. Эта часть книги, таким образом, заполняет

¹ См. мои соображения о транснациональной истории в российском и советском поле: *David-Fox M. The Implications of Transnationalism // Kritika. Vol. 12. № 4. 2011. P. 885–904*; а также: *David-Fox M. The Iron Curtain as Semi-Permeable Membrane: The Origin and Demise of the Stalinist Superiority Complex // Cold War Crossings: International Travel and Exchange across the Soviet Bloc, 1940s–1960s / ed. P. Babiracki, K. Zommer. College Station: Texas A&M University Press, 2014. P. 14–39.*

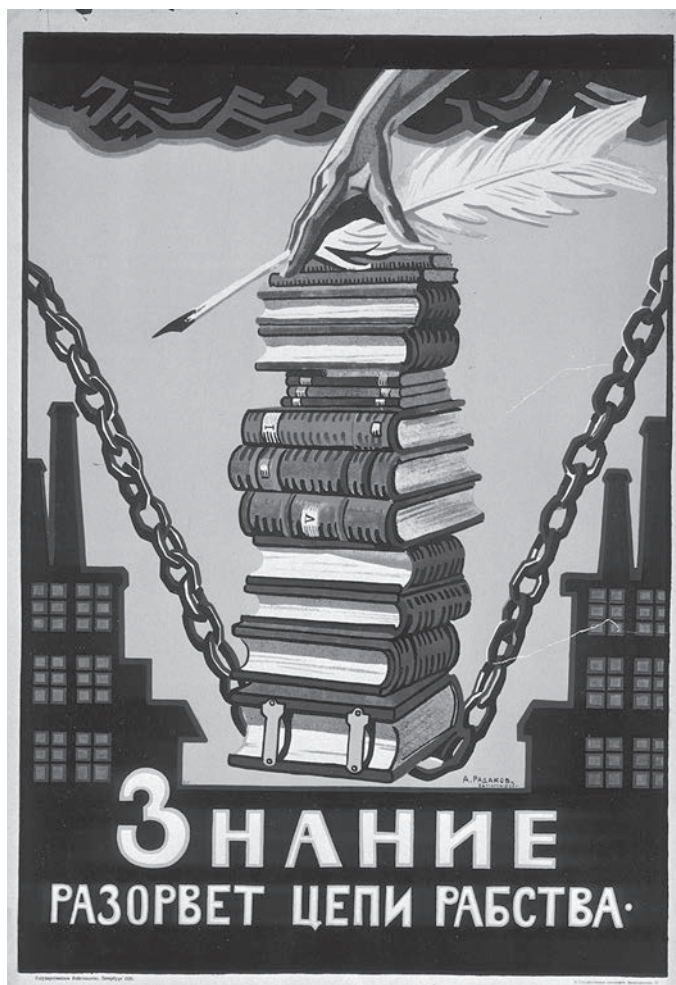
пространство альтернативной позиции между исключительностью и общей модерностью.

У названия этой книги, «Пересекая границы», несколько смыслов. Первый, наиболее очевидный, относится к международной среде, к которой отсылают дискуссии о модерности, и пересечению границ исследователями, изучающими транснациональную историю. Второй смысл связан с различными методами исследования: теоретическим, историческим, историографическим, — которые я накладываю один на другой. Их границы сходятся не так часто, и надеюсь, что результат натолкнет читателей на размышления. В частности, историографический элемент, под которым нередко понимают сухой «обзор литературы», годящийся лишь для диссертаций, включен в эти эссе как эскизы на тему интеллектуальной истории, чтобы полноценно представить ключевые проблемы и не изобретать велосипед. В-третьих, «пересечение» границ подразумевает работу с разными областями истории: политической, социальной, культурной, идеологической и экономической — проблема, которая часто возникает в контексте обсуждения причинно-следственных связей, а также в истории изучения России и СССР. На протяжении всей книги я выступаю против редукционизма, высказывая мысль, что процессам в каждой отдельно взятой сфере можно отдать должное с исторической точки зрения, не сводя один из них к другому, и обращаю внимание на то, как стремление поставить на первый план что-то одно сформировало исторические исследования России и Советского Союза. Я не утверждаю, что все объяснения равны, но призываю распространить плюралистическую позицию, занимаемую по отношению к множественным модерностям и различным пониманиям идеологии, на проблему ключевых элементов исторического исследования и объяснения. Утверждения, что идеология полностью сформировала советскую историю, что первопричиной всего является политическая власть, что социальные факторы были более значимы или что все завязано на культуре либо дискурсе, иллюстрируют те каузальные и объяснительные

системы, которые выстраивались и перестраивались в затянувшейся борьбе различных видов редукционизма. Есть множество эвристических и методологических оснований, чтобы отдать каждой среде, или «области», должное и рассмотреть ее динамику, но пересечение этих понятийных и дисциплинарных границ в контексте истории зарождающегося советского строя позволяет нам выяснить и исследовать, как взаимодействовали разные сферы в рамках обширной экосистемы.

Наконец, пересечение границ говорит о значимости обобщающей попытки найти среднее арифметическое между присущими этой области бинарными оппозициями, прежде всего между исключительностью и общей модерностью. Этот средний путь сопряжен с сетью смыслов, объяснениями, допускающими множественность причин, и скорее плюралистическими, чем однозначными интерпретациями. Вполне может быть, что, следуя ему, мы придем к менее резким — более тонким и в сопоставительной перспективе более «нормальным» — утверждениям. Для истории советского коммунизма это более трудная, а для истории России — более настоятельная задача.

ЧАСТЬ I.
РОССИЙСКАЯ И СОВЕТСКАЯ
МОДЕРНОСТЬ



К гл 2. Алексей Радаков. «Знание разорвет цепи рабства», 1920 год. Рука с небес, опирающаяся на стопку книг, аллегорически изображает русско-советский, «интеллигентско-государственный» порыв к просвещению масс. Публикуется с любезного разрешения библиотеки и архивного отдела Гугеровского института (Стэнфордский университет).

1. МНОЖЕСТВЕННЫЕ МОДЕРНОСТИ VS. НЕОТРАДИЦИОНАЛИЗМ

О НЕСМОЛКАЮЩИХ СПОРАХ В РОССИЙСКОЙ И СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Призрак модерности продолжает преследовать многих западных исследователей, занимающихся российской и советской историей. В процессе работы над этой проблемой постсоветская историография продолжает изобретать новые повороты и вариации трудных старых вопросов. За прошедшее время противоречия в этой области могли формулироваться по-разному: между индустриальным обществом и отсталостью, между универсализмом и самобытностью, между Россией как частью Европы и Россией как единственной в своем роде страной. Эта глава представляет собой анализ непосредственно спора о модерности и понятии неотрадиционализма, вошедшего в научный обиход в 2000-х годах. Кроме того, в ней затронуты более обширные пласты прошлого, не обсуждавшиеся участниками этого спора, а также возможные отголоски продолжающейся дискуссии в будущем.

В сборник о новых тенденциях в изучении сталинизма, вышедшем под ее редакцией, Шейла Фицпатрик поместила разногласия между сторонниками концепции модерности и его критиками в центр современной историографии. В работах «сегодняшнего поколения», предположила Фицпатрик, «можно

отчетливо различить два подхода... „Модерная“ группа... полагает, что стереотип модерности, основанной исключительно на опыте Запада (парламентской демократии, рыночной экономике), не соответствует действительности, и указывает на Советский Союз как важный пример альтернативной формы». Видение альтернативной советской модерности, присущее этой группе, она описала как опирающееся на наличие статистических данных: о планировании, ранних попытках улучшить социальное обеспечение, ориентации на научное мышление, государственном контроле, само- и коллективной дисциплине. Критики, приверженцы концепции неотрадиционализма, не всегда отрицают, что Советский Союз мог считаться по-своему современным, однако «их интересуют прежде всего „архаичные“ явления, также характерные для сталинизма: прошения, отношения покровительства и зависимости, неотъемлемые признаки других типов межличностных связей, таких как „блат“, предписываемые социальные категории, „придворная“ кремлевская политика, мистификация власти и создание ее образа через показательную демонстрацию и т.д.»¹. Когда эта дискуссия только началась, она, как отметила Фицпатрик, носила институциональный характер: парадигму модерности отстаивала в первую очередь группа выпускников Колумбийского университета под влиянием работ Стивена Коткина, историка из Принстона; неотрадиционалистская модель, разработанная бывшим докторантом самой Фицпатрик из Чикаго, развивалась как отклик на первую или ее альтернатива².

¹ *Fitzpatrick Sh.* Introduction // *Stalinism: New Directions* / ed. Sh. Fitzpatrick. London: Routledge, 1999. P. 11.

² *Ibid.* P. 14, п. 29. Среди упомянутых ниже выпускников Колумбийского университета — Йохен Хелльбек, Дэвид Хоффман, Питер Холквист, Янни Коцонис и Амир Вайнер; среди выпускников Чикагского университета — Мэтью Лено и Терри Мартин. О «продуктивном взаимодействии между колумбийской и чикагской школами» см.: *Siegelbaum L.H.* *Whither Soviet History? Some Reflections on Recent Anglophone Historiography* // *Region: Regional Studies of Russia, Eastern Europe, and Central Asia*. 2012. Vol. 1. № 2. P. 213–230, цитата: P. 216.

Историк науки или социолог с готовностью бы расценил возникновение двух противоположных позиций, выстроенных каждая вокруг определенного понятия, как обыкновенное явление, сопутствующее развитию науки. Однако заурядные черты этой дискуссии не должны затмевать того обстоятельства, что в основе ее лежит основополагающая, стержневая для истории России проблема, в связи с которой покойный Леопольд Хеймсон, близкий к школе «Анналов», на первом занятии чертил на доске свой знаменитый «железный крест», объясняя поколениям студентов вертикальную черту между универсализмом и самобытностью, разделявшую поле политических и социальных концепций¹. Поскольку в постсоветской борьбе решался этот ключевой вопрос, он сохранил значимость даже после того, как многие участники дискуссии перешли к новым ее этапам. Вопрос о том, какого подхода требует проблема советской модерности, продолжает вызывать споры вокруг базовых концепций, связанных с пониманием исторического пути России, советской системы и сталинизма.

Если эта глава содержит какой-то посыл, то это призыв к тем, кто по-прежнему считает модерную и неотрадиционалистскую парадигмы достаточно убедительными, глубоко и тщательно анализировать их основные положения. Цель этой дискуссии состоит в том, чтобы (1) проанализировать теоретические разногласия в постсоветской историографии, сосредоточившись главным образом на работах, в которых развернуто обосновываются понятия концепции модерности и неотрадиционализма; (2) выявить различия между этими тенденциями и выводами, которые они подразумевают, особенно в том, что касается различного понимания ими современного и отличающихся оснований для сравнения; (3) высказать предположение относительно того, почему концепция множественных модерностей, о которой первые постсоветские сторонники

¹ *Hellbeck J., Holquist P. Leopold Haimson (1927–2010) // Kritika. 2011. Vol. 12. № 3. P. 761.*

русской / советской модерности не говорили прямо, одновременно разрешает и усложняет дилеммы, уже намеченные парадигмой модерности. Параллельно я указываю на сохраняющиеся отголоски этого разделения в 2010-х годах, когда многие исследователи принимают советскую модерность как данность, в то время как другие отдают предпочтение традиционалистским чертам советского строя¹.

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ СОВЕТСКОЙ МОДЕРНОСТИ

Как известно, модерность — трудноуловимое понятие. Хотя Фицпатрик и неотрадиционалисты по умолчанию склонны были воспринимать группу сторонников модерности в контексте России и СССР как целостную, бросается в глаза, насколько по-разному историки развивают эту концепцию, подчеркивая различные аспекты исторического процесса. Поэтому велика вероятность, что группой приверженцы модерности стали исключительно благодаря критике. Первые научные исследования о России с точки зрения концепции модерности так или иначе опирались на существующую литературу на эту тему как в теоретическом, так и в сопоставительном плане, и модерность в них определялась совершенно по-разному. Например, в сборнике эссе «Российская модерность» главная попытка сформулировать полноценное определение модерности содержится в предисловии Янни Коцониса, который видит в ней прежде всего «интернализацию власти»². Дэвид Хоффман в заключении

¹ Другая возможность, рассматриваемая ниже, — теория влиятельного, но несостоявшегося российско-советского варианта модерности, охватывающего период как до 1917 года, так и после.

² *Kotsonis Y. Introduction: A Modern Paradox: Subject and Citizen in Nineteenth- and Twentieth-Century Russia // Russian Modernity: Politics, Knowledge, Practices / ed. D. Hoffmann, Y. Kotsonis. New York: Palgrave Macmillan, 2000. P. 5; см. также: Kotsonis Y. Making Peasants Backwards: Agricultural Cooperatives and*

к той же книге приравнивает модернность к просветительской «установке прогрессивного социального вмешательства и расцвету политики масс»¹. Питер Холквист в своей классической статье о государственном контроле в России в общеевропейском контексте анализирует прежде всего специфически современные практики и инструменты социальной и политической инженерии, сформировавшиеся в российской политической среде в военно-революционный период 1914–1921 годов². По мнению Стивена Коткина, высказавшего важную мысль, что модернность в разных странах обозначала различные явления в зависимости от исторической эпохи, «межвоенному периоду» — эпохе масс — была свойственна модернность, в основе которой лежала триада массового производства, массовой культуры и массовой политики³.

По мере распространения концепции российской и советской модерности в 1990-е и 2000-е годы на первый план выступали различные черты модерности и их российские / советские проявления. Понятно, что различия непосредственно зависели от выбранной автором исторической проблемы и критериев сравнения. По мысли Юрия Слэзкина, высказанной в его интеллектуально эпатажной книге «Еврейский век» (в русском

the Agrarian Question in Russia, 1861–1914. New York: St. Martin's Press, 1999. P. 35, где Коцонис дает схожее определение модерности и апеллирует к Энтони Гидденсу: *Giddens A. The Consequences of Modernity*. Stanford, CA: Stanford University Press, 1990.

¹ *Hoffmann D.L. European Modernity and Soviet Socialism // Russian Modernity*. P. 246–247. В своей следующей книге он писал: «Я определяю модернность исходя из двух особенностей, присущих всем современным политическим системам, — социального вмешательства и политики масс» (*Hoffmann D.L. Stalinist Values: The Cultural Norms of Soviet Modernity, 1917–1941*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2003. P. 7).

² *Holquist P. 'Information Is the Alpha and Omega of Our Work': Bolshevik Surveillance in Its Pan-European Context // Journal of Modern History*. 1997. Vol. 69. № 3. P. 415–450.

³ *Kotkin S. Modern Times: The Soviet Union and the Interwar Conjuncture // Kritika*. 2000. Vol. 2. № 1. P. 111–164.

переводе — «Эра Меркурия. Евреи в современном мире»), «модернизация заключается в том, что все становятся подвижными, чистоплотными, грамотными, говорливыми, интеллектуально изощренными и профессионально пластичными горожанами». На первой странице книги утверждается, что «модернизация — это когда все становятся евреями»; но заявления об «образцовой модерности» евреев автору показалось недостаточно. Он также утверждает, что «все главные современные (антисовременные) пророчества были также решениями еврейского вопроса»: модернизм в искусстве — «осуждение современной жизни», марксизм, большевизм, фрейдизм («учение по преимуществу еврейское»), первый этап русской революции («еврейский век») и, наконец, само двадцатое столетие. Если какое-то из этих явлений кажется антисовременным или антимодернистским, это потому, что современное у евреев было неотделимо от древних и племенных особенностей¹. Кейт Браун, описывая приграничные «кресы», наоборот, говорит о мрачном однообразии современности, обусловленном искоренением «культурной мозаики», стиранием прошлого отдельных народов и местностей в ходе войны с отсталостью, включавшей в себя «вырывание отдельных людей, семей и групп населения из родной для них среды»².

Тем не менее представляется возможным выделить некоторые общие тенденции, характерные для первого поколения научных работ, использовавших концепцию модерности применительно к России и Советскому Союзу. В частности, многие из тех, кто впервые заговорил о модерности в контексте революционной России и СССР, чаще всего сосредоточивались на преобразовательных планах и процессах, в особенности на политике

¹ *Slezkine Yu.* The Jewish Century. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2004; спец. с. 1, 2, 44, 99, 175, 199, 240–241, 263. Цитаты даны по русскому переводу С.Б. Ильина: *Слэзкин Ю.* Эра Меркурия. Евреи в современном мире. М.: Новое литературное обозрение, 2007.

² *Brown K.* A Biography of No Place: From Ethnic Borderland to Soviet Heartland. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004. P. 2, 4.

государственного вмешательства, программах, сформулированных элитами, а также смещении породивших их исторических условий.

Эту множественность точек зрения на модерность и одновременно общность, пусть и расплывчатую, которые возникли как ответ на дилемму, связанную с переходом от «модернизации» к «модерности», легче понять вне российского контекста. В период между расцветом теории модернизации в 1950–1960-х годах и становлением менее телеологических и универсалистских подходов в 1990-х и 2000-х выявление общих, более или менее измеримых признаков модернизации (таких, как уровень индустриализации, грамотности, урбанизации и секуляризации) уступило место выявлению ряда абстрактных, онтологических, космологических изменений, связанных с наступлением модерности в разные эпохи и в разных странах. Среди них — бунт против традиции (изначально свойственный модернизму в искусстве); глубокие изменения в восприятии пространства и времени; формирование ключевой идеи — идеи общества, сопряженное с кристаллизацией гуманитарных наук; переосмысление и осознание возможности действия в эпоху секуляризации; наконец, сопутствующее им изобилие грандиозных замыслов по перекройке общества, культуры и человека.

Для послевоенной социологии модернизация по существу была синонимом вестернизации. В случае с современным пониманием модерности это необязательно так. Социолог Ш.Н. Эйзенштадт, один из главных поборников понятия множественных модерностей, писал о «культурной программе модерности», истоком которой является осознание независимости человека и которая поэтому порождает новую способность ставить под вопрос ключевые онтологические концепции, доминирующие в определенном обществе или цивилизации. Но поскольку эти цивилизации могут не относиться к западным, «одной из важнейших посылок термина „множественные модерности“ является то, что модерность и вестернизация не тождественны; западные варианты модерности не являются единственно возможными

или „подлинными“, хотя исторически первичны»¹. Представители первого поколения исследователей, в 1990-е и 2000-е годы писавшие о модерности на русской почве, волей-неволей стали участниками методологического движения в сторону «множественных модерностей», даже если Эйзенштадт и его концепция не привлекли их внимания.

У этого кажущегося парадокса две причины. Во-первых, делая эту концепцию плюралистичной, Эйзенштадт и его коллеги до некоторой степени подытоживали мысль о множественности исторических траекторий, содержащуюся во многих недавних работах о модерности. Во-вторых, постсоветский интерес к модерности в российском и советском контексте по своей природе требовал не ассоциировать модерность исключительно с либеральной демократией и рынком, самим по себе тесно связанным с историей Запада. Введение концепции модерности (и — по умолчанию — множественных путей к модерности) в поле российско-советской историографии означало, что исследователи, намеренно или нет, начали работать на трех макроуровнях анализа: родовом, нелиберальном и цивилизационном. С точки зрения родового анализа, если модерность не является исключительно продуктом Запада или либерализма — а это неизбежное следствие утверждения о модерности в России / СССР, — понятие модерности надо расширить в географическом и политическом плане, включив в него незападные и нелиберальные системы, однако сам факт причисления любого

¹ *Eisenstadt S.N. Multiple Modernities // Daedalus. 2000. Vol. 129. № 1. P. 1–29, цитата: P. 2–3.* На самом деле эта концепция нашла поддержку у социологов по всему миру и повлекла за собой критику «европоцентрических теорий модерности» (*Kaya I. Modernity, Openness, Interpretation: A Perspective on Multiple Modernities // Social Science Information. 2004. Vol. 43. № 1. P. 35–57*). О колониальных и незападных модерностях см.: *Chatterjee P. The Nation and Its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993; Chatterjee P. Omnibus. Oxford: Oxford University Press, 1999; Chakrabarty D. Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2000.*

подобного государства к модерным подразумевает наличие по крайней мере каких-то общих или взаимосвязанных свойств модерности, которые можно обнаружить во всех современных системах. Приверженцы нелиберального анализа полагают, что, коль скоро советский коммунизм расценивается как вариация на тему модерности, требуется объяснить, каким образом диктаторские и антилиберальные (а в случае СССР еще и нерыночные) системы могли при этом быть современными. Эта точка зрения вызвала особый интерес к литературе о националистической модерности и сформировала — поскольку речь шла о коммунизме — концепцию не родовой, а особой нелиберальной модерности, таким образом развернув по-новому классическую дискуссию о тоталитаризме. Цивилизационный тип анализа подразумевает, — если мы согласны, что модерности не просто переносятся с Запада в другие страны в своем первоначальном виде (то есть если мы принимаем утверждение об их множественности), — что Россия создала самобытную или в чем-то отличающуюся форму модерности. Эта самобытность должна вытекать либо из ее собственного долгого исторического пути (что снова вызывает в памяти тезис о преемственности или по крайней мере надежды переломного 1917 года), либо из ее коммунистической системы, что, в свою очередь, отсылает к концепции «сталинизма как цивилизации», если воспользоваться подзаголовком книги Стивена Коткина «Магнитная гора»¹. Таким образом, первичной волне научного интереса к модерности изначально сопутствовала определенная установка на непохожесть и самобытность на фоне общих критериев сравнения (и неотрадиционалисты тоже, как мы увидим, всегда могли бы прибегнуть к доводу, что неотрадиционализм — особая разновидность модерности, как бы они ни подчеркивали отличия советского строя). Однако настолько явной была эта первоначальная попытка при помощи модерности найти связь между Россией / СССР и другими странами, что

¹ *Kotkin S. Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization. Berkeley: University of California Press, 1995.*

интерес к частным аспектам модерности в данном контексте не получил развития в то время и большей частью остался скрытым от участников дискуссии.

Задача усложнялась за счет того, что эти три измерения, заложенные в первом поколении исследований модерности, включали в себя ряд теоретических и исторических переменных, что делало ее попросту неподъемной. Добавляет трудностей еще то обстоятельство, что недостаточно декларировать понятие единой *советской* модерности, поскольку сталинизм быстро эволюционировал по сравнению с некоторыми чертами революционного государства на раннем этапе и отверг либо перестроил наиболее утопичные (и, с точки зрения культурной интеллигенции, модернистские) проекты переделки человеческой природы и общества. В результате «модерная» школа стала удобной мишенью для справедливых замечаний относительно бесформенности и расплывчатости понятия модерности. По всей видимости, мало кто — если вообще кто-либо — сознавал, что решить эту дилемму и продвинуться в научном поиске можно, сосредоточившись именно на чертах развития России и СССР, которые могли бы быть названы одновременно современными и самобытными.

На самом деле некоторые историки из тех, кто первым заговорил о российской / советской модерности, одновременно с концепциями самобытности России / СССР разработали критерии сопоставления¹. Однако они сделали это, имея в виду определенную цель — и совершенно по-разному. Коцонис главной отличительной особенностью России считал устойчивость сословности и огромную степень обособленности крестьян, которой противостояли и в то же время способствовали даже сторонники модернизации; для Холквиста это большевистская

¹ Дэвид Хоффман в именной колонке «От редактора» в журнале *Russian Review* выразил надежду, что в области советской истории появится больше сопоставительных исследований, проливающих свет как на специфические, так и на более универсальные черты советской системы» (*Soviet History in Comparative Perspective // Russian Review*. Vol. 57. № 4. 1998. P. vii–viii).

идеология, определявшая, каким образом применялись современные практики, и диктовавшая продолжение мобилизации даже после катастрофы 1914–1921 годов; с точки зрения Коткина, здесь мы имеем дело с переизбытком модерности, поскольку отмена частной собственности и плановая экономика позволяли СССР с невиданным размахом претворять в реальность фордизм на производстве, хотя — история коварна — советская модель и устарела в послевоенную, постиндустриальную информационную эпоху¹. Однако вопрос остается открытым: каким образом тенденция помещать российскую / советскую модерность в контекст сравнения — что исключительно ново для области, где, как принято было считать, господствуют уникальность, отсталость и инаковость, — может помочь полноценно исследовать своеобразие России / СССР и их культурные отличия во всей многомерности? Коткин, Холквист, Коцонис, Хоффман и другие изначально сравнивали Россию / Советский Союз почти исключительно со странами Западной Европы². Конечно, в своих сравнениях они часто сосредотачиваются на тех современных чертах, которые историки усмотрели в нацистской Германии, долгое время воспринимавшейся как отклонение от модерности. Это обстоятельство, а также сам факт анализа модерности на российской / советской почве позволили «модерной» группе косвенным

¹ *Kotsonis Y.* Making Peasants Backward. Spec. p. 32, 185; *Kotkin S.* Modern Times. Spec. p. 118. Питер Холквист сделал заметный шаг к тому, чтобы переместить акцент на соотношение контекста (обстоятельств) и идеологии (намерения) в противовес трактовке, обособляющей идеологию как отдельный фактор (*Holquist P.* Violent Russia, Deadly Marxism? Russia in the Epoch of Violence, 1905–1921 // *Kritika*. 2003. Vol. 4. № 3. P. 627–652). В этой статье, а также в своей книге (*Making War, Forging Revolution: Russia's Continuum of Crisis, 1914–1921*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2003) он воздержался от открытой поддержки концепции модерности, очевидно, не без оснований полагая, что это отвлечет внимание от других доводов.

² *Hoffmann D.L.* Cultivating the Masses: Modern State Practices and Soviet Socialism, 1914–1939. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2011. В этой книге, анализируемой ниже, Хоффман в значительной мере отступает от своих предшествующих работ.

образом содействовать ослаблению концептуальных связей между модерностью и Западом, как мы видели в работе Эйзенштадта. Только у Коткина мы находим не-западное государство, часто оказывающееся в сопоставительном поле, — Японию. В 2010-х годах начались изменения и сложилось то, что можно было бы назвать вторым поколением изучения модерности¹.

Изначальная постсоветская одержимость модерностью также оставила после себя работы, уязвимые в том отношении, что они уделяли больше внимания дискурсу в противовес практике, государству, а не обществу, намерениям, а не результатам. Как писал Рональд Григор Суни в авторитетной «Кембриджской истории России» 2006 года: «Говоря схематично, сторонники модерности подчеркивали общность между Западом и Советским Союзом, а неотрадиционалистов восхищало то, что делало СССР самобытным. Модерность была направлена на ту область дискурса, в которой идеи прогресса и покорения природы вели к государственной политике, поддерживающей освоение и заимствование ценностей Просвещения. Неотрадиционализм скорее интересовался социальными практиками, вплоть до поведения обычных людей в повседневной жизни»². Иначе говоря, речь идет о том же разграничении, которое Фредерик Купер в колониальном контексте проводил между модерностью как условием и модерностью как позиционированием себя³.

¹ Например, Холквист высказал интригующую мысль, что стремление к очищению и преобразованию существующего социоэкономического порядка в России в 1914–1917 годах посредством мобилизации и продовольственных реформ аналогично попыткам Кемал-бея сделать экономическую жизнь «более турецкой» (*Holquist P. Making War. P. 35*). Первым обширным сопоставительным анализом России и Турции стала книга Авеля Рошвальда: *Roshwald A. Ethnic Nationalism and the Fall of Empires: Central Europe, Russia, and the Middle East, 1914–1923. London: Routledge, 2001*.

² *Suny R.G. Reading Russia and the Soviet Union in the Twentieth Century: How the 'West' Wrote History of the USSR // Cambridge History of Russia. Vol. 3: The Twentieth Century / ed. R.G. Suny. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. P. 5–66, цитата: P. 60.*

³ *Cooper F. Modernity. P. 114–115.*

Однако резкость, с какой Суни противопоставляет дискурс и поведение, государство и общество, представляется намеренно чрезмерным упрощением. В конце концов, такие исследователи, как Коткин и Холквист, подчеркивали свой интерес к практикам. Некоторые постсоветские приверженцы модерности не столько пренебрегали опытом социальной истории, сколько пытались преодолеть застывшую дихотомию государства и общества. Тем не менее Суни имел основания прийти к такому выводу, поскольку в постсоветской литературе о модерности внимание исследователей часто обращалось прежде всего на современные черты различных начинаний, которые по своей природе отвечали стремлениям элиты и которые, как правило, более очевидны, чем практические действия на нижнем уровне или более обширные модели культуры и мышления. Как создать систему, которая бы убедительно вместила в себя больше, чем государство, дискурс и идеологию?

Одна из особенностей советского коммунизма, отмеченная в числе прочих Коткином, состояла в том, что в некоторых отношениях большевистская революция *предвосхитила* отдельные черты модерности XX века, например меры социального обеспечения. Это революционное предвосхищение образует интересный контраст со значительным отставанием на первых этапах освоения западных моделей, которое описывает Марк Раефф, когда в XVIII веке при Петре Первом в Россию импортировались черты центральноевропейского камерализма XVII столетия. Как Раефф убедительно показал в своей работе, если проекты и модели были во многом сопоставимы, то «социоинституциональная матрица» модернизации в России существенно отличалась¹. Эта формулировка подразумевает, что *взаимодействие* политического и идеологического проектов в рамках этой матрицы

¹ *Raeff M.* The Well-Ordered Police State and the Development of Modernity in Seventeenth- and Eighteenth-Century Europe // *American Historical Review*. 1975. Vol. 80. № 5. P. 1221–1243, цитата: P. 1238. Однако Раеффа критиковали за то, что он больше внимания уделил теории камерализма, нежели практике, — см.:

также должно быть в центре внимания. Изначальная склонность сторонников модерности сосредоточиваться на проектах и программах оставила место для неотрадиционалистов, сделавших акцент на неожиданных последствиях — в данном случае «отступлениях» сталинской эпохи.

Необязательно соглашаться с ключевой мыслью именно неотрадиционалистской критики — что проекты большевиков, столкнувшись с российскими реалиями, претерпели неожиданные модификации, приведя к восстановлению особенностей традиционного общества, — чтобы понимать, что следует обдумать выводы, к которым ведет применение социоинституциональной матрицы Расффа к советской модерности. Необходимо разработать теорию модерности, сформировавшейся как результат сочетания и взаимодействия не просто современных, но откровенно антилиберальных, антибуржуазных, антикапиталистических революционных преобразований и общества, лишенного полноценных представлений о либерализме, капитализме или буржуазии. Как вестернизация России предшествовала аналогичным процессам в большей части не-западного мира, так и эти ранние антибуржуазные настроения можно сравнить со схожими явлениями в ряде неевропейских стран. Более того, как показано в работе Холквиста об эпохе тотальной войны и революции, принудительное навязывание антибуржуазных настроений в основном небуржуазному обществу не означает, что тезис об отсталости можно просто приложить к невежественным массам, крестьянам или кому-либо еще, которые после 1917 года и Гражданской войны большей частью уже не были вне сферы политики¹.

Для тех, кто занимался изучением советской и в особенности сталинской модерности, наилучшим пособием оказалась историческая литература о нацистской модерности. Однако не все осознавали, что использование подобного научного инструментария

Wakefield A. The Disordered Police State: German Cameralism as Science and Practice. Chicago: University of Chicago Press, 2009.

¹ *Holquist P.* Making War.

неизбежно ведет к противоречию, с которым раньше столкнулись специалисты по истории Германии и в силу которого модерность оказывается в одном ряду с разрушительными последствиями геноцида в рамках нелиберального или тоталитарного режима. На исследователей российской модерности, начавших изучать эту проблему в 1990-е годы, сильнее всего повлияла работа Зигмунта Баумана о модерности и Холокосте, в которой акцент делался на выстраивании этатистской системы и возделывании государственности¹. Однако ряд новых посылок, высказанных в 2000-х годах, сместил Освенцим с парадигматической позиции, отведенной ему в размышлениях Баумана о модерности. Последующая волна изучения совершенно иного «расстрельного Холокоста» на Восточном фронте, а также в отдельных местностях, таких как печально известная польская деревня Едвабне, в которых локальные, сельские проблемы переплетались с идеологическими соображениями, делает проницательный анализ Баумана достоянием прошлого в той же мере, что и работы тех, кто перенес его на советскую почву².

Специалистам по истории России, которые постоянно оказываются перед соблазном выборочных заимствований из немецкой историографии, нужен более обширный инструментарий. Теперь мы понимаем, что дискуссия о модерности на советской почве в первом поколении была отмечена удивительными

¹ *Bauman Z. Modernity and the Holocaust*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2000, orig. 1989. Сборник, в котором исследования России и Советского Союза помещены в контекст сравнения, отдал дань баумановскому «возделыванию государства» своим названием: *Weiner A. Landscaping the Human Garden: Twentieth-Century Population Management in a Comparative Perspective*. Stanford, CA: Stanford University Press, 2003. О «нелиберальной модерности» см.: *Weiner A. Landscaping the Human Garden*. P. 3. О «нелиберальной социалистической субъективности» см.: *Hellbeck J. Revolution on My Mind: Writing a Diary under Stalin*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2006. P. 9.

² Фраза позаимствована у Патрика Дебюа: *Debois P. The Holocaust by Bullets*. New York: St. Martin's Press, 2008; отсылка к книге Яна Гросса: *Gross J. Neighbors: The Destruction of the Jewish Community in Jedwabne, Poland*. New York: Penguin Books, 2002. См. также мой анализ критики Баумана Майклом Манном (ниже).

параллелями, а возможно, и непосредственным влиянием более ранних немецких споров об «особом пути» (*Sonderweg*). Среди историков Германии некоторые подчеркивали устойчивость предшествующих модерности черт (в то время как советские неотрадиционалисты, как мы позже увидим, постулировали их периодическое возрождение). Склонные к сопоставительному мышлению историки Германии возражали, что явления до-модерного периода существовали во многих обществах, и оспаривали модель единого Запада, опираясь на аргументы, аналогичные тем, что позже использовали приверженцы модерности на российской почве. Критикуя, как известно, тезис об «особом пути», Дэвид Блэкборн говорил о том, что следует «рассматривать историю Германии как нетипичную, но не единственную в своем роде», историю, терминологию которой почти дословно воспроизводили в литературе о модерности, недооценивая «особый путь» России¹.

Еще одно сходство: связь между Холокостом и модерностью оказалась сложным и весьма неоднозначным историографическим феноменом, предвосхитившим острые разногласия по поводу советской модерности. В конце 1980-х — начале 1990-х годов во многих немецких работах нацизм помещался в контекст модернизации. Например, Гёц Али и Сюзанна Хайм в своем исследовании подчеркнули экономические и демографические мотивы Холокоста, считая его движущими силами, таким образом, капиталистические рационализм и утилитаризм, на которых ранее делали акцент представители Франкфуртской школы. Известные критики этих доводов, в том числе Ханс Моммзен, в ответ — во многом подобно советологам-неотрадиционалистам — отрицали связь между режимом и модерностью, настаивая на том, что в данном случае мы имеем дело лишь с частичным или

¹ *Blackbourn D. The Discreet Charm of the Bourgeoisie: Reappraising German History in the Nineteenth Century // Blackbourn D., Eley G. The Peculiarities of German History: Bourgeois Society and Politics in Nineteenth-Century Germany. Oxford: Oxford University Press, 1984. P. 292.*

стратегическим вовлечением элементов модерности¹. В то время как отсылки к нацизму в дискуссии о советской модерности оказываются на первом плане, параллели с итальянским фашизмом по сей день остаются практически не изученными².

Те, кто впервые заговорил о сталинской модерности, не учитывали того обстоятельства, что высказанные ранее доводы относительно нацистской модерности были противоречивы и в определенном смысле критично трактовали современную цивилизацию, в которой оказались возможны чуждые разуму злодеяния. На самом деле отголоски критики современной цивилизации несложно найти и в советской историографии — начиная с мысли Коткина, сформулированной им в предисловии к знаменитой «Магнитной горе», об эпохе Просвещения и ее утопическом мировоззрении как ключевых для понимания сталинизма факторах и заканчивая связью, которую Хоффман усматривает между «ценностями сталинизма» и предшествующими им идеями Просвещения³. В этом плане, если чуть пристальнее приглядеться к некоторым фрагментам постсоветской литературы, нас подстерегает не выраженный напрямую политический итог, тот же, к которому в свое время вновь и вновь приходили немецкие критики нацистской модерности: если столь убийственный режим так тесно связан с типичными для современного Запада процессами, значит, сама по себе модерность отчасти ответственна за кошмары этого режима, а не просто варьируется и претерпевает какие-то модификации в зависимости от государственного строя или страны. Несмотря на заявленное Холквистом намерение

¹ *Aly G., Heim S. Vordenker der Vernichtung: Auschwitz und die deutschen Pläne für eine neue europäische Ordnung. Hamburg: Hoffmann und Campe, 1991.* См. анализ споров о модернизации и модерности в немецкой истории: *Kershaw I. The Nazi Dictatorship: Problems and Perspectives of Interpretation, 4th ed. London: Arnold, 2000. P. 161–182, 243–248.*

² См., например: *Ben-Ghiat R. Fascist Modernities: Italy 1922–1945. Berkeley: University of California Press, 2001.*

³ *Kotkin S. Magnetic Mountain. P. 6–9; Hoffmann D.L. Stalinist Values. P. 4, 7–8, 16, 18, 166, 187.*

«определить, что специфического было в том, как характерные для Европы в целом признаки сочетались именно в России», критиков задела заключительная фраза его знаменитой статьи: «В той мере, в какой Советская Россия представляет собой проблему, это проблема современного проекта как такового»¹.

Другие исследователи говорили не о параллелях между нелиберальными режимами, но о систематическом, угнетающем единообразии модерности независимо от политического или идеологического уклада. Кейт Браун, сравнивая современное «размеченное пространство» в жизни поселенцев Монтаны и советских ссыльных в карагандинском ГУЛАГе, писала, что «физический промышленный труд мало чем отличается при капитализме или при коммунизме, поскольку все тот же намеченный участок требует не только пространства, но и времени, производственного процесса и, следовательно, жизни... <...> В период с 1880 по 1900 год в Соединенных Штатах за работой умерло 700 тысяч рабочих... В период с 1934 по 1940 год 239 000 ссыльных погибло в советских трудовых лагерях»². Опять

¹ *Holquist P.* Information Is the Alpha and Omega of Our Work. P. 61. Последнее, но не предшествующее ему предложение цитирует Мэтью Лено: *Lenoe M.* Closer to the Masses: Stalinist Culture, Social Revolution, and Soviet Newspapers. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004. P. 11.

² *Brown K.* Gridded Lives: Why Kazakhstan and Montana Are Nearly the Same Place // *American Historical Review*. 2001. Vol. 106. № 1. P. 17–48, здесь: P. 65, 68. Цифры, которые приводит Браун, преуменьшены даже по сравнению с официальной статистикой смертности. Но, как отмечали некоторые исследователи, статистика смертности в лагерях искусственно поддерживалась на низком уровне либо посредством прямой фальсификации, либо за счет практики, которая изначально была введена в 1930 году в соответствии с указаниями из центра, применялась на протяжении многих лет и состояла в регулярном освобождении заключенных на пороге смерти. См.: *Khlevniuk O.* History of the Gulag: From Collectivization to the Great Terror / trans. Vadim Staklo. New Haven, CT: Yale University Press, 2004. P. 78; *Ellman M.* Soviet Repression Statistics: Some Comments // *Europe-Asia Studies*. 2002. Vol. 54. № 7. P. 1151–1172, spec. P. 1151–1153; *Alexopolous G.* Health, Medicine, and Mortality in Stalin's Gulag [доклад, представленный на Русском историческом семинаре в Вашингтоне 4 ноября 2011 года].

же, стремление классифицировать сталинизм как типичную модернность грозило заглушить возможные доводы в пользу специфически российской / советской или присущих нелиберальным режимам исторических траекторий.

Споры вокруг нацистской модерности оказались поучительны не только в том отношении, что дали основание обвинять современную цивилизацию, но и в том, что помогли приблизиться к пониманию модерности в немецком контексте. К более ранним работам по истории Германии относится сборник эссе И.К. Пойкерта об оценке современности Максом Вебером (более известный в английском переводе) — «Рождение „окончательного решения“ из духа науки»¹. Однако ранее в той же работе Пойкерт непосредственно обращается к концепции модерности, а также ее применимости к нацистскому режиму, высказывая мысль о двулкости современности. Рациональность была главной проблемой (*Grundproblem*) Нового времени, и в работах Вебера можно выделить по крайней мере четыре структурных элемента, определяющих облик современности: капиталистическая экономика и индустриальное классовое общество; рационально-бюрократический государственный порядок и социальное смещение; торжество науки и техники; наконец, рациональное и социально дисциплинированное устройство жизни. Но, как писал Пойкерт в своей критической статье, «любая современность, определенная исходя из произвольного сочетания этих признаков, может быть только противоречивой, поскольку обнаруживает непреодолимые разногласия». Двуликость модерности стала очевидна, когда в XX столетии на смену классической модерности пришли попытки преодолеть ее кризис, переживая ее и противостоя ей — от «Нового курса» до национал-социализма. Таким образом,

¹ Peukert J.K. The Genesis of the 'Final Solution' from the Spirit of Science // Nazism and German Society, 1933–1945 / ed. D.F. Crew. London: Routledge, 1994. P. 274–299. Оригинальное издание: Peukert J.K. Die Genesis der 'Endlösung' aus dem Geist der Wissenschaft // Max Weber Diagnose der Moderne. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1989. S. 102–121.

нацистскую антипросветительскую разновидность модерности породила двулика, противоречивая природа (*Janusköpfigkeit*) модерности как таковой¹. Петер Фрицше, продолжая и развивая мысль Пойкерта и Баумана, попытался переосмыслить «оценку фантастического видения национал-социалистов». Он сделал это, представив их не модернизаторами, а модернистами, превратившими «фрагментарность истории» в исходную посылку своих революционных расовых, политических и геополитических планов по перекраиванию тела нации (*Volkskörper*)².

«Социология модерности» Петера Вагнера, заметная работа по сопоставительной исторической социологии, дополняющая Пойкерта, несправедливо осталась незамеченной в области исследований о России, как и большая часть литературы о множественных модерностях. Вагнер в своей работе не только поместил коммунистическую модерность в более обширный контекст, но и подкрепил тезис Пойкерта о «двуликости», последовательно пройдя по этапам модерности в разных странах. Вагнер также воспринимал межвоенный период как общий кризис ограниченных разновидностей модерности, появившихся на протяжении долгого XIX века. Новая эпоха массовой мобилизации и коллективной политики была отмечена «продолжительной борьбой за реорганизацию общества», в ходе которой часто звучали предложения, нацеленные на «большую степень социальной упорядоченности, нежели предписывала какая-либо либеральная политическая или экономическая теория». Уже не прежний индивидуализм, а настойчивое вмешательство государства определяло весь спектр коммунистического, фашистского, социал-демократического и либерального проектов. Вагнер не преуменьшал кардинальных различий между ними, но отметил

¹ Peukert J.K. Max Weber Diagnose der Moderne. S. 64, 164. См. также книгу, посвященную Пойкерту: Bajohr F., Jobe W., Lohalm U. (eds.). Zivilisation und Barberei: Die widersprüchlichen Potentiale der Moderne. Hamburg: Christians Verlag, 1991.

² Fritzsche P. Nazi Modern // Modernism/Modernity. 1996. Vol. 3. № 1. P. 1–21.

их существенное идеологическое родство, обусловленное циркуляцией международных практик или влиянием специалистов, которые могли перемещаться между этими режимами или перестраиваться с одного на другой¹. Акцент Вагнера на этапах модерности вкупе со сформулированной Пойкертом концепцией кризисов, сменяющих друг друга и вызванных внутренними противоречиями, кажутся особенно актуальными, когда речь идет о сталинизме — который представляет собой ключевую проблему во всех интерпретациях советской модерности, а также о переходах от нэпа к сталинизму и от позднего сталинизма к оттепели, центральных для советской истории. Но, как можно догадаться из сказанного выше, отголоски этих убедительных размышлений о фазах модерности почти не слышны в советской историографии.

С этими идеями Пойкерта и Вагнера тесно связан главный парадокс модерности, представляющий особенно трудную задачу для историков, но, опять же, редко рассматриваемый в исторической литературе о России: многие наиболее современные по своей сути проекты направлены против недугов современности или, по выражению Маршалла Бермана, надеются «исцелить раны современности современностью более полной или глубокой». Быть поистине современным означает — цитируя афоризм Бермана — быть антисовременным². Лешек Колаковски в своем эссе «Современность на нескончаемом суде» указал, как часто исторические явления воплощают вместе и современность, и «сопротивление современности». Марксизм, писал он, комментируя пример Советского Союза, сочетал в себе стремление к рационализму и прикладным наукам с «тоской по архаичному

¹ *Wagner P. A Sociology of Modernity: Liberty and Discipline. London: Routledge, 1994. P. 62–67, цитата: P. 66. Развитие этой мысли в его же книге: Wagner P. Modernity: Understanding the Present. Cambridge: Polity Press, 2012.*

² *Berman M. All That Is Solid Melts into Air: The Experience of Modernity. New York: Penguin, 1988. P. 98, 14. См. более поздний и также двусторонний анализ модерности и модернизма в немецком контексте: Fritzsche P. Nazi Modern.*

обществу», в котором «обе системы ценностей сосуществовали бы и превратились в гармоничный сплав: современный завод и афинская агора должны были как-то слиться в единое целое»¹.

Учитывая разнообразные варианты модерности, ее этапы и противоречия, которые нельзя не иметь в виду при серьезном рассмотрении этого понятия, вдобавок к специфическим задачам российской и советской историографии, мы можем оценить ограниченность первых постсоветских трудов о модерности с их односторонним акцентом на сопоставимости моделей государственного контроля. Разумеется, государство остается главным средоточием советских современных проектов (и снова мы наблюдаем параллели с двойственно воспринимающей модернизацию царской аристократией с ее периодическими попытками проводить реформы сверху), но об этом следует помнить, не забывая обо всем остальном². В этом плане существует методологический риск попросту проигнорировать более общие, не относящиеся к государственному контролю черты модерности и посвященную им теоретическую литературу либо по умолчанию отнести их к либеральной модерности. Я имею в виду не просто аспекты модерности, ассоциирующиеся с гражданским обществом и рынком, но также волну противостояния традиции, связанную с урбанизмом и модернизмом в искусстве и восходящую к XIX веку. Огромное множество застывших, категоричных, косных черт советского коммунизма (в особенности позднего сталинизма) вступали в противоречие с мощной волной, ассоциирующейся с модернизмом / модерностью. Маршалл Берман, первопроходец на этом пути, выступил за то, чтобы извлечь на поверхность, с одной стороны,

¹ *Kolakowski L. Modernity on Endless Trial // Modernity on Endless Trial. Chicago: University of Chicago Press, 1990, orig. 1986. P. 10.*

² Помимо Баумана, упомянутого выше, существенное влияние на советскую историографию оказал Джеймс Скотт, отождествивший «высокий модернизм» с режимами усиленного государственного контроля. См.: *Scott J.C. Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. New Haven, CT: Yale University Press, 1998.*

тщательно запечатанные элементы модернизации в политике и экономике, а с другой — «модернизм в искусстве, культуре и мировосприятии»¹.

Советская идеологическая государственность и неуклюжее переплетение идеологии с наукой, культурой и образованием создают особые проблемы, поскольку они сформировали способности к развитию, которые некоторым, как, например, историку Дэвиду Джоравски, кажутся антитезой фрагментарности и плюрализму высокой современной культуры — воспринимаясь как по сути антисовременные. Как пишет социолог Й.П. Арнасон, в целом убежденный сторонник коммунистической модерности: «Воздействие всеобъемлющей и сковывающей идеологии (даже если она никогда не проникала в общественное сознание так глубоко, как исторические религии) уменьшало роль рефлексии в социальной жизни: способность анализировать проблематичные аспекты и последствия сопряженных с модернизацией процессов оказалась подорвана исходными ограничениями»².

Можно предположить, что упоминаемая Арнасоном рефлексия — наряду со свободными от государственного вмешательства аспектами, такими как рыночная экономика и общество потребления, — просто не были ключевым или определяющим компонентом нелиберальной модерности или российской / советской

¹ *Berman M.* All That Is Solid Melts into Air: The Experience of Modernity. P. 88.

² *Joravsky D.* Cultural Revolution and the Fortress Mentality // *Bolshevik Culture: Experiment and Order in the Russian Revolution* / ed. A. Gleason et al. Bloomington: Indiana University Press, 1985; *Arnason J.P.* Communism and Modernity // *Daedalus*. Vol. 129. 2000. No. 1 (Winter): Multiple Modernities. P. 68. См. также: *Arnason J.P.* The Future That Failed: Origins and Destinies of the Soviet Model. London: Routledge, 1993. В то же время некоторые усматривают в произвольности и относительности советской идеологической системы не антимодернизм и не высокий модернизм, а ранний советский постмодернизм (см.: *Epstein M.* After the Future: The Paradoxes of Postmodernism and Contemporary Russian Culture / trans. Anesa Miller-Pogacar. Amherst: University of Massachusetts Press, 1995. P. 101, 194, 206). Это лишь подчеркивает, как сложно вписать советскую культурную и идеологическую систему в более широкий сопоставительный контекст.

цивилизации. Но тогда следует признать, что тенденция теории множественных модерностей исключать нежелательные черты модерности может сделать проблематичными встречающиеся в литературе отсылки к другим ее типичным особенностям. Одно из решений и ответ Арнасону — последовать логике Коткина: советская модерность в борьбе со своими конкурентами в конце концов обнаружила свою несостоятельность как альтернатива. По Коткину, в межвоенный период, в 1920-е и 1930-е годы, Советский Союз наряду с другими странами был в авангарде модерности, в чем-то даже предвосхищая ее движение; он остался позади, когда модерность, прежде всего в экономическом плане, после войны изменила свой вектор во всем мире, в результате чего многие части СССР превратились в отстающие. Коткин таким образом подчеркнул, что, хотя Советский Союз был модерным, речь в конечном счете шла о несостоявшейся модерности, и выводы из этого утверждения следует учитывать при дальнейшем анализе¹. Однако послевоенный анализ сталинской реконструкции должен сопровождаться намного более систематическим анализом хрущевской оттепели, которую во многих отношениях можно считать апофеозом советского строя. Ученые обратились к тому же вопросу, которым они уже долгое время занимались в контексте поиска повода к революционной катастрофе 1917 года, соотнося внезапный конец системы с ее способностью к эволюции и объединению².

¹ Размышления Коткина о фордизме в «Новых временах» — один из немногих примеров непосредственного обращения к экономическому аспекту модерности в современной постсоветской литературе. Подробнее о том, как заимствованный фордизм был выборочно адаптирован и преобразован, превратившись в нечто совершенно новое, см.: *Cohen Y. Circulatory Localities: The Example of Stalinism in the 1930s* // *Kritika*. 2010. Vol. 11. № 1. P. 11–45.

² См. в особенности: *Bittner S.V. A Negentropic Society? Wartime and Postwar Soviet History* // *Kritika*. 2013. Vol. 14. № 3. P. 599–619, — где автор утверждает, «что послевоенный и постсталинский периоды отнюдь не были просто временем разрухи и упадка» (619).

В написанной им биографии Сталина Коткин развивает свою точку зрения на модернность как на международное соревнование. Анализируя ситуацию в царской России позднего периода, он пишет: «То, что мы называем модернностью, не было чем-то естественным или самоочевидным. Она предполагала приобретение труднодостижимых качеств: массового производства, массовой культуры, массовой политики, — присущих великим державам. Эти государства, в свою очередь, толкали другие страны к достижению модерности — или к последствиям неспособности ее достичь, вплоть до поражения в войне и риска колониального завоевания. <...> Иными словами, модернность являлась не социологическим процессом — переходом от „традиционного“ общества к „современному“, — а геополитическим: государство либо приобретало качества, необходимые для того, чтобы вступить в ряд великих держав, либо оказывалось их жертвой»¹. Таким образом, переводя модернность из области социологии в область геополитики, подразумевающей необходимость держаться вровень с великими соседями, Коткин привлекает столь необходимое внимание к процессам постоянного перенятия чужого опыта, происходившим поверх границ. Но в духе эпохи социального дарвинизма, который он сейчас изучает, или в духе знаменитой речи Сталина 1931 года о необходимости догнать Запад Коткин изображает эти процессы упрощенно: достичь современных (прежде всего экономических, технологических, военных и в особенности политических) показателей или потерпеть крах. Однако учитывая, сколько политиков, исследователей, консультантов и специалистов заняты изучением зарубежных моделей, их освоением и массовым внедрением в общество на стадии модернизации, проблематика модерности в международном контексте достаточно сложна, чтобы обеспечить работой на ближайшие тридцать лет целую армию историков по

¹ *Kotkin S. Stalin, I: Paradoxes of Power, 1878–1928. New York: Penguin, 2014. P. 62–63.*

всему миру. К тому же неясно, как одни государства принуждали другие строить массовую культуру — последнюю и наиболее обделенную вниманием составляющую триады Коткина, — особенно если учесть, как часто элита презирала или избегала ее¹.

Анна Крылова, анализируя тезисы Коткина, обращается непосредственно к его утверждению, что советский вариант модерности остался далеко позади на фоне других стран, когда Сталин вернул послевоенную экономику к довоенным показателям. Крылова возражает Коткину, который, на ее взгляд, нарисовал полноценную картину застоя, хотя он высказал свои мысли относительно послевоенного периода скорее в виде предполагаемого вывода. Важнее, однако, что Крылова оспаривает концепцию несостоявшейся, альтернативной советской модерности, намечая собственную модель, состоящую из двух периодов, которые она называет большевистским и советским и переходным временем между которыми — временем долгих, неравномерных изменений — оказываются 1930-е годы. Постбольшевистская советская версия модерности сформировалась как «урбанистический социалистический тип под влиянием среднего класса», отмеченный индивидуалистическими чертами, в отличие от более раннего коллективизма. Советское общество и его язык, в противовес советской экономике, скорее развивались, чем возвращались к привычным схемам 1930-х годов; послевоенные десятилетия стали временем, когда «современный обособленный и сосредоточенный на себе индивид», как и в других местах, превратился в «массовое социальное явление». Рассуждая таким образом, Крылова полагает, что понятию революционной большевистской альтернативы и, шире, концепции множественных модерностей должно прийти на

¹ Массовая культура отсутствует в изначальном описании Коткиным «яростного геополитического состязания» (Stalin, I: 4–5). См. также важное утверждение: «Из всех промахов российского самодержавия в плане модерности ни один не был таким существенным, как несостоятельность авторитарной массовой политики» (130).

смену представление о «неравномерном развитии» Советского Союза, «на самом деле включавшем в себя различные идеи и практики модерности»¹.

Важно, что Крылова не упоминает 1991 год и конец советского социализма. Также следует отметить, что холодная война, совпадающая по времени с переменами, которые она описывает, была как раз тем периодом, когда многие развивающиеся страны стали относиться к коммунизму как к одной из моделей развития или альтернативному пути к модернизации². Однако ясно, что в намеченной ею системе коллективистская, большевистская форма модерности тоже потерпела поражение как альтернатива, пусть и намного раньше. Ведь если большевистский этап постепенно и неравномерно в различных областях вытеснялся советской модерностью, которая, как считает Крылова, не расходилась с ситуацией других индустриальных обществ, тогда в чем мы должны видеть оригинальную проблему, кроме несостоявшейся альтернативы? Что бы мы ни думали о предложенной Крыловой последней вариации на тему «общей модерности», ясно одно: то почти исключительное внимание, которое первое поколение занимавшихся модерностью исследователей уделяло сталинской эпохе, должно остаться в прошлом³.

¹ *Krylova A. Soviet Modernity: Stephen Kotkin and the Bolshevik Predicament // Contemporary European History. 2014. Vol. 23. № 2. P. 167–192, цитаты: P. 185, 186, 187, 191.*

² *Westad O.A. The Global Cold War: Third World Interventions and the Making of Our Times. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. P. 3; о советской модели, воспринимаемой в других странах как одна из двух главных «альтернативных модерностей» и особая «дорога к высокой модерности», см.: P. 17, 25, 92, 172, 397 и в других местах. О «регулярной исключительности» как элементе определения социалистического государства см.: *Péteri G. The Occident Within — or the Drive for Exceptionalism and Modernity // Kritika. 2008. Vol. 9. № 4. P. 929–937.**

³ Эту точку зрения высказывает и Штефан Плаггенборг: *Plaggenborg S. Schweigen ist Gold: Die Moderntheorie und der Kommunismus // Osteuropa. 2013. Vol. 63. Nos. 5–6. S. 76.*

Подведем итоги: первая волна интереса к модерности в российской и советской историографии 1990-х и 2000-х годов вскопала и столкнулась с рядом непростых проблем — и в то же время некоторых проблем избегала. Если говорить о первых, то прежде всего возникла необходимость отделить модерность от либерального Запада, опираясь при этом на литературу, где модерность рассматривалась именно в таком контексте; стало необходимо установить общие аспекты российской / советской модерности, не забывая о ее особом историческом развитии. Что касается второй категории, постсоветские исследователи уделяли недостаточно внимания этапам модерности и ее проблемам и редко извлекали пользу из концепций множественной или несостоявшейся модерности (в последнем случае — за исключением Коткина). Это не самые простые темы: например, концепция модерности Эйзенштадта, построенная на материале незападных цивилизаций, представляет собой двойную сложность для российской историографии, где, несомненно, так и не настанет согласие относительно того, насколько Россия была близка или чужда Западу еще до того, как Советский Союз попытался его перегнать. Но в результате того, что эти вопросы остаются без внимания, возникает историческая тавтология: одни черты России или СССР, аналогичные тем, что мы видим в других современных обществах, служат доказательством модерности, а отсутствие других расценивается просто как признак собственного пути к особой форме модерности.

Из этой теоретической ловушки есть выход. Если исследователи будут исходить из осознания того, что модерности могут быть множественными, нелиберальными и не-западными, внутренне противоречивыми, способными к эволюции и затрудненными кризисом, — принимая во внимание, что советскую модерность, в конечном счете, нельзя воспринимать как альтернативную, — откроется возможность свободно изучать одновременно частное и современное в контексте Советского Союза.

О НЕОТРАДИЦИОНАЛИЗМЕ И ТРАДИЦИИ

Исследования неотрадиционалистской направленности зародились непосредственно в споре с тезисом о модерности. Как отметила в 2000 году Фицпатрик, неотрадиционализм основан на некоторых работах чикагских ученых о традиционных аспектах советского строя, прежде всего самой Фицпатрик, акцентирующей внимание на протекции и блате в «Повседневном сталинизме» и в «Принадлежности к классу», своей ключевой статье о возникновении «сословий» в Советском Союзе. Двое студентов самой Фицпатрик, Мэтью Лено и Терри Мартин, наиболее активно внедряли концепцию неотрадиционализма в советскую историографию¹. Книга Лено «Ближе к массам», лучшая монография о мотивах и намерениях, обусловивших трансформацию печатных СМИ в межвоенный период, являла собой и наиболее развернутую неотрадиционалистскую аргументацию в контексте сталинизма. В центре этой работы, базирующейся на изучении архивных источников с точки зрения «сталинизации» советской прессы, находился период 1925–1932 годов. Эмпирическое исследование строилось вокруг создания кадров для новых форм так называемой «массовой журналистики» в условиях нэпа. Новая агитационная риторика, в основе которой лежали образы героического штурма, адресованные поколению юношей — потенциальных партийных работников, во время пятилетки распространилась, по сути, по всем печатным СМИ. Советские газеты, занятые нормированным распределением информации и нацеленные на то, чтобы мобилизовать партийные кадры для форсированной индустриализации страны, отказались от «массового просветительского проекта времен нэпа», целиком охватывающего народные массы, и тем более от ранних утопических целей создания Нового Человека. Поэтому Лено оставил без внимания государственные преобразовательные проекты, столь дорогие сторонникам модерности (или, как в случае со

¹ *Fitzpatrick Sh.* Introduction. P. 14 n. 29.

сталинской «перековкой», даже не обсуждал их). Вместо этого он утверждал, что, как показывает история советских газет, стратифицированное, ориентированное на подготовку кадров и статус советское общество уже сложилось в период раннего сталинизма, проложив путь к дальнейшим отступлениям в конце 1930-х годов¹. Хотя я не буду здесь останавливаться на эмпирических доводах Лено, следует отметить, что вопрос об отчетливой границе, которую он усмотрел между утопизмом времен нэпа и мобилизацией сталинской эпохи, остается открытым. В особенности это касается выводов Лено о полном отказе от формирования Нового Человека, основанных на рассмотрении относительно короткого хронологического периода (периода первого пятилетнего плана, когда на повестке дня оказалась жизнеспособность режима) и изучении газетных материалов, а не каких-то других направлений культуры (в особенности литературы и образования)².

Именно этот переход от утопизма нэпа к сталинской мобилизации Лено определил как исток неотрадиционализма. Прибегая к категориям Вебера, в рамках которых эта концепция развивалась в социологии 1980-х годов, Лено высказал мысль, что ранний советский режим был основан на «безликой харизме» партии, в отличие от рационально-правового порядка либерального Запада. При Сталине этот режим вылился в неотрадиционалистские формы государства и общества, а именно в «иерархическое общество, разделенное на некоторое число обладающих тем или иным социальным статусом групп или сословий»³.

Что характерно, свой упрек в адрес тезиса о модерности, который «скорее вводит в заблуждение, чем проясняет что-либо», Лено аргументировал исключительно различиями

¹ *Lenoe M. Closer to Masses*. См. также: *Lenoe M. In Defense of Timasheff's Great Retreat* // *Kritika*. 2004. Vol. 5. № 4. P. 721–730.

² Подробнее об этом см. в моей рецензии на книгу Лено «Ближе к массам»: *Journal of Cold War Studies*. 2007. Vol. 9. № 1. P. 161–164.

³ *Lenoe M. Closer to Masses*. P. 251.

между советским строем и западными либеральными демократиями, косвенно отрицая, хотя и неосознанно, возможность не-западных или множественных модерностей. Лено допускал, что в самом общем смысле советские газеты могли участвовать в массовой «коммуникативной революции», оперировавшей новыми формами и технологиями (тезис, развиваемый Коткиным в «Новых временах», которые Лено не упоминает), но полагал, что на международном фоне агитпроп и советские газеты оставались уникальным феноменом. Таким образом, наиболее значительным шагом Лено в сопоставительном плане было то, что он подчеркнул различие между советским агитпропом и современной ему североамериканской «наукой» о связях с общественностью¹. Как писал Лено: «Постмодернистские заявления о господстве дискурса и микропрактик власти над личностью и миром послужили поводом для недавних теорий, согласно которым Советский Союз, Российская империя и „западные“, либеральные демократии имеют или имели между собой нечто общее, называемое „модерностью“, из чего, в свою очередь, делалось множество искаженных выводов. Приверженцы „общей модерности“ утверждают, что различия между ленинским и либерально-демократическим режимами в формах собственности, степени принуждения и политическом устройстве не так важны, как кажется»².

Таким образом, отрицание модерности у Лено было ответом на косвенные сравнения между либерализмом и коммунизмом. Для него «советская модерность» означала общую с Западом модерность. Из трех элементов, на которых изначально строилась в научной литературе дискуссия о российской / советской модерности и которые перечислены здесь, он взялся оспаривать общую, или родовую, модерность, игнорируя возможность двух других типов — нелиберального современного строя или особого российского / советского пути к модерности. Кроме того, как

¹ Ibid. P. 5–7, 247.

² Ibid. P. 4–5.

видно из приведенной цитаты, Лено ставил в вину сторонникам модерности близость к постмодернизму. Постмодернизм, широко обсуждаемый в период своего расцвета в 1990-е годы (в том числе и теми, кто скептически относился к этому термину или явлению), действительно оказал влияние на представления о модернизме и модерности¹. Однако между осознанием этой связи и утверждением, что работы Коткина, Холквиста, Коцониса, в разной степени подвергшихся влиянию Фуко, тоже были постмодернистскими, существует огромная разница. Говоря более широко, литература о модерности с самого начала вбирала в себя множество направлений истории и социальных наук, не связанных с дискурс-анализом или постструктурализмом². Объясняя, почему он предпочитает называть советский строй не современным, а неотрадиционалистским, Лено заявил, что советская система представляла собой «полноценную альтернативу модерности богатых либеральных капиталистических стран» с «особым путем развития индустриальной модерности»³. Хотя Лено в данном случае подтверждает, что отождествляет модерность с западной либеральной демократией и рыночной экономикой, фраза об особом пути с таким же успехом могла быть написана поборником концепции множественных модерностей.

Подобные пробелы в рассуждениях Лено легче понять, если мы вспомним, что теоретической почвой, на которой вырос неотрадиционализм Лено и Мартина, была социология 1980-х годов. Оба ссылались на написанное в 1983 году эссе Кена Йовитта как источник своей концепции неотрадиционализма и обращения к категориям Вебера для осмысления советского правопорядка. В этой работе Йовитт анализировал «поразительное сочетание харизматических, традиционных и современных черт в советских

¹ См., например: *Hutcheon L. (ed.). A Postmodern Reader*. Albany: State University of New York Press, 1993. Part 1 ('Modern / Postmodern').

² Например, Фицпатрик отметила влияние социологии на сторонников модерности, которое едва ли можно назвать постмодернистским, включая Норберта Элиаса и Джеймса Скотта (Introduction. P. 8).

³ *Lenoe M. Closer to Masses*. P. 253.

учреждениях». Он полагал, что «элементы модерности» были «неотъемлемой составляющей» коммунистических режимов, но их положение в этом сочетании наделило «советскую политику / экономику» совершенно «новым качеством». Йовитт в 1983 году возражал в первую очередь тем, кто «ошибочно считал Советский Союз просто разновидностью западной модерности», критикуя прежде всего сторонников теории конвергенции. Элементы модерности — под которыми он подразумевал «секулярные, эмпирические, индивидуальные» векторы и практики — не были чужды советскому коммунизму, но подчинялись «харизматическим и традиционным» особенностям уникальной системы. Иными словами, для Йовитта модерность означала рациональную, светскую и безличную рыночную систему, нечто, что в контексте «безличной / индивидуализированной предсказуемости и стандартизации рыночной экономики и избирательной политики» воспринималось как противоположность индивидуалистичной советской экономики и политических отношений¹. Для Йовитта советский неотрадиционализм подразумевал избирательное и частичное усвоение современных (западных) элементов.

Наиболее существенной работой из тех, на которые опирались Лено и Мартин, было исследование китайской промышленности Эндрю Уолдера, «Коммунистический неотрадиционализм», представляющее несколько иной взгляд на сочетание традиционного и современного в коммунизме, но выросшее из размышлений над теоретическими проблемами, сходными с теми, которые занимают Йовитта. Во вступительной главе, посвященной неотрадиционализму, Уолдер обосновал эту концепцию, ссылаясь на необходимость признать «особое социальное устройство современного коммунизма», для которого характерна «богатая

¹ Jowitt K. Neo-Traditionalism // New World Disorder: The Leninist Extinction. Berkeley: University of California Press, 1992. P. 121–158, цитаты: P. 123, 124–125, 125–126, 128, 131. Это эссе первоначально было опубликовано в издании: Soviet Studies. 1983. Vol. 35. № 3. P. 275–297.

культура инструментально-личных» и покровительственно-зависимых связей, нужных для обхода формальных установлений относительно жилья и торговли. Он подчеркнул (как сделали и Мартин с Лено), что неотрадиционализм не означает «несовременный»; основываясь на работах о модернизации, написанных в конце 1960-х годов, он — в отличие от Йовитта — усмотрел в них отсутствие единого представления о модерности. Причина, по которой наименование «традиционализм» закрепилось за своеобразным устройством коммунистического общества, кроется скорее в западной социологии, которая использует понятие «традиционный», чтобы обозначить зависимость, почтительность и самобытность в противовес безличным, договорным и универсальным формам власти. Таким образом, неотрадиционализм Уолдера, обладавший чертами, которые принято считать предвестниками модерности, был одновременно современным и уникальным. Главная цель Уолдера заключалась в том, чтобы отграничить неотрадиционализм от теории тоталитаризма (то есть показать, что отношения протекции и зависимости были важнее террора) и плюралистических теорий / теорий групп интересов 1960–1970-х годов (согласно данной модели, коммунистические институты сами формировали социальную структуру, а не наоборот). Уолдер, вероятно, показался специалистам по истории Советского Союза особенно убедительным тем, что делал акцент на реальном положении вещей на практике, а не на официальных сведениях, внося свой вклад в дискуссию о словах и действительности, планах и незапланированных последствиях, которые остаются ключевой темой советской историографии.

Проводя границу между своей моделью и современными ей тенденциями — теориями тоталитаризма и групп интересов, — Уолдер также стремился прежде всего опровергнуть теорию конвергенции: «Предполагается ли измерить эту конвергенцию в среде, где соседствуют своеобразное и универсальное, данность и достижение, традиция и модерность или же тоталитаризм и плюрализм, попытка определить степень различия обречена на неудачу. Ни одно из этих понятий не может служить для

адекватного описания социальной структуры современного коммунизма»¹. Резкую критику Уолдером этих основных бинарных оппозиций, в особенности противопоставления традиционного модерному, стоило бы внимательнее прочесть его позднейшим неотрадиционалистским последователям, однако следует подчеркнуть, что работы как Йовитта, так и Уолдера предшествовали развитию концепции множественных модерностей в социальной теории и концепции нелиберальных модерностей в исторической науке. И Йовитт, и Уолдер оспаривали социологические теории, сглаживающие различия между коммунизмом и другими типами устройства общества, однако акцент на различии исторических траекторий и систем стал неотъемлемым элементом более поздних концепций.

Йовитт и Уолдер расходились и друг с другом. По Йовитту, элементы модерности подчинялись однозначно немодерной, традиционной системе, создавая резкую, отчетливую границу между традиционным и модерным, положение которой разные историки могли определять по-разному. С точки зрения Уолдера, форма, составленная из элементов, которые в социологии считались традиционными или модерными, сама могла быть современной — только она была своеобразной и уникальной.

Таким образом, Йовитт и Уолдер оказались замешаны в спор, участники которого считали их сторонниками самобытности и уникальности коммунизма. Лено и Мартину, писавшим свои работы двадцатью годами позже, а также всем, кого продолжает привлекать концепция неотрадиционализма, следовало бы задуматься о том, что ни различия, ни смешение современного и традиционного не являются недопустимыми в рамках теории множественных или альтернативных модерностей. На самом деле можно с легкостью утверждать, что все современные системы переживали сосуществование и конфликт с сохраняющимися домодерными или традиционными практиками. Кроме того, в начале этого рассуждения

¹ *Walder A.G. Communist Neo-Traditionalism: Work and Authority in Chinese Industry. Berkeley: University of California Press, 1986. Spec. P. 7–10.*

одно из направлений в существующей литературе о модерности в российской / советской историографии было названо цивилизационным; при этом подразумевается, что путь к модерности отчасти должен строиться в соответствии с характерными для России схемами или новой советской цивилизацией. По иронии судьбы, эта линия аргументации «модернистов» — то есть как раз та, которая в наибольшей степени приближается к неотрадиционализму с его акцентом на своеобразии, — осталась не замеченной как Лено, так и Мартином. Обратимся теперь к работе последнего, который в 2000 году заявил о превосходстве неотрадиционализма над модернизацией — не модерностями, множественными или какими-то еще — в своей известной статье «Модернизация или неотрадиционализм? Приобретенная национальность и советский примордиализм».

Основная цель проведенного Мартином анализа состояла в том, чтобы указать на роль непредвиденных последствий в повороте к этническому примордиализму, пришедшему на 1930-е годы. По его мысли, советский режим определял население в категориях национальности, чтобы подготовить почву для проведения политики коренизации в 1920-е годы; благодаря паспортам национальность превратилась в наследственную характеристику; наконец, массовая «материализация» категорий, которые теоретики режима первоначально считали искусственными конструктами, в 1930-е годы подлила масла в огонь жестокого государственного культа «народности». Непредсказуемые последствия переплелись с более обширными процессами в советском обществе¹. Мартин пришел к выводу, что стоящие за этой реконструкцией данные «определенно свидетельствуют в пользу неотрадиционалистской парадигмы». Под последней он

¹ *Martin T. Modernization or Neo-Traditionalism? Ascribed Nationality and Soviet Primordialism // Russian Modernity. P. 161–184* (также опубликовано в книге: *Fitzpatrick Sh. Stalinism*). Дальнейшее развитие эти положения получили в его подробном исследовании советской политики в национальном вопросе: *Martin T. The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923–1939. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2001.*

подразумевает «альтернативную форму модернизации, которая включает в себя процессы, наиболее типичные для модернизации под воздействием рынка (индустриализацию, урбанизацию, секуляризацию, всеобщее образование и насаждение грамотности), но которой при этом присущ ряд практик, обладающих поразительным сходством с характерными чертами традиционных домодерных обществ». Закончил статью Мартин часто цитируемой фразой: «Модернизация — это теория советских планов; неотрадиционализм — теория их незапланированных последствий»¹.

Три особенности этой аргументации обращают на себя внимание. Во-первых, для Мартина, как и для Лено, модерность была синонимом западной модели развития, и он не учитывал возможность нелиберальной или незападной модерности. Частые отсылки к модернизации под воздействием рынка, как в приведенном отрывке, заставляют задаться вопросом, не противопоставляет ли Мартин далее англо-американскую модель континентальной; государственное вмешательство в экономику необязательно должно быть связано со сталинизмом, Советским Союзом или Россией. Во-вторых, Мартин соотнес возвращение к изначальному пониманию русской национальности в 1930-е годы с «устойчивостью в коммунистических обществах традиционных домодерных практик», таких как иерархичность и личностные отношения. Мартин, как и Йовитт, считал преобладание социальных и этнических иерархий в противовес уравнивающему универсализму ключевым признаком традиционализма. Но можно ли говорить, что это явления одного порядка, если другие современные общества не чуждались этнического примордиализма? Или в этих обществах, которые Мартин счел бы подлинно современными, тоже был зазор между намерениями и действительностью? Учитывая сущность его доводов, удивительно, что он совсем не затронул дореволюционный период. Те, кто в первую очередь призывал обратить внимание на традиционные или домодерные элементы советского строя, совершенно

¹ *Martin T. Modernization or Neo-Traditionalism? P. 175, 176.*

не стремились изучать традицию — которая сама по себе, как и модернность, едва ли является однозначным, лаконично объяснимым и не вызывающим затруднений понятием¹.

На самом деле определение традиции остается одним из самых насущных вопросов для любой неотрадиционалистской теории. Барбара Уокер поставила под сомнение отсылку Терри Мартина к Уолдеру: «Неотрадиционализм, как его определил Уолдер, явно внеисторичен, он исключает какой-либо интерес к данной в реальности, локальной истории подобных „традиционных“ явлений»². Пренебрегая традицией в лице Российской империи до 1917 года, неотрадиционалисты лишают себя некоторых убедительных возможностей показать связь между советским периодом и более старыми моделями развития, как бы они в конечном счете ни назывались. В действительности именно то, что сторонники неотрадиционализма усмотрели в Советском Союзе межвоенного периода, — сочетание переплетающихся традиционных и современных элементов, или параллельное развитие различных политических и социальных форм, соотносящихся с несколькими историческими этапами, — породило некоторые из наиболее глубоких и выдающихся исторических трактовок царской и революционной России³.

Наконец, хотя, описывая «неотрадиционалистские» феномены, такие как навязанное самоопределение и личностные связи,

¹ См. об этом: *Brown K.* A Biography of No Place. P. 80.

² *Walker B. (Still)* Searching for a Soviet Society: Personalized Political and Economic Ties in Recent Soviet Historiography // Comparative Studies in Society and History. 2001. Vol. 43. № 4. P. 631–642, цитата: P. 634.

³ *Raeff M.* The Well-Ordered Police State; *Rieber A.* The Sedimentary Society // Between Tsar and People: Educated Society and the Quest for Public Identity in Late Imperial Russia / ed. E.W. Clowes, S.D. Kassow, J.L. West. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1991. P. 343–366; *Engelstein L.* Combined Underdevelopment: Discipline and the Law in Imperial and Soviet Russia // American Historical Review. 1993. Vol. 98. № 2. P. 338–353; а также Мартин Малиа об «ускоренном прохождении западного маршрута Россией» — см.: *Malia M.* Russia under Western Eyes: From the Bronze Horseman to the Lenin Mausoleum. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999. P. 207.

Мартин обозначил их как «домодерные», он в то же время стремился оспорить наличие у СССР ценностной преемственности по отношению к России, ссылаясь на предельно усиленный в Советском Союзе государственный контроль как причину возникновения этих феноменов¹. Поэтому Мартин так и не сделал выбора между Йовиттом и Уолдером: когда он пытался представить неотрадиционализм как лучшее определение советского строя, он (подобно Йовитту) сделал акцент на до-модерных чертах сталинизма; когда он хотел показать, что неотрадиционализм был не просто возвращением к российской традиции, он (как и Уолдер) повернул обратно и пришел к заключению, что и он был по-своему модерным. Модернизация под воздействием рынка, на фоне которой Мартин развернул свою аргументацию, не может противостоять тому возражению, что модерное, продиктованное государством воплощение традиционных элементов вписывается в концепцию множественных модерностей. Эта возможность тем более поражает, что не только этнический, но и расовый примордиализм — и, если говорить о нацизме, в том числе наиболее агрессивные формы навязывания расовых категорий, — преобладал в модерной политике межвоенного периода.

ПЕРЕКЛИЧКИ И СХОДСТВА

Столкновение между концепциями модерности и неотрадиционализма в середине 2000-х годов осложнялось нерешенными вопросами и проблемами с обеих сторон. Попробуем теперь проанализировать и рассмотреть эти два направления в совокупности. Из уже сказанного можно сделать вывод, что они действительно исходили из общих предпосылок: сторонники обеих точек зрения были согласны с тем, что в советской системе в какой-то мере сочетались или перемешивались черты модерности и другие, расценивались ли эти последние как традиционные

¹ *Martin T. Modernization or Neo-Traditionalism? P. 163*

или самобытные, типично российские, специфически советские или нелиберальные. Ни одна из сторон не отрицала полностью ни своеобразных черт, ни возможных оснований для сравнения. И модернисты, и неотрадиционалисты старались защитить свои позиции, избегая того, чтобы окончательно примкнуть к одной из двух крайностей — универсализма или своеобразия. Исследователи, придерживающиеся концепции модерности, не забыли подчеркнуть конфликт между свободой и несвободой, значимость идеологии и другие отличающие советский строй особенности, в то время как неотрадиционалисты постарались показать, что отстаиваемые ими традиционные черты встраивались в модернизирующуюся (если не в современную) систему. Несмотря на это, столь же очевидно, что сохраняющиеся разногласия между этими двумя исследовательскими направлениями были разногласиями между сопоставимостью и уникальностью, универсализмом и своеобразием, различиями в степени и различиями в качестве. Возникает вопрос: если специфические, уникальные или традиционные черты можно рассматривать в рамках парадигмы, открыто признающей множественность модерностей — в отличие от первых постсоветских дискуссий о модерности, — где проходит грань, позволяющая отделить этот подход от базовой неотрадиционалистской посылки о смешении в Советском Союзе современного и традиционного?

Полезно поместить эти вопросы в более широкий историографический контекст, поскольку происшедшее в постсоветской науке разделение сместило специалистов по истории России / СССР с их прежде устойчивых позиций. Неотрадиционалистское направление, последователи которого сознательно руководствовались многими положениями трудов Фицпатрик, вобрало в себя многие элементы вдохновленного ею классического ревизионизма: восприятие незапланированных последствий, не предвиденных представителями власти, как наиболее значимых; акцент на разрыве преемственности между 1920-ми и 1930-ми годами и, по крайней мере в случае Лено, последовательное утверждение ключевой роли первой пятилетки. Однако именно сторонники этого

направления сочли необходимым отвергнуть общую для СССР и либерального Запада модерность, тогда как ревизионизм в свое время развивал универсалистские социологические концепции, например, концепцию восходящей мобильности, стремясь опровергнуть представления об уникальности тоталитаризма. Модерная группа с ее неослабевающим интересом к идеологическим и политическим аспектам истории XX века, наоборот, выросла из отрицания социальной истории 1970–1980-х годов. Приверженцы концепции модерности тоже по-своему отдавали дань своим предшественникам — теоретикам тоталитаризма, в частности, склонны были видеть скорее преемственность, чем разрыв между ленинским и сталинским периодами. Однако среди постсоветского поколения исследователей именно эта группа взялась опровергать упрочившиеся представления об уникальности советского строя, связанные с теорией тоталитаризма. Таковы были парадоксы историографической диалектики постсоветской эпохи.

Но чтобы осмыслить место спора между модерностью и нео-традиционализмом в российской историографии, нужна еще более широкая перспектива. Участники этого спора, возможно, даже осознавали, насколько глубоки были в поле их исследований корни разногласий между идеей уникальности России / СССР и предполагаемыми возможностями сравнения. Острый конфликт двух крайностей — своеобразия и универсализма — и колебания между ними были, как предположил Дэвид Энгерман в своей первой работе о раннем опыте изучения российской истории в США, обусловлены переходом от веры в национальный характер и географического эссенциализма, присущих большинству исследователей этой еще только формирующейся в конце XIX века области, через межвоенный период к зарождающемуся социологическому универсализму, который вступил в свои права после Второй мировой войны¹. В своей основной

¹ *Engerman D. Modernization from the Other Shore: American Intellectuals and the Romance of Russian Development. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2003.*

работе, посвященной изучению истории СССР в Соединенных Штатах после 1945 года, Энгерман подверг этот послевоенный универсализм более пристальному анализу, изобразив его на этот раз как часть растянувшейся на десятилетия полемики между универсалистскими теориями — системами, «слабость которых нередко заключалась в том, что они по умолчанию ориентировались на западные общества», — и еще не утратившими силы концепциями национального своеобразия. Как сказал Энгерман: «Противоречия между универсалистскими целями и национальным своеобразием так или иначе доминировали в исследованиях советской экономики, политики и общества»¹. Поэтому спор о модерности и неотрадиционализме продолжал основополагающее для этой области разделение.

Заслуживающей упоминания формой этого основополагающего разделения, которая ярко обрисована в работе Энгермана, является разрыв между социологами послевоенного периода, принимавшими участие в гарвардском проекте по изучению России, такими как Клод Клакхон, который поместил Советский Союз в современный индустриальный контекст вместе с западными обществами, и сторонниками школы тоталитаризма, яростно настаивавшими на отсутствии точек соприкосновения между коммунизмом и Западом. Как отмечает Энгерман, характерная для проекта «всеобъемлющая позиция, в свете которой СССР предстал как современное индустриальное государство, у которого было много общего с Западной Европой и Соединенными Штатами, получила некоторый резонанс в академической среде. Но она не стала пользоваться таким существенным авторитетом, тем более в такие короткие сроки, как книга Мерла Фейнсода „Как управляется Россия“ (1953), которая десятилетиями оставалась классической работой по советской политике»².

¹ *Engerman D. Know Your Enemy: The Rise and Fall of America's Soviet Experts.* New York: Oxford University Press, 2009. P. 6.

² *Ibid.* P. 68.

Кроме того, долговременное противоречие между сопоставимостью с Западом и незападным либо немодерным своеобразием было сопряжено с неоднозначностью, итог которой, как мы видели, тоже был подведен в 2000-е годы. Например, теоретики тоталитаризма настаивали на непримиримом конфликте между сталинизмом и Западом, но говорили об этом в контексте сравнения нацистского и советского режимов, прослеживая корни тоталитаризма глубоко в недрах европейской истории. Ревизионизм, как уже упоминалось, в свою очередь, усвоил некоторые социологические разработки относительно западных сообществ, стремясь косвенно оспорить многочисленные послышки теории тоталитаризма об отклонении от западных норм, однако теория «социального строения» ревизионистской школы — представители которой привыкли глубоко вникать в детали социальной структуры — в то же время часто придавала этому направлению внутренний, интерналистский и ориентированный на специфику характер. Если мы учтем это, нам станет понятно, как постсоветский спор о модерности и неотрадиционализме перестроил основные прежние расхождения в новом контексте. В то же время расстояния между группами, находящимися в оппозиции друг к другу на почве универсализма / своеобразия, продолжали уменьшаться на фоне более давних разделений. К 2000-м годам эти противоречия уже сводились скорее к расстановке акцентов и подразумеваемому несогласию в отношении некоторых ключевых понятий.

Вернемся теперь к вопросу о том, как подход, предполагаемый концепцией множественных модерностей, можно отличить от неотрадиционалистского положения о смешении традиционного и современного. Еще одно расхождение, обнаружившееся в ходе постсоветских дискуссий, выявляет суть проблемы: различие представлений о Западе и о пути к модерности. Противопоставляя советскую систему современному западному миру, неотрадиционалисты, по всей вероятности, пытались создать целостную (модерную) модель Запады или западной модернизации, на фоне которой можно было бы рассматривать Советский

Союз. Сторонники модерности (и, шире, все, кто открыто поддерживал теорию множественных модерностей), наоборот, по-видимому, сознавали, что архаичные черты присущи многим сообществам и что путь к модерности в дореволюционной России был извилистым, как и во многих частях Европы, не говоря уже об остальном мире. На самом деле представление о том, что традиционные практики и мышление глубоко укоренились в Европе XIX века — который обычно считают веком модернизации Запада, — не содержит в себе никакого противоречия с точки зрения, например, специалистов по социальной истории Европы или истории труда. Приверженцы модерности, расширив сопоставительный аспект и, в частности, указав на параллели с историей Германии, поставили под вопрос идею целостности Запада и доминирования в его рамках англо-американских моделей.

ОТГОЛОСКИ И ПЕРЕСТАНОВКИ

С тех пор как Мартин и Лено впервые сформулировали теорию неотрадиционализма, она успела оставить заметный след в своей области. Я вкратце проанализирую четыре типа реакции на эту теорию: использование ее в измененном виде; частичное принятие неотрадиционалистской критики концепции российской / советской модерности; полная поддержка концепции неотрадиционализма; возврат к более ранним представлениям о непрерывной в своей основе российской традиции.

Одна из самых значимых интерпретаций теории неотрадиционализма содержалась в работе британского историка Дэвида Пристланда о сталинской идеологии и «политике мобилизации», написанной в 2007 году. Проанализировав ход дискуссии между сторонниками модерности и приверженцами неотрадиционализма, Пристланд справедливо заключил, что доводы обеих сторон весомы, но обладают существенными изъянами. В частности, он указал на «в значительной мере вредоносное», идеологизированное игнорирование Большого террора как «имеющего

мало отношения к неотрадиционалистскому проекту, который изначально делал акцент на стабильности». В то же время Пристанд обоснованно возразил против того, чтобы проследить прямую связь между просветительской и большевистской модерностью, на которую в 1990-е годы указывали Коткин, Хоффман и другие (склонные при этом рассматривать Просвещение как единый феномен, вместо того чтобы говорить о множественных Просвещениях, как это характерно для многих специалистов по XVIII веку). Кроме того, акцент, который модернисты делали на просветительских истоках, не соответствовал ни «часто присущему сталинской эпохе стремлению ставить героизм выше научного рационализма», ни «преследованиям ученых-„вредителей“, защищавших науку от произвольных экспериментов»¹.

Вместо того чтобы поддерживать модерность или неотрадиционализм, Пристанд предпочел подчеркнуть противоречия внутри сталинизма. В его работе прослеживалась история столкновения между сторонниками ревизализма, придерживавшимися волюнтаристского или харизматического подхода, и их противниками — сторонниками научного, технического подхода к политике и экономике. Затем Пристанд отмечал: «К тому же... „неотрадиционалистская“ точка зрения зародилась в недрах большевизма, который в результате отступил от марксизма, отказавшись от цели преобразования общества в полностью равноправное». Ревизализм во многом привлекал и самого Сталина, который, однако, часто обращался и к техническому, и — иногда — иерархическому неотрадиционалистскому подходу, поскольку системы не выдержала бы постоянных революционных волнений².

Пристанд поместил неотрадиционализм в исторический контекст, увидев в нем лишь одно — едва ли преобладающее — направление в рамках сталинизма. В этом отношении он

¹ *Priestland D.* Stalinism and the Politics of Mobilization: Ideas, Power, and Terror in Inter-War Russia. Oxford: Oxford University Press, 2007. P. 14.

² *Ibid.* P. 37, 408.

оказался близок к тем, кто, как Дэвид Бранденбергер, прежде всего анализировал, как сталинизм намеренно вбирал в себя и развивал традиционные символы и иконографию. Бранденбергер так описывал эту перемену, происшедшую в конце 1930-х годов: «Сталин и его окружение выстраивали новую героическую линию, вдохновляясь именами и биографиями из русского национального прошлого. Эта русскоцентричная переработка „подходящего прошлого“, будучи чисто прагматическим решением, послужила эффективным дополнением к официальной советской идеологии, в котором не стоит видеть шага к подлинному национализму или фундаментального отступления от приверженности режиму марксизму-ленинизму»¹. Дэвид Хоффман также не видел противоречия между становлением современной модели массовой политики в 1930-е годы и практическим использованием традиции. В межвоенный период государства изобретали традиции, используя стимулирующий потенциал «традиционных призывов и символов», по его словам, «в ту же самую минуту, когда новый рационализм разрушал традиции. <...> В особенности это касалось фашистских режимов, но демократические и социалистические государства также прибегали к откровенно антисовременным темам (народность, чистота сельской жизни, традиционная семья)»².

В работе Пристанда содержалось еще одно важное рассуждение касательно советской истории. Пристанд отверг представление о «единой идеологической системе, какой якобы являлся „большевизм“ или „сталинизм“». Описанное им зигзагообразное, эволюционное развитие сталинской политики в 1930-е годы

¹ *Brandenberger D. 'Simplistic, Pseudo-Social Racism': Ideological Debates within Stalin's Creative Intelligentsia, 1936–1939 // Kritika. 2012. Vol. 13. № 2. P. 365–393, цитата: P. 367–368.* Бранденбергер ссылается на расширенное использование традиционных символов: *Hobsbawm E., Ranger T. (eds.). The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.* См. также: *Platt K.M.F., Brandenberger D. (eds.). Epic Revisionism: Russian History and Literature as Stalinist Propaganda. Madison: University of Wisconsin Press, 2006.*

² *Hoffmann D. Stalinist Values. P. 247.*

с ее колебаниями между разными тактиками в стремлении добиться невозможного, наоборот, показывало, что «нам не стоит считать внутренне единой идеологию или политическую культуру, которой руководствовались большевики, принимая решения»¹. Пристланд, таким образом, высказался в поддержку все более популярной точки зрения на сталинизм как на сложное, а не единое целостное явление.

Второй тип реакции — принятие элементов неотрадиционалистской критики модерности при несогласии с самой концепцией — принадлежит Рональду Григору Суни, чей более ранний критический анализ теории модерности мы уже рассматривали. Суни никогда не принимал концепцию неотрадиционализма, но у него вызвала возражения как расплывчатость современного подхода, так и односторонние выводы из него историков. Как он писал в своей опубликованной в 2007 году статье, «модерность — на редкость емкий термин, которым, по-видимому, можно объяснить все, от прав человека до Холокоста». Доводы Суни против концепции советской модерности были как методологическими, так и политическими. Если говорить о первых, то подчеркивание темной стороны Просвещения в постсоветских исследованиях модерности, скорее всего, мешало увидеть возможный прогресс и, таким образом, с его точки зрения, подсказывало консервативные выводы. Это возражение, по-видимому, было направлено против столь модного в 1990-е годы несогласия с духом Просвещения, который при этом (как уже говорилось) имел мало общего с реальными исследованиями XVIII века. Методологическое возражение Суни против использования концепции модерности в историографии представляется мне более серьезным, и оспорить его труднее. По его словам, «специалисты

¹ *Priestland D. Stalinism and the Politics of Mobilization. P. 16. См. другую точку зрения на противоречия и отсутствие единства внутри сталинизма: David-Fox M. Showcasing the Great Experiment: Cultural Diplomacy and Western Visitors to the Soviet Union, 1921–1941. New York: Oxford University Press, 2011. Chap. 8 & epilogue; Krylova A. Soviet Women in Combat: A History of Violence on the Eastern Front. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.*

по советской истории, стремящиеся „восстановить в правах идеологию“, вносят существенный вклад в объяснение советской практики, но модерность — понятие столь широкое, что, если не выделить какие-то конкретные элементы и не продемонстрировать причинные связи, оно может скорее вводить в заблуждение, чем объяснять».

Если бы замечания Суни касались только широты и возможных политических коннотаций понятия модерности, на них было бы легко ответить: многие ключевые термины истории и социологии оказываются неуловимыми, сложными и политизированными, но они так важны, что игнорировать их невозможно. Однако возражение Суни в данном случае было направлено главным образом против применения концепции модерности историками-советологами. Он едко заметил, что попытка использовать модерность как «мотив действия» или объяснительный фактор исторического развития была одним из недостатков постсоветской историографии. Суни предложил, вместо того чтобы прибегать к модерности для объяснения хода событий или сущности системы, воспринимать ее как «контекст, условия, в которых одни идеи, стремления и практики с большей вероятностью находят поддержку, нежели другие»¹. Поэтому Суни выступил не столько в поддержку неотрадиционализма или против теории модерности, сколько с тем, чтобы обоснованно предостеречь против превращения модерности как таковой в ключевой движущий фактор советской истории.

В период с середины 2000-х по начало 2010-х годов интерес к явно неотрадиционалистским теориям в советской историографии пошел на убыль. Однако разногласия между исследователями, описанные в этой главе, сохранялись и получали неожиданное развитие. Авторы работ о сталинской эпохе по-прежнему делились на тех, кто включал Советский Союз в число модерных

¹ *Suny R.G. On Ideology, Subjectivity, and Modernity: Disparate Thoughts about Doing Soviet History // Russian History / Histoire russe. 2007. Vol. 34. № 1–4. P. 1–9, цитата: P. 9.*

государств XX века, и тех, кто, вслед за неотрадиционалистами, акцентировал внимание на господстве в советской реальности бессистемной и зависящей от личностных факторов практики вместо всеобъемлющей теории, — позиция, которую можно было бы назвать латентным неотрадиционализмом. Отчасти в этом расхождении повторялось разделение на исследователей, в большей степени ориентированных на теорию и сопоставительный анализ, и эмпириков. Но споры о проблеме советской модерности как таковой утихли, а привлекающий все более пристальное внимание историков период оттепели, казалось, не давал повода для дискуссии о советской модерности. По крайней мере, как значимая проблема она не воспринималась. Возможно, потому, что урбанизированную, индустриальную ядерную сверхдержаву с растущим интересом к культуре потребления трудно было назвать традиционной, но также потому, что историки постсталинской эпохи не затрагивали в своих работах некоторых существенных вопросов о советском пути развития, которые изначально поднимались в литературе межвоенного периода.

Реже случалось, что отдельные авторы открыто высказывались в поддержку концепции неотрадиционализма в противовес модерности. Один из найденных мной примеров такого рода — впечатляющее диссертационное исследование Уилсона Т. Белла о ГУЛАГе и принудительном труде в Западной Сибири. Опровергая иллюзию модернизированного, бюрократического устройства ГУЛАГа, создаваемую документами, Белл обратился к личностным отношениям и неформальным практикам, бытовавшим в западносибирских лагерях, как доказательству неотрадиционализма советского строя. В разделе, где он оспаривал тезис о модерности, Белл выразил несогласие с работами Фуко и Баумана о тюрьмах и лагерях в применении к советской системе. Фуко, как вслед за Яном Плампером обоснованно заметил Белл, высказывался о ГУЛАГе неоднозначно¹. Более того, кошмарная бюрократическая эффективность «возделывания

¹ *Plamper J. Foucault's Gulag // Kritika. 2002. Vol. 3. № 2. P. 255–280.*

государства» у Баумана едва ли соотносилась с порочностью и намеренной непродуктивностью лагерной бюрократии. На самом деле, по мысли Белла, бюрократизация и канцелярские правила отнюдь не способствовали централизации системы, а скорее укрепляли неформальные практики. Поэтому «концепция „неотрадиционализма“ — модернизации с сохранением и усилением некоторых до-модерных практик — описывает ГУЛАГ точнее, чем „модерность“»¹.

Здесь мы наблюдаем, с одной стороны, глубокий след, оставленный спорами историков в 1990-е и 2000-е годы, а с другой — сохраняющееся влияние дихотомии намерения и исполнения. Белл сосредоточился именно на Фуко и Баумане, поскольку они размышляли на тему лагерей, но также потому, что в 1990-е годы работы о модерности изобиловали ссылками на них. Хотя каждый из выдвинутых Беллом тезисов убедителен и интересен, отрицание им модерности в целом исходя из анализа воззрений этих двух теоретиков является редукционизмом. Учитывая, что Белл, объясняя, почему в ГУЛАГе не было модерности, делает акцент на бессмысленности канцелярской работы, а также на примитивных инструментах и условиях труда, особенно интересна критика Баумана Майклом Манном в его «Темной стороне демократии». Манн, как и Бауман, говорит о нацистских лагерях смерти: «В документах *намеренно* использовались слова, никак не связанные с убийством, чтобы скрыть массовое уничтожение. В большинстве лагерей смерти не было ни бюрократии, ни бесстрастия. Правда, что Германия была развитой страной с действительно сильным правительством и очень сильной армией... Однако коллаборационисты из других стран, румынские и хорватские фашисты, использовали примитивные технологии с почти таким же разрушительным результатом. <...> Каждая группа преступников использовала наивысший доступный ей уровень модерности и технологий.

¹ Bell W.T. The Gulag and Soviet Society in Western Siberia. PhD diss., University of Toronto, 2011. P. 114–125, цитата: P. 124.

Это единственное рациональное зерно в доводах Баумана и Фейнгольда, и весьма банальное»¹.

По словам Манна, новые работы о Холокосте на Востоке превосходили литературу о фабриках смерти, поскольку там нацистские убийства были далеки от бюрократии и высоких технологий. Манн настойчиво утверждает, что элементы модерности, присущие нацизму и Холокосту, заключались в чем-то другом: в массовом движении с его «дисциплиной, товарищескими отношениями и карьеризмом», подкрепляемыми общей идеологией². Критику Манна в адрес предложенного Бауманом подхода к модерности, в которой на первом плане оказываются идеология и мировоззрение, а не технологии и бюрократия, особенно полезно прочесть изучающим сталинизм. К тому же ни один анализ модерности ГУЛАГа не может обойтись без выявления в нем черт, отличающих его, например, от дореволюционной пенитенциарной системы (которая в других аспектах осталась прежней), таких как систематическое применение медицинских критериев, позволяющее максимально использовать человеческое тело³. Также здесь, если смотреть шире, уместна разработанная Тариком Сирилом Амаром концепция специфически советского варианта модерности — который оставался таким сильным, обширным и массовым в течение долгого времени именно потому, что был таким неповоротливым и неэффективным, подвергаясь нападкам со всех сторон⁴.

Разумеется, обсуждать модерность или неотрадиционализм нацистского геноцида и принудительного труда в сталинских лагерях или делать выводы о каждой из этих систем в целом, судя

¹ *Mann M. The Dark Side of Democracy: Explaining Ethnic Cleansing. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. P. 141, о работе Генри Л. Фейнгольда.*

² *Mann M. The Dark Side of Democracy. P. 278.*

³ В этой связи см.: *Alexopoulos G. Illness and Inhumanity in Stalin's Gulag. New Haven, CT: Yale University Press, 2017; Alexopoulos G. Destructive-Labor Camps: Rethinking Solzhenitsyn's Play on Words // Kritika. 2015. Vol. 16. № 3. P. 499–526.*

⁴ *Amar T.C. The Paradox of Ukrainian Lviv: A Borderland City between Stalinists, Nazis, and Nationalists. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2015.*

по ее частям, как бы они ни были значительны, само по себе проблематично. Но, как бы то ни было, разрыв между намерениями и их исполнением в Советском Союзе — который в свое время подчеркивали Фицпатрик, Мартин и Суни и который произвел впечатление и на других исследователей — остается основной проблемой историков-советологов. Здесь одной из наиболее глубоких работ об оппозиции планирования и практики можно назвать статью Линн Виолы о депортациях эпохи коллективизации, опубликованную в журнале *Kritika*. Как показывает Виола, до абсурда детальное централизованное планирование на бумаге в СССР этого периода на деле шло рука об руку с невероятным хаосом и небрежностью. Однако основной вывод Виолы заключался в том, что «представления о контроле и рациональном порядке, спроецированные на царящий в России хаос урбанистическим правительством, которое было настроено на перемены», соответствовали тому, что Джеймс Скотт назвал высоким модернизмом, носители которого склонны были рассматривать навязываемую государством рациональность в эстетических категориях. Подводя значимый итог, Виола отметила, что у сталинской эстетики планирования «было намного больше общего с социалистическим реализмом, чем с „научной“ социальной инженерией; более того, переизбыток планирования и реальный беспорядок скорее поддерживали, чем опровергали друг друга, поскольку оба были „типичны для попыток советского государства обуздать свою бюрократическую систему на пути к социализму“». Продолжая эту тему в своей комментарии к статье, Питер Холквист высказал мысль, что «между утопическим планированием и беспорядочным осуществлением существовала не только пропасть, но и сущностная взаимосвязь». Намерения и результаты виделись Холквисту как компоненты диалектики: ненависть к отсталости и безоглядная вера в государственную мощь неизбежно вели к провалу грандиозных планов, причину которого искали не в самом подходе, а в неподчинении и отсталости, — круг замыкался. В заключение Холквист писал: «Здесь мы наблюдаем, по всей видимости, не столько динамику, присущую именно

сталинизму, сколько исторически специфическое и многократно отмечавшееся возобновление „постоянного условия“ российской истории, если воспользоваться понятием Альфреда Рибера: иллюзии, что воздействие государства может служить инструментом преобразования инертного российского общества, и последующей неудачи, когда российское общество оказывалось совершенно нечувствительно к такому преобразовательному воздействию»¹. Исследовательница, которая так блестяще проанализировала зазор между планированием и практикой, сослалась на высокий модернизм; сторонник модернистской концепции, в свою очередь, указал на устойчивую для России ситуацию.

Если спор между модерностью и неотрадиционализмом способствует решению какой-то насущной проблемы, то за счет того, что побуждает выйти за пределы теоретических концепций, разграничивающих намерения и последствия, идеи и обстоятельства, политические программы и социальную реальность, верхи и низы. Лишь изучение их взаимосвязи может вывести историков из тупика, в который их завела постсоветская дискуссия.

Наконец, все более очевидное укрепление авторитарной власти Владимира Путина в Российской Федерации в 2010-е годы, по-видимому, породило теории, объясняющие преемственность между дореволюционной Россией, Советским Союзом и постсоветской Россией. Как мы уже видели, работы, написанные в русле современной и неотрадиционалистской тенденций, отчасти перекликались: представители обоих направлений сходились на том, что многие черты советского периода были новаторскими и современными. Ни в том, ни в другом подходе на первом плане не оказались старейшие, освященные веками тезисы об отсталости

¹ Viola L. The Aesthetic of Stalinist Planning and the World of the Special Villages // *Kritika*. 2003. Vol. 4. № 1. P. 101–128; Holquist P. New Terrains and New Chronologies: The Interwar Period through the Lens of Population Politics // *Kritika*. 2003. Vol. 4. № 1. P. 163–175, где автор ссылается на Альфреда Рибера: Rieber A.J. Persistent Factors in Russian Foreign Policy: An Interpretive Essay // *Imperial Russian Foreign Policy* / ed. H. Ragsdale. Washington, DC: Woodrow Wilson Center Press, 1993. P. 322.

России. Здесь возможны изменения, поскольку теории о вечно отсталой и деспотической России оказываются соблазнительны не только для журналистов, прибегающих к ним для большей эффектности, но также для историков и других ученых-гуманитариев, которые привыкли — или должны были привыкнуть — считать умение видеть разницу от эпохи к эпохе своим основным профессиональным инструментом.

Этот шаг назад, или — назовем его так — реверсионизм, хорошо замечен в работе Арча Гетти «Сталинизм на практике: большевики, бояре и устойчивость традиции». Здесь путинская клановая политика постоянно фигурирует в контексте тысячелетней, непрерывной в своей сути политической культуры, в которой сближаются практики бояр и комиссаров. В рамках этой точки зрения российская и советская история составляют часть единого потока, а события давнего прошлого России изображены в параллели к событиям как советского периода, так и постсоветского настоящего. При чтении вводной главы создается впечатление, что Гетти ассоциирует себя с неотрадиционалистами, о концепции которых отзываясь одобрительно. Однако в этой работе, более обширной по замыслу, прослеживается качественно более непосредственная преемственность между тем, что постоянно называется «старой Россией» (страна до 1917 года, с почти исключительным вниманием к периоду Московского княжества), и советской / постсоветской эпохой. Поэтому большевики, какими бы ни были их планы и их идеология, волей-неволей вернулись к «древним» и «архаичным» практикам патримониализма, заложенным в политической культуре царской России¹.

¹ *Getty A.J. Practising Stalinism: Bolsheviks, Boyars, and the Persistence of Tradition. New Haven, CT: Yale University Press, 2013*; эти два понятия фигурируют в особенности на страницах 2, 3, 8, 9, 11, 18, 33, 44, 68, 69, 70, 72, 75, 79, 86, 279. Описывая спор между сторонниками модерности и неотрадиционализма, Шейла Фицпатрик указывала на роль личных связей в сталинизме, называя отношения зависимости и покровительства, а также блат «архаизирующими», но Гетти, говоря об их «архаичности», идет дальше. См.: *Fitzpatrick Sh. Introduction. P. 11*.

Если неотрадиционалисты в начале 2000-х быстро отмахнулись от изучения самой традиции, Гетти начинает с того места, где они остановились, и обращает свои усилия на заполнение лакуны — анализ всей российской истории до и после сталинской эпохи.

Гетти в своей работе часто обращается к другому автору, утверждавшему непрерывность преемственности в России, а именно Эдварду Кинану и его знаменитой статье «Московитские политические традиции»¹. Эти теории часто подвергались критике за свою неспособность указать конкретные причинно-следственные механизмы, в силу которых модели, присущие Московской Руси, вновь проявились в советский период. Гетти не решает этой проблемы, по большей части оставляя без внимания преобразование имперского периода, от Петра Великого до 1917 года, когда, по его словам, «мало что менялось»². И Гетти в своем анализе действительно придает мало значения каким-либо историческим изменениям, хотя книга полна оговорок и противоречий. Таким образом, место концепции неотрадиционализма, подразумевающей осовремененное или новое («нео») обращение к традиции, в работе Гетти заступила отсылка к российской традиции в целом³. Ни 1917, ни 1937 год не принесли

¹ Keenan E. Muscovite Political Folkways // Russian Review. 1986. Vol. 45. № 2. P. 115–181.

² Getty A.J. Practising Stalinism. P. 91. Более сложный анализ преемственности между Московской Русью и Советским Союзом находим в работе Олега Хархордина: Kharkhordin O. The Collective and the Individual in Russia: A Study of Practices. Berkeley: University of California Press, 1999, — которая подверглась критике именно из-за своей неспособности объяснить механизмы преемственности от эпохи к эпохе. Ранее в ответ на статью Кинана «Московитские политические традиции» Ричард Уортман обозначил две проблемы: уже устаревшее понимание Кинаном «политической культуры» и игнорирование многих изменений имперского периода: 'Muscovite Political Folkways' and the Problem of Russian Political Culture // Russian Review. 1987. Vol. 46. № 2. P. 191–197. Тридцатью годами позже Гетти снова поднимает обе проблемы. См. мой собственный отзыв на работу Гетти: Slavic Review. 2014. Vol. 73. № 3. P. 635–638.

³ В своей рецензии на книгу Гетти Шейла Фицпатрик заявила: «Мне близки его аргументы [относительно того, что большевики оказались „втянуты“

существенных изменений: «Другого способа править Россией никогда не существовало, и, по некотором размышлении, в самом деле было бы удивительно, если бы Сталин мог вытеснить тысячелетний опыт правления, просто убив всех, кто на тот момент занимал какие-то ответственные посты... Именно так всегда и управлялась Россия»¹.

Вместо того чтобы изображать модернность как незавершенную, включающую в себя различные стадии, отмеченную кризисными моментами, отчасти вобравшую в себя элементы прошлого, протекающую в разных странах разными темпами — какой она предстает в этой главе и во всей этой книге, — Гетти возвращается к простой бинарной оппозиции современного и архаичного. Это разделение на черное и белое основано на поразительно буквалистской трактовке идеальных типов Вебера, как будто бы все модерное в государственной системе можно назвать «рационально-бюрократическим», а все ранее существовавшее было личностным, традиционным и клановым.

Но это упрощенное противопоставление грешит вопиющими изъянами элементарной логики. Например, коль скоро российский патримониализм восходит к древним и устаревшим традициям, в которых заключается его своеобразие или отсталость, он предположительно отличается от рационально-бюрократической модерности, которая локализуется где-то еще. Возможен ли он на

в „глубинные структуры“ российской истории] и вытекающая из них склонность не воспринимать всерьез официальную идеологию, но Гетти перегибает палку» (*Fitzpatrick Sh. Whose Person Is He? // London Review of Books. 2014. Vol. 36. № 6*). Нельзя не отметить поразительного сходства с более ранней ситуацией в исторической науке 1986 года, когда Фицпатрик дистанцировалась от «младотурецких» ревизионистов — в том числе и молодого Дж. Арча Гетти, — которые доводили до крайности ее собственный ревизионистский акцент на социальных изменениях «снизу». См.: *Fitzpatrick Sh. New Perspectives on Stalinism // Russian Review. 1986. Vol. 45. № 4. P. 357–373, spec. P. 371–372*, а также: *Fitzpatrick Sh. Afterward: Revisionism Revisited // Russian Review. 1986. Vol. 45. № 4. P. 409–413*.

¹ *Getty A.J. Practising Stalinism. P. 267, 268.*

Западе? Здесь обнаруживается почти полное отсутствие сопоставительного плана в избранном Гетти походе. Рассуждения о нацистской модерности были бы уместны в контексте лично окрашенного феномена «работы для фюрера» или территорий под властью нацистской империи, однако никаких намеков на Гитлера в тексте нет¹. Вместо этого мы узнаем, что «неформальные личные договоренности», сходные с теми, что были характерны для сталинского режима, распространены и в современных государствах. Причудливый парадокс заключается в том, что одной из ключевых аналогий в книге оказывается параллель между Сталиным и британским премьер-министром Маргарет Тэтчер. По словам Гетти, если говорить о личном вмешательстве Тэтчер в работу кабинета министров, «вполне можно было бы заменить „миссис Тэтчер“ на „Сталин“»². Вероятно, Железную леди, как и Человека из стали, сформировала архаичная, идущая из древности русская традиция.

К НОВОЙ ДИСКУССИИ

Учитывая переход Гетти от неотрадиционализма к уверенно утверждающему преемственность тезису о российском патрионизме, можно сказать, что открылся новый этап спора о модерности в России и Советском Союзе. Но в другом, более многообещающем и интеллектуально продуктивном отношении новая эпоха тоже уже началась. Впечатляющее развитие транснациональной истории за годы с момента возникновения неотрадиционализма, а также исследования взаимодействий страны с другими государствами в различные периоды предоставляют

¹ Эту концепцию в область истории национал-социализма впервые ввел Ян Кершоу: *Kershaw I. 'Working toward the Führer': Reflections on the Nature of the Hitler Dictatorship // Contemporary European History. 1993. Vol. 2. № 2. P. 103–118*, — разработав ее более полно в своей двухтомной биографии Гитлера, переизданной в одном томе как: *Hitler: A Biography. New York: W.W. Norton, 2008*.

² *Getty A.J. Practising Stalinism. P. 117.*

ряд возможностей для исследования. Всеобщий курс на транснациональный диалог может пролить свет на заимствования в рамках международной системы — явление, которое можно было бы назвать переплетенными модерностями.

Изучение заимствований, неприятий и адаптаций подтверждает необходимость сопоставительных исследований, как видно из первого полноценного сопоставительного труда по советской истории «Взрачивание масс» Дэвида Л. Хоффмана. Эта книга важна для данной дискуссии еще в двух отношениях. Во-первых, ее основная мысль состоит в том, что «воспитательная» (в противовес биологической) мотивация русской интеллигенции во многих областях, которые так и хочется назвать традиционными, сыграла существенную роль в формировании советского варианта модерности. Это косвенно подразумевает альтернативу неотрадиционализму с его парадоксальной и упорной сосредоточенностью исключительно на коммунистическом периоде. Во-вторых, Хоффман предлагает более гибкое восприятие советской модерности как незападной и в то же время сопоставимой и своеобразной, широко используя для этого литературу о множественных модерностях¹.

Во многих отношениях этот прорыв не решает наших проблем, а лишь создает новые. Наиболее значительные задачи отсылают к вечным вопросам, но теперь они соединяют — и таким образом преодолевают — противостояния и крайности, определявшие расстановку акцентов в этом исследовательском поле. Одна из таких задач заключается в том, чтобы уловить конкретную связь между спецификой (различием) и универсализмом (сопоставимостью). Вторая — в том, чтобы, наблюдая процесс становления цивилизации и траекторию развития, проследить общность между моделями российской и советской истории, не преуменьшая отличия и нововведения. Третья — в том, чтобы проводить сравнение различных форм модерности, не жертвуя возможностью полноценно оговорить разницу между ними.

¹ *Hoffmann D.L. Cultivating the Masses.*

К НОВОЙ ДИСКУССИИ

Система, учитывающая все эти проблемы, подходила бы для разных стран и была бы сравнительно полной в плане географии и хронологии. Модерность как таковая в ней уже не выступала бы в качестве причины чего угодно. Она открыла бы потенциальные возможности для исследования, а не стала бы его конечным пунктом.

2. ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ, МАССЫ И ЗАПАД ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ / СОВЕТСКОЙ МОДЕРНОСТИ

В XX веке миллионы людей видели в советском коммунизме грозного противника или модель быстрого развития, если не возможного будущего человечества. Однако среди историков, изучавших коммунизм уже после его крушения, понятию модерности в российском и советском контексте пришлось бороться за существование под тяжким бременем скептицизма. Давняя традиция размышлять об отклонениях России от западного пути развития в терминах отсталости определила многие подходы к пониманию сначала русской революции, а затем и поражений коммунизма. Эта традиция прочно укоренилась задолго до того, как социальные теоретики стали рассматривать советский коммунизм как разновидность высокого модернизма или как один из вариантов в рамках теории множественных модерностей. Анализ модерности в Российской империи и Советском Союзе остается вдвойне затруднительным именно потому, что оба режима кончили свои дни на свалке истории.

Начиная этот разговор, мы исходим из того, что отличительные особенности России / Советского Союза не сводятся лишь к откровенно неудачной попытке стать современным государством. Наоборот, наиболее специфические, характерные именно

для российской и советской истории черты должны стать ключевыми, если мы говорим о модерности в таком контексте, как раз потому, что речь идет о специфическом и самобытном варианте модерности. Тем не менее признаем, что многие обстоятельства, не в последнюю очередь два развала государства в 1917 и 1991 годах, делают более чем уместным вопрос о том, что было не так с этим вариантом модерности, пусть мы и считаем его таковым.

Эта глава представляет собой синтетический, аналитический обзор, функция которого состоит не в детальном изложении эмпирических находок, а в том, чтобы стимулировать исследования российской и советской модерности поверх границы 1917 года. В ней утверждается, что один из наиболее плодотворных подходов к парадоксам российской / советской модерности — одновременно во многом схожей с тем, что мы наблюдаем в других странах, и поразительным образом уникальной, мощным двигателем, способствующим расцвету социалистической супердержавы, и в конечном счете впечатляющим провалом, — заключается в изучении культурных и цивилизационных особенностей, которое лежит в основе теории множественных модерностей. Поэтому в центре этого анализа российской / советской модерности (у которого, разумеется, могут быть другие важные аспекты) — интеллигенция и попытки государства достичь модерности посредством культуры и просвещения. В первую очередь наше внимание будет сосредоточено на отношениях между интеллигенцией и государством с одной стороны и массовой культурой — с другой¹. Если говорить коротко, суть моих доводов состоит в том, что в этих отношениях раскрывается одна из главных особенностей российско-советской модерности

¹ В этой главе под «массовой культурой» понимается как новая коммерческая культура (в противовес народной или популярной культуре), бурный расцвет которой пришелся на конец XIX столетия, так и — в советскую эпоху — политизированная, широко распространяемая культурная продукция, предназначенная для масс.

или, если хотите, сформировавшие ее специфические культурные модели. Все эти модели родились в результате соединения давних традиций иницилируемых государством преобразований и попыток ориентированных на Запад представителей элиты преодолеть отсталость России, и все они строились на насаждении просвещения сверху и поисках альтернатив этому рынку.

Внутригосударственная цивилизационная миссия сыграла такую существенную роль в политике и культуре модернизированной России и СССР, поскольку радикальное воздействие на массы оппозиционной интеллигенции ставило сложную, казавшуюся насущной задачу их преобразования. В пору рождения массовой культуры в XIX веке этот мощный порыв был продиктован поразительным единодушием относительно пагубных последствий коммерциализации — и все так же мотивирован неизбежным сравнением с Западом. Просветительская кампания интеллигенции могла сопровождаться усилием сдержать глубоко укоренившиеся традиции авторитарной государственной власти, но при старом режиме осуществить это в полной мере было невозможно; лишь после большевистской революции, лидеры которой принадлежали к радикальному крылу интеллигенции, просветительская антирыночная кампания набрала всю силу революционной диктатуры. Чтобы подчеркнуть двойственную природу происшедших в итоге изменений, я назвал получившееся смешение российского и советского интеллигентско-этактистской модерностью.

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕЛЛИГЕНТСКО-ЭТАТИСТСКОЙ МОДЕРНОСТИ

Когда Энтони Гидденс, побужденный дискуссиями о постмодернизме, выступил с дающими богатую пищу для размышлений лекциями о модерности, которые оказали значительное влияние на последующие суждения на эту тему, ключевую роль в его интерпретации играли становление капитализма и национальное

государство. Гидденс совершенно недвусмысленно заявил, что западными являются не только истоки модерности, но и сама ее природа. В то же время глобализация современного должна была способствовать постижению модерности — он не уточнил, когда именно, — посредством стратегий и концепций, сформировавшихся не в западной среде. Не уточняя, как сталинизм мог быть современным вне капитализма или национального государства, Гидденс высказал мысль, что пример Советского Союза показывает, как «тоталитарные возможности содержатся в институциональной структуре модерности, а не вытесняются ею»¹.

Опираясь на анализ Гидденсом модерности как обоюдоострого меча, источника возможностей и в то же время сдерживающего фактора, Петер Вагнер утверждал, что предпосылка о радикальном отличии «воспрепятствовала тому, чтобы увидеть черты сходства между индустриальными обществами Востока и Запада в XX веке... Сторонники таких подходов по большей части однозначно помещали [государственный] социализм за рамками „либеральных“ традиций, превращая его в антипода либеральной модерности». По мысли Вагнера, дело не просто в том, что социалистические идеи составляли непосредственную часть современной традиции и стремления преодолеть присущее XIX столетию ограниченное устройство модерности. Коммунистические практики, нося на себе отпечаток характерной для межвоенного периода в целом попытки создать новые формы коллективной политики, скорее следовали модели «организованной модерности», нежели «не-, до- или даже антимодерного социального образования»². Однако восприятие Вагнером коммунизма было основано в основном на Германской Демократической Республике (ГДР), а использованное им понятие

¹ *Giddens A.* The Consequences of Modernity. Stanford, CA: Stanford University Press, 1990. P. 8, 174–176.

² *Wagner P.* A Sociology of Modernity: Liberty and Discipline. London: Routledge, 2004. P. 66, 101. «Организованная модерность» Вагнера восходит к термину Хильфердинга «организованный капитализм» (68, 211, сноска 45).

организованной модерности обозначало скорее свойственную XX веку в целом реакцию на кризис довоенной либеральной модерности, чем какой-то культурно специфический вариант. Как значимость модернизации дореволюционной России, так и особенности российско-советских исторических траекторий остались за рамками его кругозора.

Когда в 1990-х и 2000-х годах некоторые специалисты по истории России поставили перед собой задачу разработать концепции российской и советской модерности, на первом плане для них оказалось не изучение истоков и особенностей конкретной разновидности модерности, а стремление убедительно продемонстрировать, что Россию / СССР можно считать современным государством. Учитывая это побуждение, логичным и неминуемым образом внимание ученых сосредоточилось на централизованном, проводящем политику вмешательства государстве — на чем-то непохожем на капитализм или национальную государственность, на том, чего Российская империя и Советский Союз не были лишены, но чем, напротив, обладали в избытке. Под влиянием работ Фуко, которое историки испытывали в 1990-е годы, появилась новая волна работ о власти и знании, прежде всего — о профессионалах и специалистах, ключевой области, в отношении которой Россия также была скорее в числе лидеров, чем отстающих. Как писал Янни Коцонис: «Вместо того чтобы высчитывать, чего не удалось достичь, и делать вывод, что Россия была в меньшей степени современной, важно иметь в виду, что исторические акторы рассуждали в терминах модерности, поэтому и должны рассматриваться в этих категориях»¹. Поэтому дискуссии о российской и советской модерности преимущественно строились вокруг сопоставимых элементов, а не характерных особенностей советской системы, весьма существенно отличавшейся от других

¹ *Kotsonis Y. Introduction: A Modern Paradox — Subjects and Citizen in Nineteenth- and Twentieth Century Russia // Russian Modernity: Politics, Knowledge, Practices / ed. Y. Kotsonis, D.L. Hoffmann. New York: St. Martin's, 2000. P. 1–16, цитата: P. 3.*

модерных государств. Стремление сосредоточиться на своеобразии Российской империи или СССР напоминало прежнюю, не подразумевавшую сравнения установку, когда акцент делался на отсутствовавших у России качествах. Значимые работы, посвященные не просто идеям, но практикам модерности, пролили свет на политическое принуждение, революционную массовую политику и социально-идеологическую инженерию¹. Сноски в трудах по советской истории оказались заполнены отсылками к Зигмунту Бауману, размышлявшему о связи между модерностью и Холокостом, и Джеймсу Скотту, теоретику государств высокого модернизма². Стивен Коткин пошел еще дальше, заявив, что переизбыток практического модернизма — сам размах советского производственного фордизма и, если говорить шире, другие черты, из которых складывалась попытка сталинской эпохи прыгнуть выше либеральной модерности, — оказался возможным за счет подавления партий и государством частной собственности и рынка³.

Первое поколение исследователей российской / советской модерности в 1990-е и 2000-е годы не столько игнорировало ее специфические особенности, сколько обращалось к ним в последнюю очередь. В рамках теории множественных модерностей, по необъяснимым причинам совершенно не замеченной в российской историографии, культурная преемственность и идеологические структуры оказываются в центре внимания⁴. «Одной из важнейших посылок термина „множественные модерности“, — писал Ш.Н. Эйзенштадт, — является то, что

¹ См. в особенности: *Holquist P. Making War, Forging Revolution: Russia's Continuum of Crisis, 1914–1921*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002.

² См. книгу, в названии которой использована метафора Баумана: *Weiner A. (ed.). Landscaping the Human Garden: Twentieth-Century Population Management in Comparative Perspective*. Stanford, CA: Stanford University Press, 2003.

³ *Kotkin S. Modern Times: The Soviet Union and the Interwar Conjunction* // *Kritika*. 2001. Vol. 2. № 1. P. 111–164.

⁴ См.: *Beer D. Origins, Modernity, and Resistance in the Historiography of Stalinism* // *Journal of Contemporary History*. Vol. 40. № 2. 2005. P. 363–379.

модерность и вестернизация не тождественны; западные варианты модерности не являются единственно возможными или „подлинными“, хотя исторически первичны и остаются отправной точкой для других моделей»¹. Поэтому цивилизационные формы, которые модерность принимает за пределами «родной» для нее Западной Европы, становятся ключом к объяснению не уникальности, но множественности самой модерности². Изучение цивилизационных аспектов множественных модерностей хорошо согласуется с заявкой нового поколения постсоветских исследований о сталинизме как цивилизации³. Кроме того, это дает нам возможность не отодвигать в сторону, а ориентироваться на сложную историографическую традицию, прослеживающую особенности траектории Российской империи в более широком европейском контексте⁴. Таким образом, задача прежде всего заключается в том, чтобы соотнести существующие идеи о своеобразии России и СССР с ориентированной на сопоставление, международной перспективой множественных модерностей.

В основе этого анализа интеллигентско-этатистской модерности, зародившейся на закате Российской империи и достигшей своего пика в советскую эпоху, лежат три взаимосвязанные особенности исторического развития, охватывающие революцию 1917 года; по вышеизложенным историографическим и методологическим причинам они едва ли вообще фигурировали в дискуссии о модерности в российском контексте. Во-первых, русская интеллигенция — групповое самосознание, субкультура и ментальность, влияние которой с конца XIX века усиливалось

¹ *Eisenstadt S.N. Multiple Modernities // Multiple Modernities / ed. S.N. Eisenstadt. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 2002. P. 1–29, цитата: P. 2–3.*

² *Arnason J.P. Communism and Modernity // Multiple Modernities. P. 61–90, цитата: P. 65.*

³ Ключевая работа на эту тему: *Kotkin S. Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization. Berkeley: University of California Press, 1995.*

⁴ Я имею в виду работы Марка Раеффа, Мартина Малиа, Альфреда Дж. Рибера и Лоры Энгельштейн, о которых речь пойдет ниже.

благодаря неоднократно отмеченной слабости и разобщенности буржуазно-предпринимательского слоя, — сформировалась в попытке решить экзистенциальные дилеммы, стоявшие перед европеизированной элитой в «отсталой», но идущей путем модернизации самодержавной стране. Мировоззрение интеллигенции, во многих отношениях столь важное для российской политики, культуры и науки, сложилось как раз перед тем, как Россия начала ускоренное движение по пути модерности в конце XIX столетия¹.

Хотя растущие ряды специалистов и революционеров стали ведущей силой в борьбе с царским режимом, их вдохновляли потенциальные возможности государственной власти. В будущем неавторитарном государстве они, в особенности после 1905 года, видели главную опору общественного порядка. Умеренно настроенные специалисты и профессионалы заняли позицию «сдерживания и ограничения» того, что все чаще воспринималось как «испорченный и неподатливый человеческий материал населения империи»². Если говорить в целом, в тот же период, на который пришлось становление массовой культуры, благодаря интеллигенции выработалась удивительно единодушная покровительственная и противостоящая коммерческому духу позиция, которая являла собой обратную сторону столь же сильного интеллигентского культа масс. Интеллигенция, оказавшаяся под влиянием новой массовой культуры, но почти по определению враждебная ей, возглавила зарождающиеся массовые политические движения. Эти существенные для революционной России факторы продолжали играть свою роль в наиболее широко распространенных явлениях советской культуры и идеологии, поскольку ряд ключевых для советского проекта коренных

¹ О последней из трех перечисленных областей см.: *Gordin M., Hall K., Kojevnikov A. (eds.). Intelligentsia Science: The Russian Century, 1860–1960. University of Chicago Press Journals, September 2008 (Osiris. Book 23).*

² *Beer D. Renovating Russia: The Human Sciences and the Fate of Liberal Modernity, 1880–1930. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2008. P. 25–26.*

преобразований прошел под знаком культурной революции и создания Нового Человека.

Кроме того, как интеллигенция, так и российская массовая культура и политика испытывали серьезное влияние дореволюционного спора о национальном самосознании и историческом пути, который был вариацией на тему «Россия и Запад», и стремление прыгнуть через ступень развития после 1917 года лишь усилило эти связи. Можно с уверенностью сказать, что многие интеллектуалы и специалисты двигающихся по дороге модернизации, но не относящихся к Западу стран, таких как Япония, Османская империя, Иран и Мексика, разделяли с русской интеллигенцией убежденную веру в науку и культуру, в уклонение от зол буржуазного капитализма и сильное, контролирующее обстановку государство¹. Однако то, каким образом правительство Российской империи, а затем и Советского Союза расчетливо раздувало среди интеллигенции разногласия на почве «вестернизации», привело к постоянным переходам от одной крайности — замыкающейся в себе ксенофобии — к другой — восторгу перед всем западным. Эту черту следует назвать одной из важнейших констант российского / советского пути к модерности.

Таким образом, интеллигентско-этатистская модерность была обусловлена внутренними структурными особенностями исторического развития России: политикой государственного вмешательства, самодержавием и в то же время процессами вестернизации, которые в XIX веке вызывали в обществе много споров; сильной традицией государственной службы, которую интеллигенция перенесла с государства на народ; конкуренцией и осознанием различий с Европой и «Западом», превратившимися в XIX веке в ключевой элемент российского национального самосознания; социальной, культурной и государственной

¹ *Hoffmann D.L.* Cultivating the Masses: Soviet Social Intervention in Its International Context, 1914–1939. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2011. P. 100–101.

раздробленностью империи, стимулировавшей стремление к централизации и единству; и, наконец, поздней, ускоренной, краткосрочной модернизацией, которая обострила уже существовавшее серьезное противостояние рыночной экономике и капитализму. Эти структурные черты исторического развития России, в свою очередь, выявили или усилили специфические культурные или цивилизационные модели, в измененной или эволюционировавшей форме сохранившиеся и после одной из величайших мировых революций: модели, в которых переплетались идеи и практики, родившиеся в попытке преодолеть отсталость и либо примкнуть к Западу, либо обогнать его за счет внутренней мобилизации и преобразования масс.

Поэтому, как мы увидим, массовая культура не была ни благополучно забыта, ни, если говорить в контексте Советского Союза, выделена в обособленную самодостаточную сферу; скорее речь шла о длительном, напряженном процессе преодоления барьера между высоким и низким. Подобные попытки предпринимались и в других условиях, однако не в таком масштабе, какой позволяло воздействие советской власти на культуру, включавшее в себя и весьма изощренную цензуру, и экономику культурного производства. Так существовавшие в Российской империи и среди интеллигенции установки на просвещение народных масс и истребление рынка, нашедшие отражение во всеобщем страхе перед «бульварными» коммерческими развлечениями и мещанством, наложили отпечаток на изначальное стремление коммунистов построить альтернативную нелиберальную, незападную модернность. Но поскольку интеллигентская традиция культуртрегерства просеивалась сквозь официальную идеологию революционного государства, представители элиты изменились еще сильнее, чем массы. Жесткий догматизм интеллигентско-эталистской модерности препятствовал рефлексии, не давая проанализировать происходящее с опорой на знания и опыт, поэтому вскоре закрыл советской системе путь к переменам.

SATTELZEIT В РОССИИ: МОДЕРНОСТЬ УСКОРЕННОГО И СКАЧКООБРАЗНОГО РАЗВИТИЯ

Столетие, середина которого приходится на 1800 год, Райнхарт Козеллек обозначил словом 'Sattelzeit' (от 'Sattel' — «седло», то есть буквально «седловым», или переходным, временем от начала эпохи модерности к ее зрелому периоду), подразумевая зазор и прорыв в ускоренном эпистемологическом преобразовании Центральной и Западной Европы¹. Бьорн Виттрок, развивая это понятие в контексте множественных модерностей, объяснил, что быстрое формирование ключевых концепций современности и коллективных идентичностей произошло после того, как принадлежность к сообществу и лояльные отношения между правителем и подданными уже не могли восприниматься как данность². Если руководствоваться такими критериями, можно сказать, что, учитывая, насколько сильным было в России влияние Просвещения и романтизма, *Sattelzeit* здесь наступил позже, чем в Европе. Российская модерность начала по-настоящему обретать очертания лишь в позднеимперский период.

Революционная мобилизация масс и попытка радикально настроенных представителей общества преобразовать их казались, как и само явление массовой культуры, наряду с поздно и необыкновенно стремительно начавшейся в России модернизацией, которая последовала за освобождением крестьян в 1861 году

¹ Koselleck R. The Practice of Conceptual History: Timing, History, Spacing Concepts (Cultural Memory in the Present). Stanford, CA: Stanford University Press, 2002. P. 5.

² Wittrock B. Modernity: One, None, or Many? European Origins and Modernity as a Global Condition // Multiple Modernities. P. 31–60, здесь P. 44. См. также: Wittrock B., Heilbron J., Magnusson L. The Rise of the Social Sciences and the Formation of Modernity // The Rise of the Social Sciences and the Formation of Modernity: Conceptual Change in Context, 1750–1850 / ed. J. Heilbron, L. Magnusson, B. Wittrock. Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 1998. P. 1–34.

и Великими реформами, ключевыми для анализа российского пути к модерности. Этот период сопровождался некоторыми глубокими и сложными изменениями, в силу которых последствия модернизации в России нарастающими темпами выходили далеко за относительно узкие рамки элит и крупных городов. Европеизация России шла уже полтора столетия, но именно тогда, благодаря характеру происходивших перемен и их скорости, привела к более многообразным последствиям. За очередной волной поддерживаемой государством вестернизации в эпоху Великих реформ, распространением денежной экономики, ускоренной урбанизацией и ростом числа работников умственного труда к концу века последовали спровоцированный правительством рывок к индустриализации, расширение городского рабочего класса и зачаточное развитие общества потребления. Все эти перемены дали возможность интеллигенции и происходившим из нее представителям революционного движения установить связь со слушателями и последователями «из народа». Поэтому движение в сторону модерности приобрело в России более массовый характер в условиях во многом неприспособленного самодержавия и все еще живой системы старорежимных сословий. Если, размышляя о Петербурге эпохи Николая I, Маршалл Берман говорил о фантасмагорической российской «модерности недоразвития», в период поздней империи она трансформировалась в модерность ускоренного и скачкообразного развития¹.

Отвергая представления об однолинейном переходе от традиционного к современному, Альфред Рибер указал на «противоречия, аномалии, архаизмы и отклонения», присущие позднему имперскому периоду. Для их описания он придумал термин «осадочное общество», то есть общество, в котором «одна за другой рождались новые социальные формы, и каждая из них составляла новый слой, покрывавший все общество или большую его часть, причем более ранние, оставшиеся на глубине формы

¹ *Berman M. All That Is Solid Melts into Air: The Experience of Modernity.* New York: Simon and Schuster, 1982. Part 4.

при этом не менялись». Существенно, что он продолжил развивать эту схему: «В Советской России, как и в Российской империи, проблема заключалась в том, чтобы насадить ценности господствующей культуры в этих более глубоких слоях общества, не затронутых становлением поверхностных социальных и институциональных форм, надстраиваемых сверху»¹.

Самые убедительные теории исторического развития России строятся вокруг этой ускоренной дореволюционной модернизации, ее парадоксов и противоречий, а также временной неравномерности (*Ungleichzeitigkeit*), с которой происходила европеизация России. Промежуток между усвоением европейских практик и идей и специфически российской «социоинституциональной матрицей» модернизации послужил основой для знаковой работы Марка Раеффа о регулярном полицейском государстве². Мартин Малиа писал о восточно-западном «культурном градиенте», в котором, например, Россия вышла на уровень развития 1848 года только в 1905 году. Однако за проводимыми Малиа аналогиями временных задержек стоял более сложный подход: «Политическая формула, родившаяся в результате отставания России, состояла в хроническом сжатии или схлопывании — а значит, хронической радикализации — стадий современного движения к демократии». Что немаловажно, Малиа говорит об «особом пути каждой нации в рамках восточно-западного культурного градиента, охватывающего ряд *Sonderwege* [особых путей] от Атлантики до Урала»³.

¹ Rieber A.J. The Sedimentary Society // Between Tsar and People: Educated Society and the Quest for Public Identity in Late Imperial Russia / ed. E.W. Clowes, S.D. Kassow, J.L. West. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1991. P. 343–366, цитаты: P. 361–362, 365.

² Raeff M. The Well-Ordered Police State and the Development of Modernity in Seventeenth- and Eighteenth-Century Europe // American Historical Review. Vol. 80. № 5. 1975. P. 1221–1243, цитаты: P. 1238, 1242; см. также: Raeff M. The Well-Ordered Police State and Institutional Change in the Germanies and Russia, 1600–1800. New Haven, CT: Yale University Press, 1983.

³ Malia M. The Soviet Tragedy: A History of Socialism in Russia, 1917–1991. New York: Free Press, 1994. P. 65; Malia M. Russia under Western Eyes: From the

Мысль о множестве особых путей в Европе, высказанная Малиа, фактически может считаться ответом на возражение Купера: «Если все альтернативные модерности являются альтернативами европейской модерности, значит, некоему набору культурных признаков приписывается европейское происхождение, а другие наборы признаков сквозь эпохи связываются с какой-то группой людей, через что бы она ни определялась, как в случае с китайской или исламской модерностью»¹. На самом деле ответом здесь может быть только совет избегать смешивания разнообразных траекторий в однородную европейскую модерность.

Расфф и Малиа нашли яркие формулировки для описания тенденции неровного, парадоксального движения к модерности под эгидой проводящего двойственную политику модернизации самодержавного государства. Лора Энгельштайн попыталась уловить исключительность положения российских, а затем и советских интеллектуалов и работников умственного труда в условиях несвободного старорежимного государства, сохранившегося в эпоху, когда «современные механизмы социального контроля и социальной самодисциплины, восходящие к западным практикам, уже сформировались». Люди свободной профессии и представители интеллигенции в целом вынужденно замерли в странной, двойственной позе между авторитарным государством и массами: «Русские интеллектуалы, сами лишённые доступа к власти, одновременно зависели от государства и презирали его, стремясь к союзу с недовольными низами и одновременно будучи культурно связанными с носителями более высокого социального статуса»². Подобно критике капитализма,

Bronze Horseman to the Lenin Mausoleum. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999. P. 103.

¹ *Cooper F.* Modernity // *Colonialism in Question: Theory, Knowledge, History*. Berkeley: University of California, 2005. P. 114.

² *Engelstein L.* Combined Underdevelopment: Discipline and the Law in Late Imperial and Soviet Russia // *American Historical Review*. Vol. 98. № 2. 1993. P. 338–353, цитата: P. 343 (примечательно, что в названии этой статьи обыгрывается принадлежащая Троцкому формулировка концепции «комбинированного

появившейся в России до самого капитализма, викторианские представления о благопристойности (как и, заметим в скобках, множество других интеллектуальных и научных заимствований) подверглись переосмыслению или оказались поставлены под вопрос, еще не успев прижиться на российской почве¹. Разумеется, ясно, что Энгельштайн касалась этих особенностей, намекая на отклонение от «западного стандарта» в случае Российской империи и на «иллюзию модерности» в случае Советского Союза². Но с таким же успехом их можно считать важной составляющей одной из уникальных форм модерности³.

СЛУЖИТЬ МАССАМ И ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ ИХ

Понятие интеллигенции, группы за пределами сословной иерархии общества, враждебно настроенной по отношению к самодержавию и к существующему положению вещей, возникло в начале этого периода усиленных преобразований в середине XIX века и отражало некоторые глубинные исторические структуры.

развития»); *Engelstein L. The Keys to Happiness: Sex and the Search for Modernity in Fin-de-Siècle Russia*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1992. P. 4.

¹ См. классический, вызывающий множество ассоциаций пример: *Todes D.P. Darwin without Malthus: The Struggle for Existence in Russian Evolutionary Thought*. New York: Oxford University Press, 1989.

² О «западном стандарте» см.: *Engelstein L. Keys to Happiness*, 4; об «иллюзии модерности» — *Engelstein L. Combined Underdevelopment*. P. 353. См. размышления самой Энгельштайн над тем, как она использует понятие модерности, в интервью с ней: *An Interview with Laura Engelstein // Kritika*. 2014. Vol. 15. № 4. P. 689–690. Исследователи неоднократно говорили об иллюзорности самого понятия западного стандарта — о его влиянии на российскую историографию см., например: *Confino M. Questions of Comparability: Russian Serfdom and American Slavery // Explorations in Comparative History* / ed. B.Z. Kedar. Jerusalem: Magnes Press, 2010. P. 92–112.

³ Понятие интеллигентской «полугосударственной структуры», предложенное Питером Холквистом, как раз может считаться такой своеобразной, но при этом современной чертой (*Making War*, spec. P. 14, 21).

Освобождение дворян от обязательной службы при Екатерине II, изменившее давнюю традицию в отношении элиты, способствовало перенесению симпатий последней с правителя и государства на народ¹. Здесь также можно усмотреть отголосок серьезного культурного разрыва, следовавшего за началом вестернизации и сопутствующими ей спорами о национальном самосознании. Натаниэл Найт полагает, что идея интеллигенции возникла после 1860-х годов и упрочилась в 1880-х как «дополнение или бинарная противоположность другой ключевой концепции русской социальной мысли — понятия народа». Важное для XIX столетия слово «народ», тогда относившееся в основном к крестьянам, лишь постепенно приобретало новые, этнические и национальные, коннотации, сближавшие его с понятием «нация» (слово «массы» появилось позже, между революциями 1905 и 1917 годов). Лишь при Николае I слово «народ» стало обозначать те социальные слои, которые были хранилищем исконно русской культуры, а само представление о ней возникло как раз в ходе происходивших в ту же эпоху бурных споров о России и Западе. Если цитировать Найта, «определение народа как тех, кого не затронула западная культура, подразумевает наличие противоположной группы, основой самоопределения которой служит как раз отождествление с универсалистскими ценностями просвещенной Европы»². Культурная однородность стала восприниматься как условие самосознания России; целостность культуры призвана была восстановить единство между «двумя Россиями» — европеизированной элиты и народа. В этом был пафос миссии интеллигенции, стремившейся

¹ Это тезис Марка Раеффа: *Raeff M. The Origins of the Russian Intelligentsia: The Eighteenth-Century Nobility*. New York: Harcourt, Brace, and World, 1966. См. новый критический обзор исследований, посвященных русской интеллигенции в разные периоды: *Hamburg G. The Russian Intelligentsias // A History of Russian Thought* / ed. W. Leatherbarrow. D. Offord. Cambridge: Cambridge University Press, 2010). Part 3.

² *Knight N. Was the Intelligentsia Part of the Nation? Visions of Society in Post-Emancipation Russia // Kritika*. 2006. Vol. 7. № 4. P. 733–758, цитата: P. 748.

познакомить массы с высокой (околозападной) культурой; о самой интеллигенции при этом неоднократно говорили, что она преклоняется перед народом¹.

Поэтому еще до широкого распространения к концу XIX века тесно связанной с Западом коммерческой массовой культуры (городские увеселения коммерческого типа существовали по меньшей мере с XVII столетия) сформировалась группа, объединенная миссией нести просвещение в массы. «С точки зрения русских интеллектуалов, возникновение форм культуры, призванных приносить прибыль, не только подрывало более высокие эстетические и нравственные цели элитарной культуры, но и угрожало нетронутой, первозданной народности, народной культуре»². Конечно, темпы промышленного развития и урбанизации стимулировали поиск альтернативных способов излечения от болезней, сопряженных с ранними этапами модерности, расширяя границы этого типичного сочетания антимодерного и модернизма. В эпоху массовой печати и ускоренной урбанизации популярные платные развлечения изображались как зло, недалеко отстоявшее от эксплуатации фабричного труда или публичных домов. Итогом стал настоящий крестовый поход с целью «донести до необразованных классов национальную, „высокую“ культуру и истребить отсталость, невежество и распушенность»³.

Просветительская миссия интеллигенции не помешала пышному расцвету новых популярных культурных жанров, сосуществовавших с более старыми, и это лишь усилило тревогу, вызванную наступлением современной эпохи. Однако распространенность

¹ *Бойм С.* За хороший вкус надо бороться! Соцреализм и китч // Соцреалистический канон / Ред. Х. Гюнтер, Е. Добренко. СПб.: Академический проект, 2000. С. 87–100, здесь приведена цитата со с. 91.

² *Smith S., Kelly C.* Commercial Culture and Consumerism. Chap. 2 // *Constructing Russian Culture in the Age of Revolution, 1881–1941.* Oxford: Oxford University Press, 1998. P. 113, 152.

³ *Вихавайнен Т.* Внутренний враг: борьба с мещанством как моральная миссия русской интеллигенции. СПб.: Коло, 2004.

традиции культуртрегерства оставила глубокий след. Вадим Волков высказал мысль, что само употребление слова «культура» в современном русском языке (в противовес доминировавшему раньше слову «просвещение») восходит к первым масштабным попыткам интеллигенции в 1870-е годы «осуществить миссионерскую идею, неся образование и культуру отсталым массам». Культура «стала пониматься как разновидность ценности, которую можно накапливать, намеренно передавать более обширным группам населения и которую те, в свою очередь, могут принять»¹. Именно таким было советское определение.

Отсюда парадокс стремления интеллигенции просить прощения и учиться у людей, которых она сама же пыталась научить и наставить, парадокс одновременно попытки вести за собой и идти вслеп, присущий не только революционному движению, но и интеллигентской культуре в целом начиная с народнического периода 1860–1880-х годов. Благодаря культу масс интеллигенция, как и принято считать, была очень близка к сочувствию деятельности левых, революционеров и оппозиции в народной среде, однако потребность цивилизовать массы, по иронии судьбы, придавала культуртрегерскому интеллигентскому импульсу сходство со стремящимся к контролю государством, отчасти — с чиновничьим аппаратом и, разумеется, в некоторых планах — со всеми элитами. Как сказал Ричард Стайтс, «интеллектуалов, цензоров, священников, врачей и революционеров — как бы остры ни были разногласия между ними — часто объединяла враждебность к новой [массовой] культуре, которую они напряженно связывали с безнравственностью»².

Какой отпечаток полвека интенсивной «просветительской работы» и войны интеллигенции против отсталости наложили

¹ *Volkov V.* The Concept of Kulturnost': Notes on the Stalinist Civilizing Process // *Stalinism: New Directions* / ed. Sh. Fitzpatrick. New York: Routledge, 2000. P. 210–230, цитаты: P. 212.

² *Stites R.* Russian Popular Culture: Entertainment and Society since 1900. Cambridge University Press, 1992. P. 12.

на сами «массы»? В определенном смысле — очень несущественный: популярная коммерческая культура процветала, а интеллигенция по-прежнему почти никак не могла повлиять на повседневную жизнь огромной империи. Однако все же можно отметить некоторые последствия, позже многократно усиленные Октябрьской революцией. Во-первых, по-новому «сознательные» заводские рабочие и рабочее движение формировались в непрерывном диалоге с интеллигенцией; обе группы находились вне официальной сословной иерархии и с 1890-х годов составляли костяк революционного движения. Выдающийся историк рабочего класса Реджинальд Зельник писал об этом «взаимодействии интеллигенции и рабочих» и о возникновении новой прослойки — «полуинтеллигенции», представители которой либо сознавали тесную связь со своими учителями из интеллигенции, либо — парадоксальным образом, как в случае некоторых леворадикальных революционных интеллектуалов, — развивали «враждебные по отношению к интеллигенции взгляды»¹. Предвосхищая многие коллизии ранней советской культуры, немалая часть таких рабочих-интеллигентов — членов образовательных обществ и профсоюзов, участников рабочих театральных кружков и пролетарских культурных групп — искала самоутверждения и пыталась усвоить традиционную высшую культуру². В то же время утверждение в «сознательной» рабочей среде интеллигентской категории культурности начиная с 1880-х годов было напрямую связано со спорами о России и Западе³. Прочитав Стива Смита: «Культурность была социологической категорией, служившей для оценки уровня

¹ *Zelnik R.E. Introduction // Workers and Intelligentsia in Late Imperial Russia: Realities, Representations, Reflections. Berkeley: University of California International and Area Studies, 1999. P. 1–15, здесь приведены цитаты: P. 2, 9.*

² См., например: *Swift E.A. 'Workers Theater' and 'Proletarian Culture' in Pre-revolutionary Russia, 1905–1917 // Workers and Workers and Intelligentsia in Late Imperial Russia. P. 260–291.*

³ Об этом см.: *Kelly C. Refining Russia: Advice Literature, Polite Culture, and Gender from Catherine to Yeltsin. Oxford: Oxford University Press, 2001.*

цивилизации, достигнутого тем или иным обществом на пути эволюции. В этом плане для России считался характерным как раз низкий уровень культурности, сближающий ее скорее с „азиатским“ варварством, чем с западноевропейской цивилизованностью. Категория культурности, подразумевавшая прямую связь между развитием личности и развитием цивилизации в обществе, могла использоваться в радикальных политических целях»¹.

Отвернувшись от карнавальных и провокационных традиций, из которых в основном складывалась народная русская культура, «„сознательные“ рабочие усвоили такой же осуждающий взгляд» на некультурное поведение, как и представители элиты². В своей работе о пролетарских писателях Марк Д. Стейнберг высказывает мысль, что эти рабочие-интеллигенты часто являлись культурными маргиналами, для которых творческие притязания «косвенно оспаривали их принадлежность к низшему классу, нарушая установленные границы... между популярной и высокой литературной культурой». Олицетворяя таким образом усилие снизу преодолеть роковой разрыв между интеллигенцией и народом, они отвергали простой народный язык и, как правило, имитировали высокий литературный стиль, беря уже на себя миссию распространения сознательности и просвещения. Так подобные аномальные фигуры стали «важными проводниками идей, лексикона и образов на границе между образованной прослойкой и массами»³.

Подобная же, даже более значимая модель запоздалого распространения ключевой для интеллигенции миссии сформировалась

¹ *Smith S.A.* The Social Meanings of Swearing: Workers and Bad Language in Late Imperial and Early Soviet Russia // Past and Present. Vol. 160. № 1. 1998. P. 167–202, цитата: P. 78.

² *Smith S.A.* The Social Meanings of Swearing. P. 181.

³ *Steinberg M.D.* Worker-Authors and the Cult of the Person // Cultures in Flux: Lower-Class Practices, Values, and Resistance in Late Imperial Russia / ed. S.P. Frank, M.D. Steinberg. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994. P. 171, 174; *Steinberg M.D.* Proletarian Imagination: Self, Modernity, and the Sacred in Russia, 1910–1925. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2002.

в недрах специфически русского варианта осмысления своей истории, начало которому положили пионеры традиции интеллигентской мысли 1830–1840-х годов, В.Г. Белинский и А.И. Герцен. Они полагали, что и отсталость России, и буржуазное филистерство Европы должны быть преодолены, как предположил Йохен Хелльбек, за счет формирования «критически мыслящих» и «действующих в истории» личностей. Эта концепция личности оказала серьезное влияние на «социальную, политическую и культурную жизнь России» позднего имперского периода. Родственный — как нетрудно заметить — проект преобразования личности как части коллектива, находящегося в фазе исторической трансформации, в начале советской эпохи приобрел массовый характер¹. Можно проследить прямую связь между взаимоотношениями интеллигенции и рабочих в революционной России и восприятием личности в сталинскую эпоху.

Просветительская кампания отразилась и на российской массовой культуре. Хотя выгода в кругу интеллигенции была почти что запретной темой, на рубеже веков на сцене оказалось «новое поколение» коммерчески успешных художников и писателей. Лев Толстой, отрицавший коммерческие ценности, сотрудничал с самым находчивым предпринимателем на массовом издательском рынке, Иваном Сытиным, назвавшим свое издательство «Посредником», что соответствовало его собственной роли как посредника между интеллигенцией и массами. «Полвека культурной работы интеллигенции, — по выражению Катрины Келли и Стива Смита, — не прошли бесследно для популярной культуры». Массовая культура «вобрала в себя некоторые моралистические черты, присущие не только традиции интеллигентской мысли, но и глубоко религиозной народной жизни»².

¹ *Hellbeck J.* Introduction и Russian Autobiographical Practice // *Autobiographical Practices in Russia / Autobiographische Praktiken in Russland* / ed. J. Hellbeck, K. Heller. Göttingen: V&R unipress, 2004. P. 11–24, 278–298, цитаты: P. 13, 290.

² *Smith S., Kelly C.* Constructing Russian Culture. P. 125, 154; *Rund Ch.A.* Russian Entrepreneur: Publisher Ivan Sytin of Moscow, 1851–1934. Montreal:

Несмотря на единодушно враждебное отношение интеллигенции ко всему «бульварному», на закате империи массовая культура, с ее бурно разрастающимися новыми жанрами, оказала существенное влияние на средний и низший классы общества. На низших уровнях массовая культура распространяла своего рода космополитизм, с точки зрения которого зарубежье, Запад и экзотические местности были средоточием секулярных ценностей, воплощая процветание индивидуального таланта и житейской самоуверенности¹. В отношении средней прослойки российского общества, которую обычно называют отсутствующим средним классом и для которой характерны разобщенность и слабость предпринимательской буржуазии, анализ с позиций коммерческой массовой культуры особенно показателен. С одной стороны, представители средних социальных групп подражали интеллигентам. Становлению обывательской культуры досуга способствовала группа, которую Луиза Макрейнолдс даже назвала «гибридной категорией», «буржуазной интеллигенцией», в ряды которой входили такие фигуры, как частные театральные антрепренеры Ф.А. Корш и А.С. Суворин. С другой стороны, учитывая, что ценности среднего класса и коммерческая культура соединяли в себе все то, что интеллигенция осуждала, бурное развитие массовой культуры в предшествующий революции период обусловило ситуацию, при которой буржуазия в России «ярче проявляла себя в культурной деятельности, нежели в политической»². В этом плане сфера культуры была главным полем битвы в период ускоренного и скачкообразного развития модерности на закате Российской империи.

McGill-Queens University Press, 1990. P. 30–33. См. также: *Otto R.C.* Publishing for the People: The Firm Posrednik 1885–1905. New York: Garland Publishing, 1987.

¹ *Brooks J.* When Russia Learned to Read: Literacy and Popular Literature, 1861–1917. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1988; *Smith S., Kelly C.* Constructing Russian Culture. P. 117, 121.

² *McReynolds L.* Russia at Play: Leisure Activities at the End of the Tsarist Era. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2003, цитаты: P. 55–56, 293.

Ни попечение интеллигенции и государства, ни ненависть к массовой культуре как символу недугов западной или буржуазной модерности не были уникальными российскими явлениями. Но размах, какой приняло стремление переделать массы в эпоху ускоренной модернизации России после периода *Sattelzeit*, побудил некоторых исследователей говорить о специфически российской форме внутренней колонизации¹. В сочетании с тоталитаристскими претензиями новой партийной диктатуры и тенденцией к полностью национализированной плановой экономике эти явления содействовали рождению советской цивилизации, не без основания позиционировавшей себя как беспрецедентную и единственную в своем роде.

ОТ РЕВОЛЮЦИОННОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ К ВСЕОБЩЕМУ ЕДИНООБРАЗИЮ

Партийное государство, рожденное в эпоху войны и революции, во многих отношениях кардинально отличалось от старого царского режима. Но даже при самых резких разрывах сохраняются элементы преемственности. Многие черты раннего советского коммунизма, стремившегося к радикальным переменам в попытке одним прыжком в альтернативное будущее обогнать либеральную модерность: запрет частной собственности и рыночных отношений, массовое насаждение марксизма-ленинизма, замысел создания новой культуры и Нового Человека, — в некоторой степени продолжали российскую традицию. Некоторые связи объяснялись тем, что новый режим возглавили представители прежней радикальной интеллигенции и революционного движения. Многие из этих элементов преемственности, сохранившихся

¹ См., например: *Эткинд А.* Хлыст: секты, литература, революция. М.: Новое литературное обозрение, 1998; *Эткинд А.* Внутренняя колонизация. Имперский опыт России. М.: Новое литературное обозрение, 2018.

по ту сторону революции, восходили к логике культурной, политической или интеллектуальной жизни, которая, в свою очередь, определялась глубинными закономерностями российской истории. Но другие были обусловлены именно формированием революционного большевистского правительства из прежней радикальной интеллигенции. В политизированной и революционной форме прежнее горячее стремление к просвещению масс и искоренению порочного филистерства рынка соединились с беспримерной принудительной силой новой диктатуры. Эта смесь стала сердцевинной интеллигентско-этатистской модерности.

Воплощением рокового сочетания интеллигентского просветительства и большевистского этатизма стали два основоположника советской культуры — Анатолий Луначарский и Максим Горький. Основная деятельность Луначарского, который был первым наркомом просвещения с 1917 по 1929 год, пришлось на ленинскую эпоху; Горький, в начале 1920-х годов разошедшийся с Лениным, вернулся в конце этого десятилетия, став единственной крупной фигурой, способствовавшей формированию сталинизма в культуре. Хотя Горький, изначально беспартийный большевик, так и не вступил в партию, его, как и Луначарского, ассоциировали с тем же кругом левых большевиков, представители которого сформировались в образовательных учреждениях Капри, Болоньи и Лонжюмо, где в довоенные времена жили некоторые члены партии и откуда во многом пришел ранний советский взгляд на культуру¹. Идейно оба были близки к течению богостроительства, которое, вбирая в себя элементы ницшеанства и интеллектуальных течений Серебряного века, вносило коррективы в классический марксизм, чтобы сделать главными задачами революции создание новой социалистической культуры, веры и мировоззрения. Но Горький и Луначарский иногда защищали прежнюю интеллигенцию, много сил вложившую

¹ Мои размышления на эту тему можно найти в работе: *David-Fox M. Revolution of the Mind: Higher Learning among the Bolsheviks, 1921–1929*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1997, spec. P. 26–45.

в создание нового; оба необычайно последовательно ей покровительствовали, хотя Луначарский отдавал предпочтение авангарду и ведал культурой в период нэпа, в то время как Горькому были больше по душе не столь экспериментальные и более монументальные формы, а его влияние достигло пика в эпоху сталинской революции и становления социалистического реализма. Оба они, каждый в свое время, стояли у истоков множества новых учреждений.

В начале новой эры Луначарский, как известно, объявил себя «интеллигентом среди большевиков и большевиком среди интеллигентов», а Горький, заступаясь в Гражданскую войну за интеллигенцию перед мстительно настроенным Лениным, воскликнул: «Мы, спасая свои шкуры, режем голову народа, уничтожаем его мозг»¹. В общем, оба эти культурных колосса ранней советской и сталинской эпохи были истинными наследниками просветительской миссии русской интеллигенции и сыграли ключевую роль во внедрении этой миссии в большевистскую политику и идеологию. Но в конечном итоге система, которую они помогали строить, стала препятствовать им, а затем проигнорировала: в конце эпохи нэпа Луначарский был отстранен от должности и оттеснен на второй план, а Горький оставался легендарной фигурой, но свобода его после размолвки со Сталиным около 1934 года была ограничена.

Но советская культура включила и вобрала в себя не только большевизм; мечта об органическом культурном единобразии возникла также отчасти под влиянием интеллигенции. Свое новаторское толкование «экосистемы» ранней советской культуры Катерина Кларк начала с анализа существовавшего до Первой мировой войны «романтического антикапитализма» как

¹ Письмо А.М. Горького В.И. Ленину от 6 сентября 1919 года // Бялик Б.И. Горький и его эпоха: Исследования и материалы. М.: Наука, 1994. С. 29. В ответном письме Ленина от 15 сентября 1919 года, как известно, была фраза: «На деле это не мозг, а г...» (*Ленин В.И. Полное собрание сочинений*. Т. 51. С. 48).

феномена, выходящего за пределы большевизма. Как и многие другие обсуждаемые в данном контексте черты, романтический антикапитализм можно считать международным явлением, характерным и для многих других стран, но его масштабы и сила в России были необыкновенны. Общим был не только «отказ от рынка и коммерциализации культуры», но и другие корни ключевых особенностей советского периода. Критика разобщенности и индивидуализма часто приводила к «мечте об обществе, где все были бы подлинно едины, своего рода светской религии единства». Продолжая более ранние поиски единой национальной культуры, эта мечта о единообразии подразумевала «абсолютизацию того или другого полюса в иерархиях высокого и низкого... исключая возможность какого-то среднего между ними пути»¹. Кроме того, как подчеркивается во многих недавних работах, на заре Советского Союза представители умственного труда и передовые интеллектуалы — уцелевшая интеллигенция, оставшаяся практически единственной из всего общества элитарной группой, которую не травмировала социальная революция, — во многих своих воспитательных и учительных начинаниях перекликались с большевиками, хотя партийное государство и не позволяло результатам их деятельности выйти за отведенные им узкие рамки².

В эпоху «массификации», если использовать понятие, которое было в ходу в 1920-е годы, большевистская и советская миссии не только радикально расширили область приложения просветительского импульса интеллигенции — централизованная власть партийного государства придала ему необычайный разрушительный и созидательный размах. Разрушительный эффект описать легче. Атака на коммерческую культуру

¹ *Clark K. Petersburg, Crucible of Cultural Revolution. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1995. P. 17.*

² См. заслуживающие внимания новые исследования на эту тему: *Beer D. Renovating Russia; Papazian E. Manufacturing Truth: The Documentary Moment in Early Soviet Culture. DeKalb: Northern Illinois University Press, 2009.*

развернулась сразу после Октябрьской революции — начало ей положил декрет, запрещающий несанкционированную партией рекламу, а также национализация издательств, киностудий и средств массовой информации. В промежуточный период новой экономической политики была разрешена частичная приватизация, но при этом возникла своего рода цензура и самоцензура, способствовавшая радикальному преобразованию и регулированию культуры, которые зачастую в первую очередь привлекали внимание исследователей. Однако существенно, что культурное производство превратилось в итоге в не что иное, как отрасль плановой экономики. Формирование советской культуры было непосредственно связано с ключевыми экономическими и политическими механизмами советской системы, запущенными в межвоенное время.

«Коммунисты своими декретами делали то, что хотела сделать прежняя интеллигенция, — так сформулировал это Ричард Стайтс, — давая народу то, что, по их мнению, приносило ему пользу, а не то, чего он хотел». В 1920-е годы популярную культуру со всех сторон обступило воздействие политизации и морализации, что приводило к урезыванию и вытеснению многих жанров, а также многочисленным конфликтам между революционно-политической риторикой и «голодом» по развлечениям¹. Пик подавления партий и интеллигенцией популярной культуры пришелся на сталинский «великий перелом» 1928–1931 годов, который «почти разрушил народную и популярную культуру». Это было время, когда «догматизм привел к утрате массовой культурой ее популярности»². Пятилетка ознаменовалась полной национализацией издательского дела и других форм культурного производства и господством воинствующих организаций «пролетарских» писателей, музыкантов

¹ Stites R. Russian Popular Culture. Part 2. Цитаты: P. 41, 52; см. также: Smith S., Kelly C. Constructing Russian Culture. P. 152–154.

² Von Geldern J. Introduction // Mass Culture in Soviet Russia: Tales, Poems, Songs, Movies, Plays, and Folklore 1917–1953 / ed. J. von Geldern, R. Stites. Bloomington: Indiana University Press, 1995. P. xvi.

и т.д. — во главе которых стояли представители партийной интеллигенции, — боровшихся прежде всего с неполитическим искусством, развлечениями и культурными «пережитками» прошлого. Жанры, которые в период смешанной экономики нэпа пользовались как популярностью, так и финансовым успехом: джаз, научная фантастика, детективные романы и в целом все разновидности легкой развлекательной культуры, — подверглись резкой критике или превратились в явно политизированные формы, после того как активисты назвали их западными и буржуазными. Так, в сталинскую эпоху продолжала создаваться какая-то узкотематическая научная фантастика, но как попытка представить альтернативные утопии этот жанр вымер¹.

Желание приобрести статус и авторитет посредством усвоения доступной высокой культуры в первую очередь ассоциируется с восходящей мобильностью «нового класса» сталинской эпохи, но расхождения между этими устремлениями рабочих и утопическими планами интеллигентов начались сразу же после революции — в Пролеткульте, первой пролетарской культурной организации². Кампания середины — конца 1930-х годов, направленная на повышение «культурности», была глубоко укоренена в советском «процессе насаждения цивилизации», начатом в 1920-е годы, и обладала тем же характерным признаком — стремлением к рационализации и политизации повседневной жизни, а также к окультуриванию «отсталых» национальных меньшинств и групп населения³. Такие области, как пропаганда гигиены и научная организация досуга, включавшие в себя дискуссии на темы домашнего хозяйства, одежды,

¹ На эту тему см. в том числе: *Stites R.* *Revolutionary Dreams: Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution*. Oxford: Oxford University Press, 1989. Chap. 11.

² *Mally L.* *Culture of the Future: The Proletkult Movement in Revolutionary Russia*. Berkeley: University of California, 1990. Chaps. 4–5.

³ *Hoffmann D.L.* *Stalinist Values: The Cultural Norms of Soviet Modernity*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2003. Chap. 1; *Kaier Ch., Naiman E. (eds.)*. *Everyday Life in Early Soviet Russia: Taking the Revolution Inside*. Bloomington, Indiana University Press, 2006.

этикета и сексуальных отношений, не говоря уже о пестрых попытках изменить привычки и ценности, таких как «борьба за культурную речь», начатая в 1923–1924 годах, отражали смешение намерений интеллигентов и партии в явлении, широко известном как культурная революция¹. Новый советский человек должен был стать не только социалистом и коллективистом, но и усердным работником, преданным государству, а еще носителем культуры. В этом отчасти сходились интеллигенты и большевики, а потому, тоже отчасти, прозападно настроенные и низшие классы, русские и этнические меньшинства. Но преобразовательное движение продолжалось и на внутреннем уровне, поскольку коллективистское переделывание личности обладало большой привлекательностью для многих участников революционного проекта².

Большевистская революция облекла прежнюю одержимость национальным самосознанием в усиленное идеологическое и геополитическое соперничество, в рамках которого Запад как модель и как другой стал — как это часто было с незападными или постколониальными дорогами к модерности — определяющим фактором всей системы. Обещание обогнать Запад (в обличьи буржуазно-демократического индустриального капитализма) способствовало тому, что долгое время характерный для России феномен — ускоренное прохождение этапов модерности — проявлялся с еще большей силой, на этот раз в попытке совершить прыжок в альтернативное социалистическое будущее. Обещание создать исторически превосходящую политическую и экономическую систему и в конечном

¹ См.: *Beer D. Renovating Russia*; *Kucher K. Der Gorki-Park: Freizeitkultur im Stalinismus 1928–1941*. Cologne: Böhlau Verlag, 2007. О культурной речи см.: *Smith S. The Social Meanings of Swearing*. P. 192–193.

² *Hellbeck J. Revolution on My Mind: Writing a Diary under Stalin*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2006; *Fritzsche P., Hellbeck J. The New Man in Stalinist Russia and Nazi Germany // Beyond Totalitarianism: Stalinism and Nazism Compared* / ed. M. Geyer, Sh. Fitzpatrick. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. P. 302–344.

счете превосходящую культуру и общество освобождало от проклятия отсталости, но по-прежнему ценой выхода из-под опеки прогрессивного Запада. Цель «догнать и перегнать» подразумевала ориентацию на, возможно, измененные, но все же западные критерии оценки промышленности, техники и науки; кроме того, сталинский Советский Союз в конце концов унаследовал и радостно принял собственную ориентированную на Запад, докоммунистическую высокую культуру. Таким образом, антибуржуазный вектор ранней советской идеологии и культуры по сути своей отнюдь не был всецело или непосредственно антизападным. Однако подвергнутые осуждению «буржуазные» и «декадентские» формы коммерческой массовой культуры, от голливудских фильмов до фокстрота и приключенческих жанров, пользовавшихся успехом у массовой публики, оказались в числе наиболее порицаемых (а потому для некоторых особенно желанных и вызывающих восхищение) из «ввозимых» из-за рубежа и относимых морализаторами и радикалами к капиталистическому Западу¹.

Поэтому Запад являлся не только источником буржуазной заразы, но и обязательной отправной точкой для любого советского кратчайшего пути к модерности. Через двадцать лет после 1917 года советская культура и идеология оказались разделены между конкурирующими стратегиями по отношению к внешнему миру: с точки зрения одной за граница представляла в первую очередь как источник беспорядка, шпионажа и декаданса; вторая состояла в оптимистическом стремлении привлечь потенциальных западных союзников к следованию общей цели². Но если говорить в целом, ведущие представители партийной

¹ Von Geldern J. Introduction. P. xv.

² Об этой двойственности см.: Дэвид-Фокс М. Витрины великого эксперимента: культурная дипломатия Советского Союза и его западные гости, 1921—1941 годы. М.: Новое литературное обозрение, 2015. О вредоносном влиянии как определяющей черте политической культуры нэпа см.: Pinnow K. Lost to the Collective: Suicide and the Promise of Soviet Socialism, 1921–1929. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2010.

интеллигенции разделяли с передовыми интеллектуалами ранней советской эпохи стремление к новой, некоммерческой культуре для преобразованных масс. Как выразился Борис Гройс, «советская массовая культура была культурой для масс, которые еще предстояло создать»¹.

Например, в 1920-е годы Ольга Каменева, сестра Льва Троцкого и жена члена Политбюро Льва Каменева, стала основателем и руководителем Всесоюзного общества культурной связи с заграницей (ВОКС), организации, которая призвана была убедить зарубежную интеллигенцию в достижениях СССР. В обсуждениях, проводившихся в 1928 году на высоком уровне Центрального комитета, Каменева прямо заявила, что сторонники левых движений в Европе ушли далеко вперед по сравнению с теми советскими мещанами, которые копируют европейскую буржуазную и массовую культуру. Левый европейский интеллектуал, утверждала она, взял бы в СССР лучшее из новой пролетарской культуры, а затем, в свою очередь, содействовал усилению этих тенденций в самом СССР². Это было знаменательное заявление в устах человека, которому было поручено убедить мир в советском прогрессе: культурный обмен между Европой и Советским Союзом мог, в сущности, уберечь невзыскательную советскую культуру от ее собственных примитивных и мещанских инстинктов. У интеллигента из старых большевиков презрение к остаткам коммерческой массовой культуры в 1920-е годы по-прежнему пересиливало недоверие к Западу, однако в 1930-е годы этому соотношению суждено было кардинально измениться.

¹ *Groys B. Die Massenkultur der Utopie / Utopian Mass Culture // Traumfabrik Kommunismus / Dream Factory Communism / ed. B. Groys, M. Hollein. Frankfurt: Hatje Cantz, 2004. S. 23.*

² Каменева — Смирнову (Отдел печати ЦК), 21 января 1928 года, и «В ЦК ВКП(б)», без даты, 1928 год. ГАРФ. Ф. 5283. Оп. 1а. Д. 118. Л. 9–20, 115 соответственно.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ И ОТКАЗ ОТ ДЕЛЕНИЯ НА ВЫСОКОЕ И НИЗКОЕ

На протяжении первой половины 1930-х годов большевистскую социальную инженерию дополняла эстетическая инженерия авангардистов. Эстетизация политики шла рука об руку с политизацией эстетики. Авангард слишком сложен, чтобы определить одной фразой, но, пользуясь выражением Бориса Гройса, его, по сути, можно назвать шагом от изображения мира к его преобразованию. По той же причине — социализму предстояло не просто преобразовать мир, но сделать его прекрасным, — партийное руководство превратилось «в своего рода художника, для которого весь мир служит материалом»¹. Ключевой труд Гройса о преемственности между авангардом и сталинской культурой, вне зависимости от того, насколько последовательно были изложены признаки этой преемственности, изменил исследовательскую перспективу: авангардистов стали рассматривать не столько как мучеников, сколько как активных участников главных эстетических и идеологических проектов нового режима. Большевики и интеллектуалы-авангардисты предстают, таким образом, как время от времени отдаляющиеся друг от друга родственники-интеллигенты, которых объединяет неуклонная тяга к лидерству, охотное использование принуждения, живая приверженность делу, склонность сочетать элитарность учения с массовыми преобразованиями и масштабные планы, начинающиеся обществом и заканчивающиеся душой². Однако, вопреки Гройсу, стремление авангардистов к глобальной эстетической диктатуре едва ли

¹ Гройс Б. *Gesamtkunstwerk* Сталин. М.: Ад Маргинем Пресс, 2013. С. 19. См. классические работы, подчеркивающие различия между культурой 1920-х годов и сталинской эпохи: Stites R. *Revolutionary Dreams*; Паперный В. *Культура два*. 2-е изд.. М.: Новое литературное обозрение, 2006.

² Clark K. *Petersburg*; Papazian E. *Manufacturing Truth*; Kiaer Ch. *Imagine No Possessions: The Socialist Objects of Russian Constructivism*. Cambridge, MA: MIT Press, 2005; Wolf E. *USSR in Construction: From Avant-Garde to Socialist Realist Practice*. PhD diss., University of Michigan, 1999.

было, в особенности если рассматривать его влияние, сопоставимо с большевистской диктатурой пролетариата. Художественно-политическая программа раннего советского авангарда скорее окончательно сформировалась и затем видоизменялась благодаря участию в большевистском проекте.

В то же время специалисты из рядов интеллигенции участвовали — одни охотно, другие в той или иной мере подчиняясь давлению и принуждению — в развитии различных областей: социальной медицины, криминологии, психологии, этнографии, демографии и многих других, — ставших ключевыми для цивилизаторской миссии большевиков и построения советской государственности¹. Как и в случае с авангардом, Октябрьская революция дала интеллигенции беспрецедентную возможность участия — хотя и «опосредованного государством», то есть подчиненного марксистско-ленинской идеологии и ограниченного политическим контролем большевиков, — в пробуждении 1917 года. Как показал Дэвид Л. Хоффман, «питательная среда» дореволюционной культуры, включающая в себя различные научные дисциплины и, в частности, социологию, развиваемые специалистами из интеллигенции, стала ключевым фактором укрепления марксистско-ленинской идеологии в межвоенные десятилетия². И в самом деле, если учитывать смесь идеологии и технократии, обусловившую масштаб и вектор социальной инженерии в раннюю советскую и сталинскую эпохи, возникает соблазн странным образом усмотреть связь между руководящей большевистской интеллигенцией и буржуазными специалистами. Они были профессиональными революционерами или политическими специалистами; теоретической областью их компетенции была марксистско-ленинская идеология, сферой применения этой теории было прежде всего политическое насилие.

¹ На эту тему см. в том числе: *Hirsch F.* Empire of Nations: Ethnographic Knowledge and the Making of the Soviet Union. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2005; *Pinnow K.* Lost to the Collective; *Beer D.* Renovating Russia.

² *Hoffmann D.L.* Cultivating the Masses.

Участники бурных диспутов об определении и векторе развития революционной культуры, начавшихся после 1917 года и достигших наивысшего напряжения в период «великого перелома», в конце концов должны были осознать тот факт, что политизированная и экспериментальная культурная продукция партийных поборников пролетарской культуры и непартийных авангардистов в равной степени испытывает серьезные затруднения в привлечении и удержании массовой публики. Новая доктрина социалистического реализма, утвержденная после сталинской революции, могла быть лишь отчасти обусловлена этой дилеммой, но, безусловно, оказалась средством ее решения¹.

В результате смены нескольких культурно-идеологических циклов на протяжении 1930-х годов советская массовая культура приняла форму, которая на протяжении всей советской эпохи лишь видоизменялась, но оставалась доминирующей. Антибуржуазные выпады времен «Великого перелома» содержали враждебные интонации по отношению к культуре прошлого и к западной культуре, но к середине — концу 1930-х годов перечень культурных продуктов, приемлемых для советских масс, подвергся существенному пересмотру. Так, хорошее знание старой российской высокой культуры выделяло его обладателя на общем фоне, а приемлемые политические формы массовых развлечений и своеобразный, устремленный в будущее «мир грез» о социалистическом потреблении, предлагавший продукцию для приверженцев режима как необходимое дополнение благополучной «культурной» жизни, процветали в рамках соцреализма². Как отмечали многие комментаторы, желание достичь широкой публики и завоевать ее в конечном счете вылилось в компромисс между режимом и массовыми предпочтениями. Как сказал Добренко, «социалистический

¹ Наиболее подробно она рассмотрена в книге «Соцреалистический канон» объемом 1036 страниц.

² *Randall A.* The Soviet Dream World of Retail Trade and Consumption in the 1930s. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2008.

реализм — это культурная революция не только „сверху“, но и „снизу“»¹.

Привлекательности соцреализма способствовали также социальные и политические итоги сталинской революции после 1929 года с ее массовым возвышением кадров как новой элиты и головокружительной урбанизацией наряду с масштабным внедрением принудительной коллективизации сельского хозяйства. Соцреалистическая массовая культура обладала многими фольклорными чертами, адаптируя старые темы, вызывавшие отклик у широкой аудитории, к новым политизированным формам. Морализм и коллективизм можно было позаимствовать у старого режима и из деревенской жизни, а также у партийной государственности и из «проповедей интеллигенции»².

Попытка укрепить новую единообразную культуру за счет массового признания перенаправила раннюю советскую цивилизаторскую миссию в новое русло — беспрецедентную по своим масштабам кампанию в пользу «культурности», начавшуюся в середине — конце 1930-х годов. Теперь стандартный набор знаний в области политики и культуры подразумевал более высокий уровень потребления и жизни, предоставляемый сторонникам системы и прежде всего элите. Опросник «Культурный ли вы человек?», напечатанный в газете в 1936 году, предлагал читателям вспомнить строки пушкинского стихотворения и сюжеты шекспировских пьес, продемонстрировав также познания в математике, географии и классическом марксизме-ленинизме. Сталинская кампания в пользу культурности совпала с массовым уничтожением многих представителей элиты и тех, кого в годы Большого террора сочли врагами

¹ *Dobrenko E.* The Making of the State Writer: Social and Aesthetic Origins of Soviet Literary Culture / trans. J.M. Savage. Stanford, CA: Stanford University Press, 2001. P. xx.

² *Stites R.* Russian Popular Culture, цитаты: P. 5, 6. См. русскоязычную работу на эту тему: *Лебедева В.Г.* Судьбы массовой культуры в России. Вторая половина XIX — первая треть XX века. СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 2007.

и маргиналами. На самом деле террор и культурная кампания были связаны: первый разрушал, вторая пыталась создать. Более того, на практике в культурных пространствах сталинской эпохи, таких как знаменитый Центральный парк культуры и отдыха имени Горького, существовало множество механизмов исключения, отделявших привилегированных и лояльных ото всех остальных¹. Массовое насаждение культурности можно считать одной из самых успешных кампаний за всю советскую историю — настолько, что, подобно лучшей рекламе, ее едва ли даже осознавали как кампанию. В более проработанной и не столь прямолинейной форме она пережила свои относящиеся к 1930-м годам истоки на много десятилетий².

Вытеснение более раннего коммунистического аскетизма социалистическим потреблением и новое повышение ценности российского прошлого в меньшей степени были частью «великого отступления» от прежнего просветительского импульса, чем принято считать, — скорее они были его продолжением, но в другой форме. На середину 1930-х годов также пришлось кампания за «культурную торговлю», связывавшая потребление для лояльных граждан с поведением, подходящим новой советской личности. Хотя реклама этого периода являла собой «близкие к западным образы привлекательности и красоты», советские магазины в теории тоже должны были «выполнять образовательную функцию, повышая культурный уровень потребителей». Предполагалось, что даже витрины магазинов будут решать «педагогическую задачу»³. Именно тенденция включать потребление в число мер, направленных на просвещенное само-

¹ *Volkov V.* The Concept of Kulturnost'. P. 224; *Kucher K.* Der Gorki-Park. P. 283. См. также: *Hoffmann D.L.* Stalinist Values; *Kelly C., Shepherd D.* Constructing Russian Culture. P. 291–313.

² *Бойм С.* За хороший вкус.

³ *Cox R.* All This Can Be Yours! Soviet Commercial Advertising and the Social Construction of Space, 1928–1956 // *The Landscape of Stalinism: The Art and Ideology of Soviet Space* / ed. E. Dobrenko, E. Naiman. Seattle: University of Washington, 2003. P. 139.

преобразование, отличала отношение к предметам потребления в социализме от капитализма.

Даже архитектура соцреализма, позаимствовавшая цветочные мотивы и украшения — которые столь часто воспринимались законодателями высокой западной культуры как китч или отголоски мещанского вкуса — из многих более ранних стилей, в теории должна была показывать, что советская культура, став преемницей великих цивилизаций прошлого, превзошла их. Кэтерина Кларк говорит не о «великом отступлении» от первоначальных социалистических ценностей, а о «великом освоении»: в 1930-е годы Советский Союз переработал элементы российской истории и мировой культуры, продемонстрировав, что претендует на первенство в сферах не только политики и экономики, но и культуры¹. В этом десятилетии сформировался настоящий культ культуры как ключевой области, в которой Советскому Союзу предстояло доказать свое превосходство².

В центре большинства интерпретаций сталинской культуры и социалистического реализма оказываются разного рода компромиссы: между ценностями режима и массовыми ценностями, между интеллигенцией и режимом, между ценностями поднимающихся вверх по социальной лестнице кадров и культурой в целом, между высоким и низким. Разумеется, на практике эти компромиссы никогда не достигали такой полноты, какую им приписывали или какую в них предполагали. «Главное достижение соцреализма заключалось не в создании единого специфического стиля — ничего подобного он не создал, — отмечает фон Гельдерн, — а в утверждении представлений, что социалистическому обществу нужна единообразная культура и что стилистические отличия свидетельствуют об отклонении от идеологической

¹ *Clark K.* From Production Sketches to 'World Literature': The Search for a Grander Narrative. Доклад, представленный в Берлинском институте специальных исследований (Wissenschaftskolleg zu Berlin) в июне 2010 года.

² *Clark K.* Moscow, the Forth Rome: Stalinism, Cosmopolitanism, and the Evolution of Soviet Culture, 1931–1941. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2011; *David-Fox M.* Showcasing the Great Experiment. Chap. 8.

нормы». Из огромной пропасти между элитой и массами возникла — пусть лишь в теории — единая однородная культура¹. Подобным же образом сталинский режим пытался в теории преодолеть внешнее разделение — между Россией и Западом, — принимая все прогрессивное, а значит, и западную цивилизацию. Как точно подметил Грег Кастилло, коммунизм одновременно претендовал и на то, что он олицетворяет подлинный Запад, и на то, что он «спасет западную культуру»².

На практике мечта о единстве культуры и самосознания вступала в противоречие с многонациональной, мультикультурной и многоконфессиональной природой советского государства, от которой зависело внедрение советских проектов и реакция на них. В первые десятилетия советской эпохи не только руководящие кадры, но и целые народы воспринимались как европейские или азиатские, поэтому идеи Востока и Запада претерпевали эволюцию и на внутригосударственном уровне. На деле степень советизации существенно отличалась в зависимости от конкретного региона или республики, разницы в национальном контексте и наследии и ключевой границы между городом и деревней. Учитывая все эти различия, имеет смысл подумать о пространственном аспекте советской модерности.

С учетом сказанного важно отметить, что само разделение культуры на высокую и низкую, элитарную и популярную было проклятием советских теорий. На самом деле понятия «массовая культура» и «популярная культура» никогда не употреблялись для описания советской культуры или ее элементов — ни в пору расцвета классовой терминологии после 1917 года, ни на протяжении длительного периода господства социалистического реализма начиная с 1930-х годов. Такие выражения, как «культурно-массовая работа», обозначали просто

¹ *Von Geldern J.* Introduction. P. xviii.

² *Castillo G.* East as True West: Redeeming Bourgeois Culture, from Socialist Realism to *Ostalgie* // *Imagining the West in Eastern Europe and the Soviet Union* / ed. G. Péteri. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2010. P. 87–104.

масштабную просветительскую деятельность. И действительно, качество «массовости», свидетельствовавшее о монументальности, в особенности в связи с производственной идеологией пятилетнего плана, проявилось в еще больших масштабах в таких областях, как массовые зрелища¹. Классовая терминология, особенно популярная в дискуссиях о культуре в 1920-е годы, соседствовала с формулировками с использованием слов «массовый» и «массы», охватывавших все низшие классы. Когда в середине XX века понятие «массовая культура» получило международное распространение, с советской стороны его стали использовать исключительно применительно к западной коммерческой культуре. В противоположность этому оживленные споры о новой культуре в начале советского периода оперировали классово маркированным термином «пролетарская культура», на смену которому впоследствии пришли политические категории, объединяющие в себе высокое и низкое: «социалистическая культура» и «советская культура». По мере того, как при Сталине происходило формирование канона, нерусские национальные культуры в СССР избирательно вкрапляли элементы своего национального и фольклорного наследия и при необходимости усваивали европеизированные формы русской культуры. В целом в Советском Союзе отношения между элитарным и популярным были «гораздо более сложными, чем нам могут сказать об этом западные модели, настолько, что это различие, по крайней мере в теории, в 1930-е годы полностью стирается»².

Соцреализм с ключевой для него установкой видеть в самом настоящем светлое будущее или жизнь не такой, какая она есть, а какой она должна стать, был не просто художественной

¹ *Rolf M.* Das sowjetische Massenfest. Hamburg: Hamburger Edition, 2006. S. 86–88, 161.

² *Barker A.M.* The Culture Factory // *Consuming Russia: Popular Culture, Sex, and Society since Gorbachev*. Durham, NC: Duke University Press, 1999. P. 12–45, цитата: P. 20.

доктриной или социокультурным решением споров о массовой культуре. Это также был один из получивших наибольшее распространение компонентов официальной идеологии, или, как первой заметила Шейла Фицпатрик, главный изобразительный принцип сталинской эпохи во всех сферах, а не только в культурном производстве. С «точки зрения соцреализма высохшая, наполовину перекопанная канава обозначала будущий канал, по которому одна за другой шли груженные баржи»¹. Когда сталинизм внешне разрешил все давние споры и разногласия, он подложил идеологическую бомбу с часовым механизмом в самую сердцевину советского проекта с его попыткой продемонстрировать зарубежным странам превосходство советского строя.

ПОСТСТАЛИНИЗМ И ПЕРЕОТКРЫТИЕ ЗАПАДА

Мы видели, как попытка Советского Союза прыгнуть через голову Запада в альтернативную модернность усилила ключевые особенности ускоренной и сжатой российской модерности: развитие обширной интеллигентской оппозиции, противостоящей рынку, дидактическую культурную ориентацию на воспитание, мобилизацию и преобразование масс. Чувство любви-ненависти, которое интеллигенция испытывала по отношению к массам, и любовь-ненависть, в какую выливалась одержимость России Западом, представляли собой те основные оси, вокруг которых строилась самая мощная в XX столетии антикапиталистическая и подконтрольная государству версия модерности. Однако, как видно из недавних исследований транснациональных историков, современные государства всегда развивались в процессе пристального изучения других моделей в рамках международной системы

¹ *Fitzpatrick Sh. Becoming Cultured: Socialist Realism and the Representation of Privilege and Taste // Fitzpatrick Sh. The Cultural Front: Power and Culture in Revolutionary Russia. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1992. P. 217.*

и постоянной циркуляции усваиваемых практик¹. Даже в периоды наибольшей изоляции страны при Сталине международные факторы играли определяющую роль. Например, в 1930-е годы советские интеллигенты мечтали превратить Москву в международную культурную столицу, делая множество переводов с иностранных языков, продолжавших появляться даже на пике чисток². Однако присущие СССР претензии на превосходство во всем, содержавшие в себе то, что я назвал бы «идеологической натяжкой» в отношении советского строя, потеряли в цене, когда в конце Второй мировой войны миллионы советских солдат, продвигаясь на запад, были поражены невероятно более высоким, как оказалось, уровнем европейской материальной культуры. Это были очень разные типы международного контакта: в первом случае речь шла о представителях элиты, во втором — о солдатских массах. Оба сыграли существенную роль в укреплении и расшатывании мании величия сталинской эпохи³.

Но, даже принимая во внимание сказанное, сам факт трудной советской победы и восстановления страны из руин войны, подобных которой не знала история, на десятилетия упрочил советский вариант модерности. К концу 1940-х годов эти обстоятельства также привели к противостоянию двух супердержав, соперничающих между собой и вмешивающихся в мировую политику. Как полагает Одд Арне Вестад, интеллектуальные

¹ Здесь см. в особенности: *Cohen Y. Circulatory Localities: The Example of Stalinism in the 1930s* / trans. S. Lin // *Kritika*. 2010. Vol. 11. № 1. P. 11–45; *Cohen Y. Le siècle des chefs: Une histoire transnationale du commandement et de l'autorité (1891–1940)*. Paris: Éditions Amsterdam, 2013.

² *Clark K. Moscow, the Fourth Rome*. P. 18–20.

³ См. подробный анализ: *David-Fox M. The Iron Curtain as Semi-Permeable Membrane: The Origins and Demise of the Stalinist Superiority Complex* // *Cold War Crossings: International Travel and Exchange across the Soviet Bloc, 1940s — 1960s* / ed. P. Babiracki, K. Zimmer. College Station: Texas A&M University Press, 2014. P. 14–39. О соприкосновениях Советского Союза с Европой в конце войны см.: *Budnitskii O. The Intelligentsia Meets the Enemy: Educated Soviet Officers in Defeated Germany, 1945* // 2009. *Kritika*. Vol. 10. № 3. P. 629–682.

конструкты, стоящие за претензиями двух супердержав на универсализм — теория модернизации и марксизм-ленинизм, — представляли собой конкурирующие версии явления, которое Скотт назвал «высоким модернизмом»¹. В период принявшей огромный размах холодной войны советская модерность развивалась как контролируемая государством альтернатива капиталистической модели. Разумеется, выбор между ними не мог просто свершиться — ни в разобщенной Европе, ни тем более в остальном мире; и американская, и советская модели усваивались, отвергались, видоизменялись или игнорировались в ходе сложных процессов, описание которых заняло бы несколько томов. Советский Союз быстро установил обширные культурные и политические связи по всему миру. Но важно задаться вопросом, чем советская модерность как некапиталистическая и незападная альтернатива привлекала сторонников или сочувствующих во время холодной войны. Некоторых советская модель вдохновляла тем, что, как казалось, обеспечивала резкий старт, скачок и быстрое достижение цели. Другие полагали разумными подконтрольность государству и авторитарность, характерные для Советского Союза, который с этой точки зрения заслуживал восхищения тем, что им руководила однородная, коллективная воля партии². Но привлекала и советская культура, активно пропагандируемая средствами культурной дипломатии СССР. Советская цивилизация могла дать возможность познакомиться с органически целостной культурой, по-видимому стирающей границы (в том числе этнические — за счет модели «дружбы

¹ *Scott J.C.* Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. New Haven, CT: Yale University Press, 1998; *Westad O.A.* The Global Cold War: Third World Interventions and the Making of Our Times. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. P. 33, 397.

² Убедительные размышления на эту тему: *Péteri G.* The Occident Within — Or the Drive for Exceptionalism and Modernity // *Kritika*. 2008. Vol. 9. № 4. P. 929–937; *Marks S.G.* How Russia Shaped the Modern World: From Art to Anti-Semitism, Ballet to Bolshevism. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2004. Chap. 9.

народов»). Поэтому культура Советского Союза стала тем аспектом советской модерности, который мог опровергнуть представление об СССР в развивающихся странах как о второстепенной супердержаве, производящей посредственную продукцию. Советская дорога к «высокой модерности», как отметил Вестад, лежала через «образование, науку и технический прогресс»¹.

В то же время поздний сталинский режим, под влиянием холодной войны развернувший после 1947 года кампанию против космополитизма и отличавшийся крайней замкнутостью, с идеологической точки зрения окончательно поставил знак равенства между противостоянием капитализму и противостоянием Западу². Вопреки такому вектору развития, а может быть, как раз благодаря ему сохранившийся у элиты доступ к западным предметам роскоши и разрешенной для импорта западной культуре — не только высокой, но и массовой — усиливал растущее увлечение Западом (в особенности Соединенными Штатами, конкурирующей с СССР супердержавой). Достаточно упомянуть хотя бы роль зарубежного кино в послевоенном СССР; в 1951 году лишь четверть всех фильмов в советском прокате были советского производства³. Этот парадокс одновременного восхищения и порицания не в последнюю очередь был обусловлен политико-идеологическими мерками самого режима: развитые, индустриальные капиталистические страны олицетворяли инаковость, от которой отталкивался советский коммунизм. Открытость внешнему миру после смерти Сталина стала откровением и произвела потрясающий эффект, но почва для нее была хорошо подготовлена. Оттепель оказалась лишь особенно насыщенной и сильной по своему воздействию частью цикла открытий и закрытий, реформ и реакции, репрессий

¹ Westad O.A. The Global Cold War. P. 92, 123.

² О послевоенном сталинизме как переломном для советской истории периоде см.: Fürst J. (ed.). Late Stalinist Russia: Society between Reconstruction and Reinvention. London: Routledge, 2006.

³ Lovell S. From Isolationism to Globalization, глава 9 книги: The Shadow of War: Russia and the USSR, 1941 to the Present. Oxford: Wiley-Blackwell, 2010.

и послаблений, пронизывавших историю России и СССР на протяжении более чем двух столетий.

Во время хрущевской оттепели и десталинизации три смежных явления, затронутые нами в этой главе: интеллигенция, массовая культура и образ Запада, — коренным образом изменились. Последствия утраты навязываемого соцреализмом культурного единства были многообразны: нарастающее развитие молодежных и других субкультур, некоторые из которых восходили к более ранним периодам; эксперименты с формой и переосмысление авангардного искусства 1920-х годов; и сложные полемические дискуссии о пересмотре соцреалистического канона, установленного в предшествующие десятилетия. Советская интеллигенция — которая, принимая во внимание происхождение интеллигентско-элитарной модерна, при Сталине одновременно являлась носителем уникальных привилегий и объектом террора — переживала яркий гражданский подъем, отчасти схожий с тем, какой она испытывала в XIX веке¹. В конце концов к 1960-м годам такой ход событий подорвал и открыто поставил под сомнение согласие с программой правящей партии. В то же время параллельно с растущей стратификацией советского общества и укреплением элиты прежде свойственный интеллигенции культ масс все больше переходил в свою противоположность. Среди группировок новой интеллигенции позднего советского периода технократические тенденции были сильны, но ранее существовавший культ масс превратился в нечто, близкое к открытому презрению.

Новое соприкосновение с внешним миром в хрущевскую эпоху стало отправной точкой для ряда значимых начинаний, продемонстрировав весьма оптимистичный вариант возобновления открытой конкуренции с Западом². Новые обещания до-

¹ *Zubok V. Zhivago's Children: The Last Russian Intelligentsia*. Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2009.

² *Zubok V. Zhivago's Children*, Chap. 3; English R. *Russia and the Idea of the West: Gorbachev, Intellectuals, and the End of the Cold War*. New York: Columbia University Press, 2000.

гнать и перегнать подкреплялись активным усилием построить не просто социалистический образ жизни, а социалистическую культуру потребления, ориентированную не на будущее, а на улучшение жилищных и бытовых условий миллионов советских граждан. Поиски альтернативной модели социалистического потребления представляли собой сложный процесс, последствия которого, однако, оказались роковыми для типа высокой модерности, который был всецело сосредоточен на производстве и никогда на самом деле не пытался напрямую конкурировать в сфере потребления¹.

Две попытки реформировать коммунизм — в 1950-х годах при Хрущеве и в конце 1980-х при Горбачеве, — непосредственно связанные друг с другом, проходили под знаком вновь вышедшей на первый план интеллигенции, продвигающей культурные, идеологические и в конечном счете политические изменения; нового интенсивного диалога с Западом и, наконец, становления менее однородной, менее назидательной и менее скованной культуры потребления, досуга и развлечений. Эта последняя теперь открыто соревновалась с западной массовой культурой, популярной в первую очередь за счет «буржуазного радио», музыки и одежды, которые воспринимались правительством как реальная угроза². Однако ко времени позднего советского «нишевого общества», времени отступления, самореализации и усилий по сохранению культуры, давнее стремление интеллигенции

¹ См. тексты С. Рейд и Г. Петери в книге: *Imagining the West*; также см.: *Magnúsdóttir R. Keeping Up Appearances: How the Soviet State Failed to Control Popular Attitudes to the United States of America, 1945–1959*. PhD diss., University of North Carolina, Chapel Hill, 2006.

² См. редкое архивное исследование провинциального города: *Zhuk S. Popular Culture, Identity, and Soviet Youth in Dnepropetrovsk, 1959–84* // Carl Beck Papers. № 1906 (2008), а также: *Zhuk S. Rock and Roll in the Rocket City: The West, Identity, and Ideology in Soviet Dnepropetrovsk*. Washington, DC: Woodrow Wilson Press. 2010. Об образе Запада в позднем социализме см.: *Yurchak A. Everything Was Forever, until It Was No More: The Last Soviet Generation*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2006. Chap. 5.

служить массам и переделывать их уже не было преобладающим историческим фактором.

Но, несмотря на существенные перемены, некоторые ключевые аспекты советского строя в конце сталинской эпохи оставались в рамках системы, сложившейся в предшествующие десятилетия. В какой мере — возможно, самый важный вопрос, учитывая относительную новизну области послевоенной историографии. Одна исследовательница, Анна Крылова, выражает справедливое недовольство тем, что в работах послевоенного периода советская эпоха не рассматривается вся в целом. Она предложила разграничить большевистскую и советскую модерность. Последняя, с этой точки зрения, началась со второй половины 1930-х годов и не планировалась, а реализовывалась в условиях нерыночного индустриального общества, в котором переосмыслились отношения между индивидуальным и общественным¹. Отмечу лишь, что если социальные и культурные перемены были значительны (а их следует оценивать, соотнося с определенными политическими, экономическими и идеологическими закономерностями), они одновременно могли служить связующим звеном по отношению к более ранним планам и периодам. В качестве примера можно привести кампанию в пользу культурности, которая углубилась и получила больший охват в 1950-е годы, когда цивилизаторский и дидактический импульс режима и квалифицированных специалистов из интеллигенции набрал силу в условиях намного большей стабильности. В частности, речь шла о влиятельном новом замысле создания социалистического быта и модели поведения. Миссия партии по формированию новой советской личности и преобразованию человеческой природы получила новую жизнь благодаря «мессианскому духу» хрущевской эпохи, неореволюционному возрождению, преодолевшему мрачные представления сталинского времени о притаившихся повсюду под маской врагах. Одним из следствий

¹ *Krylova A. Soviet Modernity: Stephen Kotkin and the Bolshevik Predicament // Contemporary European History. 2014. Vol. 23. № 2. P. 167–192.*

было настойчивое стремление «учить граждан, как вести себя на работе и в личной жизни, как одеваться, как обустроить жилое пространство и как проводить свободное время»¹.

В то же время Стивен Ловелл показывает расширение специфически советской «области личного», явно противопоставленной либеральному делению на частное и общественное. В десятках миллионов новых квартир, рассчитанных на одну семью, — крупнейшее жилищное строительство в послевоенной Европе — на фоне преобразований и большего достатка вместе с советской модерностью вызревали и развивались представления о личной независимости. Это личное пространство нашло отражение в массовой культуре: процветали трудно поддающиеся контролю любительские театральные кружки (по имеющимся сведениям, в 1958 году их насчитывалось 150 000), а музыкальная самодеятельность, в частности авторская песня таких бардов, как Булат Окуджава, распространялась на магнитофонных кассетах². Официально разрешенная постсталинская массовая культура и, шире, квазиофициальные формы популярной культуры не только подрывали, но и укрепляли правительственную идеологию³. Запад, как и раньше, оставался одновременно ориентиром для советской системы и критерием по-прежнему активно навязываемых представлений о декадентских, опасных и запретных тенденциях.

¹ *Dobson M.* Khrushchev's Cold Summer: Gulag Returnees, Crime, and the Fate of Reform after Stalin. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2009, цитаты: P. 3, 8; см. также: *Kharkhordin O.* The Collective and the Individual in Russia: A Study of Practices. Berkeley: University of California Press, 1999.

² *Lovell S.* The Shadow of War, Chap. 5; Harris S.E. Communism on Tomorrow Street: Mass Housing and Everyday Life after Stalin. Washington, DC: Woodrow Wilson Center Press, 2013. См. также: *Siegelbaum L.H. (ed.).* Borders of Socialism: Private Spheres of Soviet Russia. New York: Palgrave Macmillan, 2006.

³ О патриотических и воспитательных формах см.: *Dullin S.* L'image de l'espion dans la culture populaire soviétique des années 1950: Entre affirmation patriotique et valeurs de Guerre froide // Culture et Guerre froide / ed. J.-F. Sirinelli, G.-H. Soutou. Paris: PUPS, 2008. P. 89–102.

Таким образом, перед советским вариантом модерности постоянно стояли культурные и идеологические задачи — как обогнать Запад и превзойти темпы его культурного и материального развития, исполнив при этом обещание создать более совершенную альтернативу, — игравшие не меньшую роль, чем экономические, политические или геополитические дилеммы. Отсюда следует, что рассмотренную в этой главе историческую динамику следует воспринимать не просто как чисто государственное явление. За советской модерностью, которая, безусловно, формировалась под беспримерным государственным контролем, стояла мощная цивилизаторская миссия и острый комплекс неполноценности или мания величия, сквозь призму которых российская и советская интеллигенция смотрела на Запад. В этом отношении советский вариант модерности соответствовал цивилизационным парадигмам, включающим в себя политические и экономические структуры партийной государственности. На самом деле различные составляющие этого комплекса могли поддерживать друг друга, если принять во внимание глубоко укоренившуюся в России и в интеллигентской среде враждебность рынку и приверженность категориям социального переустройства, саморазвития и культурности.

Культура, сформировавшаяся в рамках советской модерности, была политизированной и подконтрольной, но, подобно советскому образованию, науке и самой «творческой интеллигенции», она могла похвастаться многими победами и привлекательными чертами. Различные ответвления одной системы могут развиваться по-разному, и, проецируя представления о неудаче на всю историю интеллигентско-этатистской модерности, мы игнорируем значимые преобразования, которые она стимулировала. Тем не менее присущим ей болезням и распаду всей системы в 1991 году также следует найти объяснение. Поражение коммунизма еще много десятилетий останется темой споров среди историков. Но если следовать высказанной в этой главе мысли о том, как существенно для анализа учитывать цивилизационную ориентацию, на которой строилась советская версия модерности,

одной из важных тем должна стать роль современной рефлексивности, вслед за Гидденсом названной социальными теоретиками ключевым элементом ускоренных изменений. «Рефлексивность современной социальной жизни, — писал Гидденс, — заключается в том факте, что социальные практики постоянно исследуются и реформируются в свете вновь поступающей информации об этих же практиках, меняясь в результате этого в самых своих основах»¹.

Размышляя о том, что современность никогда не достигает своей полноты и не выполняет всех обещаний, Виттрок прибегнул к развернутому сравнению с простыми векселями, — так финансисты называют векселя, где без указания каких-либо условий обещана сумма, которая должна быть выплачена в будущем, — чтобы показать, как современные системы, одновременно пережившие становление социальной науки, пересматривают свои основы, по мере того как расширяется их институциональный охват². Но в случае с Советским Союзом крайняя степень этатизма, всеобъемлющая роль систематизированной доктрины и политическая бомба замедленного действия, какой стала претензия на превосходство во всем, расстроили счетные механизмы режима. Это чувствовалось в ограниченности подходов государства и интеллигенции к проблемам, ощущаемым массами, в помехах на пути генерирования социальных знаний и в строгих ограничениях, связанных с распространением информации. Культурное производство не было свободно в своей способности изображать и осмыслять важнейшие проблемы. Говоря о коммунистической

¹ Гидденс Э. Последствия современности / Пер. с англ. Г.К. Ольховикова, Д.А. Кибальчича; вступ. статья Т.А. Дмитриева. М.: Издательская и консалтинговая группа «Праксис», 2011. С. 156. См. также: Beck U., Giddens A., Lash S. Reflexive Modernization: Politics, Tradition, and Aesthetics in the Modern Social Order. Stanford, CA: Stanford University Press, 1994.

² Wittrock B. Modernity: One, None, or Many? European Origins and Modernity as a Global Condition // Multiple Modernities. P. 36; см. также: Wagnier P. A Sociology of Modernity, Liberty, and Discipline. London: Routledge, 2004. P. xiii.

модерности, Йохан Арнасон высказался вполне однозначно: «Влияние проникающей всюду и ограничивающей идеологии ослабляло роль рефлексивности в социальной жизни», поскольку последняя оказывалась в кругу распространения системы постулатов официальной доктрины и обучения им¹. Именно покровительственный, просветительский, культуртрегерский импульс к переделыванию масс, которым руководствовалась сначала русская интеллигенция, а затем и советское правительство на ранних этапах, сам, перефразируя Маркса, выкопал себе могилу.

Этатизм оставался присущ России и в постсоветский период, после 1991 года, а просветительские стремления интеллигенции и мощное противостояние коммерческим отношениям с ее стороны были почти обречены оказаться на свалке истории. Широко обсуждалась предполагаемая смерть самой интеллигенции; если она и существует до сих пор как целостная гражданская сила, то ее положение очень незначительно и маргинально. В то же время презрение к широким массам, характерное для поздней советской эпохи, лишь возросло среди представителей постсоветской элиты. Эти изменения свидетельствуют о явном разрыве с интеллигентско-этатистской модерностью, формировавшейся на протяжении более чем ста лет. Теории непрерывного развития и преемственности, представляющие Россию как нечто неизменное, игнорируют подобные нестыковки. Чем более российская, советская и постсоветская история чревата переменами, тем больше вероятность, что общая картина не останется всегда одной и той же.

¹ *Arnason J.P. Communism and Modernity. P. 68.*

ЧАСТЬ II.
ИДЕОЛОГИЯ, ПОНЯТИЯ
И ИНСТИТУТЫ



К гл. 3. Иттё Ханабуса. Иллюстрация в стиле укиё, изображающая слепых монахов, ощупывающих слона, из книги, изданной в Токио в 1888 году. Согласно буддийской притче, каждый из этих людей приходит к разным выводам в зависимости от того, какую часть он осязал. Публикуется с любезного разрешения Отдела печати и фотографий Библиотеки Конгресса (Вашингтон).



К гл. 4. Виктор Дени, стих. текст Демьяна Бедного. «Долбанем», 1929 год. На молоте у рабочего надпись — «Культурная революция». Публикуется с любезного разрешения библиотеки и архивного отдела Гугеровского института (Стэнфордский университет).

3. СЛЕПЦЫ И СЛОН

ШЕСТЬ ЛИКОВ ИДЕОЛОГИИ В СОВЕТСКОМ КОНТЕКСТЕ

Невозможно заниматься историей коммунизма, так или иначе не размышляя о сущности идеологии. Невозможно думать об историческом развитии Советского Союза, не касаясь в той или иной мере роли идеологии в этом процессе. Поэтому тем более поражает, насколько в действительности редкость для советской историографии развернутый анализ идеологии¹. В отношении истории СССР вопрос о систематизации всех уровней, на которых следует обсуждать проблему идеологии, стоит особенно остро. Марксистские трактовки, с одной стороны, оказали существенное влияние на западную науку XX столетия, с другой — были ключевыми для государственной партийной политики; западные теоретики идеологии, строя свои гипотезы, не могли пройти мимо темы коммунизма. Есть и другая трудность, связанная с ретроспективным изучением явления,

¹ На это указывает и Дэвид Бранденбергер: *Brandenberger D. Propaganda State in Crisis: Soviet Ideology, Indoctrination, and Terror under Stalin, 1927–1941. New Haven, CT: Yale University Press, 2011. P. 1.* См. также: *Nathans B.* [Рецензия] *The Cambridge History of Russia, 3: The Twentieth Century / ed. R.G. Suny. Cambridge: Cambridge University Press, 2007 // Journal of Modern History. Vol. 81. № 3. 2009. P. 756–758.*

вокруг которого исследуемые нами исторические фигуры в свое время построили культ.

Более того, вместо тщательного анализа концепция идеологии породила множество заблуждений, под которыми иногда подписывались даже специалисты в этой области, а люди неосведомленные глотали их не задумываясь. Согласно одной, наиболее распространенной интерпретации, которую можно обнаружить не только в студенческих работах, но даже в звучащих на конференциях высказываниях историков — специалистов по советской эпохе, «идеология» функционирует просто как условное обозначение определенной предвзятости или того, что Майкл Фриден назвал «смирительной рубашкой мышления», упрощенной приверженности застывшему набору предвзятых идей¹. Даже теми, кто претендует на нейтральное употребление терминов, понятие идеологии многократно использовалось в полемическом контексте для обозначения предрассудков, ложных убеждений и искажений. В 1973 году Клиффорд Гирц начал свое известное эссе так: «По грустной иронии современной истории, понятие „идеология“ само стало совершенно идеологическим»². Ситуация не особенно изменилась к лучшему на момент выхода книги Терри Иглтона «Идеология; введение»: «Я вижу вещи как они есть; вы щуритесь на них в узкую щель, потому что извне вам мешает какая-то систематизированная доктрина». Иглтон позволил себе заявить, что это определение «человека с улицы» достойно «посетителей паба», если не учитывать того, как часто оно фигурировало в послевоенной социальной науке, — и это наследие «конца идеологии» являет собой самостоятельную идеологию³.

¹ *Freeden M. Ideology: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2003. P. 2.*

² *Гирц К. Идеология как культурная система // Интерпретация культур. М.: Российская политическая энциклопедия, РОССПЭН, 2004. С. 224.*

³ *Eagleton T. Ideology: An Introduction. New York: Verso, 2007. P. 3–4. Подобные мысли встречаются, например, и у Майкла Фридена: Freedен M. Editorial: On Pluralism through the Prism of Ideology // Journal of Political Ideologies.*

Обсуждая давнее противопоставление идеологии и реальной политики в историографии холодной войны, Найджел Гулд-Дэвис прекрасно обошелся без умножения существующих заблуждений. Так, идеологи всегда действуют в соответствии с тщательно проработанным планом или программой; они должны быть нестигаемыми, агрессивными, и предполагается, что они не могут сотрудничать с врагами¹. Многие из этих предположений, которые Гулд-Дэвис вычленил из ложных предпосылок, касающихся роли идеологии в советской внешней политике и на международной арене, могут с необходимыми поправками встречаться и в дискуссиях о внутренней политике СССР. Общее между ними то, что природа идеологии в них обедняется и обретает четкие рамки, ее границы и следствия заранее известны; идеология воспринимается как самостоятельный, обособленный исторический фактор, который можно разложить на элементы, приравняв его к исторической причинности. Все считают, что политические идеологии должны представлять собой догматизированные антитезы практичности, экономике и другим рациональным феноменам. С этой точки зрения идеология мыслится как диаметрально противоположность выгоды.

Первое, что следует возразить в ответ на эту настойчивую тенденцию превращать идеологию в противоположность рациональным интересам или попросту приравнивать ее к иррациональному фанатизму, — это что не все идеологии одинаковы и что их функции не остаются неизменными с течением времени. Содержание, предпосылки и внутренняя логика того, что можно назвать идеологической сферой — то есть областью, в которой идеологические постулаты обретают форму, обсуждаются и распространяются, — играют огромную роль,

Vol. 7. № 1. 2002. P. 5; *Freedden M.* Editorial: What Is Special about Ideologies? // *Journal of Political Ideologies*. Vol. 6. № 1. 2001. P. 5–12.

¹ *Gould-Davies N.* Rethinking the Role of Ideology in International Politics during the Cold War // *Journal of Cold War Studies*. Vol. 1. № 1. 1999. P. 90–109.

как очевидно из недавних дискуссий о нацизме и сталинизме¹. Идеологии могут серьезно стеснять акторов, но и акторы могут использовать идеологии и манипулировать ими, — причем то и другое может происходить одновременно. Если говорить, например, о ленинизме, пронизательная гибкость, трезвый и грубый расчет и стремление развивать идеологию диалектически в свете практики одновременно принимались за основной определяющий принцип (вне зависимости от того, как часто нарушалось это хваленое «единство теории и практики»). Как сказал Франсуа Фуре: «Философия истории существовала с политической тактикой... Первая была поэзией, вторая — прозой»².

Возникает соблазн перефразировать старую английскую поговорку: покажи мне, как ты понимаешь идеологию, и я скажу, кто ты. Почему же тогда эта наиболее пронизанная идеологией область, для которой понимание данной ключевой концепции остается жизненно необходимо, не сделала изучение идеологии своей основной задачей? По всей видимости, относительное отсутствие последовательного анализа идеологии в корпусе работ по истории Советского Союза во многом объясняется тем, что эмпирическое изучение советской истории осуществлялось главным образом в период, когда начинала приобретать популярность теория тоталитаризма. Как известно, первым из шести признаков тоталитаризма, названных Карлом Фридрихом и Збигневом Бжезинским, была «официальная идеология, представляющая собой официальную

¹ *Geyer M., Fitzpatrick Sh. (eds.). Beyond Totalitarianism: Stalinism and Nazism Compared. Cambridge: Cambridge University Press, 2009; Holquist P. State Violence as Technique: The Logic of Violence in Soviet Totalitarianism // Landscaping the Human Garden: Twentieth-Century Population Management in Comparative Perspective / ed. A. Weiner. Stanford, CA: Stanford University Press, 2003. P. 19–45.*

² *Furet F. The Passing of an Illusion: The Idea of Communism in the Twentieth Century / trans. D. Furet. Chicago: University of Chicago Press, 1999. P. 173.* Фуре говорил как о большевизме, так и о фашизме.

систематизированную доктрину, которая затрагивает все важнейшие аспекты человеческого существования... направлена и ориентирована на достижение человечеством совершенного состояния». Идеологии рассматривались как «проявляющиеся в действиях системы идей», что заставляло связывать их с результатами; они являлись тоталитарными, если стремились к полному насильственному разрушению и воссозданию принятого порядка. Таким образом, когда подобная идеология сталкивалась с «реальной жизненной ситуацией», она в силу своей природы тяготела к тому, чтобы добиться соответствия действительности ее «масштабной картине желаемого будущего». Так из «яйца» идеологии вылуплялся «цыпленок» тоталитаризма; сознание определяло бытие, а не наоборот¹. Многолетний чрезмерный акцент на идеологии, которую даже прямо называли основным фактором эволюции советской системы, напоминал направленный сверху вниз тоталитарный подход с его упрощенным взглядом на то, как идеи определяют исторический процесс².

Размышляя о наследии теории тоталитаризма в связи с проблемой идеологии, необходимо отметить, что, как ясно показывает Дэвид Энгерман в своей истории исследований Советского Союза, эта школа отнюдь не была однородной. Ряд авторитетных социологов, предметом изучения которых была модернизация, принимал концепцию тоталитаризма, не поддерживая при этом тезис о приоритете идеологии³. Корни разногласий относительно роли идеологии оказались глубже, чем можно было бы ожидать,

¹ *Friedrich C.J., Brzezinski Z. Totalitarian Dictatorship and Autocracy. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1956. P. 9, 74, 84–85; главы 7–10 посвящены тоталитарной идеологии.*

² См., например, автобиографические замечания на эту тему в начале статьи Рональда Григора Сунни: *Suny R.G. On Ideology, Subjectivity, and Modernity: Thoughts on Doing Soviet History // Russian History / Histoire russe. 2007. Vol. 34. № 1–4. P. 1.*

³ *Engerman D. Know Your Enemy: The Rise and Fall of America's Soviet Experts. New York: Oxford University Press, 2009.*

учитывая общность взглядов представителей тоталитарной школы на советскую историю в целом. Существенные расхождения наблюдались даже в рамках классической теории тоталитаризма. Например, Ханна Арендт полагала, что никакая идеология не является тоталитарной по своей сути, она становится такой лишь после того, как политические силы превращают ее в систему, из которой выводятся все объяснения¹. В этом плане Мартин Малиа, один из наиболее известных историков, изучавших роль идеологии в советской истории, чьи основные работы публиковались в 1990-е годы, на словах и на деле был сторонником очень своеобразной разновидности неототалитарной теории. Удивительно, но характерно заявление Малиа, что «все основные институты советского строя... были творением идеологии; они являли собой ни много ни мало программу партии, воплощенную в стали, бетоне и вездесущем аппарате». Блестящий интеллектуальный историк, язвительное перо которого, очерчивая ироническую, неумолимую логику величественного движения истории, нередко наводило на мысль о подспудном влиянии столь презируемого им марксизма, Малиа сделал из идеологии не просто предпосылку, а первопричину советской истории².

Поэтому широко известные работы Малиа о советском коммунизме представляли читателю специфический взгляд на идеологию: она изображалась доктринальной, обладающей четкими границами (в том плане, что было ясно, где она начиналась и кончалась и как влияла на историю) и являла собой единственную универсальную отмычку, необходимую, чтобы проникнуть в историю «идеократии»³. Стив Смит указал на весьма

¹ *Arendt H. The Origins of Totalitarianism*, 2nd ed. Cleveland: Meridian Books, 1958. P. 470–471.

² *Малиа М. Советская трагедия: История социализма в России. 1917–1991* / Пер. А.В. Юрасовского, А.В. Юрасовской. М.: РОССПЭН, 2002. С. 29; *Malia M. Russia under Western Eyes: From the Bronze Horseman to the Lenin Mausoleum*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999. Chap. 5.

³ Отсюда хорошо известные разногласия между Малиа и Ричардом Пайпсом, делающим акцент на власти и традиции российского самодержавия. Пайпс писал:

условное определения идеологии, которую Малиа понимал просто как «набор суждений о мире, диктующих тот или иной курс действий». «В каждом поворотном пункте повествования» в «Советской трагедии» Малиа, по словам Смита, «старается показать, что то или иное действие должно было быть совершенным; выбора политической стратегии — а значит, и какой-то человеческой активности — не предусматривается (поскольку те, кто принимает решения, являются заложниками своей идеологии)». Как полагает Смит, несмотря на все оговорки Малиа и иногда встречающиеся у него излишние усложнения, его работа стала телеологией «Большой Идеи»¹. Остается лишь добавить, что Малиа не просто преувеличивал роль идеологии в том, что касается причин исторических событий, но и — по обнаружившейся в итоге иронии историографии, которой он не заметил, — свел многие ее аспекты к одному, обсуждая суть советской эволюции. Воспринимая идеологию почти исключительно как однородное, последовательное учение, он прошел мимо многих других обликов идеологии в советском контексте и их связи с другими гранями исторического процесса. Малиа оказался ежом, а не лисицей².

Не менее значимую особенность «идеологии Мартина Малиа» отметил Янни Коцонис. То, что, по словам Коцониса, «большинство назвало бы либерализмом и капитализмом», для Малиа представляло собой «„норму“ и „реальность“, в то время как социализм был „идеологией“, и идеологией „сюрреалистичной“,

«Говоря о Советском Союзе, Малиа игнорирует его социальные основания и политику, сосредоточиваясь на идеологии, точнее, государственной монополии на язык». Главная причина несогласия Пайпса с теорией Малиа об СССР как идеократии заключалась в том, что последняя не учитывала «стремление к власти как существенный для объяснения этой диктатуры фактор». См. рецензию Пайпса на книгу Малиа «Россия глазами Запада»: *Pipes R. East Is East // New Republic*. 1999. April 26 — May 3. URL: www.misterdann.com/eurareastiseast.htm.

¹ *Smith S.* Two Cheers for the 'Return of Ideology' // *Revolutionary Russia*. Vol. 17. № 2. 2004. P. 119–135, цитаты: P. 124, 125.

² Как я отмечал в своем диалоге с Малиа на страницах «*Times Literary Supplement*» (July 20, 2001).

а не просто конкурирующей». Малиа, продолжал он, был совершенно прав, утверждая, что только партия, которая могла додуматься до полной национализации промышленности, попыталась бы претворить ее в жизнь, и только партия, верящая в классовую борьбу, попыталась бы полностью уничтожить отдельные классы. Но Коцонис возразил, что и либерализм можно интерпретировать с позиций идеологии: только государство, убежденное в невозможности полной безработицы, смирится с ее высоким уровнем, и только правительство, верящее в понятие расы, построит на ней политическую стратегию¹. Однако вопрос остается открытым: если не принимать толкования Малиа, наделяющего идеологию преувеличенным статусом первопричины исторического развития СССР, его условного и узкого понимания идеологии как доктрины и его оценки идеологии как явления, не знающего аналогов на либеральном Западе, в чем тогда состоит уникальность или своеобразие идеологии советского коммунизма? Или, иначе говоря, каковы наиболее плодотворные подходы к изучению идеологии в советском контексте?

Ответы на эти вопросы трудно сформулировать, и не только потому, что авторитетная, но специфическая точка зрения Малиа на идеологию оказалась господствующей в этой области. В те же годы, когда Малиа насаждал свой подход к идеологии, возводящий ее в ранг универсального объяснения всех существенных событий советской истории, эту область захлестнула культурологическая волна. Историки, обратившиеся к проблемам, связанным с языком и дискурсом, ритуалами и праздниками, личными документами и менталитетом групп и индивидов, применявшие «культурологические» подходы к деятельности учреждений и политическим стратегиям вождей, пролили свет на многие вопросы, ответы на которые помогли объяснить механизмы работы идеологии в рамках советской системы. Однако «новая история культуры» долгих 1990-х так и не восстановила в правах идеологию

¹ *Kotsonis Y. The Ideology of Martin Malia // Russian Review. Vol. 58. № 1. 1999. P. 124–130, цитата: P. 126.*

как полноценную категорию анализа. Наоборот, на первый план вышли язык и культура, так что даже положительно настроенные критики выражали недовольство тем, что они вытеснили другие направления, исследующие понятийную систему и причинно-следственные связи¹. До сих пор в указателях понятий в конце очень хороших работ по истории советской культуры вы тщетно будете искать слово «идеология»². Наряду с идеологией как термином и концепцией специалисты по истории Советского Союза, в противоположность изучающим имперский период, в общем и целом относительно мало интересовались историей понятий и интеллектуальной историей — ключевыми для исследования идеологии областями. Оглядываясь назад, можно сказать, что наиболее привлекательными для новой истории культуры участками того, что я называю идеологической сферой, были символический, лингвистический и дискурсивный аспекты советской идеологии, ее взаимоотношения с индивидуальностью и личными убеждениями и ее присутствие в произведениях культуры и на уровне репрезентаций³. Слишком долго, по-видимому, не было компромисса между крайней позицией Малиа, которая преобладала в дискуссиях об идеологии, наделяя последнюю всеобъемлющей ролью, и, как правило, более узкими и специализированными попытками анализа дискурса и культуры, которые часто напрямую не касались идеологии как таковой.

¹ *Engelstein L.* Culture, Culture, Everywhere: Interpretations of Modern Russia across the 1991 Divide // *Kritika*. Vol. 2. № 2. 2001. P. 363–393.

² Приведу один пример: *Plamper J.* The Stalin Cult: A Study in the Alchemy of Power. New Haven, CT: Yale University Press, 2012.

³ Разумеется, существует множество исключений из этого широкого обобщения. См., например: *Van Ree E.* The Political Thought of Joseph Stalin: A Study in Twentieth-Century Revolutionary Patriotism. London: Routledge, 2002; *Ryan J.* Lenin's Terror: The Ideological Origins of Early Soviet State Violence. London: Routledge, 2012. Ключевой для Иглтона вопрос: была ли постмодернистская и постструктуралистская мысль враждебна самому понятию идеологии — представляется менее существенным применительно к историческим исследованиям, где постмодернистов, вероятно, было мало, если они были вообще (*Eagleton T.* Ideology; особенно: P. xx).

В этой главе я намечаю альтернативный подход к идеологии в советском контексте. Если мы не хотим вернуться к прежним заблуждениям и предвзятым установкам, следует развернуто анализировать и обсуждать определение и историческую функцию идеологии. Надо найти альтернативу попыткам подойти к идеологии словно бы с черного хода посредством других категорий и инструментов анализа. Одно из возможных решений — применить уже неоднократно упоминавшуюся концепцию идеологической сферы. В данном случае можно заметить, что интерпретация идеологической сферы, не ограниченной какой-то конкретикой и не имеющей четких очертаний, может дополнить анализ более привычных областей: политической, социальной, экономической и культурной. В этом плане я могу согласиться с Малиа, который настаивал, что идеи и идеологии, подобно политике, являются независимой переменной, поэтому идеологические феномены нельзя ставить в зависимость от других существенных факторов советской истории¹. Однако моя основная цель здесь состоит в том, чтобы показать преимущества рассмотрения и интерпретации идеологии — не только, но, вероятно, в первую очередь в советском контексте — с плюралистических, многомерных и исключающих редукционизм позиций.

Осознание многоликости идеологии представляет собой исключение для литературы, в которой или по умолчанию подразумевается конкретное ее определение, или отдается предпочтение какому-то одному подходу (в последние годы это прежде всего относится к трактовке идеологии как дискурса). На самом деле именно потому, что существует множество способов понимания идеологии в советском контексте, значимых как с исторической, так и с историографической точки зрения, особенно важно выбрать подход, соответствующий тому или иному контексту. На

¹ См., например: *Malia M. The Soviet Tragedy: A History of Socialism in Russia, 1917–1991*. New York: Free Press, 1994. P. 108; *Malia M. Russia under Western Eyes*. P. 11. Он лишь забыл добавить, что то же предостережение относится и к игнорированию других значимых факторов на фоне идеологии и политики.

этом основании я и анализирую шесть ликов идеологии, представленных ниже. В цифре шесть нет ничего магического — можно построить и другую классификацию. Но это основные аспекты, выделенные мной из существующих работ по идеологии и по советской истории, и я полагаю, что эти частично конкурирующие между собой, но в то же время взаимодополняющие подходы к идеологии особенно важны для глубокого понимания советской системы на протяжении всей истории ее существования. Затем от разграничения основных способов интерпретации идеологии я перейду к анализу ее роли в рамках более широкого исторического процесса. Этот экскурс в сравнительную историографию, в котором применительно к российскому контексту ставится дилемма о главенствующей роли идей или обстоятельств, вызывающая споры со времен Великой французской революции, позволяет отойти на некоторое расстояние и, имея перед глазами общую картину, задаться ключевым для историков-практиков вопросом: как понять функцию идеологии в период великих потрясений начиная с Октябрьской революции до сталинской эпохи и после?

ДОВОДЫ В ПОЛЬЗУ ЭКЛЕКТИЗМА

В знаменитой легенде о слепых и слоне, широко распространенной в Индии и соседних с ней странах, группа незрячих людей собирается вокруг слона и пытается понять, что это такое. Все они ощупывают разные части: ногу, бивень, хвост, — и обнаруживается, что они описывают совершенно разные вещи. Согласно некоторым версиям, лишь когда эти люди слышат описание слона целиком, они впервые узнают, что слепы. В стихотворении Джона годфри Сакса «Слепые и слон» эти люди уподобляются ученым богословам. В предпоследней строке говорится, что каждый из индийцев все больше упрямылся и настаивал на своей правоте. И хотя каждый из них отчасти был прав, все они заблуждались.

Немногие существующие последовательные подходы к анализу роли идеологии в советской истории тяготеют к тому,

чтобы — прямо или косвенно — выдвигать на первый план какое-то одно понимание или определение этого термина. Возражая, в частности, против свойственного Малиа телеологизма, Смит, например, делает вывод, что «продуктивнее было бы думать об идеологии как о дискурсе, а не как о системе убеждений»¹. Рональд Суни подытоживает свои заслуживающие внимания размышления несколько иначе: «„Идеология“ — термин, колеблющийся между двумя полюсами значений. На одном из них — его узкое понимание как догмы или доктрины, на другом — нечто более близкое к дискурсу или культуре». Однако, как и Смит, Суни отчетливо склоняется ко второму полюсу, полагая, что чем чаще в ней видят догму, тем чаще из текстов путем «простого умозаключения» делаются ошибочные выводы относительно намерений и действий². Дэвид Бранденбергер, в свою очередь, подхватывает мысль Суни о «двух полюсах» и пытается примирить их, включив в концепцию идеологии и официальную доктрину сталинской эпохи, и идеологические аспекты популярной культуры. Но в конечном счете «культурный» полюс становится у него составляющей доктринального, по мере того как он подчеркивает «масштаб и уникальность» советского «идеологического мировоззрения», насаждаемого средствами пропаганды и воспитательной работы. В действительности, считает он, именно в силу «доктринерского, направленного сверху вниз подхода к политической идеологии, практиковавшегося при Сталине», теоретическая литература об идеологии как «более обширном историко-культурном факторе в либеральных обществах» здесь практически бесполезна. С такой точки зрения есть два варианта: либо признать идеологическую уникальность Советского Союза, либо рассматривать советское общество под привычным

¹ *Smith S.* Two Cheers. P. 132–133, где автор следует за положениями работы: *Schull J.* What Is Ideology? Theoretical Problems and Lessons from Soviet-Type Societies // *Political Studies*, 40. № 4. 1992. P. 728–741.

² *Suny R.G.* On Ideology. P. 3, 5.

углом, «сфокусировавшись на государственных политических практиках или социокультурной динамике»¹.

Мне кажется, нет причины не использовать обе возможности. Мы можем принять в расчет тяжеловесную, стремящуюся к однообразию систему и импульс к массовому распространению официальных марксистско-ленинских установок — и исследовать более тонкие, однако не менее красноречивые оттенки идеологии. Никто из обсуждавших природу идеологии в советском контексте не доказал или не пытался убедительно доказать, что эти два вектора исключают друг друга. Но, как видно из этих попыток по-своему расставить акценты, ключевая проблема советской историографии в данном случае состоит в разграничении между идеологией как доктриной и другими ее трактовками, которые называют или дискурсивными, или культурными. В зависимости от склонностей самого автора намечаются и выдвигаются те или иные подходы к идеологии — причем определять ее как доктрину в особенности избегают из-за ассоциации с Малиа, который видит в ней универсальный ключ.

Однако если мы хотим серьезно подойти к проблеме идеологии, более убедительно и уж точно более полезно было бы признать, что в действительности не существует единственного (или даже двоякого) удовлетворительного определения идеологии. С точки зрения как теории, так и типов задействованного исторического опыта следует согласиться, что концепция идеологии более многомерна и многогранна. Чтобы выразиться с полной определенностью: простое противопоставление доктрины и дискурса также слишком узко. Даже в приведенной

¹ *Brandenberger D. Propaganda State in Crisis. P. 1, 256, 264 n. 14* (в связи с «более емким историко-культурным фактором» автор ссылается на Гирца). Его более ранняя работа (*Brandenberger D. National Bolshevism: Stalinist Mass Culture and the Formation of Modern Russian National Identity, 1931–1956. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002*) также представляла собой продуктивное исследование идеологии, понимаемой прежде всего как проповедуемое идеологами учение, которое в процессе адаптации и распространения отразилось в культуре и науке.

вкратце выше дискуссии по поводу этой одномерной оппозиции фигурировали еще дополнительный культурный полюс и слово «мировоззрение». Иглатон, насчитавший семнадцать определенных идеологии, находящихся в обиходе, справедливо замечает: «У термина „идеология“ множество полезных значений, не каждое из которых совместимо со всеми остальными. Поэтому попытаться сжать это богатство смыслов до одного всеобъемлющего определения было бы бесполезно, даже если и возможно»¹. На практике, если говорить о советской истории, идеологию на самом деле *можно* продуктивно рассматривать одновременно как доктрину, как мировоззрение, как дискурс и, добавлю, как ряд других значимых категорий. Ключевой тезис, который следует рассмотреть в ходе развития этого довода, заключается в том, что эти различные аспекты идеологии применительно к советской истории пересекаются между собой и дополняют друг друга, хотя в то же время являются и основными точками их столкновения. Кроме того, каждая интерпретация может дополнять, а не перечеркивать другие, если только обойти ловушку противоречивых причинно-следственных связей.

ИДЕОЛОГИЯ КАК ДОКТРИНА

Доктрина, или то, что называется марксизмом-ленинизмом, — отправная точка любого исследования идеологии в советской истории. Когда речь идет о государстве, которое возвел одну из политико-философских теорий в ранг единственного официально одобренного учения и приложило огромные усилия к его объяснению и насаждению, все другие научные интерпретации идеологии неизбежно, как мы уже видели, следует отграничивать от понимания идеологии как доктрины. Некоторые черты марксизма-ленинизма легко опознаваемы: эта идеология во многом строилась на текстах, апеллируя к «классическим»

¹ Eagleton T. Ideology. P. 1.

и более современным произведениям, поэтому у нее были свои сторонники и свои неофиты. Она насаждалась в массовом порядке и поэтому получила оформление как система мышления (особенность, отличающая ее как идеологию от идей). Она контролировалась, и многие в партийном государстве были ее приверженцами. У современных движений и государств, как правило, больше возможностей для массового распространения подобных систем идей. Как мы уже видели, идеологию в советском контексте очень стараются не определять как доктрину из-за ассоциации с теорией тоталитаризма и чрезмерных притязаний на ее роль как первопричины, отсылающих к неототалитарной позиции Малиа. Поэтому какую же свободу мы обеспечим себе, признав и включив в наше более широкое понимание идеологии в советской истории подход к идеологии как доктрине, выходящий «за пределы тоталитаризма»? Идеологию можно всерьез рассматривать как доктрину, не воспринимая ее, по выражению Суни, как «сборник рецептов», то есть набор догм, не делая из текстов «простых умозаключений» относительно «намерений и действий»¹.

Если в сборнике рецептов многосоставные идеи представлены статически, более детально продуманное вплетение доктрины в советскую историю подразумевает ее динамическое исследование как сложно устроенного целого. Такое исследование включает в себя как диахронический, так и синхронический аспект. Если говорить о первой категории, марксизм-ленинизм — идеология, с течением времени претерпевшая существенные изменения, в соответствии с которыми радикально менялись также советское государство и советское общество. Если попытаться очень схематично обрисовать этот путь, можно сказать, что в 1920-е годы это учение оказалось в самой гуще яростных политических споров о дальнейшей судьбе страны после революции, в то время как большинство населения еще не было советским; к 1930–1940-м годам произошел

¹ *Suny R.G. On Ideology. P. 3.*

сдвиг, в результате которого было объявлено, что социализм построен, а благодаря урбанизации и службе в Красной армии его массовый охват значительно возрос. Хотя «оттепель», реформировав коммунизм, возродила его, к эпохе позднего социализма советский марксизм превращался во все более безжизненную, однако широко распространенную и тщательно разработанную систему знаков и лозунгов. В любой момент времени — и здесь мы переходим в плоскость синхронических компонентов доктрины — существовало множество жанров и уровней, иногда весьма существенно отличавшихся друг от друга. Они варьировались от высокоинтеллектуальной теории представителей элиты и ученых-марксистов до контроля над следованием линии партии, как она излагалась в популярной прессе, до различных принятых инструментов внушения — от «политического просвещения» до пропаганды и агитации. Все разнообразие жанров и их канонов отчетливым образом менялось в периоды агрессивной социалистической политики и военного возрождения. Например, в период сталинского «великого перелома» 1928–1932 годов даже редкие, малораспространенные до той поры жанры академического марксизма и отвлеченной теории оказались склонны или вынуждены усвоить нормы массовой пропаганды¹. Наконец, в любой отдельно взятый период времени советский марксизм не был содержательно однороден или даже всегда последователен, поскольку многие направления в нем создавали множество противоречий — хотя профессиональные идеологи умели их сглаживать. В некоторых ключевых вопросах, таких как частная собственность или классовый подход к анализу исторических изменений, доктрина оставалась неприкосновенной, хотя, конечно, открыт для множества вариантов уточнения и переосмысления; в других, таких как гендерные роли, она была не столь однозначна и не исключала

¹ См.: *David-Fox M. Science, Political Enlightenment, and Agitprop: On the Typology of Social Knowledge in the Early Soviet Period // Minerva. Vol. 34. № 4. 1996. P. 347–366.*

конфликтов и перемен¹. Несмотря на все усилия власти продемонстрировать единообразие официальной идеологии, по своей сути марксизм-ленинизм не был однороден.

Вопрос хронологии здесь приобретает значимость также в другом отношении — в том, что касается существующей литературы по теме. До недавнего времени советская историография была сосредоточена прежде всего на межвоенном периоде и сталинской эпохе. Поэтому постсталинское время здесь представлено хуже, просто в силу того, что большинство авторитетных работ, посвященных как доктринальному, так и другим аспектам идеологии, относится к более ранним периодам, и именно эти работы, соответственно, цитируются в ходе данной дискуссии². Тем не менее есть и исключения, и некоторые интересные примеры почерпнуты из написанного после 1953 года. Важно подчеркнуть, что все анализируемые здесь обличья идеологии существовали на протяжении всей советской эпохи. Однако способ их взаимодействия и равновесие между ними со временем менялись, по мере того как, с одной стороны, менялось место идеологии в советской культуре и обществе, а с другой — партийная государственность из подвижного революционного режима вырождалась в инертную супердержаву, управляемую престарелыми вождями.

Главное, что советскую идеологию как доктрину можно рассматривать в контексте более обширного исторического анализа, учитывая разграничение между структурой и способностью к действию — одну из ключевых осей, вокруг которых вращается современная социальная наука. Этот теоретический шаг уводит нас далеко по сравнению с примитивной причинно-следственной моделью. Советская идеологическая сфера была

¹ Об этой области гендерных ролей и идентичностей см.: *Krylova A. Soviet Women in Combat: A History of Violence in the Eastern Front. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.*

² Но еще более редкую попытку вернуть понятие идеологии в связи с ситуацией в постсоветской России см. у Стивена Хансона в книге: *Post-Imperial Democracies: Ideology and Party Formation in Third Republic France, Weimar Germany, and Post-Soviet Russia. New York: Cambridge University Press, 2010.*

достаточно обширна и весома, чтобы стать одним из столпов советского порядка; в советской истории она выросла до конструктивной силы, полностью неподвластной никому, даже самому Сталину. Так, даже в послевоенные годы, когда культ личности Сталина достиг апофеоза, самые непосредственные и неуклюжие попытки вмешательства вождя в идеологические дискуссии влекли за собой непредвиденные последствия¹. Дэвид Пристланд высказал ряд здравых замечаний на эту тему, относящихся к тому, что он называет интенциональным и структурным аспектами советской идеологии, значимость ни одного из которых, как он убежден, не следует преуменьшать. Идеология, обладая некоторой степенью независимости, в том плане, что она не «полностью подчинялась тем, кто ее формулировал», направляла политические споры и очерчивала границы дозволенного. В этом отношении «марксистско-ленинскую идеологию можно считать „структурирующей“ силой советской политики, одновременно способствовавшей обсуждению и действию и сдерживавшей их». Но, торопится он добавить, это была отнюдь не единственная подобная сила. Поэтому любой такой фактор показывает несостоятельность того, что Пристланд называет традиционным интенционализмом, сосредоточенным прежде всего на том, как убеждения правителей претворяются в действия. С учетом сказанного оставалась некоторая свобода действий, — не просто для того, чтобы изменить идеологию, а для того, чтобы воспользоваться ее многочисленными противоречиями и ответвлениями, — и в этом втором смысле интенционализм должен уравниваться осознанием структурирующей роли доктрины². Позже мы еще

¹ Как наглядно показал Этан Поллок: *Pollock E. Stalin and the Science Wars*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2006. Среди других важнейших работ о переплетении советской науки и идеологии см.: *Graham L.R. Science and Philosophy in the Soviet Union*. New York: Knopf, 1972; *Vucinich A. Einstein and Soviet Ideology*. Stanford, CA: Stanford University Press, 2001.

² *Priestland D. Stalinism and the Politics of Mobilization: Ideas, Power, and Terror in Inter-war Russia*. Oxford: Oxford University Press, 2007. P. 17–18.

увидим, насколько уместно Пристланд заимствовал термины из современной немецкой историографии и попытался обобщить их для современного осмысления марксизма-ленинизма.

Вне зависимости от того, какого размаха достигла советская правительственная идеология и насколько она, в особенности при Сталине, пыталась изолироваться ото всех чуждых идеологий, господствующая идеология все равно оставалась в диалогических отношениях с другими. Ни одна идеология, даже сталинизм 1937 года, не может существовать в вакууме. Этот диалог прежде всего и составляет синхроническое измерение советской идеологии как доктрины. На практике стремление обратить и убедить, как и грандиозные надежды, возлагаемые коммунистами на международные отношения, способствовали тому, что часть интеллигенции, а также ключевые фигуры партийного государства поддерживали постоянный контакт с внешним миром¹. Еще одним, реже осознаваемым каналом идеологического взаимодействия служило то обстоятельство, что даже вражда может стать источником перемен. В той мере, в какой борьба с внешними или «чуждыми» взглядами вызывала внутренние изменения, ее можно назвать основной формой негативного влияния. Одним из интереснейших направлений исследовательской мысли последних лет являются такого рода скрытые переключки между коммунизмом и фашизмом². Изучение доктринальных

¹ *Clark K.* Moscow, the Forth Rome: Stalinism, Cosmopolitanism, and the Evolution of Soviet Culture, 1931–1941. Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2011; *Schlögel K.* Terror und Traum: Moskau 1937. Munich: Carl Hanser Verlag, 2008. Chap. 5, 6, 12, 17, 31.

² См. интригующие примеры: *Laruelle M.* The Concept of Ethnogenesis in Central Asia: Political Context and Industrial Mediators (1940–50) // *Kritika*. Vol. 9. № 1. 2008. P. 169–188; *Hirsch F.* Empire of Nations: Ethnographic Knowledge and the Making of the Soviet Union. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2005. Chaps. 6–7; *Clark K., Schlögel K.* Mutual Perceptions and Projections: Stalin's Russia in Nazi Germany — Nazi Germany in Soviet Union // *Beyond Totalitarianism*. P. 396–442. См. также: *David-Fox M., Holquist P., Martin A.M. (eds.)*. Fascination and Enmity: Russia and Germany as Entangled Histories, 1914–1945. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2012.

аспектов советской идеологии не является по определению скучным и необязательно ведется с позиций теории тоталитаризма. Творческие исследования в этой области только начинаются.

Например, одной из важнейших проблем, требующих интерпретации в контексте всей истории марксистского учения, являются отношения между социализмом и национализмом. О делении Марксом наций на исторические и неисторические и о различных социал-демократических подходах к национальному вопросу — от австромарксистов до Ленина и от Сталина до Розы Люксембург — написаны целые библиотеки. Но переплетение историй коммунизма и национализма и проблема их синкретизма намного интереснее и сложнее. И национализм, и социализм родились в XIX веке как новые, современные идеологии; одна строилась вокруг идеи нации, другая — вокруг идеи класса; как предположил Роман Шпорлюк в своей классической работе, они выросли на во многом схожей почве и переплетались с самого начала¹. Идеологический обмен между ними носил особенно сложный характер в советскую эпоху. Как в центре, так и на периферии, возникали самые разные подходы, сторонники которых поддерживали национальные и социальные преобразования. Но к концу 1920-х годов реально существовавшие и воображаемые национальные политические движения внутри и вне партии от Украины до Кавказа и Центральной Азии подверглись резкой критике и преследованиям. В то же время большевизм все больше приобретал государственный статус, а к середине 1930-х годов стал чаще апеллировать не к классовым, а к национальным категориям, и эта перемена наложила заметный отпечаток на политику в отношении нерусских титульных наций и их культуру, что в равной мере относилось и к менее известным национальным меньшинствам союзных республик².

¹ *Szporluk R. Communism and Nationalism: Karl Marx and Friedrich List. New York: Oxford University Press, 1991.*

² См. в особенности многогранный анализ этих проблем: *Khalid A. The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia. Berkeley: University*

Некоторые соотносят слияние сталинизма и национализма с возвеличиванием русской нации как «первой среди равных» в контексте учения о «дружбе народов», реабилитацией русских национальных героев и ключевыми элементами русского национализма — от патриотической риторики времен Второй мировой войны до официального антисемитизма конца 1940-х годов. Я больше склонен согласиться с тезисом Бранденбергера, полагающего, что идеологи сталинской эпохи, начиная с самого народного комиссара по делам национальностей, избирательно и с практической целью усваивали *элементы* национализма¹. Но доктрины, как бы ими ни манипулировали, обладают собственной логикой и воздействием, и массовое применение таких идеологических инструментов привело к существенным и непредвиденным последствиям. Предпосылки изучения идеологии ясны. Вместо того чтобы изучать советский марксизм изолированно, следует осмыслить эволюцию его отношений с другими идеологиями, в том числе национализмом. Это относится не только к советской реакции на национализм и национальные освободительные движения в стране и по всему миру, но и к присутствию национализма в сталинской и постсталинской эпохах. Николай Митрохин, автор наиболее значительного исследования о русском национализме в советской политике и культуре 1953–1985 годов, отметил, что практически ни один исследователь не помещает русский национализм советского периода в контекст национализма других народов².

of California Press, 1998; *Khalid A. Islam after Communism: Religion and Politics in Central Asia*. Berkeley: University of California Press, 2007; *Nationalizing the Revolution: The Transformation of Jadidism, 1917–1920 // A State of Nations: Empire and Nation-Making in the Age of Lenin and Stalin* / ed. R.G. Suny, T. Martin. New York: Oxford University Press, 2001. P. 45–162.

¹ *Brandenberger D. National Bolshevism.*

² *Митрохин Н. Русская партия: движение русских националистов в СССР 1953–1985.* М.: Новое литературное обозрение, 2003. С. 31; обзор существующей литературы на эту тему см. на с. 13–30.

Как видно из работы Митрохина, советские русские националисты, особенно участники так называемой «группы Шелепина», многие из которых сформировались в период кампании против космополитизма в конце 1940-х годов, занимали руководящие должности в Политбюро и Центральном комитете. В постсталинскую эпоху советский русский национализм «начал развиваться самостоятельно и как идеология, и как общественное движение», а к 1960-м годам принял устойчивую форму «русской партии». Пример этой группы в контексте послевоенного советского коммунизма помогает гораздо лучше понять, каким должно быть плодотворное изучение системы идей, или политической идеологии, не обособленно, но в диалоге с другими историческими факторами — от перехода многих членов этого движения из сельской в городскую социальную среду до антисемитских и антизападных легенд и мифов, которые представляли собой советские версии и адаптации дореволюционных националистических стереотипов, и до имеющих огромное значение, но прежде не вполне ясных отношений между более широкой идеологической тенденцией и конкретным организованным движением «русской партии»¹. Понятно к тому же, что эта тема в истории идеологии актуальна не только в связи с 1917 годом, но и в связи с 1991-м. Изучение сложного переплетения связей между советским коммунизмом и русским национализмом проливает свет сначала на поражение националистов во времена перестройки, а затем на их возвращение в конце 1990-х годов².

Главное, что попытка рассматривать идеологию как фиксированную систему идей не исключает других подходов к ней. Наоборот, исследование догматического элемента может служить

¹ Митрохин Н. Русская партия. С. 77, 33. О преемственности между дореволюционным русским национализмом и антикосмополитизмом поздней сталинской эпохи см.: Grüner F. 'Russia's Battle against the Foreign': The Anti-Cosmopolitanism Paradigm in Russian and Soviet Ideology // *European Review of History / Revue européenne d'histoire*. Vol. 17. № 2. 2010. P. 445–472.

² Brudny Y.M. *Reinventing Russia: Russian Nationalism and the Soviet State, 1953–1991*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1998.

как предпосылкой, так и дополнением к изучению других измерений идеологии. Возьмем лишь один пример: если мы говорим об идеологии как мировоззрении — то есть как о чем-то более широком, нежели просто догма, на индивидуальном уровне наделенная потенциальным синкретизмом, — отношения между конкретным мировоззрением и более обширной системой идей приобретают первостепенное значение¹. Если воспользоваться терминологией Фридена, изучение идеологии может и должно включать в себя как макро-, так и микроподходы. Рассмотрение политических идеологий в общих чертах, в макроконтексте как традиций, функционирующих и развивающихся во времени, может сочетаться с результатами микроисторического анализа «внутренних и внешних связей идеологии»². Изучение коммунистической идеологии как насаждаемого учения — не застывшего и замкнутого в самом себе, а взаимодействующего с другими явлениями — скорее может положить начало анализу других обликов идеологии, чем сделать этот анализ ненужным.

ИДЕОЛОГИЯ КАК МИРОВОЗЗРЕНИЕ

Как бы творчески мы ни подходили к системе идей, составляющих оформленную доктрину, нам все равно не обойтись без более общей концепции, определяющей взгляд на мир в целом. Даже Малиа, историк идей, наиболее склонный к тому, чтобы видеть порождаемые доктриной причинно-следственные связи, в одном месте своей книги говорит: «Идеология не есть набор заповедей, которые, раз прочитав, затем применяют на практике. Она является всеохватывающим способом мышления, которое пронизывает все те деяния и решения, которые

¹ Как убедительно показано в работе Йохена Хелльбека: *Hellbeck J. Revolution on My Mind: Writing a Diary under Stalin*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2006.

² *Frieden M. Ideology*. P. 93.

неидеологизированному наблюдателю представляются сумбурными и *ad hoc*»¹. Рассматривая идеологию как форму мышления, Малиа усматривал ее проявление в каждом действии, но есть более веские доводы в пользу того, чтобы отграничить понимание идеологии как способа мышления или мировоззрения от набора представлений, распространяемых и насаждаемых как марксизм-ленинизм — хотя они могут быть связаны между собой, и оба справедливо считаются идеологией. С одной стороны, мировоззрение шире доктрины: оно включает в себя не только систему идей и их структуру, но и то, как они встраиваются в утвердившееся мироощущение, служащее источником объяснений и ориентиром. С другой стороны, мировоззрение может быть уже, чем курс марксистско-ленинской политической партии в целом: оно может обозначать картину мира индивида, группы, членов какой-либо организации или деятелей в какой-либо области, из которых не все обязательно сведущи в «высокой» идеологии. Как таковое оно не должно непременно сводиться к официальной доктрине: оно может быть синкретичным или, например, включать в себя личные и немарксистские убеждения или индивидуальные черты. Хотя многие представители советской элиты стремились привить массам именно мировоззрение, идеология как мировоззрение в качестве рабочего понятия в контексте советской истории уводит нас за рамки официальных идеологических институтов, приверженцы и лидеры которых пропагандируют доктрину. Такой ракурс подразумевает менее жесткие и глубже укоренившиеся способы проникновения идеологии — потенциально в гораздо больших масштабах. По той же причине под мировоззрением не всегда подразумевается нечто осознанное. Члены партийного руководства, потратившие годы на изучение идеологии как доктрины и манипулирование ей, порой куда менее отчетливо создавали границы собственного

¹ Малиа М. Советская трагедия: История социализма в России. 1917–1991 / Пер. А.В. Юрасовского, А.В. Юрасовской. М.: РОССПЭН, 2002. С. 158.

мировоззрения, которое представляло собой более глубинный слой их системы взглядов и восприятия современности, поэтому чаще ускользало от подробного анализа.

Как инструмент научного анализа мировоззрение, по-видимому, имеет две ветви — это понятия *Weltanschauung* и *mentalité*. Первое восходит еще к Гегелю и Канту, второе — к послевоенным теориям школы «Анналов». Карл Маннгейм, чья «Идеология и утопия», написанная в 1929 году, наложила заметный отпечаток на современные дискуссии об идеологии, различал частичные и тотальные идеологии, первые из которых подразумевают индивидуальную психологию, а вторые — мировоззрение определенного сообщества или целой эпохи¹. Но дело в том, что в англоязычной исторической науке изучение мировоззрения или способа мышления — как бы его ни называли — тесно связано с развитием культурологи. Например, символическая антропология Гирца, призывавшего исследовать «программы для устроения социальных и психологических процессов» посредством подробного описания, оказала огромное влияние на историков². В связи с этим следует подчеркнуть, что любой культурологический подход к идеологии не делает ее синонимом культуры; он лишь применяет методы культурологии для объяснения идеологии. О культуре с точки зрения как устойчивых моделей, так и культурного производства, разумеется, можно сказать, что она переплетается и взаимодействует с идеологией, в особенности если речь идет о Советском Союзе, но, изучая идеологию как мировоззрение, не следует смешивать эти два понятия. Например, Эрик Найман в своей известной книге проводит четкую границу между идеологией и культурой, когда пишет об СССР в 1920-е годы, изображая преобладающие ценности и модели мышления (культуры) как враждебные

¹ Манхейм К. Избранное. Диагноз нашего времени. М.: Юрист, 1994. С. 7–276.

² Гирц К. Интерпретация культур. М.: Российская политическая энциклопедия, РОССПЭН, 2004. С. 109.

«утопическим установкам» (идеологии). В его интерпретации «утопизм весь направлен на *отрицание* культуры... ведь культура... представляется консервативной защитой против попыток создавать новые общества»¹. Найман в данном случае рассматривает культуру как нечто близкое к давним привычкам или повседневной обстановке в противовес программам, — если воспользоваться термином Гирца — создаваемым идеологией. Это также служит предостережением против размытых, принятых на веру представлений о культуре в советском контексте². Однако в смысле культурного производства революционная культура однозначно была намного ближе к утопизму и преобразовательной риторике революционной идеологии, а в последующие десятилетия советской эпохи, когда непрерывные массовые процессы советизации воздействовали на институциональные структуры советской действительности, о культуре даже в наймановской трактовке укоренившихся моделей бытовых ценностей можно было бы сказать, что она переплетается и взаимодействует с советской идеологией более непосредственным образом.

Рассмотрим один интересный пример, показывающий, как идеология-мировоззрение может дополнить изучение системы идей. В СССР 1920–1930-х годов общее отношение к гостям из внешнего мира было тесно связано с представлениями об иерархии стран, из которых они прибыли. Иерархия развития была неотъемлемым свойством марксизма, поскольку Маркс и Энгельс полагали, что Германию в будущем ждет то, что уже происходит в Англии и во Франции. Телеологическое видение, в основе которого лежал экономический прогресс, столь

¹ *Naiman E. Sex in Public: The Incarnation of Early Soviet Ideology. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1997. P. 5, 16.* Таким же образом Изабель В. Халл проводит убедительное разграничение между культурой организаций и институтов, подразумевающей наличие негласных, но весьма влиятельных постулатов, и более обширной политической космологией или идеологией: *Hull I.V. Absolute Destruction: Military Culture and the Practices of War in Imperial Germany. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2005.*

² *Engelstein L. Culture, Culture Everywhere.*

присущее марксистскому мышлению, впоследствии значительно усилилось тем, что Стив Смит обозначил как «новый элемент большевистской идеологии, который можно было бы назвать продуктивизмом» и который вышел на первый план после 1920 года. Продуктивизм, поясняет он, «поставил наращивание производственных мощностей и плановую организацию производства в центр социалистического подхода. Он подчеркивал роль науки и техники в строительстве социализма»¹. Тем интереснее обнаружить, что большевистские интеллектуалы и официальные советские деятели культуры применяли подобный же телеологический шаблон, строящийся по принципу от передовых к отсталым, к отдельным иностранцам, чьи политические убеждения и взгляды на советский социализм ранжировались и расценивались как более или менее предпочтительные в зависимости от того, какое место в общей иерархии занимала страна, откуда они приехали². Таким образом, положения советской международной культурной политики, в тот период в значительной степени, но не исключительно сосредоточенной на прогрессивном Западе, воспроизводили иерархический подход самого марксизма-ленинизма. Кроме того, если рассмотрение идеологии как доктрины чаще всего побуждает исследователей изучать идеи, нашедшие отражение в распространяемых текстах, более широкое понятие мировоззрения требует изучения того, как постулаты подкреплялись практикой.

Когда мы рассматриваем сами практики, выражавшие и подкреплявшие определенное мировоззрение, мы обнаруживаем, что телеологическое мышление пронизывало целый ряд рекомендованных практик (отношение к иностранцам тех, кому было

¹ *Smith S.A.* The Russian Revolution: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2002. P. 104.

² *David-Fox M.* Showcasing the Great Experiment: Cultural Diplomacy and Western Visitors to the Soviet Union, 1921–1941. New York: Oxford University Press, 2001. P. 55–57; *David-Fox M.* The Fellow-Travelers Revisited: The ‘Cultured West’ through Soviet Eyes // *Journal of Modern History*. Vol. 75. № 2. 2003. P. 300–335.

поручено общение с ними) и глубоко проникало в неканонические, недоктринальные тексты (от составленных гидами отчетов до неформальной коммуникации советских деятелей культуры с зарубежными гостями и политических решений лиц, занимающих руководящие должности). Эти практики вовсе не были непосредственно или явно связаны с официальным развитием советского марксизма. Ни в одном доктринальном тексте нельзя было прочесть, что классическая телеология прогресса применяется при оценке отдельных людей или групп. Однако можно проследить, как доминирующая в этой системе идей модель анализа начала отражаться, подкрепляться и разрабатываться в более широкой сфере официальных или официально одобренных практик, упорядочивая способ функционирования системы. Марксизм-ленинизм как учение, приобретая институциональную форму и распространяясь в беспрецедентных масштабах, утверждался уже как мировоззрение.

Но такой иерархический взгляд на мир нельзя рассматривать исключительно с позиций марксизма-ленинизма. Одержимость Советского Союза прогрессивным Западом вновь вызвала к жизни идеологические крайности традиционных для России XIX столетия дискуссий о России и Западе. При этом гиды и переводчики в 1920-е годы оценивали еще и культурный уровень иностранцев, а не только их политические и идеологические установки. Это стремление наряду с политическими взглядами оценить и уровень культурности отражало привычки старой большевистской интеллигенции, представители которой отвечали за деятельность культурно-дипломатических организаций, и указывало на существенную роль беспартийных работников в Советском Союзе. Более того, эти оценочные классификации приезжих из других стран подкреплялись рядом других советских оценочных практик, составлявших неотъемлемую часть советской политической системы. У них также был приблизительный местный аналог в виде обширной, не всегда однозначной, но достаточно последовательной иерархии национальных групп, населяющих многонациональное советское государство, и закона

стадиальности, применяемого советскими этнографами и социологами к национальностям и народностям¹.

Телеологическое мировоззрение, о котором мы говорим, можно продуктивно рассматривать как одно из воплощений идеологии. Но, как видно из сказанного, это мировоззрение основывалось на многих источниках, не ограничиваясь одним марксизмом. Нам следует попытаться, распознав множество таких источников, понять их; мы можем видеть, что размышление об идеологии как о мировоззрении стимулирует нас искать связей между идеологической сферой и другими областями. Кроме того, существовало бесчисленное множество индивидуальных вариантов иерархического мировоззрения, и его едва ли можно было назвать единообразным в правительственных кругах: европоцентричная позиция Ольги Каменевой, возглавлявшей ВОКС, существенно отличалась от взгляда советских востоковедов, которые совершенно иначе смотрели на азиатский Восток². Поэтому, обращаясь к понятию идеологии как мировоззрения, мы можем проследить, как системы идей (в данном случае марксистско-ленинское учение) эволюционировали во что-то более обширное (в данном случае телеологическое мировоззрение), переплетаясь с такими факторами, как культурный контекст, индивидуальные картины мира и влиятельные политические процессы.

Двойственное отношение Советского Союза к Западу, сочетающее в себе утверждение собственного превосходства и при этом часто скрытое уважение и восхищение, представляет собой особенно благодатную почву для анализа понятия *Weltanschauung*. Однако едва ли это единственное возможное направление. Можно представить себе изучение советского мировоззрения в свете меняющихся отношений между индивидом и коллективом, меняющихся отношений с прошлым или меняющихся

¹ Hirsch F. The Empire of Nations. P. 267–269.

² David-Fox M. Showcasing the Great Experiment. P. 55; Tolz V. Russia's Own Orient: The Politics of Identity and Oriental Studies in the Late Imperial and Early Soviet Periods. Oxford: Oxford University Press, 2011.

отношений между друзьями и недругами, равно как и другие векторы исследования. Но мое выделение указанного вектора предполагает, что в данном случае понимание идеологии как доктрины не противоречит пониманию идеологии как мировоззрения; они тесно взаимосвязаны, хотя и несводимы одно к другому. Изучение этого пронизанного иерархией мировоззрения в революционном государстве важно для понимания некоторых ключевых механизмов советской системы, которая, при всем ее революционном напоре, стала продвигать положения «высокого модернизма» об оценке прогресса, не слишком отличающиеся от тех, что были присущи ее буржуазным, капиталистическим противникам на Западе.

ИДЕОЛОГИЯ КАК ИСТОРИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Вопрос о том, как менялось на протяжении истории понимание идеологии, может показаться частью слона, качественно отличающейся от прочих. Однако представлять себе эту часть так же важно, как и прочие, отчасти потому, что она позволяет учитывать при анализе точки зрения на идеологию самих исторических акторов.

Как и многое другое, термин «идеология» зародился в горниле Великой французской революции и в рамках последующего становления современных гуманитарных наук. Этот неологизм, изначально придуманный «идеологами», группой парижских интеллектуалов, начало деятельности которых пришлось на середину 1790-х годов, обозначал существовавшую в проекте науку об идеях, которая должна была способствовать преобразованию окружающей человека обстановки. Самый известный из «идеологов», Дестют де Траси, по точности сравнивал ее с математикой. Наполеон и публицисты его времени, в свою очередь, придали понятию «идеология» негативную окраску, обозначая этим словом использование

философских теорий в делах политики¹. Позже Маркс перевернул разработанное «идеологами» понятие с ног на голову, низведя идеологию до уровня внешней оболочки реально действующих экономических механизмов. Именно с этих позиций Маркс и Энгельс в своей «Немецкой идеологии» (1846) описывали идеологию как вводящее в заблуждение орудие классового господства. Эта работа — изданная лишь отрывками в 1903–1904 годах, пока она не была подготовлена к печати Давидом Рязановым в московском Институте Маркса и Энгельса и опубликована полностью лишь в 1932 году, после ареста ученого-марксиста — трактовала идеологию как надстройку, превращавшую все классовые противоречия в «необходимые и нравственные». Как отмечено в посвященной идеологии статье «Основных исторических концепций» (*Geschichtliche Grundbegriffe*), в обличительных выпадах Маркса и Энгельса против идеализма младогегельянцев «идеология» оказывалась в одном семантическом поле с «теорией», «философской абстракцией», «чистой риторикой и идеями», «фантазиями», «духовной сублимацией» и «явной ложью»².

Однако на самом деле авторство понятия «ложное сознание», тесно связанного с классическим марксистским пониманием идеологии, принадлежит Энгельсу. В письме Францу Мерингу, написанном в 1893 году, Энгельс утверждал: «Идеология — это процесс, который совершает так называемый мыслитель, хотя и с сознанием, но с сознанием ложным. Истинные движущие силы, которые побуждают его к деятельности, остаются ему неизвестными, в противном случае это не было бы идеологическим

¹ Dierse U. *Ideologie // Geschichtliche Grundbegriffe* / ed. O. Brunner, W. Conze, R. Koselleck. Stuttgart: Klett-Cotta, 1983. Т. 3. S. 131–169, здесь: S. 133, 137; Дестют де Траси издал четыре тома «Основ идеологии» (*Éléments d'idéologie*) между 1801 и 1815 годами.

² Dierse U. *Ideologie*. S. 153; Freedman M. *Ideology*. P. 5. Книга Фридена представляет собой аналитическую историю школ, по-разному интерпретировавших идеологию, от «идеологов» и Маркса до современных подходов начиная с Карла Маннгейма.

процессом»¹. Представление об идеологии как о ложном сознании, наряду со многими другими теориями буржуазной идеологии, вдохновленными марксизмом, столько раз опровергалось, что нам не стоит долго на нем останавливаться. Как подытожил Фриден, из трактовки идеологии как ложного сознания следовало, что идеология однородна, что это эфемерный и несущественный элемент человеческой жизни и что ее неправильности выравниваются, как только изменятся материальные отношения². На самом деле у концепции ложного сознания много общего с типичным заблуждением, в результате которого идеология отождествляется с искажающей реальность или патологической слепотой, как уже говорилось в начале.

Необычайно интересно, как Ленин построил новую, противопоставленную существующей, но равноценную ей социал-демократическую традицию, сформированную Плехановым, который считал идеологией все формы социально обусловленного мышления, и разработанную Эдуардом Бернштейном, первым мыслителем, назвавшим марксизм идеологией, — он стремился утвердить научный социализм в качестве позитивного инструмента создания нового общества³. Его современник Дьёрдь Лукач в написанной в 1920 году работе «История и классовое сознание», хорошо известной советским марксистам, сформулировал схожее противопоставление между буржуазной идеологией и классовым сознанием пролетариата⁴. Когда в советский обиход вошло понятие идеологии с положительной коннотацией, оно не так уж далеко отстояло от науки об идеях, о которой говорили французские «идеологи» эпохи революции, хотя он и ссылался в обязательном порядке на экономические факторы как определяющую основу. В то же время

¹ *Энгельс Ф.* Письмо Ф. Мерингу от 14 июля 1893 года // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения; изд. 2-е. Т. 39 (1946). С. 82–86.

² *Frieden M.* Ideology. P. 7–12.

³ *Dierse U.* Ideologie. S. 162–163; *Eagleton T.* Ideology. P. 90.

⁴ *Лукач Г.* История и классовое сознание. Исследования по марксистской диалектике. М.: Логос-Альтера, 2003.

некоторые партийные теоретики-марксисты начала 1920-х годов продолжали развивать традицию понимания идеологии как ложного сознания. Формирование в тот же момент истории, около 1921–1923 годов, идеологического фронта повлекло за собой появление перечня конкретных политических мер, направленных на подавление буржуазной идеологии¹. Такого рода формулировки на пути к советскому восприятию идеологии ценны для нас тем, что могут помочь нам поместить это понятие в исторический контекст как ключевой элемент советского лексикона. Ответ на вопрос, как его понимали и определяли на протяжении истории Советского Союза различные акторы, даст нам многое.

Существовал простой способ примирить традиционный марксистский взгляд на буржуазную идеологию как ряд мистификаций со стороны эксплуатирующих классов и положительную коннотацию, которой с точки зрения марксизма-ленинизма обладала идеология пролетариата. Если вся идеология по определению была классовой и строилась на материальных отношениях, не было ничего проще, чем отграничить неясную природу идеологии эксплуатирующих классов от научной сущности теории, нужной для создания нового государства и общества. Эта двойственность буквально отразилась в наличии на страницах первого издания «Большой советской энциклопедии» (1933) двух отдельных статей об идеологии общим объемом не менее четырнадцати страниц убогим шрифтом. В первой говорилось об «идеологии» в целом, а вторая была посвящена «идеологии пролетариата»². У общей статьи об идеологии, написанной

¹ См., например: *Адорацкий В.В.* Об идеологии // Под знаменем марксизма. 1922. № 11–12. С. 199–210. Современное использование выражения «идеологический фронт» см. в работе: *Finkel S.* On the Ideological Front: The Russian Intelligentsia and the Making of the Soviet Public Sphere. New Haven, CT: Yale University Press, 2007. Р. 6–7, 240, п. 3.

² *Бобровников Н., Зайцев С.* Большая советская энциклопедия; 1-е изд. Т. 27, статьи «Идеология» и «Идеология пролетариата». М.: ОГИЗ РСФСР, 1933.

Н. Бобровниковым, были по меньшей мере еще две примечательные особенности, помимо четкой границы между буржуазной и пролетарской идеологией. Во-первых, она открывалась широким, нейтральным определением идеологии как «совокупности форм общественного сознания: право, мораль, наука, искусство, философия, религия» либо «совокупности тех идей, которые обобщают отдельные формы общественного сознания» — последнюю Бобровников называет «мировоззрением». Во-вторых, рассматривая идеологию при социализме, Бобровников, что характерно, практически обратился к более гибкому пониманию отношений между базисом и надстройкой. Идеология, утверждал он, была не просто результатом определенных производственных отношений; экономический базис объяснял лишь ее истоки. Впоследствии идеология могла «приобрести относительную самостоятельность» и даже оказывать «обратное действие» на экономическую основу¹.

Эта преувеличенная, даже формообразующая историческая роль идеологии, на которую указывали официальные определения, вплоть до утверждения, что элементы надстройки могут получить независимость от основы и даже влиять на нее, соответствует заметному и явно почетному месту идеологии в советском государстве и обществе. Один из многих иронических поворотов советской истории заключается в том, что переосмысление исходной марксистской концепции ложного сознания, призванное превратить социалистическую идеологию в положительный инструмент построения нового общества, имело серьезные последствия. Оно превратило марксистский анализ идеологии из средства критики и разоблачения в марксистско-ленинское восхваление (или механическое заучивание) атрибутов государства. В конце концов

¹ Бобровников Н. Идеология: статья. С. 452–453, 455–466. Нейтральное определение воспроизводилось в более поздних справочных изданиях, см.: *Brandenberger D. Propaganda State*. P. 5, где автор цитирует «Политический словарь» 1940 года.

построение социализма стало синонимом благополучия советского государства, и идеологическое обоснование можно было подогнать (как это и делалось) под любой политический шаг, даже сделанный их самых прагматических соображений. Так что концепция идеологии как ложного сознания, по сути своей подразумевавшая, что идеологией можно манипулировать, не потеряла актуальности для советской истории, пусть она и объясняет лишь один аспект роли идеологии. Но те, кто придумывал эти обоснования (не говоря уже о тех, кому приходилось их принимать), могли все же руководствоваться менее очевидными побуждениями, продиктованными идеологией, и менее явными ее аспектами. По иронии судьбы, те, кто смог бы аналитически подойти к миллионам текстов Маркса и Энгельса, тиражируемых в СССР, получил бы мощное оружие для критики марксизма-ленинизма¹.

Один из важнейших вопросов, требующих дальнейшего изучения, состоит в том, как индивидуальные исторические акторы понимали концепцию и воздействие идеологии. В этом контексте интересно отметить, что Солженицын, переворачивая официальное определение, также отметил ключевую роль идеологии в историческом процессе — не как основного инструмента создания бесклассового общества, а как главной причины коммунистического политического террора: «У Макбета слабы были оправдания — и загрызла его совесть. Да и Яго — ягненок. Десятком трупов обрывалась фантазия и душевные силы шекспировских злодеев. Потому что у них не было *идеологии*. Идеология! — это она дает искомое оправдание злодейству и нужную

¹ О неослабевающем интересе к марксизму среди советских интеллектуалов в период оттепели — в том числе политзаклоченных, которых арестовали во время волны репрессий после 1956 года и которых лагерные сторожа презрительно называли «марксистами», — см.: *Zubok V. Zhivago's Children: The Last Russian Intelligentsia*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2009. P. 154–160. Об идеологии оттепели см.: *Varga-Harris Ch. Politics, Ideology, and Society after Stalin: Charting a New Course? // Russian Studies in History*. Vol. 50. № 3. 2011–2012. P. 3–10.

долгую твердость злодею. <...> Благодаря *идеологии* досталось 20-му веку испытать злодейство миллионное»¹.

ИДЕОЛОГИЯ КАК ДИСКУРС

Исследователи понятия идеологии «поздновато», по выражению Фридена, заметили, что «идеологии полезно рассматривать как лингвистические и семантические элементы». Герменевтика, семантика и постмодернистские исследования — вот те три области, благодаря которым, как он полагает, теория дискурса обогатилась в этом направлении. В контексте изучения Советского Союза именно постсоветский «лингвистический поворот» привел к бурному развитию дискурс-анализа, нередко вытесняющего (как было сказано выше) непосредственный анализ самой идеологии. Но в наиболее плодотворный период этого знаменитого «поворота» 1990-х годов многие лингвистические работы, написанные в эмиграции или на заре советской эпохи, известны были по-прежнему мало и еще меньше обсуждались. Среди исключений можно назвать «Язык революционной эпохи» Афанасия Селищева, опубликованный в 1928 году и давно известный историкам². Но работа Селищева была лишь верхушкой айсберга; интерес к языку и революции зародился задолго до 1917 года. Так, в 1894 году французский марксист (и зять Маркса) Поль Лафарг опубликовал работу о том, как Великая французская революция изменила французский язык, переведенную Карлом Каутским на немецкий. После Первой мировой войны как в России, так и в Европе пробудился значительный интерес к таким темам, как русский жаргон и язык войны и революции. Например, в 1920 году французский славист Андре Мазон издал «Словарь войны и революции в России (1914–1918)», а в 1923 году русско-швейцарский языковед

¹ *Солженицын А.С.* Архипелаг ГУЛАГ. СПб.: Азбука, 2017. С. 135–136.

² *Селищев А.М.* Язык революционной эпохи: из наблюдений над русским языком последних лет (1918–1926). М.: Работник просвещения, 1928.

Сергей Карцевский опубликовал в Берлине труд под названием «Язык, война и революция». Многие советские лингвистические исследования 1920-х годов были написаны в том же ключе¹.

В числе недавних исследований, также редко упоминаемых историками, следует назвать попытку Михаила Эпштейна создать «идеолингвистику», в рамках которой слова рассматривались бы как «идеологемы». Хотя его утверждения о связи между советским идеологическим словарем и уникальной, новой формой тоталитаризма спорны, поскольку отдельные элементы этой лексики встречаются в большинстве либеральных демократий, размышления Эпштейна приближают к пониманию эволюции советского идеологического языка и его внутренней структуры. Например, советский лексикон, как правило, включал в себя парные обозначения положительной и отрицательной сторон одного и того же понятия, как в случае с «интернационализмом» и «космополитизмом». Эпштейн утверждал, что до конца 1920-х годов идеоязык строился на бинарной оппозиции между революционными и враждебными им понятиями — признак агрессивной идеологии. Но в конце 1920-х годов, одновременно с порицанием и присоединением как левого, так и правого крыла партии, произошли серьезные перемены. Образовался четырехмерный идеологический язык, в котором, как правило, доминирующий, но часто двойственный центр помещался между двумя крайностями, что свидетельствовало об очень гибкой сталинской

¹ *Lafargue P.* La langue française avant et après la Révolution (1894). URL: www.marxists.org/francais/lafargue/works/1894/00/pli18940000.htm; *Mazon A.* Lexique de la guerre et de la révolution en Russie (1914–1918). Paris: Librairie Ancienne Honore Champion, 1920; *Карцевский С.* Язык, война и революция. URL: www2.unil.ch/slav/long/texts/Karcevskij23.html. Я признателен Питеру Холквисту за указание на эти источники. Многие исследования ранней советской эпохи анализирует Мариэтта Чудакова: *Чудакова М.* Язык распадающейся цивилизации: Материалы к теме // Новые работы, 2003–2006. М.: Время, 2007. С. 234–350. Еще одна актуальная работа на эту тему: *Gorham M.* Speaking in Soviet Tongues: Language Culture and the Politics of Voice in Revolutionary Russia. DeKalb: Northern Illinois University Press, 2003.

идеологии государства¹. Другие исследователи сталинского новояза обращали пристальное внимание на риторiku самого Сталина и на то, как семинаристский стиль его речи господствовал по всей стране в эпоху культа. Михаил Вайскопф, автор, вероятно, наиболее подробного исследования в этой области, отметил, что Сталин развивал очень гибкие концепции и — здесь он перекликается с Эпштейном — старался оставить как можно больше места для маневра². Работа литературоведа Мариэтты Чудаковой особенно интересна тем, что в ней автор продолжает рассматривать новояз в постсталинский и постсоветский периоды³.

Эти и многие другие работы по советской истории, в которых прослеживаются языковые и культурные сдвиги, показывают, как важно обращать внимание на понятия, лингвистические структуры и стратегии идеологии. Если внимательно рассматривать эти идеологические формы, в совокупности они производят впечатление высокого уровня сложности советской идеологии — даже если составляющие ее суть идеи были примитивны и просты. Идеология как дискурс представляет собой обширную сеть противоречивых элементов и пересечение находящихся в постоянном движении плоскостей, раскрывая сложность устройства и развития этой системы, чего не может дать

¹ *Epstein M. Relativistic Patterns in Totalitarian Thinking: An Inquiry into the Language of Soviet Ideology* // Kennan Institute Occasional Paper. № 243, 1991; *Epstein M. After the Future: The Paradoxes of Postmodernism and Contemporary Russian Culture*. Amherst: University of Massachusetts Press, 1995.

² *Вайскопф М.* Писатель Сталин. М.: Новое литературное обозрение, 2000; см. также: *Van Ree E. Stalin as Writer and Thinker* // *Kritika*. Vol. 3. № 4. 2002. P. 699–714.

³ *Чудакова М.* Язык распавшейся цивилизации. Хотя неологизмы «новояз» и «новоречь» появились позже, можно провести параллель между современным восприятием советского лексикона как нового идеологического языка и дневниковыми записями Виктора Клемперера, а также его более поздней работой «Язык Третьего рейха», в которой показано, как язык отражал, углублял и воплощал в себе нацистскую идеологию. См.: *Клемперер В.* ЛГ. Язык Третьего рейха: записная книжка филолога / Пер. с нем. А.Б. Григорьева. М.: Прогресс-Традиция, 1998.

анализ обособленных идей. «Если определять идеологию с точки зрения лингвистики, — добавляет Шулл, — ее роль в стимулировании действий неравнозначна ее роли в формировании суждений. Действия человека будут продиктованы его идеологией в той мере, в какой он должен подчиняться ее условиям. <...> Необходимость учитывать определенные правила осмысленной коммуникации всегда влечет за собой дальнейшую ориентацию на усвоенный в настоящем курс действий»¹. Такой подход резко отличается от стремления просто поставить знак равенства между идеями, убеждениями и действиями, как подразумевают многие прежние трактовки идеологии.

Но, хотя идеологию и можно рассматривать как дискурс, важно указать на один ключевой аспект, в котором дискурс не может заменить категорию идеологии. Если следовать Фридену, «идеология — одна из форм дискурса, но полностью в понятие дискурса она не помещается». Причина в том, что идеология также является продуктом исторической и политической сферы. В некоторых формулировках теории дискурса, едва ли согласующихся с проектами «большинства социологов и историков», действительность становится лишь тем, «чем дискурс предписывает быть реальности, дискурсивным конструктом»². Например, содержательная и справедливо считающаяся авторитетной работа Евгения Добренко о социалистическом реализме во многом строится на понимании идеологии как дискурса, поскольку окрашенная идеологией эстетика соцреализма в ней интерпретируется и исследуется как связка развивающихся дискурсов, у каждого из которых свои изобразительные стратегии. Система понятий, в рамках которой автор рассматривает исторический опыт Советского Союза, соответствует тому, что Фриден говорит

¹ *Schull J.* What Is Ideology? P. 732. См. применение этой концепции к советской политике в области литературы и культуры: *Schull J.* The Ideological Origins of 'Stalinism' in Soviet Literature // *Slavic Review*. Vol. 51. № 3. 1992. P. 468–484.

² *Freeden M.* Ideology. Chap. 8; цитаты: P. 105, 112.

о теоретическом примате дискурса: книга начинается с нарочито провокационного заявления, что советский исторический опыт и социализм были продуктами репрезентационного механизма — социалистического реализма, а не наоборот. Соцреализм создал социализм и советскую реальность, и исследовать этот процесс — значит «вступать в опасную зону, где исторические аргументы помогают лишь отчасти». Или, как Добренко пишет в другом месте: «Эстетика здесь не украшение, но самая суть. Что же до реальности, то она — вне соцреализма — оказывается некоей некультуренной повседневностью, которую еще только предстоит сделать пригодной для чтения и интерпретации»¹.

Альтернативой подобному истолкованию (для изучающих практические проблемы историков и других специалистов, чья сфера научных исследований могла с таких позиций восприниматься как ненужная) становится подход к исторической действительности, в рамках которого она анализируется как сложное переплетение различных факторов и областей, а не как поле безраздельного господства дискурса. Возможно, конечно, построить модель идеологии как дискурса, учитывающую исторический процесс. В такой модели дискурс будет выступать и как причина, и как следствие, не превращаясь в единственный способ объяснения и не вытесняя другие факторы. В этом отношении можно сказать, что дискурсы, оказывая воздействие, сами формируются и приводятся в движение за счет более широких исторических, политических и социальных контекстов. На самом деле интерес к речевым средствам и тактикам, с помощью которых транслируется идеология, подводит нас к ключевым вопросам направленности и восприятия идеологии, то есть того, как она создается и усваивается.

Как специалистам по советской истории стало хорошо известно, с тех пор как архивная революция пробила роковую брешь в монолитном фасаде советской публичной культуры,

¹ Добренко Е. Политэкономия соцреализма. М.: Новое литературное обозрение, 2007. С. 5, 7, 26–27.

восприятие даже наиболее настойчиво насаждаемых традиций, как правило, во всех отношениях не соответствовало замыслу их создателей¹. В ситуации, когда идеология облекалась в столь многообразные формы и массово проповедовалась в течение столь долгого времени, необходимо отличать степень преднамеренности от непредвиденных последствий, а также более широкого спектра политических и социальных функций, которыми обрастали идеологические формулировки.

ИДЕОЛОГИЯ КАК ТЕАТРАЛЬНОЕ ДЕЙСТВО

Последнее утверждение подводит нас к теме, тесно связанной с предыдущей, — ритуальному и событийному измерению идеологии. Советской политической культуре с ее новыми праздниками и мероприятиями, производственными и партийными заседаниями, обличительными и самообличительными собраниями, красной символикой и лозунгами изначально была присуща высокая степень обрядовости и театральности. Благодаря своей массовости многие советские практики превратились в ритуалы — в связи с чем следует рассмотреть два ключевых измерения идеологической событийности. С одной стороны, совершение обрядов является средством, благодаря которому у многочисленных участников могло возникнуть ощущение смысла, а идеология подкреплялась примером. Так, советские массовые торжества, устраиваемые профессиональными организаторами и теоретиками и оформлявшие течение календарного времени на протяжении всего года, и воплощенная в них

¹ См., например: *Brandenberger D.* 'Simplistic, Pseudosocialist Racism': Debates over the Direction of Soviet Ideology within Stalin's Creative Intelligentsia, 1936–39 // *Kritika*. Vol. 13. № 2. 2012. P. 365–393; обширные материалы о разнообразных локальных реакциях на политику партии см., например: *Wojnowski Z.* De-Stalinization and Soviet Patriotism: Ukrainian Reactions to East European Unrest in 1956 // *Kritika*. Vol. 13. № 4. 2012. P. 799–829.

символическая тактика были тесно связаны с советизацией населения¹. Заседание партийной ячейки или производственное политическое собрание могло превратиться в поле яростной схватки, в особенности в период призывавшей к самокритике кампании 1928–1929 годов и Большого террора, служа связующим звеном между местным уровнем и проводимой сверху политикой чисток и осуждения врагов народа. С другой стороны, совершение обряда можно толковать как момент, когда форма, в которую облекается идеология (и которая представляет собой постановку или разыгрывание ее норм), начинает преобладать над содержанием (идеями и ценностями, которые идеология продвигает).

Пытаясь объяснить, почему известные послевоенные идеологические дискуссии и акты самокритики в различных областях от биологии до физики привели к неодинаковым последствиям, историк науки Алексей Кожевников видел причину скорее в «формальных правилах и ритуалах общественного поведения», чем в «содержании и результатах диспутов». Эти правила, как негласные, так и официальные, были из среды коммунистической партии перенесены в область науки и в сферу беспартийной интеллигенции; некоторым участникам игра давалась лучше других, что отражалось на результатах. Согласно такой интерпретации, идеология, вопреки громким заявлениям официальной риторики, не обладала упорядоченностью — ее раздирали противоречия, и немалую долю хаоса вносил часто непредсказуемый характер ее ритуалов². Кожевников сосредоточился на объяснении правил игры, исключив то, что люди чув-

¹ См. в особенности: *Rolf M. Das sowjetische Massenfest*. Hamburg: Hamburger Edition, 2006.

² *Kojevnikov A. Rituals of Stalinist Culture at Work: Science and the Games of Intraparty Democracy at Work // Russian Review*. Vol. 57. № 1. 1998. P. 25–52; *Kojevnikov A. Games of Soviet Democracy: Ideological Discussions in Sciences around 1948 Reconsidered*, MPIWG Preprint Series. № 37, 1996, Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Berlin. О послевоенных диспутах см.: *Pollock E. Stalin and the Science Wars*.

ствовали или думали по поводу ее формы или содержания, хотя его трактовка подразумевает, что правилами манипулировали чаще всего осознанно.

Антрополог Алексей Юрчак в своей знаменитой книге обратился к позднему социализму и вывел анализ советской идеологической событийности на новый уровень. В своей работе он, как и Кожевников, исходил из предположения, что идеологическое событие стало важнее содержания идеологии. Но при позднем социализме это явление достигло крайности, поскольку «форма идеологических высказываний» в повседневной жизни «становилась все более застывшей, предсказуемой, переносимой из одного контекста в другой», в то время как их смысл эволюционировал или игнорировался. В интерпретации Юрчака своеобразием наделяется то очевидное обстоятельство, что природа и роль идеологии в Советском Союзе с течением времени кардинально менялись. В особенности Юрчак подчеркнул роль смерти Сталина как рубежа, после которого из коммунистической идеологии исчез «голос „внешнего редактора“». Но даже когда в значительной мере носящая обрядовый характер форма возобладала над буквальным смыслом — явление, которое Юрчак называет «гипернормализацией авторитетной формы», — повторяющиеся действия были далеко не бессмысленными для их участников и очевидцев. С одной стороны, они стали гибкими, подверженными существенным изменениям и переосмыслению в повседневной жизни, что приводило к непреднамеренным и непредсказуемым значениям. С другой стороны, сама их повторяемость обладала политическим и социопсихологическим воздействием, заставляя верить, что советский строй будет жить вечно¹.

¹ Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение. М.: Новое литературное обозрение, 2014. С. 53, 161. Не менее насыщенный анализ материальных практик, направленных на распространение советской идеологии, с учетом «антропологических исследований, в которых рассматриваются ее колебания между непосредственно сформулированной доктриной и житейской логикой», см. в работе: *Luehrmann S. The Modernity*

Этот акцент на ритуале и действии Юрчак противопоставил модели, которая резко разграничивает «маску» и «истинное лицо», утверждая наличие постоянного притворства и бинарной оппозиции между «скрытым языком» и официальной правдой. Таким образом, Юрчак не ограничился рассмотрением правил различных жанров собраний и ритуалов, исследуя идеологию, всецело пронизанную перформативностью. Сам Юрчак предпочел, пользуясь термином Бахтина, говорить не об «идеологии», а об «авторитетном дискурсе», утверждая, что «функция этого дискурса была теперь не столько в том, чтобы репрезентировать реальность более-менее точно, сколько в том, чтобы создавать ощущение, что именно эта репрезентация является единственно возможной, повсеместной и неизбежной. Потеряв функцию идеологии (как описания действительности, которое может быть верным или неверным), этот дискурс приобрел функцию бахтинского „авторитетного дискурса“»¹. В силу такого подхода, который отчетливо просматривается в работе Юрчака, акцент на действии вытесняет идеи, едва ли имеющие какое-то значение для действующих лиц. Идеи, однако, имеют значение — даже при Брежневе. Рассматривая идеологию как действие, не следует пренебрегать идеологией как доктриной или мировоззрением. Общеизвестно, что к концу советской эпохи идеология сошла на нет и утратила свою роль; понимание идеологии как действия побуждает нас задаться вопросом, как изменилась сама ее природа, в основе которой лежит отношение между идеями и действием.

of Manual Reproduction: Soviet Propaganda and the Creative Life of Ideology // *Cultural Anthropology*. Vol. 26. № 3. 2011. P. 363–388, цитата: P. 365.

¹ Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось... С. 58–60; цитата: С. 55. См. определение советской идеологии как дискурсивного фильтра коммуникации, противопоставленного системе убеждений, в применении к краху перестроечной эпохи: *Casier T. The Shattered Horizon: How Ideology Mattered to Soviet Politics // Studies in East European Thought*. Vol. 51. № 1. 1999. P. 35–59. О влиянии концепции «скрытого языка» Джеймса Скотта и дискуссии вокруг нее см.: *David-Fox M., Holquist P., Poe M. (eds.). The Resistance Debate in Russian and Soviet History*. Bloomington, IN: Slavica Publishers, 2003.

ИДЕОЛОГИЯ КАК ВЕРА

Но сформулируем иначе: важны не только идеи, но и то, как идеология воздействует на сердца и умы, сея убежденность или веру. Точнее, обобщенно говоря, именно соотношение действия и веры составляет основную проблему споров постсоветской исторической науки о том, во что «на самом деле» верили советские люди, или, выражаясь более научно, о том, каким образом и в какой степени идеологию можно было считать усвоенной. Сама по себе театральность может ни в чем не убеждать; ключом к успеху любой идеологии является ее способность объяснять происходящее в мире своим адептам и приверженцам. Если подумать о большевистской идеологии как о системе убеждений или своего рода вере, станет понятно, что, например, ощущали комиссары времен Гражданской войны, наблюдая опустошающую послевоенную разруху и зарождение нового строя. Для новых коммунистов из низших социальных слоев, нередко из деревень, борьба с отсталостью означала не просто отвлеченное понятие социалистической модернизации — в ней звучало обещание, что новый строй возвысит их, уничтожит ту социальную среду, которую они покинули, и лишит собственников собственности. Как отметил Питер Холквист, «большевистская идеология обрела смысл не как набор абстрактных идей, но как программа, за которую ухватились люди, в эту переломную эпоху увидевшие в ней убедительное объяснение пережитого ими»¹. В 1920-е годы марксизм-ленинизм вооружил молодых «икапистов», формирующихся большевистских интеллигентов и ученых из Института красной профессуры (ИКП), пьянящим ощущением всемирного масштаба их теорий и обостренным

¹ Holquist P. Violent Russia, Deadly Marxism: Russia in the Epoch of Violence, 1905–21 // Kritika. Vol. 4. № 3. 2003. P. 627–652, цитата: P. 645; см. материал о Дмитрие Оськине и мышлении такого типа: Figes O. The Russian Revolution, 1891–1924. New York: Penguin Books, 1996.

сознанием своей исторической миссии¹. Как неоднократно отмечалось, на поколение 1930-х годов, многие представители которого десятилетия спустя по-прежнему считали начало трудных сталинских времен и террора лучшей порой своей жизни, «энтузиазм» пропагандистских лозунгов действительно мог оказать сильное воздействие.

Вера — широкое понятие, но я в данном случае имею в виду элемент воодушевления, эмоциональной преданности и неосознанной убежденности, которые вызывает идеология, способная дать объяснение происходящему в мире. В случае СССР коллективизм — чувство принадлежности к общности, вызванное коллективным движением, — был тесно связан с этой убежденностью². Вера в этом смысле едва ли подразумевает отказ от рассудительности или рационального мышления, как пытался представить ее бывший коммунист Артур Кёстлер, когда много лет спустя сравнил свое вступление в партию с романтической влюбленностью и религиозной верой: «Никто не влюбляется в женщину или не вступает в лоно церкви под влиянием логических доводов»³. Это означает лишь то, что коммунизм, подобно другим идеологиям, в значительной мере завладевал умами как непосредственное переживание, принимая, по выражению Иглтона, «эмоциональные, бессознательные, мифические или символические формы»⁴.

Примером, иллюстрирующим, насколько полезно помыслить идеологию как веру или убеждение, может служить проблема политического насилия, неизбежно фигурирующая в дискуссиях об Октябрьской революции, советской партийной государственности и сталинизме. Можно говорить о доктринальной подоплеке,

¹ *David-Fox M.* Revolution of the Mind: Higher Learning among the Bolsheviks, 1921–1929. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1997. Chap. 3.

² Наиболее подробно этот аспект рассмотрен в работе: *Hellbeck J.* Revolution on My Mind. P. 10, 97, 113, 154, 161 и далее.

³ *Koestler A.* Эссе без названия в книге *The God That Failed* / ed. R. Crossman. New York: Columbia University Press, 2001 (1949). P. 15.

⁴ *Eagleton T.* Ideology. P. 221.

о том, что, по мысли обосновывавшего Красный террор Троцкого, «цель оправдывала средства», о том, что Ленин говорил о «беспощадности», открыто поддерживая репрессии против классовых врагов под знаменем диктатуры пролетариата, о запретах, в силу которых в 1930-е годы нельзя было говорить о расширяющемся Гулаге иначе как о системе гуманного перевоспитания, и т.д. Но это лишь часть проблемы. Как быть с теми, кто становился орудием насилия, представителями более низкого уровня, приводившими приговоры в исполнение, кадровыми работниками или «перегибщиками»? Во что верили они?¹ Безусловно, на общем фоне одни в большей, другие в меньшей степени вдохновлялись идеологией, и многие вошли в историю попросту как садисты. При рассмотрении подобных случаев едва ли можно отделить убеждения от мировоззрения и дискурса, и все эти аспекты должны исследоваться в контексте принятых практик и власти. Кроме того, в новых исследованиях ставится еще один существенный для советской истории вопрос: во что верили красноармейцы во время Второй мировой войны и как опыт боевых действий в Восточной Европе изменил убеждения солдат? Например, Кэтрин Мерридейл говорила об особой «фронтowej идеологии», «далекой от осторожной софистики сталинских идеологов»².

Однако вера несет в себе еще и другие коннотации, в применении к идеологии вызывающие ряд вопросов: она отсылает к религии. Трактовка марксизма-ленинизма как политической или секулярной религии обладает сложной и многообразной генеалогией. Она включает в себя русскую интеллектуальную традицию, труды европейских ученых начиная с 1920-х годов, недавно наметившуюся в научных кругах тенденцию сравнивать

¹ Об этом см.: *Viola L. The Problem of the Perpetrator in Soviet History // Slavic Review. Vol. 71. № 1. 2013. P. 1–23.*

² *Merridale C. Ivan's War: Life and Death in the Red Army, 1939–1945. New York: Henry Holt, 2006. P. 229–230.* См. также: *Budnitskii O. The Great Patriotic War and Soviet Society: Defeatism, 1941–1942 // Kritika. Vol. 15. № 4. 2014. P. 767–798.*

крайние левые и крайние правые тоталитарные политические религии и исследования многих выдающихся специалистов по советской истории¹. Например, Роберт Чарльз Такер во многих своих работах указывал на марксистское стремление к полному обновлению человечества как секулярный аналог христианского спасения, на большевизм как миллениаристское движение, на использование Сталиным религиозных терминов и на растущее сходство партийного государства с «церковным государством»². Игал Халфин в своих работах, посвященных анализу дискурса, неоднократно подчеркивает присутствие в этом дискурсе религиозных концепций (эсхатологии, мессианизма) и частое употребление отсылающих к религии понятий (инквизиция, ересь, добро и зло, вера и т.д.)³. Что касается административных структур нового советского режима, Стивен Коткин в своей «Магнитной горе» подробно останавливается на двойственности партийного государства как разновидности теократии⁴. В коммунизме действительно не составляет труда усмотреть черты, подражающие религиозным феноменам или воспроизводящие их. Чаще всего

¹ Подробный анализ этого вопроса и библиографию см. в статьях: *David-Fox M. Opiate of the Intellectuals? Pilgrims, Partisans, and Political Tourists* // *Kritika*. Vol. 12. № 3. 2011. P. 723–740; *David-Fox M. Religion, Science, and Political Religion in the Soviet Context* // *Modern Intellectual History*. Vol. 8. № 2. 2011. P. 471–484.

² *Tucker R.C. Philosophy and Myth in Karl Marx*, 3rd ed.. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 2001. P. 24; *Tucker R.C. Lenin's Bolshevism as a Culture in the Making* // *Bolshevik Culture: Experiment and Order in the Russian Revolution* / ed. A. Gleason, P. Kenez, R. Stites. Bloomington: Indiana University Press, 1985. P. 25–38; *Tucker R.C. Stalin as Revolutionary, 1879–1929: A Study in History and Personality*. New York: W.W. Norton, 1973. P. 129–130; *Tucker R.C. Stalin in Power: The Revolution from Above*. New York: W.W. Norton, 1990. P. 38.

³ *Halfin I. From Darkness to Light: Class, Consciousness, and Salvation in Revolutionary Russia*. Pittsburgh: Pittsburgh University Press, 2000; *Halfin I. Stalinist Confessions: Messianism and Terror at Leningrad Communist University*. Pittsburgh: Pittsburgh University Press, 2009.

⁴ *Kotkin S. Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization*. Berkeley: University of California Press, 1995; spec. P. 293–298.

говорят об очевидном — намеренных попытках советской власти вытеснить религию новыми ритуалами и убеждениями, включавшими в себя красные уголки, торжества и праздники, а также культы Ленина и Сталина. Но существовало и более тонкое формальное сходство, например замена обязательного изучения православного катехизиса в дореволюционной образовательной системе обязательным изучением диалектического и исторического материализма.

Однако некоторые ученые указывают на отсутствие в секулярных религиях XX века трансцендентного начала, напоминая, что говорить о политической «религии» можно лишь в качестве эвристического инструмента или метафоры. Даже критики, которым близка концепция политической религии, сочли ее слишком плоской и слишком общей для объяснения «нового, наднационального, но исторически своеобразного... миссионерского импульса», присущего радикальным режимам межвоенного времени¹. Коммунистическая вера была лишена духовного измерения; по словам Пола Фроеса, в религиозных мировоззрениях «есть нечто, отсутствующее в советском коммунизме, — объект поклонения, любящий Бог, проявляющий заботу о каждом отдельном человеке»². Поэтому на самом деле можно задаться вопросом, в состоянии ли концепция политической религии полностью учесть новизну коммунистического призыва, равно как и приверженность коммунистов науке и атеизму. В своей книге о культе личности Сталина Плампер вслед за Эдвардом Шилзом предпочитает разрабатывать понятие сакральности. Этот термин, полагает он, «позволяет избежать подводных камней, неизбежных при непосредственном перенесении религиозных категорий в область политики, как это происходит в концепциях

¹ *Roberts D.D.* 'Political Religion' and the Totalitarian Departures of Inter-war Europe: On the Uses and Disadvantages of an Analytical Category // *Contemporary European History*. Vol. 18. № 4. 2009. P. 381–414; здесь см.: P. 390–392.

² *Froese P.* *The Plot to Kill God: Findings from the Soviet Experiment in Secularization*. Berkeley: University of California Press, 2008. P. 178.

политической религии и политической теологии»¹. Итак, рассмотрение идеологии как веры необязательно влечет за собой усвоение понятия политической религии. Наконец, размышления о том, как идеология пробуждает веру, подводят нас и к вопросу, когда и почему ей это не удается.

ИДЕИ ПРОТИВ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ В КОНТЕКСТЕ ФРАНЦУЗСКОЙ, РУССКОЙ И НАЦИСТСКОЙ РЕВОЛЮЦИЙ

Теперь мы можем сменить тактику и обратиться к интерпретации роли идеологии в историческом процессе. Здесь мне бы хотелось не столько вдаваться в подробный пересказ развития советологии самой по себе, сколько высказать предположение, что главным стержнем исторического анализа противоречивых катаклизмов современности может стать противопоставление идей и обстоятельств. Особенно показательным было бы сравнение обоснований террора в ходе двух крупнейших революций с явлениями нацизма и Холокоста, поскольку сравнивать принято лишь две пары из этих трех феноменов (французскую и русскую революции, нацистский и советский режимы). Я полагаю, что трехстороннее сопоставление с особенной четкостью выявляет динамику роли идеологии в разных моделях причинно-следственных связей.

Великая французская революция — логичная отправная точка, поскольку классический разлад между идеями и обстоятельствами обнаружился в политических доводах, выдвигаемых в ходе самой революции. Мона Озуф отметила постоянные колебания между «силой обстоятельств» и «человеческой волей» (другой способ

¹ *Plamper J. The Stalin Cult. P. xvi.* Хотя портреты Сталина в некоторых отношениях напоминали православные иконы — если взять один из примеров Плампера, — это «не объясняет направления взгляда Сталина, неизменно устремленного в некую точку за рамками изображения; Сталина воспринимали как олицетворение линейного, марксистского движения Истории» (Р. xvii).

обозначения действующей силы или идей) в «постъякобинской риторике» термидора. Дональд М.Дж. Сазерленд высказал более конкретное предположение, согласно которому в той мере, в какой историографический «фактор обстоятельств» включает в себя явление террора как защитной реакции на внешние события, ее истоки можно проследить еще дальше, вплоть до обоснования в 1793 году возможности членов Конвента прибегать к чрезвычайным мерам. С определенностью можно сказать, что фактор обстоятельств приобрел большое значение для молодого поколения историков в 1820–1830-е годы и закрепился с оформлением исследований французской революции как отдельной историографической области в конце XIX века¹.

В своей наиболее обобщенной форме тезис о факторе обстоятельств в случае Франции подразумевает, что причиной террора не были силы, внутренне присущие самой революции (включая якобинскую идеологию), как 1789 год не предвещал 1792-й. Скорее террор вызвали совпавшие по времени военное вторжение извне, контрреволюция внутри страны, экономическая разруха и измена в армии. «Все три линии республиканизма: либеральная, демократическая и социалистическая — оправдывали террор как результат „обстоятельств“, — поясняет Хью Гоф. — Контрреволюция и война вынудили политиков к террору, и как только давление ослабло, он исчез»².

В противовес этой точке зрения звучали различные возражения с почти столь же богатой родословной, состоявшие в том, что революционные идеи (рассмотренные с позиций политической мысли, политической культуры или идеологии) оказали определяющее воздействие на революционные события.

¹ *Ouzouf M.* The Terror after the Terror: An Immediate History // *The French Revolution and the Creation of Modern Political Culture* / ed. K.M. Baket. Vol. 4: The Terror. Tarrytown, NY: Pergamon, 1994. P. 3–18, см.: P. 11; *Sutherland D.M.G.* The French Revolution and Empire: The Quest for a Civic Order. Oxford: Blackwell, 2003. P. 2, 175, 388.

² *Gough H.* Terror in the French Revolution, 2nd ed.. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2010. P. 6–7.

Исторически тень Великой французской революции повлияла на революционное движение в России и на немецкую консервативную революцию; в историографическом плане в литературе о 1917 и 1933 годах наблюдаются примечательные переключки между этими тремя областями¹. Если говорить о современной французской историографии, бывший коммунист Франсуа Фюре, как известно, в конечном счете назвал революционные идеи и политическую культуру главными источниками террора; это движение, во Франции известное как ревизионизм, вернуло идеи и идеологию на первый план теоретической науки. По замечанию одного ученого, Фюре в своем «Постижении Французской революции» (1978) утверждал, «что террор был не защитным механизмом против опасности, а образом действий, глубоко укорененным в революционной идеологии и просочившимся в практики коммунизма XX столетия»². Маятник французской ревизионистской историографии, представители которой рассматривали прежде всего политическую культуру, а не классы, качнулся в сторону, противоположную не только марксизму, но и другим разновидностям структуралистских подходов.

Последствия этого базового разделения в более утонченной и сложной форме можно наблюдать практически по сей день³.

¹ О ситуациях в России и во Франции см.: *Kondratieva T. Bolsheviks et Jacobins: Itinéraire des analogies*. Paris: Payot, 1989), в переводе на русский язык: *Кондратьева Т. Большевики-якобинцы и призрак термидора*. М.: Ипол, 1993; *Mayer R. Lenin and the Jacobin Identity in Russia // Studies in East European Thought*. Vol. 51. № 2. 1999. P. 127–154; *Vovelle M. 1789–1917: The Game of Analogies // The Terror*. P. 349–378. О возможности аналогии, которая реже всего проводится между этими тремя случаями, см.: *Mosse G.L. Fascism and the French Revolution // The Fascist Revolution: Toward a General Theory of Fascism*. New York: Howard Fertig, 1999. P. 64–94.

² *Gough H. Terror*. P. 7.

³ См. вариант тезиса о факторе обстоятельств: *Mayer A.J. The Furies: Violence and Terror in the Russian and French Revolutions*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2000; разновидность тезиса о доминирующей роли идеологии см. в работе: *Gueniffey P. La politique de la Terreur: Essai sur la violence révolutionnaire, 1789–1794*. Paris: Fayard, 2000. Также внимания заслуживает отсылка

Однако это основополагающее различие почти неизбежно привело к тому, что некоторые историки пытаются, преодолев противопоставление, построить объясняющие теории, опирающиеся на взаимодействие идей и контекста¹. В итоге появилось то, что Гоф называет постревизионизмом: неортодоксальное направление, сторонники которого, отказавшись от тезиса о примате идей и терроре как их неизбежном следствии, оставляют за собой право исследовать другие факторы, такие как политические кризисы, гендер, местный или региональный контекст. Но важно, что постревизионизм в изучении истории Французской революции не означал «просто возврат к прежнему „фактору обстоятельств“», а представлял собой скорее исследование развивающегося революционного процесса². Кроме того, уже не так ощущается настоятельная склонность сосредоточиваться, пусть даже неявно, исключительно на терроре как краеугольном камне исторического анализа. Поэтому, по словам Питера Кэмпбелла, «все согласны в том, что революция обрела гораздо большую многогранность и сложность, так что теперь мы на пути к обновлению. Становится возможным более глубокий и вдумчивый анализ, поскольку полемика между противоположными взглядами на природу революции отходит на второй план»³. Новаторский подход оказался связующим звеном между давно упрочившимися конфликтующими и противоположными доводами.

к «модели воздействия идей сверху вниз» Фюре в работе Сазерленда, посвященной местным проявлениям якобинского террора и «Белого террора»: *Sutherland D.M.G. Murder in Aubagne: Lynching, Law, and Justice during the French Revolution. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. P. 287.*

¹ См. развернутую попытку преодолеть историографическое противостояние обстоятельств и идеологии в истории Французской революции в целом: *Sutherland D.M.G. The French Revolution and Empire.*

² *Gough H. Terror. P. 9–12.*

³ *Campbell P.R. Redefining the French Revolution: New Directions, 1989–2009 // H-France Salon. Vol. 1. № 1. 2009. URL: www.h-france.net/Salon/h-francesalon.html.*

Сравним эту оппозицию воли и случая в истории Франции со спорами между интенционалистами и функционалистами в немецком контексте. В 1960–1970-е годы существовало два основных противоборствующих подхода к пониманию национал-социализма. Интенционалисты утверждали, что Холокост изначально входил в намерения Гитлера и вытекал из нацистской идеологии, в то время как функционалисты или структуралисты указывали на «кумулятивную радикализацию» системы¹. Это разделение, продлившееся так долго и вызвавшее столько споров, было не чем иным, как вариацией давней дихотомии идей и обстоятельств (с акцентом на роли фюрера или режима соответственно). Резкое противостояние двух школ, противостояние безжалостной логики и цепочки вызванных сложившимися обстоятельствами событий, сопоставимо с полемикой между тоталитарной и ревизионистской историческими моделями в советской историографии 1970–1980-х годов. Поскольку в случае Германии эти подходы стягивались к истокам «окончательного решения» об уничтожении евреев — скорее предмету эмпирических исследований, — недостатки обеих теорий быстро выступили наружу. Схематично говоря, к 1980-м годам стало ясно, что интенционалисты были не правы, безапелляционно утверждая, что нацистами двигало изначально твердое намерение, а функционалисты заблуждались, полагая, что не существовало конкретного, всесторонне продуманного решения (своего рода директивы сверху) об уничтожении всех евреев в Европе². В результате появились различные варианты обоих подходов.

¹ Это выражение — известная формулировка Ганса Моммзена. См. содержательное введение в историю вопроса, уже устаревшее, но не имеющее аналогов в советской историографии: *Kershaw I. The Nazi Dictatorship: Problems of Perspective and Interpretation*, 4th ed.. New York: Oxford University Press, 2000.

² *Browning Ch.R. Beyond 'Intentionalism' and 'Functionalism': A Reassessment of Nazi Jewish Policy from 1939 to 1941 // Reevaluating the Third Reich / ed. Th. Childer, J. Caplan. New York: Holmes and Meier, 1993. P. 211–233.*

На сегодня спор между интенционалистами и функционалистами давно затих и предан забвению. Как и в случае Франции, третья историографическая фаза разрешила давнее противоречие. Здесь прежняя полемика отступила под влиянием теорий, включающих в себя элементы обоих подходов. Концепция «труда для фюрера», которую развивает Ян Кершоу в написанной им биографии Гитлера и которая указывает на то, что постоянное стремление угадать волю и желания вождя на различных уровнях выступало в качестве движущего принципа политической системы, сыграла ключевую роль в примирении двух школ. Это удалось ей именно потому, что она постоянно имела в виду взаимодействие между нацистской идеологией и функционированием Третьего рейха¹. Сегодня в большинстве работ учитывается множество причин, включающих в себя как роль идеологии, так и другие значимые и весомые факторы. Часто рассматривается вопрос о том, как антисемитизм и расистская идеология пронизывали (но необязательно поглощали) многие другие силы, управляющие нацистской Германией, от имперских и колонизаторских амбиций и упрочившихся культурных представлений о Востоке до стратегии ведения войны². Приведу лишь один яркий пример: появилась литература, в которой рассматриваются сложные концепции взаимодействия, переплетения и различия между идеологическими и экономическими мотивами Холокоста³. Разумеется, отголоски и последствия этих споров еще ощутимы, как и в случае с французской и российской историографией, когда, например, тезис об обоюдном росте нацизма и вандализма как с немецкой, так и с советской стороны

¹ *Kershaw I.* Hitler: 2 vols. London: Penguin, 2000; *Kershaw I.* 'Working Towards the Führer': Reflections on the Nature of the Hitler Dictatorship // *Journal of Contemporary History*. Vol. 2. № 2. 1993. P. 103–118.

² См., например, синтез этих факторов в работе: *Snyder T.* Bloodlands: Europe between Hitler and Stalin. New York: Basic Books, 2009. Chaps. 6–9.

³ См., например: *Fritzsche P.* Life and Death in the Third Reich. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2008. Chap. 4; *Mazower M.* Hitler's Empire: How the Nazis Ruled Europe. New York: Penguin, 2008. Chap. 9–12.

критикуется за недостаточно четкое указание на то, что «война на уничтожение» (*Vernichtungskrieg*) «была результатом нацистской (но не советской) идеологии»¹.

Именно в таком сопоставительном ключе возможно продуктивно переосмыслить классический для российской и советской историографии спор между тоталитаризмом и ревизионизмом в более широком контексте. Это было не просто разногласие по поводу того, шло ли движение истории сверху или снизу, а во многом противоборство между представлениями о неумолимом следовании идеологическим или политическим директивам и силой обстоятельств наряду с непредвиденными последствиями. Если говорить максимально обобщенно и не останавливаясь на серьезных различиях между тремя этими историческими ситуациями, самые чудовищные события в истории каждой из трех стран: яacobинский террор, нацистский геноцид и сталинские массовые репрессии — требовали исторического объяснения и настоятельно побуждали к поиску причин. Где крылись корни катастрофы? Что было не так? В каждом из этих случаев результатами поисков становились объяснительные теории, противопоставляющие друг другу по-разному понятые идеи и обстоятельства. И на немецкой, и на российской почве сформировалась традиция «обвинять» идеологию, вылившаяся в самостоятельную парадигму, которой затем было противопоставлено опровергающее ее объяснение с акцентом на случайных обстоятельствах. Со временем наступил третий, более плюралистический период, и первый безапелляционный антитезис уступил место вбирающему в себя все больше факторов синтезу. Примерно с 1991 года в советской историографии начался свой, менее привычный постревизионистский период.

В случае Франции, в отличие от двух других, изначально наблюдалось сильное желание защитить «хорошую» революцию

¹ *Connolly J.* Totalitarianism: Defunct Theory, Useful Word // *Kritika*. Vol. 11. № 4. 2010. P. 819–835; цитата со с. 825 относится к следующей работе: *Geyer M., Edele M.* States of Exception // *Beyond Totalitarianism*. P. 345–395.

и ряд привлекательных революционных идей, поэтому у тезиса о факторе обстоятельств здесь особенно богатая родословная. Изучая русскую революцию, многие пионеры в этой области, историки послевоенного поколения, были склонны становиться на противоположные позиции — обличать марксистскую идеологию, как если бы речь шла о первородном грехе. Если для классической историографии Французской революции большей частью было характерно игнорировать террор или отграничивать «хорошую» революцию 1789–1791 годов от «плохой» стадии 1792–1794 годов, то, говоря о России, ревизионисты ставили под вопрос неизбежность перехода от ленинской эпохи к сталинизму и пытались найти в революции те аспекты и периоды, с точки зрения которых ее еще можно было назвать спасительной. Представляя собой полную противоположность социально-историческому подходу, господствующему в исследованиях о России, «ревизионизм» в историографии Французской революции означал мятежный переход от социальных объяснений к пристальному изучению воздействия идей и идеологии как мировоззрения. По иронии судьбы, два столь несхожих типа ревизионизма в историографии Французской и Русской революции приблизительно совпали по времени. Однако важно, что оба они сформировались не в разрыве с предшествующей историографической традицией, а как анти-тетическое отрицание прежней парадигмы — и, представляя собой антитезис, испытали влияние тезиса.

Этот процесс, в свою очередь, оказал влияние на методологический подход к идеологии как к изолированной переменной или фактору, который следует разложить на элементы и оценивать с точки зрения его следствий, а не как менее структурированное и более сложное явление. Был ли Красный террор обусловлен настроениями большевиков, или толчком к нему послужил опыт Гражданской войны? Что стояло за советской внешней политикой — идеология или прагматизм? Когда сталинские «идеологи» взяли верх над «практичными» или «умеренными» производственниками? Уже в самой формулировке каждой

из этих оппозиций, в свое время значимых для исторической науки, не учитывается пересечение идеологии с другими областями и ее постоянное взаимодействие с более широким контекстом. В 1989 году Реджинальд Зельник с неизменной проницательностью призвал историков прокладывать путь сквозь «сложную диалектику идеологии и обстоятельств, сознания и опыта, реальности и воли». По словам Зельника, «даже когда обстоятельства можно воспринимать как данность, трудно помыслить способы отношения к ним и реакции на них, которые бы не были идеологически опосредованы»¹. В этот постревизионистский, постсоветский период исторической науки прозвучали открытые призывы преодолеть то, что Питер Холквист в своем известном высказывании назвал бинарной оппозицией контекста и намерения. Он писал: «Бинарная модель — *либо* контекст, *либо* намерение — не дает представления о взаимодействии этих двух факторов. Акцент или на обстоятельствах российской истории, или на роли большевистской идеологии создает опасность деисторизации той конкретной ситуации, в которой две эти составляющие воздействовали друг на друга как катализаторы»².

В других областях отголоски прежних споров продолжают звучать, но в меньшем объеме и без таких крайностей. Джеймс Райан в своей недавней работе о Ленине и политическом насилии вновь пытается утвердить «примат идеологии», однако лишь в отношении «насилия, одобряемого и направляемого главными лицами раннего советского государства». В то же время эту свою концепцию он пытается вписать в постревизионистское понимание советской истории, которое восстанавливает идеологию в правах, «не возвращаясь к традиционному противопоставлению идеологии и обстоятельств»³.

¹ *Zelnik R. Circumstances and Political Will in the Russian Civil War // Party, State, and Society in the Russian Civil War: Explorations in Social History / ed. D.P. Koenker, W.G. Rosenberg, R.G. Suny. Bloomington: Indiana University Press, 1989. P. 374–381, цитаты: P. 379–380.*

² *Holquist P. Violent Russia, Deadly Marxism. P. 628.*

³ *Ryan J. Lenin's Terror. P. 6.*

В отношении сталинского Большого террора (и здесь можно усмотреть аналогию с изучением Холокоста на сегодняшний день) историки в основном говорят теперь не о целостном однородном явлении, а о сочетании нескольких линий репрессий. Они включают в себя отдельные операции Большого террора, направленные против различных групп, таких как политически инакомыслящие, нерусские, раскулаченные крестьяне и социально чуждые элементы¹. Существенно, что каждая из этих составляющих одно явление операций включала в себя различные идеологические компоненты, а также обладала собственной, хотя и пересекающейся с другими историей политических и институциональных практик. В центре внимания, таким образом, оказывается «взаимодействие идеологических целей и политических обстоятельств»².

МНОЖЕСТВО ЛИКОВ ИДЕОЛОГИИ

В этой главе формулируется несколько взаимосвязанных посылок. Во-первых, ограниченный взгляд на идеологию как нечто патологическое и утверждение примата идеологии в советской историографии вызвали обратную реакцию, вследствие которой понятие идеологии слишком долго замалчивалось. Во многом поэтому в данной области, немислимой без идеологии, не возникло более сложных и многогранных интерпретаций этого понятия. Во-вторых, как с теоретической точки зрения, так и в контексте советской истории концепция идеологии слишком обширна,

¹ *Fitzpatrick Sh. Varieties of Terror // Stalinism: New Directions / ed. Sh. Fitzpatrick. New York: Routledge, 2000. P. 257–260, spec. 258; Hoffmann D.L. Cultivating the Masses: Modern State Practices and Soviet Socialism, 1914–1939. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2011. P. 278.* См. работу, которая относится к поворотному моменту: *Shearer D. Policing Stalin's Socialism: Repression and Soviet Order in the Soviet Union, 1924–1954. New Haven, CT: Yale University Press, 2009.*

² *Hoffmann D.L. Cultivating the Masses. P. 4.*

чтобы уместиться в одном определении. Вместо одностороннего понимания идеологии как учения или альтернативной ее трактовки как дискурса я предлагаю развернутое видение множества ликов идеологии.

Встает непростой теоретический вопрос, действительно ли мы, ощутив хобот, хвост и все части тела нашего идеологического слона, можем представить себе целостный облик этого зверя. С одной стороны, можно отметить, что в советском контексте такие измерения идеологии, как мировоззрение, дискурс и действие, тесно переплетаются с идеологией как всепроникающей марксистско-ленинской доктриной. С другой — понятно, что можно рассматривать действие или дискурс в более общем плане, выходящем за рамки доктрины, и даже не прибегать при этом к концепции идеологии. Кроме того, необходимо распознавать точки столкновения различных пониманий идеологии, в которых последние становятся несовместимы друг с другом. Например, идеология как доктрина явно уже идеологии как мировоззрения; очевидно также, что взгляд на идеологию как на действие, необязательно предполагающее убежденность, в определенном аспекте отличается от понимания идеологии как веры. К тому же, прослеживая, как менялось толкование этого понятия с течением времени, мы едва ли сможем ограничить спектр его возможных определений в настоящем. В то же время дискурс — достаточно емкое понятие, чтобы вместить в себя доктрину и мировоззрение, а также другие направления исторического анализа. Наконец, плюралистический подход, усматривающий преимущество в рассмотрении множества аспектов идеологии, совершенно оправдан и позволяет опровергнуть редукционизм одномерных определений, которые часто принимаются по умолчанию. Из этого следует, что развернутое изложение исследователем собственного понимания идеологии приносит свои плоды. Как бы мы ни старались, работая в одном пространстве, представить себе различные части слона, когда мы сосредоточиваемся на одних, исключая другие, картина получается искаженной.

Принятие во внимание традиционного взгляда на советскую идеологию как доктрину наряду с другими ее измерениями, такими как мировоззрение и действие, позволяет нам учитывать самобытность советского строя, не превращая при этом советскую или в целом тоталитарную систему в нечто уникальное. Жаль, что попытка Майкла Фридена оспорить взгляд на идеологию как на отклонение и интерпретировать ее как нормальную составляющую современного общества и политики строится на предположении об исключительности тоталитарных идеологий и пренебрегает «добросовестными идеологиями, намного более глубоко укоренившимися в социальной мысли и практике»¹. Хотя советская идеология действительно была другой, разве она не уходила корнями глубоко в социальную мысль и практику? Разве она не была настоящей, подлинной или реальной — то есть «добросовестной»? Точка зрения Фридена не просто недоказуема. Он переносит столь порицаемый им традиционный, «аномальный» подход к идеологии на тоталитаризм, чтобы найти более продуктивные объяснения для других случаев, оставив область советской истории в закоснелой и не слишком привлекательной обособленности. Если идеологию можно переосмыслить даже здесь, в контексте советского коммунизма и сталинизма, нельзя ограничиваться утверждением, что идеологии нормальны. Тогда результаты будут более сложными и полезными, актуальными как для советской историографии, так и для всех, кто интересуется идеологией в более широком плане.

Альтернатива подходу Фридена, учитывающая специфику Советского Союза, но при этом предполагающая сопоставимость на уровне идеологии, возможна. Говоря о действительно необычайной первостепенной роли насаждаемой догмы и совершенно беспрецедентных масштабах идеологического аппарата в СССР, не следует забывать о других чертах, в которых можно усмотреть значительное сходство советской идеологии с происходившим в другие эпохи и в других странах. Если мы в первую очередь

¹ *Freedan M. Ideology. P. 93.*

3. СЛЕПЦЫ И СЛОН

имеем в виду особую роль марксистско-ленинского учения, это не исключает исследования других областей советской действительности, в связи с которыми полезнее говорить о других ликах советской идеологии. Хотя обойти вниманием огромное туловище слона никак нельзя, хобот и хвост также существенные части физического облика животного.

Наконец, осознание множественных возможностей определения и объяснения роли идеологии позволяет включить ее в более широкий исторический анализ. Помимо обзора различных воплощений идеологии, в этой главе разрабатывается понятие идеологической сферы, обозначающее область, в которой идеология насаждается и воспринимается. Если рассматривать идеологическую сферу как пространство, наделенное собственной динамикой и значимостью, не всегда обладающее первостепенной важностью, но и несводимое к другим составляющим исторического процесса, появляется возможность превратить идеологию в более обширную, лишенную редукционизма перспективу исторического анализа. Этой перспективе ни к чему воспроизводить прежнюю дихотомию идей и обстоятельств: идеологическую сферу можно понимать как одновременно обладающую собственной динамикой и пересекающуюся со многими другими историческими факторами. Сама концепция некоторой ограниченной области предполагает, что идеология не всегда вездесуща и что другие области не менее существенны. Напоминая о значимости идеологии в контексте, где игнорировать ее просто невозможно, концепция множества ликов идеологии может послужить стимулом к изучению переплетений, точек соприкосновения и расхождений между идеологией и другими причинно-следственными факторами советской истории.

4. ЧТО ТАКОЕ КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ?

КЛЮЧЕВЫЕ КОНЦЕПЦИИ И КРИВАЯ ТРАНСФОРМАЦИИ СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 1910–1930-Е ГОДЫ

Если бы история складывалась из своих же собственных концепций, в каком-то отношении отождествляя существующее в языке понятие *Zeitgeist* и сцепление событий, с точки зрения теории это привело бы к неоправданному короткому замыканию. Скорее можно говорить о напряжении между понятием и материей, которое то преодолевается, то вновь возникает, то кажется неразрешимым.

Райнхарт Козеллек

Старые исторические парадигмы никогда не умирают; они упрощаются и попадают в учебники. Спустя десятилетия после распада Советского Союза советская историография пережила бурное развитие и серьезную эволюцию. Но консервативная приверженность унаследованной традиции по-прежнему удивительно распространена. Эта консервативность проявляется и в сохранении некоторых базовых концепций, которые переносятся на новую почву, и в сосредоточенности на своей специализации, за рамки которой историки не хотят выходить, объединяя раннюю советскую, сталинскую и постсталинскую эпохи. Эта глава посвящена значению культурной революции, понятия,

ключевого как для советской истории начиная с 1920-х годов, так и для ее изучения на Западе. Многие исследователи, размышляя о культурной революции, продолжают воспринимать ее как один из своего рода эпизодов агрессии, характерный для периода первой пятилетки и даже синонимичный этому периоду, который в российской науке теперь широко известен как «великий перелом». В то время как авторы учебников продолжают рассматривать культурную революцию так, как это было характерно для англо-американской среды с момента выхода книги Шейлы Фицпатрик «Культурная революция в России, 1928–1931», другие начали видеть в ней более значительное в плане влияния на другие события явление¹.

Культурная революция, как нас продолжают учить, была во многом ограничена сроками первой пятилетки. В тексте одного изданного в 2005 году учебника культурная революция ассоциировалась с попыткой «сторонников крайних взглядов», таких как члены Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП), бороться с «относительной культурной терпимостью нэпа», а ее окончание датировалось 1931 годом, когда она перестала отвечать намерениям Сталина. Другой учебник предсказуемо начинался «Шахтинским делом» 1928 года и связывал культурную революцию исключительно с отдельными эпизодами последующих лет: чистками интеллигенции, «пролетарской» темой в литературе, выдвижением. В третьем учебнике, опубликованном в 2008 году, в разделе «Культурная революция» читаем: «Под этим термином Ленин понимал повышение культурного уровня пролетариев и крестьян и обучение их хорошим манерам и цивилизованному поведению. С 1928 года это стало означать, что активисты получили право выступать с нападками в адрес попутчиков и буржуазных специалистов»².

¹ *Fitzpatrick Sh. (ed.). Cultural Revolution in Russia, 1928–1931. Bloomington: Indiana University Press, 1978.*

² *Moss W. A History of Russia since 1855, 2nd ed. London: Anthem Press, 2005, 2:368; Siegelbaum L. Building Stalinism 1929–1941 // Russia: A History / ed. G.*

Как видно из этих примеров, если понимание культурной революции историческими акторами вообще обсуждается, то только с точки зрения ленинской трактовки, сведенной к массовому просвещению и воспитанию цивилизованности, а также внезапного появления категорий агрессии и классовой вражды после 1928 года.

В других учебных пособиях намечается более развернутое понимание культурной революции, но лишь в начальной стадии. В издании классической «Истории России» Рязановского и Стейнберга 2011 года есть главы «Культурная революция» и «Великое отступление» (оба понятия взяты в кавычки). Культурная революция в нем ассоциируется с более обширным явлением, чем «великий перелом» 1928–1932 годов, поскольку речь идет о «радикальных экспериментах преобразования общества» и «духе коллективизма и эгалитаризма», в 1930-х годах приобретших «поразительно консервативные» черты¹. Однако ни в разделе о культурной революции, ни в разделе о «великом отступлении» центральное понятие не анализируется подробно и не проясняется. В каком-то смысле между этими концепциями можно провести параллель: оба понятия широко используются в западной науке, и все же в главном они неравнозначны. «Культурная революция» отличается от «великого отступления» — термина, изобретенного эмигрантским историком Николаем Тимашевым, — тем, что это понятие использовалось советскими людьми того времени. В учебнике Рязановского и Стейнберга не уточняется, как понимали «культурную революцию» в советскую эпоху. Подобным же образом в издании «Советского эксперимента» Рональда Григора Суни 2011 года «культурная революция» (оба слова в этом словосочетании написаны с большой

Freeze. Oxford: Oxford University Press, 1997. P. 304–306; *McCauley M.* The Rise and Fall of the Soviet Union. Edinburgh Gate, Essex: Pearson Education, 2008. P. 134–135.

¹ *Riasanovsky N.V., Steinberg M.D.* A History of Russia, 8th ed. New York: Oxford University Press, 2011. P. 595–597.

буквы) рассматривается в разделе «Культурные войны», открывающемся темой интеллигенции, революции и ранней советской культуры и отделенном несколькими главами от анализа сталинской эпохи. Эта последовательность важна, поскольку указывает на понимание культурной революции как части более широкого процесса революционного преобразования культуры, который сам по себе необязательно является синонимом «великого перелома» или сталинизма. В то же время в учебнике Сунни культурная революция обсуждается лишь с точки знакомой по работам Фицпатрик дихотомии ленинского «воспитания цивилизованности» и «более агрессивного» значения этой концепции в 1928–1931 годах. Как и у Рязановского со Стейнбергом, раздел о советском феномене озаглавлен несоветским термином — в данном случае это американские «культурные войны». Несколькими страницами позже Сунни представляет это основное понятие как «Культурную Революцию (1928–1931)», словно бы Сталин и другие члены партийного руководства утвердили этот термин, подобно тому, как около 1966 года это сделал Мао, говоривший о «Великой пролетарской культурной революции». В то же время Сунни, по-видимому, разделяет культурную революцию и сталинизм, заявляя, что «к 1932 году культурные войны закончились»¹.

Постоянные отсылки к «единственной» культурной революции, ограниченной периодом 1928–1931 годов, фигурируют как в общих трудах по истории, так и в специальных исследованиях, создавая впечатление, что мы имеем дело с каким-то конкретным и четко оформленным явлением или даже периодизацией. Название этой главы, наоборот, намеренно напоминает о вечных «проклятых вопросах» русского революционного движения: «Кто виноват?», «Что делать?» и, главное, «Что такое интеллигенция?». Обсуждать подобные вопросы означало одновременно говорить о преобразовании себя и просвещении других,

¹ *Suny R.G.* The Soviet Experiment: Russia, the USSR, and the Successor States, 2nd ed. New York: Oxford University Press, 2011. P. 226–231; цитаты: P. 230, 291.

связывать субъект с объектом, себя с другим. Это подчеркивает основную задачу, которую я ставлю перед собой в связи с ранней советской эпохой: вскрыть сложные взаимосвязи между «внутренней» культурной революцией, направленной на формирование революционного авангарда и индивидуального революционера, и «внешней» культурной революцией, ориентированной на просвещение и советизацию отсталых, несознательных еще классов и национальностей.

Таким образом, переходя к истории понятий культурной революции, мы получаем возможность восстановить образ спорного и удивительно многообразного явления, соединяющего в себе огромное количество проектов внутреннего и внешнего преобразования и выявляющего их динамику на рубеже 1920-х и 1930-х годов. Кроме того, мы сможем исследовать связи между культурным измерением революции, как его понимали социал-демократы до Первой мировой войны и как оно массово внедрялось после 1917 года, и идеологическими установками, получившими широкое распространение в начале 1920-х годов. Наконец, мы проанализируем термин, ключевой для понятийного аппарата культурных преобразований и их разновидностей. Методы истории понятий (*Begriffsgeschichte*) включают в себя не только рассмотрение вариантов употребления того или иного понятия, но также изучение ряда смежных понятий и их семантического поля. Поэтому мы попытаемся связать «культурную революцию» с родственными ей концепциями: «третьим (культурным) фронтом», «новым бытом» — и ее незаконной наследницей, «культурностью». Быт был объектом кампании и дискуссий в начале 1920-х годов, а культурность стала главной идеей крупнейшей и влиятельной культурно-политической кампании середины — конца 1930-х годов. Однако задолго до того культурность уже осознавалась как значимая, пусть и не столь заметная концепция, тесно связанная с культурной революцией, как и сама культурная революция стала играть важную роль задолго до радикального периода 1928–1929 годов. Ключевые понятия следует анализировать

до и после момента их наиболее активного распространения и политизации.

В то же время эта глава представляет собой не просто анализ истории понятия, поскольку культурная революция рассматривается в рамках интерпретации культурной программы большевиков. В данном случае я имею в виду осмысление культурного измерения в терминах революции и его применение в практиках культурного фронта ранней советской эпохи. Прослеживание двух этих переплетающихся траекторий — понятия культурной революции и большевистского культурного проекта — составляет основу этой дискуссии. Если один аспект моего анализа этого понятия состоит в его применении вовне и внутри, к партиям и широким массам, то второй аспект заключается в том, как в нем исторически переплетаются цивилизаторско-просветительская (позитивная) программа и воинствующая, антибуржуазная, антиинтеллигентская, антипассеистическая (негативная) риторика. Оба подхода присутствовали как до 1928 года, так и после, хотя соотношение между ними кардинально изменилось, и первое могло носить столь же принудительный характер, как и второе. Таким образом, культурная революция предстает как одна из ключевых концепций начала советской эпохи, составляющая ядро процесса слияния культуры и революции. Она возникла как итог первых большевистских теорий о культурном аспекте революции, прояснив траекторию развития большевизма после рубежного 1917 года. Культурная революция также оставила наследство связанной с ней концепции культурности, которая после построенной на ней кампании 1930-х годов сохраняла свою значимость на протяжении всей советской эпохи. Исследование важной советской концепции во всей ее сложности и привлечение результатов для исторического анализа — попытка, полностью вписывающаяся в область российской истории понятий¹.

¹ В России история понятий сформировалась как одна из главных тенденций немецкой и российской науки, наряду с возобновившимся (а для России новым) интересом к работам Райнхарта Козеллека и его сподвижников. Но

Говоря предельно обобщенно, сюжет таков: социал-демократы традиционно относились к проблемам культуры как к второстепенным. Но после неудачи революции 1905 года, в период отступления и самоанализа группа интеллигентов из числа левых большевиков («Вперед») разработала дополнительный революционный план по преобразованию культуры. Они придумали целый набор культурных миссий, но концепция культурной революции как таковая еще не вошла тогда в обиход¹. Однако после 1917 года культурная революция, хотя ее идея еще не была сформулирована, была запущена полным ходом. За настоящим бумом «культурно-просветительских» практик последовало более официальное оформление большевистского культурного проекта в 1920 году и позже, когда атака на Пролеткульт показала, что господствующий большевистский подход продолжает поглощать изначальную культурную инициативу группы «Вперед».

Лишь после всего этого Ленин запоздало сформулировал свою знаменитую концепцию культурной революции. Исключительный акцент, сделанный им на цивилизаторско-просветительской составляющей, отчасти объяснялся тем, что это был отклик на «фантазии о пролетарской культуре». Но ленинизм вскоре придал этой концепции намного более широкий смысл,

до сих пор она применялась в основном к дореформенному и послереформенному периодам истории Российской империи, а не к Советскому Союзу. См. размышления на эту тему Веры Дубиной в рецензии на работы: *Копосов Н.Е., Потапова Н.Д., Кром М.М. (ред.). Исторические понятия и политические идеи в России XVI–XX веков: Сб. научн. работ. 2006; Thiergen P. Russische Begriffsgeschichte der Neuzeit: Beiträge zu einem Forschungsdesiderat (2006) (Kritika. Vol. 9. № 4. 2008. P. 950–962).* См. работу, посвященную концу советской и постсоветской эпохи: *Бикбов А. Грамматика порядка: Историческая социология понятий, которые меняют нашу реальность. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2014.*

¹ Один историк, например, анализирует «теорию пролетарской культурной революции» Богданова, хотя сам Богданов ни разу не упоминает этот термин; см.: *Gorzka G. Proletarian Cultural Revolution: The Conception of Aleksandr A. Bogdanov // Sbornik: Study Group on the Russian Revolution. № 9. 1983. P. 67–82.*

выходящий далеко за пределы теорий большевистской элиты, а развитие «негативной», репрессивной установки, присутствовавшей, что не удивительно, уже в ленинской формулировке, подготовило почву для широкого использования и переосмысления этого понятия в середине 1920-х годов. Не только подразумевающие классовую вражду определения культурной революции были тогда в ходу среди воинствующих большевистских активистов, но развивался и цивилизаторско-просветительский подход, уже облакающий в революционную одежду советское понимание культурной, городской, элитной, благопристойной модели поведения, характерной для России и — шире — для Европы.

Отступление нэпа во многих отношениях тормозило революцию, но при этом стимулировало действия, направленные на строительство культуры, способствуя на много более глубокому проникновению большевистского культурного проекта во внутрипартийные круги. В 1928 году, когда культурная революция стала частью всесоюзной кампании, связанной с усилением левой политики партии, позиции, которые в середине 1920-х годов воспринимались как крайности, превратились в мейнстрим. Чаша весов, на которой лежала установка немедленного осуществления негативных аспектов культурной революции, резко опустилась. При этом внутренняя направленность, внутрипартийная ориентация и установка на преобразование себя, характерные для большевистского культурного проекта эпохи нэпа, внезапно обрели новые формы применения вовне, способствуя наступившему массовому катаклизму.

Норберт Элиас как-то назвал распространение западных стандартов цивилизации посредством европейской колонизации «последней волной» происходившего в Средние века и в начале Нового времени цивилизационного процесса, который раньше протекал внутри отдельных наций от элиты к низшим классам¹. Конечно, советской культурной революции по сравнению

¹ *Elias N. The Civilizing Process: The History of Manners and State Formation and Civilization* / trans. E. Jephcott. Oxford: Blackwell, 1994. P. 464.

с процессом распространения цивилизации была присуща намного большая степень преднамеренности и амбициозности. Ее можно было бы считать революционным, советским вариантом того, что покойный Ш.Н. Эйзенштадт назвал культурной программой современности, в рамках которой не только общество, но и сама культура подвергается активной перестройке¹. Однако суть моей мысли в том, что направленность культурной революции вовне нельзя считать окончательной или даже самостоятельной фазой. В ходе культурной революции, развивающей российско-советскую инициативу внутренней колонизации — в рамках которой почти неизвестные «внутренние» народности должны были слиться с более новыми, внешними приобретениями, — внутренняя просветительская миссия стала одним из неотъемлемых элементов попыток большевиков нести сознательность в массы. Поэтому лидерам культурной революции, размышляющим о культуре будущего, можно было указать на восклицание Маркса в его «Капитале»: «*De te fabula narratur!*» («Басня сказывается о тебе!»).

ЗА РАМКАМИ КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ КАК КЛАССОВОЙ БОРЬБЫ: ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

Историю могут определять не только победители, но и давно забытые склонности отдельных историков. Источником господствующего в западной науке понимания культурной революции стал небольшой текст, который можно назвать одним из самых авторитетных среди современных исследований о России, — вступительное эссе и статья Шейлы Фицпатрик в книге под

¹ *Eisenstadt S.N. The Cultural Programme of Modernity and Democracy: Some Tensions and Problems // Culture, Modernity and Revolution: Essays in Honour of Zygmunt Bauman / ed. R. Kilminster, I. Varcoe. London: Routledge, 1996. P. 25–41.*

ее редакцией «Культурная революция в России, 1928–1931». Фицпатрик использовала термин «культурная революция» для обозначения конкретного эпизода советской истории, когда само это выражение ассоциировалось с классовой враждой. В таком контексте оно включало в себя всплески агрессивных и бунтарских настроений, борьбу между разными поколениями в профессиональной сфере, радикальные эксперименты, «безрассудные планы» во многих областях культуры и имевшие большое значение попытки в краткие сроки сформировать новую интеллигенцию¹.

Фицпатрик показала, что ситуация 1928–1931 годов была связана с резким изменением «ленинского» смысла этой концепции на «культурно-революционную борьбу с враждебными классами». Проведенное таким образом разграничение дало затем основание множеству историков, изучающих те или иные аспекты «культурной революции», ограничиваться 1928–1931 годами. На самом деле в качестве эвристического инструмента исследование культурной революции как классовой борьбы открывало много различных возможностей. Прежде всего, историки стали воспринимать начало сталинской эпохи как самостоятельный период со своей собственной динамикой. Этот прорыв составлял и одну из целей самой Фицпатрик, когда она разрабатывала эту концепцию, что следует из ее малоизвестной статьи, позже переработанной в статью «Культурная революция в России, 1928–1931», где она утверждала: «Весь эпизод пролетарской культурной революции не вписывается в удобное понятие сталинизма, поскольку Сталин использовал пролетарское оружие лишь тогда, когда это было выгодно для него»².

¹ *Fitzpatrick Sh.* Editor's Introduction; Cultural Revolution as Class War // Cultural Revolution in Russia, 1928–1931. P. 1–40; spec.: P. 2, 8–12.

² *Fitzpatrick Sh.* Cultural Revolution in Russia, 1928–1931 // *Journal of Contemporary History*. Vol. 9. № 1. 1974. P. 36–37. Я называю этот период «великим переломом», потому что этот термин охватывает процессы коллективизации и индустриализации, потому что его в то время использовал сам Сталин и потому что на сегодня он считается общепринятым в российской историографии.

Фицпатрик, хотя на тот момент у нее был другой замысел, тоньше различала особенности употребления этого термина, чем следовавшие за ней историки. Но и она, и ее последователи изучали лишь то, как понятие культурной революции менялось в 1928–1931 годах, связывая его только с явлениями тех лет (такими, как выдвижение, противоборство поколений, «иконоборческий» утопизм). В итоге определение, относившееся к периоду 1928–1931 годов, долгое время по умолчанию распространялось на культурную революцию в Советской России в целом. К тому же сам термин оставался прежним, что в контексте особенностей периода пятилетнего плана, о котором историки начали писать около 1978 года, незаметно еще более усугубляло запутанность ситуации.

Из-за яростного спора, разгоревшегося относительно того, происходила культурная революция сверху или снизу, остался почти неосознанным тот факт, что формулировка Фицпатрик, относившаяся к конкретному историческому периоду, получила широкое распространение среди специалистов по истории России, притом что сама концепция культурной революции едва ли вызвала какие бы то ни было споры. В то же время некоторые менее известные подходы спорили с точкой зрения Фицпатрик, но чаще всего отталкиваясь от нее же, поскольку оппоненты Фицпатрик в своих возражениях невольно брали за основу ее теорию и пытались ее перестроить. В центре первого из таких подходов стояла культурная революция как идеологическая проблема. Джон Биггарт убедительно отметил, что Николай Бухарин (в первую очередь в своих работах 1923 и 1928 годов) связывал культурную революцию с передовыми партийными кадрами и классовой идеологией, а не с массовой грамотностью и начальным образованием, о которых говорил Ленин. Истоки проблемы, таким образом, сдвигались на период значительно раньше 1928 года. Но этот подход следовал старой традиции — предметом анализа оставались лишь отдельные крупные фигуры, такие как Александр Богданов, Ленин и Бухарин, взятые обособленно и с позиций доминирующей идеологии. Так, вместо того

чтобы расценивать суждения Бухарина отчасти как размышления по поводу изменившейся ситуации на культурном фронте 1920-х годов, отчасти как диалог с ней, Биггарт изображает Бухарина, выступающего за «радикальный разрыв с нэповской системой». Вместо того чтобы рассматривать Бухарина как яркий пример широкого распространения этого понятия в 1920-е годы, Биггарт, очевидно, видел в нем единственного посредника между ленинским и сталинским вариантами культурной революции¹.

Предпринимались и другие попытки считать, что культурная революция началась спустя несколько лет после 1917 года, существенно отличавшиеся между собой в зависимости от того, кто именно в них выступал в качестве инициаторов — революционеров от культуры — и какова, следовательно, была природа этого явления. В рамках одной традиции, не подвергшейся влиянию Фицпатрик, группа немецких историков использовала термин «пролетарская культурная революция» для обозначения начинаний Пролеткульта, связав, таким образом, культурную революцию с теорией и практикой раннего пролетарского культурного движения и почти исключительно с фигурой Богданова². Другие исследователи высказывали существенные замечания по поводу ленинской концепции культурной революции — но, к сожалению, не касаясь не только ее восприятия и распространения в 1920-е годы, но и ее отношения к группе «Вперед», Пролеткульт или «великому перелому»³.

¹ *Biggart J.* Bukharin's Theory of Cultural Revolution // *The Ideas of Nikolai Bukharin* / ed. A. Kemp-Welch. Oxford: Clarendon, 1992. P. 131–158.

² См. в особенности: *Gorzka G.* A. Bogdanov und der russische Proletkult: Theorie und Praxis einer sozialistischer Kulturrevolution. Frankfurt: Campus Verlag, 1980. S. 15–16; *Lorenz R.* (ed.). Proletarische Kulturrevolution in Sowjetrußland (1917–1921). Munich: Deutsche Taschenbuch Verlag, 1969. См. подход, открыто указывающий на роль пролетарской и социалистической культуры в связи с событиями мая 1968 года: *Champarnaud F.* Révolution et contre-révolution culturelles en URSS: De Lenine à Jdanov. Paris: Éditions Anthropos, 1975.

³ *Erler G.* Die Leninische Kulturrevolution und die NEP // *Kultur und Kulturrevolution in der Sowjetunion* / ed. E. Knödler-Bunte. Berlin: Ästhetik und

Штефан Плаггенборг в своей претендующей на бóльшую полноту истории революционной культуры, в центре которой стояло стремление преобразовать людей, общее для многих «создателей культуры» начала советской эпохи, предпринял многообещающую попытку выйти за рамки понимания культурной революции как связанного с Пролеткультом явления или как классовой борьбы. Он сформулировал теорию двойственной природы культурной революции. К первой культурной революции относилась деятельность Пролеткульта и множество других раннесоветских культурных инициатив в пределах десятилетия, следующего за 1917 годом: все они представляли собой усилия по перековке человека как с умственной, так и с физической точки зрения. Эта попытка наделялась статусом подлинной (*ei-gentlich*) культурной революции; за ней в 1928 году последовала другая культурная революция — «вторая социалистическая революция», сочетавшая в себе, в духе интерпретаций Фицпатрик и Веры Данэм, социальную мобильность с присущими среднему классу ценностями. Эта вторая культурная революция, отвечающая упрощенной модели Фицпатрик, ограничивается от первой, поскольку предполагается, что она не способствовала преобразованию человека, но лишь порождала явления обывательской культуры, вызванные социальными факторами¹.

Таким образом, в основе концепции двух культурных революций Плаггенборга лежала мысль об отказе от социальной инженерии в 1930-е годы, что явно противоречит обширному корпусу литературы о 1930-х и 1940-х годах, указывающей на

Kommunikation Verlag, 1978. S. 33–45; *Claudin-Urondo C.* Lénine et la révolution culturelle. Paris: Mouton, 1975; *Meisner M.* Iconoclasm and Cultural Revolution in China and Russia // *Bolshevik Culture: Experiment and Order in the Russian Revolution* / ed. A. Gleason et al. Bloomington: Indiana University Press, 1985.

¹ *Plaggenborg S.* Revolutionskultur: Menschenbilder und kulturelle Praxis in Sowjetrussland zwischen Oktoberrevolution und Stalinismus. Cologne: Böhlau Verlag, 1996. S. 21, 23–24, 25, 45–46. Здесь имеется в виду следующая работа Веры Данэм: *Dunham V.* In Stalin's Time: Middleclass Values in Soviet Fiction. Cambridge: Cambridge University Press, 1976.

продолжающийся в сталинскую эпоху процесс радикальной социальной инженерии, часть которой составляли чистки и репрессии, а также масштабность разрабатываемого плана советизации человечества¹. Уильям Дж. Розенберг, расточая легковесные похвалы культурным экспериментам ранней советской эпохи, но приходя примерно к таким же выводам, тоже вписывал культурную революцию в двухэтапную модель, причем в качестве первой стадии развития концепции выступали большевистские культурные проекты 1917–1928 годов. Однако вместо преобразования человека, о котором писал Плаггенборг, Розенберг связывал культурную революцию с «поразительной культурной изобретательностью», «героическими усилиями» и «воображением и творческими экспериментами». Коротко говоря, в рамках этого более раннего подхода проводилась отчетливая граница между культурными перспективами (неоднократно упоминаемыми в одном ряду с социальными факторами и общественной поддержкой) и политикой (суровыми, но, видимо, хорошо известными «реалиями большевистской практики»)².

В западной науке можно отметить две самостоятельные, несхожие между собой попытки осмыслить культурную революцию как непрерывный процесс, не ограниченный ни периодизацией советской истории, ни официальными теориями большевиков, — это концепции Дэвида Джоравски и Катерины Кларк. Во многих отношениях они противоположны друг другу: если Джоравски обозначает этим термином четко определенный (кто-то скажет — детерминистический) исторический процесс, у Кларк культурная революция изображена иносказательно и косвенно

¹ Об этом можно прочесть в работах начиная с: *Shearer D.R. Policing Stalin's Socialism: Repression and Social Order in the Soviet Union, 1924–1953*. New Haven, CT: Yale University Press, 2009; — и до: *Hellbeck J. Revolution on My Mind: Writing a Diary under Stalin*. Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2006.

² *Rosenberg W.G. Editor's Introduction // Bolshevik Visions: First Phase of the Cultural Revolution in Soviet Russia* / ed. W.G. Rosenberg. Ann Arbor, MI: Ardis, 1984. P. 18–19, 22–24.

и притаилась среди флоры и фауны богатой культурной экосистемы Советского Союза.

Джоравски, споря с ключевой работой Фицпатрик, настаивал, что «культурная революция представляла собой единый долговременный процесс», и высказывался против «путаницы и вопросов», которые могут возникнуть, если мы будем считать культурной революцией исключительно происходившее в 1928–1931 годах¹. Джоравски рассматривал этот процесс как связующее звено между коммунизмом и «высокой культурой того времени», появление которого объяснялось стремлением коммунистических лидеров к единству культуры и проистекавшими отсюда попытками преодолеть ее разобщенность (стремление, которое специалисты по модернизму называли бы, однако, по сути модернистским проектом). Конфликт начался с зарождающейся в предреволюционный период напряженности, приобрел форму явной конфронтации после политической революции, перешел в «мучительную стадию затянувшейся войны» при сталинизме, маоизме, кастоизме и т.д., а потом угас, «медленно перейдя в мрачно-терпимое отношение к отдельным мыслителям и художникам»².

В основе «Петербурга» Кларк лежала метафора «экологии революции», прослеживаемой в период от Первой мировой войны до упрочения сталинской культуры. Она служила выявлению неожиданных взаимосвязей внутри культурной системы и объяснению неодинаковых темпов изменений в разных областях художественной культуры и интеллектуальной жизни. Таким образом, подлинными революционерами от культуры оказывались не коммунисты, а петербургские интеллектуалы, чьи неприятие

¹ *Joravsky D. The Construction of the Stalinist Psyche // Cultural Revolution in Russia, 1928–1931. P. 107–108.*

² *Joravsky D. Cultural Revolution and the Fortress Mentality // Bolshevik Culture. P. 95–96.* Хотя я не вижу такого пересечения между коммунизмом и модернизмом на почве культурной революции, — соглашаясь при этом, что она долго сохраняла свое значение, — чтение этой работы Джоравски где-то в конце 1980-х навело меня на мысли, результатом которых стала эта книга.

рыночных отношений и обывательских взглядов, а также видение общества как целостного организма способствовали построению советской культуры. Погружение в сложную культурную систему предполагало преодоление «несколько приевшегося», как выразилась Кларк, подхода, рассматривающего 1920-е и 1930-е годы в терминах «преемственности или перемен» либо ищущего в этом «десятилетиях» некую «мистику»¹. Эти замечания, с необходимыми поправками, характеризуют последствия, которые влечет за собой «зачарованность» историков представлениями о конкретном периоде: военного коммунизма, нэпа, культурной революции. В культурно-революционной экосистеме Кларк формы революционной культуры расцветают, видоизменяются, увядают — и такой же подход можно применить к концепции, воплощенной в названии книги Кларк «Петербург, горнило культурной революции», хотя здесь она не анализируется систематически. В книге «Москва, четвертый Рим», которая продолжает повествование, рассказывая уже о 1930-х годах, Кларк также не стремилась рассматривать идею культурной революции как таковую. В центре этого продолжения — мечта превратить Москву в столицу мировой культуры, свидетельствующая о необыкновенном размахе советского культурного проекта, на осуществление которого надеялась интеллигенция и который в течение какого-то времени находил поддержку у партийного руководства².

У Джоравски коммунистическое движение неуклонно гнало поднимающуюся волну культурной революции, хотя сами большевистские лидеры напоминали слепых демиургов, часто не замечавших ее форм даже при непосредственном соприкосновении с ней. В рамках экосистемы Кларк — подхода, альтернативного по отношению к анализу, основным предметом которого становится партийная или сталинская система контроля, — нередко

¹ *Clark K. Petersburg, Crucible of Cultural Revolution. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1995. P. ix.*

² *Кларк К. Москва, четвертый Рим. Сталинизм, космополитизм и эволюция советской культуры (1931–1941). М.: Новое литературное обозрение, 2018.*

отмечалось, что руководство партии реагировало на более глубокие культурные тенденции или обдумывало их. Однако автора и не интересовало историческое развитие концепции культурной революции. Историческое осмысление культурной революции указывает нам другой подход к анализу причинно-следственных связей и роли партии.

С одной стороны, из сказанного здесь с очевидностью следует, что перед нами большевистская концепция. Но, представляя собой непрерывно развивающуюся категорию, которая должна была внедрить «революцию» в область «культуры», эта большевистская культурная революция включала в себя немало преобразовательных проектов, выходивших далеко за пределы партии и, в свою очередь, составлявших цель множества беспартийных работников умственного труда и интеллигентов. В то же время в силу своих внутрипартийных истоков это понятие отсылало к внутренней культурной революции периода нэпа, затронувшей прежде всего партийную среду. Культурная революция то и дело вмешивалась в революционную политику и планы большевиков, противореча стадийности собственного развития и неся с собой близкие ей, не ограниченные рамками большевистских установок подходы.

РОЖДЕНИЕ БОЛЬШЕВИСТСКОГО КУЛЬТУРНОГО ПРОЕКТА

С момента появления большевизма как течения русские социал-демократы уже были вовлечены в сферы культуры, которые можно было расценивать как новые, социалистические или пролетарские. Не только богатая революционная культура выросла из революционного движения и кружков, но и социал-демократы, хотя и в меньшинстве, участвовали в просветительской деятельности интеллигенции, например в организации народных университетов. Большевистские партийные работники также были тесно связаны с такими явлениями, как новая «„рабочая“

интеллигенция», рабочий театр и литература. Но все это едва ли подразумевало, что культура является важной составляющей революции. Марксизм учил, что первостепенную роль играют класс и способ производства; ленинизм ставил во главу угла политическую борьбу. Поэтому постановка революционных задач в культурной сфере во многом была обусловлена осознанием необходимости культурного измерения революции. Большевики, пытавшиеся примирить значимость культуры и сознания с марксистским экономическим детерминизмом и большевистской установкой политической борьбы, принадлежали главным образом к группе «Вперед» и ее преемникам. В предвоенный период они заняли позицию, необычную для большевиков, но отнюдь не для «большинства противников капитала немарксистского толка» среди интеллигентов, полагая, что культурные преобразования должны предшествовать социалистической революции¹.

Благодаря этому участники группы «Вперед» первыми среди большевиков сформулировали ряд приоритетов, к началу 1920-х годов составлявших ядро любой коммунистической программы, ориентированной на третий, то есть культурный, фронт: социалистические литература и искусство, партийные школы для обучения нового народа и новой интеллигенции, новая наука, этика, образ жизни. Главное, что эта деятельность открыто являлась необходимым элементом становления новой культуры. Члены группы «Вперед» изобрели выражение «пролетарская культура», впервые прозвучавшее в заявлении участников группы в 1909 году. Новая социалистическая культура, которая, как гласил этот манифест, будет создаваться для масс и распространяться среди них, должна была стать частью целенаправленной реконструкции надстройки в целом².

¹ Clark K. Petersburg. P. 21.

² Современное положение и задачи партии. Платформа, выработанная группой большевиков // Неизвестный Богданов / сост. Н.С. Антонова, Н.В. Дроздова. М.: АИРО-XX, 1995. Т. 2. С. 37–61.

У обширной литературы о Богданове и группе «Вперед» можно отметить две генеалогические линии. Одна из них вела к альтернативному движению пролетарской культуры, возглавляемому Богдановым, Пролеткульту; обратная генеалогия — промежуточным звеном которой могли быть и пролетарские культурные группы 1920-х годов, и посредники, такие как Бухарин, и волюнтаризм «великого перелома», — строилась как непосредственно ведущая к сталинизму¹. Эта знакомая оппозиция пренебрегала практиками группы «Вперед», ленинскими практиками, а также взаимодействием между ними. По мере того как культурные задачи движения выходили на первый план, они оказывали все большее влияние на господствующие большевистские тенденции, тесно переплетавшиеся с пролетарским течением.

Члены группы «Вперед» не просто разрабатывали новые культурные задачи, но организовали собственный инструмент их реализации — партийные школы на Капри и в Болонье. Я когда-то высказывал мысль, что степень взаимовлияния можно проанализировать, сравнив начинания группы «Вперед» со школой Ленина в Лонжюмо, и что характерные для участников группы нововведения перешли в большевистскую традицию и оказали на нее влияние. Общей чертой было, например, формирование образовательной программы, сочетавшей в себе схожим образом определяемые области партийной теории, текущую политику и практическое революционное обучение; школам группы «Вперед» были не менее присущи практические и связанные с политикой партии аспекты. Все это время сторонники Ленина так пристально изучали своих противников, что многое в Лонжюмо было, по-видимому, заимствовано из опыта Капри; есть также свидетельство, что некоторые из последователей Ленина, вторя

¹ О либертарианской альтернативе движению группы «Вперед» наиболее убедительно писал Зеновия Сохор: *Sochor Z. Revolution and Culture: The Bogdanov-Lenin Controversy*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1981; тоталитаристскую линию обосновывает, например, Джон Эрик Морот: *Morot J.E. Alexander Bogdanov, Vpered, and the Role of the Intelligentsia in the Workers' Movement* // *Russia Review*. Vol. 49. № 3. 1990. P. 242–248.

риторике группы «Вперед», говорили о создании новой пролетарской интеллигенции. В результате сформировался ряд большевистских практик, которые могли оказаться полезными как ленинцам, так и участникам группы «Вперед». На самом деле итогом этого диалога — в котором утопизм сочетался с кадровой политикой — можно считать большевизм в его типичной форме. Это давало возможность одновременно преследовать культурные цели, такие как создание новой интеллигенции, и выполнять ряд задач, отвечающих непосредственным политическим нуждам партии, в частности в короткие сроки готовить необходимые кадры¹. Акцент делался не непрерывной трансформации сознания новых кадров, которые затем посылались вербовать других.

Несмотря на значимость этого диалога, само обстоятельство, что большевистский культурный проект изначально был сформулирован в узком кругу интеллигентов из группы «Вперед», обособленных своим положением эмигрантов в Европе, способствовало тому, что их идеи в большей степени отражали их собственные представления о рабочей интеллигенции и «новой культурной эпохе», чем взгляды участников рабочих движений или рабочих культурных организаций, которые в России в целом встречались относительно редко. Как предположила Ютта Шеррер, личная неприязнь Богданова к авторитарному «буржуазному» индивидуализму, который он усматривал в Ленине и Плеханове в период внутрипартийного политического конфликта с ними, обусловила его взгляды на «полностью социалистическое воспитание», которое группа «Вперед» считала необходимым для пролетарской культуры².

¹ *David-Fox M. Revolution of the Mind: Higher Learning among the Bolsheviks, 1918–1929.* Ithaca, NY: Cornell University Press, 1997. P. 26–37.

² *Шеррер Ю.* Отношение между интеллигенцией и рабочими на примере партийных школ на Капри и в Болонье; *Свифт Э.* Рабочий театр и «пролетарская культура» в предреволюционной России, 1905–1917 // Рабочие и интеллигенция России в эпоху реформ и революции / сост. С.И. Потолов и др.. СПб.: Издательство «Русско-Балтийский Информационный центр БЛИЦ», 1997. С. 542–548, 174, 181.

Беглый взгляд в сторону немецкой социал-демократии вызывает в памяти странно знакомое, однако явно другое понимание социалистической культуры. Большинство немецких социал-демократов также не придавали решающего значения таким сферам, как образование, искусство и культурные ценности. Несмотря на прославление рабочих, образ социалистической культуры будущего едва ли ориентировался на жизнь и нравы реально существующих рабочих. Однако вместо занимавших крайние левые позиции большевиков в Германии культурными вопросами в наибольшей степени интересовалось реформистское и ревизионистское крыло партии. Оно могло заниматься организацией законного, уже сложившегося, по-настоящему массового культурного движения; социально-культурная рабочая среда полностью сформировалась в 1860–1870-е годы, к 1890-м годам распространение получили профсоюзы, а впоследствии значение этой среды в партии стало постепенно возрастать¹. Разумеется, отношения между рабочими и интеллигенцией играли определяющую роль в истории российского социал-демократического движения; также революционеры, по-видимому, принимали хотя бы некоторое участие в осуществляемых более широкими кругами интеллигенции просветительских проектах, ориентированных на рабочих и бедное городское население, таких как «народные дома» позднего имперского периода, позже возрожденные в форме советских дворцов культуры². Но если социал-демократы стремились построить альтернативную культуру будущего, то в случае большевиков и группы «Вперед» ее основой не служила уже существующая альтернативная культура, поскольку для этого нужно было развитое официальное культурное движение, как в Германии, — большевистская

¹ Вышесказанное почерпнуто прежде всего из работы: *Lidtke V.L.* The Alternative Culture: Socialist Labor in Imperial Germany. New York: Oxford University Press, 1985.

² *Lindenmeyr A.* Building a Civil Society One Brick at a Time: People's Houses and Worker Enlightenment in Late Imperial Russia // *Journal of Modern History*. Vol. 84. № 1. 2012. P. 1–39; spec.: P. 30–32.

альтернативная культура создавалась фактически с нуля горсткой теоретиков-эмигрантов.

Если до 1917 года участники группы «Вперед» настаивали, что культурные преобразования — предпосылка революции, после революции центральное руководство Пролеткульта громко заявляло, что распространение новой культуры необходимо для ее поддержания¹. Однако пример одного из руководителей Пролеткульта, а затем и участника дискуссии о культурной революции в период нэпа, Платона Керженцева, показывает, что и у пролетарского культурного максимализма была своя обратная сторона: в 1919 году он впервые заговорил об основах просвещения в области грамотности и начального образования, которые бы рассеяли «кошмар» невежества, а в 1921 году признал, что изменение культуры займет «долгие десятилетия». Но кроме того, он продолжил характерную для группы «Вперед» тенденцию унифицировать культурные изменения и, поскольку Пролеткульт явно занимался передовым пролетарским движением, направлять их «внутрь», а не только в самые невежественные массы. Поэтому новая культура должна была изменить «все области человеческой души — науку, искусство, быт». Мораль, дружеские отношения, социалистические «мысли, чувства, быт», «новый человек с его новыми чувствами и настроениями» — вокруг этих обширных категорий представители Пролеткульта строили гибкую риторику новой или пролетарской культуры². Намного позже, уже будучи председателем нового Всесоюзного комитета по делам искусств в середине — конце 1930-х годов, Керженцев инициировал кампанию против формализма в искусстве и сопряженное

¹ О связях между платформой группы «Вперед» и формулировкой миссии Пролеткульта см.: *Mally L. Culture of the Future: The Proletkult Movement in Revolutionary Russia*. Berkeley: University of California, 1990. Р. 43 и далее.

² *Керженцев П.М. Культура и советская власть*. М.: Издательство ЦИК, 1919. С. 3–20; *Керженцев П.М. К новой культуре*. Пг.: Госиздат, 1921. С. 5–6; От редакции // *Пролетарская культура*. № 3. 1918. С. 35–36; *Полянский В.* Под знамя «Пролеткульта» // *Пролетарская культура*. № 1. 1918. С. 3–4.

с репрессивными мерами идеологическое возрождение, которое Леонид Максименков назвал «сталинской культурной революцией»¹.

Однако культурная революция *avant la lettre*² времен Гражданской войны была намного шире и глубже деятельности Пролеткульта, поскольку впервые весь спектр культурных задач оказался подведомственным недавно созданному государству. Красная армия в те годы была основным полем культурно-просветительской работы, хотя сам факт, что последнее выражение употреблялось наряду с «политическим просвещением», показывает, что единство культурного и политического сохранялось при расширяющемся охвате обеих сфер. Развивающийся подход к культурному просвещению, активно вовлекавшему ресурсы Красной армии, тоже, как правило, сочетал в себе заботу об общем образовании и уважении к науке, политическом воспитании и революционном настрое, привитии эстетического чувства и повышении духовно-культурного уровня, а также о том, чтобы выковать сознательных защитников советского государства³. Партийное руководство объявило третий (культурный) фронт следующей приоритетной областью революционной деятельности лишь после победы Красной армии в 1920 году. Третий фронт, названный так потому, что он был призван дополнить победы на военном и политическом фронтах, строился параллельно с настоящей образовательной революцией, вследствие которой даже Народный комиссариат пищевой промышленности мог похвастаться собственным театральным кружком и вел политико-просветительскую работу⁴.

¹ Максименков Л. Сумбур вместо музыки: сталинская культурная революция 1936–1938. М.: Юридическая книга, 1997.

² До того, как появилось само это понятие (*Прим. пер.*).

³ Спутник политработника. М.: 17-ая государственная типография, 1919. С. 87–92, 99–100; Краткий очерк культурно-политической работы в Красной Армии за 1918 год. М.: без изд., 1919. С. 1–5, 8.

⁴ Десятый съезд Российской коммунистической партии. Стенографический отчет (8–16 марта 1921 г.). М.: Госиздат, 1921. С. 87.

1920–1922 годы можно считать периодом, когда наконец был запущен основной коммунистический просветительский проект. Едва ли это произошло потому, что все большевистские теоретики смогли прийти к согласию относительно того, чем является культура или чем она должна являться, — нет, им это явно не удавалось. Но в этот период партия существенно упрочила свою связь с революцией в целом, и масштабный, хотя и узнаваемый набор культурных целей и практик воспринимался именно как относящийся к третьему, то есть культурному, фронту. Учитывая довоенный опыт партийных школ на Капри и в Болонье, неудивительно, что враждебное самоуправство Пролеткульта послужило поводом к тому, чтобы не только осудить отклонение от основного курса, но и присвоить отдельные функции, составлявшие смысл существования вызвавшей недовольство организации.

В октябре 1920 года Политбюро сформулировало план действий, направленный на то, чтобы обеспечить подчинение Пролеткульта партии. Осенью и зимой 1920 года, когда как раз принимались меры против Пролеткульта, партия начала объединять существующие партийные и красноармейские школы и разрабатывать единую программу для партийных учреждений, выстроившихся в целостную иерархию¹. Основанный Пролеткультом университет примерно тогда же был поглощен Коммунистическим университетом имени Я.М. Свердлова — открытым в том же году альтернативным коммунистическим высшим учебным заведением с полноценным трехлетним обучением. Если говорить шире, новый акцент на третьем, культурном фронте свидетельствовал о более отчетливом осознании того, о чем долгое время говорили представители группы «Вперед» и Пролеткульта: что культура — главная область революционных перемен. Поэтому 1920–1922 годы, когда сдвиг в сторону «мирных» преобразований совпал с началом нэпа, были временем резкого возрастания значимости различных агитационных, культурных

¹ Протокол заседания Политического Бюро Ц.К. от 9 октября 1920 года // РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 113. Л. 1; а также: Д. 75. Л. 3.

и просветительских начинаний в революционной повестке. Эти начинания простирались от создания новой интеллигенции, развития партийного образования, разработки коммунистической этики или морали поисков науки нового типа и до революции в привычках, обычаях и быте.

Ленин сформулировал свою концепцию культурной революции главным образом в своих последних произведениях, в 1922 и 1923 годах, то есть уже *после* того, как третьему (культурному) фронту стало уделяться такое внимание. Сделанный Лениным акцент на усвоении привычек «цивилизованных» обществ, преодолении отсталости и «варварства» и овладении наукой и техникой — «культуре-как-цивилизации» и «культуре-как-знанию», которые разграничивает Клоден-Урондо, — оказался запоздалой *реакцией* на более конструктивистские и критические течения, уже сложившиеся в рамках большевистского культурного проекта¹. Но какой бы далекой ни казалась ленинская культурная революция от этих многочисленных сил, стремившихся — уже в то время и едва ли совершенно неожиданно в 1928 году — к разрушению буржуазной культуры путем агрессивного противостояния, между ними наблюдается и явное сходство. Оно состоит в том, что Урондо называет «культурой-как-идеологией», в формировании нового, идеологического сознания посредством культуры. Эта мысль явно прослеживается даже в известной резолюции Ленина о пролетарской культуре 1920 года, направленной против Пролеткульта: «*Не выдумка новой пролеткультуры, а развитие лучших образцов ... существующей культуры с точки зрения миросозерцания марксизма и условий жизни и борьбы пролетариата в эпоху его диктатуры*»². Это последнее существенное добавление делало ленинскую концепцию культурной революции открытой для манипуляции, использования в своих интересах и достраивания, которые последовали вскоре после того, как она была сформулирована.

¹ Claudin-Urondo C. Lénine et la révolution culturelle. P. 27–31.

² Ленин В.И. Полное собрание сочинений: В 55 т., 5-е изд. М.: Институт марксизма и ленинизма, 1958–1965. Т. 41. С. 462.

РАСШИРЕНИЕ ПОНЯТИЯ В 1920-Е ГОДЫ

Когда Ленин сформулировал свою концепцию культурной революции, одновременно с ней и в качестве ее продолжения начался спор о социалистическом быте, толчком к которому в высших партийных и пишущих кругах послужила работа Троцкого «Вопросы быта», написанная в 1923 году. В работе Троцкого подчеркивалась «необходимость усвоения советской идеологии» и распространения представлений о том, что советский социализм требует «нового быта»¹. Споры о новом быте еще усилили внимание к культурной революции. Например, значение, которое Ленин придавал организации труда, пунктуальности и аккуратности, должно было найти отражение в воспитании и преобразовании многих групп: эти аспекты были применимы к сельскому и городскому населению, представителям различных национальностей и рядовым членам партии. Подобные темы подхватывали и остальные писавшие о культурной революции. Цивилизаторская миссия «направленной вовне» культурной революции в данном случае составляла лишь небольшой фрагмент намного более обширного полотна, включавшего в себя полемику о новом образе жизни, ценностях и поведении нового человека. Троцкий в 1923 году затронул во многом те же самые вопросы, изображая «борьбу за культурность речи», трезвость, рабочую дисциплину и усвоение нового рационального образа жизни как первостепенные революционные задачи. Отрицание Троцким пролетарской культуры: «Наша эпоха не есть еще эпоха новой культуры, а только преддверие к ней», — хорошо известно. Однако Троцкий сформулировал этот тезис, порицая предполагаемую склонность сторонников пролетарской культуры разделять политические задачи и задачи культурно-бытовые, за счет чего

¹ *Kaier Ch., Naiman E.* Introduction // *Everyday Life in Early Soviet Russia: Taking the Revolution Inside* / ed. Ch. Kaier, E. Naiman. Bloomington: Indiana University Press, 2006. P. 1–22; здесь см.: P. 4.

представил свою точку зрения как более радикальную¹. Из сказанного можно сделать вывод, что Троцкий дополнил ленинскую концепцию культурной революции, указав на еще две смежные с ней области — быт и культурность.

Таким образом, за счет извне навязанной логики, что очень характерно, перед культурной революцией как социалистической цивилизаторской миссией в эпоху нэпа встала серьезная задача перековки быта — под которым в равной степени можно понимать и само существование, и ограниченную, монотонную рутину (как в последнем, неоконченном стихотворении Маяковского, написанным им в день самоубийства: «любовная лодка / разбилась о быт»). В 1924 году в ходе дискуссии на тему «искусство и быт» рапповский критик Григорий Лелевич упомянул ленинскую «грандиозную культурную революцию», призывая к «бытовой революции», которая бы перенесла героизм времен Гражданской войны на новый фронт. Подобно тому как на войне героизм коммунистов превозмогал все обыденное, будучи «сверхбытовым», «строительство новых форм жизни» должно было разрушить «уродливость старого быта»².

По мысли Кристины Кайер и Эрика Наймана, масштабным дискуссиям о быте, которым способствовал Троцкий, в начале 1920-х годов сопутствовала государственная пропагандистская кампания за новый быт, источником которой были в первую очередь «здравоохранительная и кооперативная сферы». Исследователи характеризуют эту кампанию как «в более конкретном и практическом плане отвечающую двойной цели модернизации и коллективизации» и ориентированную главным образом на женщин. Кайер и Найман увидели связь между малоизвестной кампанией 1920-х годов за новый быт и широко обсуждаемой кампанией 1930-х годов, нацеленной на «культурность»: «К середине 1930-х годов,

¹ Троцкий Л.Д. Вопросы быта // Сочинения. М.: Госиздат, 1927. Т. 21. С. 3–58, 462–470.

² Лелевич Г. Пролетарская литература и бытовая революция // Октябрь. 1925. № 1. С. 141–146.

как многократно показывали историки, концепция нового быта трансформировалась в аналогичную, но в корне отличающуюся концепцию культурности, или культурной жизни», — отличающуюся потому, что на тот момент ключевым для нее был фактор потребления¹. Однако они не упомянули третий элемент этой трехсторонней системы — связь между новым бытом и культурной революцией, вероятно, из-за устойчивой ассоциации последней с 1928–1931 годами. Попытки строительства нового быта стали предприниматься в начале 1920-х годов на «внутреннем» уровне и с большим энтузиазмом — например, в коммунистическом студенческом движении, комсомоле и городских коммунах, — централизованно вовлекая все слои населения в культурную революцию².

На эксперименты с организацией коллективной жизни и гражданской активность после 1917 года повлиял предшествующий опыт русского революционного движения и представления о Парижской коммуне. Но, как показал Энди Уиллимот, возникая в революционной России, эти разнообразные попытки вести революционный образ жизни быстро вошли в соприкосновение с последователями таких практик среди членов партии и комсомола, благодаря обильному чтению советской прессы ставших приверженцами коммуны и в особенности в эпоху индустриализации, инициативами, связанными с организацией производства. По меньшей мере один сторонник коммуны поднимал знамя культурной революции уже в 1919 году, но в 1920-х годах усилия этого движения были направлены прежде всего на то, что его молодые участники были в силах изменить, — на «новый быт». В городских коммунах эта категория охватывала гигиену, гендерные роли, вопросы коллективного жизнеустройства, но элемент общественной активности также играл в них ключевую роль. Неудивительно,

¹ Kaier Ch., Naiman E. Introduction. P. 4–5.

² См., например: *Ибеев-Шрайт*. Студенческие коммуны // Красный студент. 1924. № 8–9 (20–21). С. 44–45; Устав коммуны им. М.Н. Лядова (Коммунистический университет им. Я.М. Свердлова, 4 октября 1926 года) // ЦАОПИМ. Ф. 459. Оп. 1. Д. 27. Л. 87–95.

что коммунары-общественники с готовностью присоединялись к нападкам на беспартийных работников университетов и заводов. Явление городской коммуны демонстрирует, как даже локальные эксперименты по формированию социалистического быта шли рука об руку с характерными для культурной революции попытками преобразовать других. Расцвет городских коммун пришелся на «великий перелом», когда они включали в себя сообщество активистов и десятки тысяч участников¹.

В период между кампаниями 1920-х годов за новый быт и кампанией 1930-х за культурность оба понятия пересекались с развивающейся концепцией культурной революции, подчеркивая необходимость преобразования как революционеров, так и населения. Между ними существовала и другая общая точка — война против культурно-идеологической отсталости, которая должна была стать частью революционной дороги к социализму.

О культурности велось немало споров еще в 1920-е годы, задолго до того, как, благодаря кампании середины 1930-х годов, это понятие получило массовое распространение. Вначале оно воспринималось как неоднозначное, поскольку немедленно вызывало ассоциации с западными моделями поведения, о которых, пусть они и могли казаться цивилизованными русским и большевистским интеллигентам, нельзя было забывать, что они происходят из буржуазных капиталистических стран. Один вариант решения этой проблемы в 1920-е годы заключался в том, чтобы активно отрицать, что поведение, опознаваемое как буржуазное, несет в себе подлинную культурность; другой — в том, чтобы принять некоторые европейские нормы как универсальные стандарты культурности, но сочетать их с социалистическими или советскими политическими и общественными ценностями и убеждениями, приведя понятие культурности в должное соответствие с требованиями революции. (Этот последний вариант, объединяющий цивилизаторскую миссию и задачу советизации,

¹ *Willmot A. Living the Revolution: Urban Communes and Soviet Socialism, 1917–1932. Oxford: Oxford University Press, 2017. P. 1–48.*

в большей мере претворялся в действительность в 1930-е годы.) В качестве примера сторонников менее радикального решения в 1920-е годы, лучше всего раскрывающего двойственную тактику большевистской элиты в отношении культурных вопросов, можно привести Ольгу Давидовну Каменеву, сестру Троцкого и жену Каменева. Как председатель правления ВОКС она, интеллектуалка, получившая образование в Берне, в своей штаб-квартире в особняке Рябушинского — московском шедевре архитектуры модерна — составляла планы культурных турне для общения с представителями европейской интеллектуальной элиты. Однако среди написанных госпожой Каменевой немногочисленных книг можно обнаружить изданный в 1926 году труд о «культработе в рабочих столовых». В нем она связывала «создание нового быта» с усвоением культурности, которую определяла «не только как грамотность, „книжность“, но и многое другое — опрятность, чистоту, дисциплину, уважение, признание прав других, интерес к общественной жизни». Недостаток культурности и коллективного чувства, отмечала она, был налицо и среди многих членов партии — обстоятельство, сглаживанию которого должно было способствовать массовое открытие в будущем образцовых показательных столовых¹. Здесь примечательна искренняя обеспокоенность преодолением культурной отсталости членов партии, равно как и рабочих (то есть внутреннего и внешнего пролетариата). Но суть ее теории состояла в выстраивании связи между культурным и советским поведением за счет активной общественности — групп, вовлеченных в политическую и социальную деятельность².

¹ Каменева О.Д. К улучшению быта рабочих // В помощь культработе в рабочей столовой / под ред. О.Д. Каменевой. М.: Долой неграмотность, 1926. С. 3–6. О Каменевой в этом контексте см. подробнее в работе: *David-Fox M. Showcasing the Great Experiment: Cultural Diplomacy and Western Visitors to the Soviet Union, 1921–1941. New York: Oxford University Press, 2011. P. 35–37.*

² Сборник эссе под редакцией Ясухиро Мацуи (*Matsui Y. (ed.). Obshchestvennost' and Civic Agency in Late Imperial and Soviet Russia: Interface between State and Society. London: Palgrave Macmillan, 2015*) стал первым исследованием,

Введение ассоциирующегося с постепенным развитием, но в то же время подразумевающего радикальные преобразования понятия культурной революции, которое объединяло в себе задачи революции и просвещения, в общих чертах не являлось специфически большевистским изобретением. Сформулированное в 1920-е годы, оно легло в основу множества разнообразных долгосрочных культурных планов, вступающих в диалог и переплетающихся с планами партии под общим названием культурной революции. Среди этих планов были принадлежавшие в основном рабочей интеллигенции, беспартийным социальным теоретикам и представителям нерусской элиты. Если говорить о первом случае, еще в начале XX века представители рабочей интеллигенции «стали настаивать на праве самостоятельно контролировать собственную культурную жизнь»; настойчивое заявление, что лишь рабочие могут независимо строить свою культуру, уже в предвоенный период оказало влияние на программу группы «Вперед», дополнив ее. Последняя оставила после себя влиятельное наследие¹.

Если говорить о взаимодействии научных теорий с задачами большевиков в 1920-е годы, примеров наберется на небольшую библиотеку. Так, Дэниэл Бир проследил, как теории аномальных явлений в разных областях биомедицинских наук испытали на себе воздействие главной установки культурной революции 1920-х годов, с которой вступили в диалог, — «преодоление пережитков прошлого», которое и большевики, начиная с Ленина,

в котором это понятие и соответствующее явление анализируются на рубеже революционного перелома. О моей собственной интерпретации категории «общественность», зародившейся в 1920-е годы и подразумевающей обязательную активистскую деятельность, см. в моей рецензии на книгу Ирины Николаевны Ильиной «Общественные организации в России в 1920-е годы» (*Kritika*. Vol. 3. № 1. 2002. P. 173–181).

¹ См. об этом: *Steinberg M.D.* Proletarian Imagination: Self, Modernity, and the Sacred in Russia, 1910–1925. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2002; spec. P. 56–61, цитата: P. 57.

и теоретики изображали в терминах заражения и болезни¹. Если говорить о «пережитках» и национальном вопросе, Адиб Халид описал, как мусульманские модернисты, или джадидисты, чьи взгляды сформировались без участия марксизма и во взаимодействии с тюркской средой не в меньшей мере, чем с российской, в 1920-е годы, приехав в Советский Союз, «были захвачены идеей революционного преобразования общества, хотя революцию они понимали как национальную, а не как классовую. Они устремились в новые органы власти и направили свои силы на осуществление ряда проектов культурной трансформации», прежде всего на «создание осознанно модернистской и „революционной“ национальной культуры»².

Характерное для начала советской эпохи стремление искоренить отсталость и пережитки прошлого, которое могло привлечь представителей стольких движений «за преобразование человека и просвещение», способствовало тому, что многие, прибегая к термину «культурная революция», ассоциировали его не с культурной закваской в революционной среде эпохи нэпа, а с наиболее далекими от нее группами. Объяснялось это тем, что поднять культурный уровень означало сосредоточиться на самых отсталых группах населения, тех, кто дальше всех отстоял от авангарда; в высказываниях Ленина характерным образом перемежались отсылки к крестьянам, национальным меньшинствам и женщинам³. Но из этих классовых, национальных и гендерных измерений вытекал неотделимый от них парадокс, присущий просветительской культурной революции: поскольку наиболее нуждавшиеся в помощи с наибольшей очевидностью воспринимались как «другие», у представителей революцион-

¹ *Beer D.* Renovating Russia: The Human Sciences and the Fate of Liberal Modernity, 1880–1930. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2008. Spec. P. 171–173.

² *Khalid A.* Backwardness and the Quest for Civilization: Early Soviet Central Asia in Comparative Perspective // *Slavic Review*. Vol. 65. № 2. 2006. P. 239–240.

³ *Erler G., Kering C.D.* Kulturrevolution // *Sowjetsystem und demokratische Gesellschaft: Eine vergleichende Enzyklopädie*. Freiburg: Verlag Herder, 1969. S. 1160.

ного авангарда среди них не имелось почти никакой зацепки. Поэтому возрождение, как предполагалось, должно было прийти сверху и извне. Ключевая мысль, изначально звучавшая в ленинских формулировках, состояла в том, что культурная революция должна изживать отсталость и воспитывать, но одного этого оказалось недостаточно. Она должна была каким-то образом отражать новый революционный порядок. Какими-то средствами и с сохранением какого-то равновесия отсталые массы следовало подвергнуть одновременно культурной и революционной трансформации. В зависимости от обстоятельств цивилизаторские миссии (например, проводившаяся около 1927 года кампания, которая призывала среднеазиатских женщин перестать носить чадру) могли стать кровавыми и авторитарными, в то время как те, что считались революционными по сути (например, некоторые ранние эксперименты пролетарской культуры), могли спокойно задействовать народные массы и использовать вполне «традиционные» практики для внедрения культурных изменений. Судьба культурной революции балансировала между просвещением и принуждением (в используемых методах), между долговременными и немедленными переменами (предполагаемые сроки).

Сейчас, в отличие от 1978 года или даже периода десятилетней давности, появилась обширная и многообразная литература о представителях нерусских национальностей в Советском Союзе межвоенного времени. В «Империи „положительной деятельности“» Терри Мартина, самом объемном исследовании, посвященном национальной политике ранней советской эпохи, автор воспользовался, как он сам сказал, «условной» периодизацией, включающей в себя нэп, культурную революцию (1928–1932) и «великий перелом» (1933–1938), и отождествил культурную революцию исключительно с классовой борьбой и утопизмом, поместив ее в ограниченные хронологические рамки¹. Но авторы

¹ *Martin T.* The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923–1939. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2001. P. 25, 238.

наиболее значительных последовавших за книгой Мартина работ о нерусских национальностях сочли его попытку ограничить культурную революцию периодом социалистической агрессии ошибочной и искусственной¹. В контексте Средней Азии Халид говорит о намного более обширном советском проекте культурной революции по сравнению с той «очень локальной кампанией, в результате которой партия взяла под контроль культурные и научные учреждения в период с 1929 по 1932 год». Этот более широкий культурный процесс подразумевал преобразование «национальной культурной формы» и введение множества специфически европейских норм «цивилизованного» поведения с помощью подвижной и принудительной тактики, присущей партийному государству с его представлениями о гибкости человеческой натуры. «Не учитывая более широкого понимания этого термина, — с уверенностью говорит он о культурной революции, — невозможно осмыслить пути развития ранней советской эпохи»².

Соглашаясь с необходимостью понимать процесс культурной революции более широко в контексте Южного Кавказа, Йорг Баберовски признает: «Культурная революция представляла собой не только поход против классово чуждых элементов и буржуазных специалистов. Она была нацелена на цивилизование и перевоспитание народа». Культурная революция сочетала в себе цивилизаторские задачи и классовую борьбу. Что существенно, в силу того, что определенная национальная среда, по всей видимости, требовала более глубокой культурной трансформации, она подвергалась испытанию по переходу от

¹ Как исследователи в целом, несмотря на различия во мнениях, не приняли «великое отступление» Тимашева как синоним для середины и конца 1930-х годов, поскольку этот термин упрощал радикализацию сталинской политики. См.: *Hoffmann D.L.* Was There a 'Great Retreat' from Soviet Socialism? Stalinist Culture Reconsidered // *Kritika*. Vol. 5. № 4. 2004. P. 651–674; см. также обсуждение концепций Тимашева в последующих статьях — материалах конференции «Сталинизм и Великое отступление».

² *Khalid A.* Backwardness and the Quest for Civilization. P. 238.

просветительской деятельности к принуждению. Баберовски называет мусульманскую Среднюю Азию и Кавказ «экспериментальным полигоном» цивилизаторских программ, которые проверялись там прежде других регионов империи, что меняет традиционные представления о прорыве 1928–1929 годов. Например, в Азербайджане принудительные культурно-революционные кампании начались в конце 1927 года, а в 1928–1929 годах уже «достигли своей первой кульминации»¹. Первые проявления культурного радикализма на периферии СССР можно отнести к 1927 году, когда началась кампания против чадры. В своей работе, посвященной этнографам и многонациональному советскому государству, Франсин Хирш предпочла не относить весь период «великого перелома» с его многочисленными вехами к категории культурной революции. Но Хирш также расширила общепринятое понимание культурной революции в период волнений конца 1920-х и начала 1930-х годов, утверждая, что даже во время первой пятилетки этнографы продолжали использовать этот термин в его цивилизаторском и просветительском значении. Более того, как показала Хирш, этнографические кампании в поддержку культурной революции, также продолжавшиеся значительно позже 1931–1932 годов, распространились и на более «продвинутые» регионы России и других славянских стран, где они были сопряжены с попытками искоренить капиталистические пережитки, такие как национальный шовинизм, и оценить степень советизации убеждений и быта².

Как видно из этих примеров, применение концепции культурной революции к национальному вопросу в начале советской эпохи продолжало с поразительной резкостью выявлять

¹ *Баберовски Й.* Враг есть везде. Сталинизм на Кавказе / Пер. с нем. В.Т. Алтухова. М.: РОССПЭН, 2010. С. 532.

² *Hirsch F.* Empire of Nations: Ethnographic Knowledge and the Making of the Soviet Union. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2005. P. 138, 138 n. 170, 262–263.

двойственность, присутствующую в заложенном Лениным плане развития: партия-Прометей призвана была принести с неба не просто огонь русской или европейской дореволюционной культуры, но непременно в какой-то степени огонь социалистической, советской, марксистской или классовой культуры. На самом деле, если говорить о культурной революции в национальной среде, к середине 1920-х годов эти два элемента уже в значительной мере переплелись. Так, одна из статей, вышедших в 1925 году в главном теоретическом партийном журнале, показывает, насколько акцент, сделанный Лениным на постепенном поднятии уровня образования, техники и культуры, мог представляться удобным для обоснования социалистического перевоспитания «отсталых» национальностей в середине 1920-х годов. В статье под названием «На путях культурной революции» утверждение Ленина, что при социализме вслед за политической революцией может следовать повышение уровня культуры, предстает как предписание «обширной культурной работы среди культурно отсталых народов СССР». На территориях тех, кто держится самых «диких» идеологических и религиозных обычаев, заявлял автор, прибегая к потенциально агрессивной сельскохозяйственной метафоре, «необходимо вспахать местную почву трактором культуры». В значительной степени здесь имела место и застарелая революционная враждебность по отношению к неполитическому культу́ртрегерству, к просвещению ради самого просвещения: культурная революция среди нерусских национальностей означала повышение культурного уровня не просто масс, но прежде всего наиболее прогрессивных элементов (батраков), чтобы выковать «сознание революционного, социалистически мыслящего пролетариата»¹.

Положительные элементы культурной революции, которые часто выводят из ленинского понимания этой концепции: просвещение народа за счет грамотности и гигиены и привитие

¹ *Архинчеев И.* На путях культурной революции // *Большевик*. 1925. № 17–18. С. 60–74.

качеств современного цивилизованного поведения, таких как пунктуальность, — применялись одновременно среди неразвитых крестьян и отсталых национальностей. Это видно из работы Надежды Крупской «На путях культурной революции». Поскольку к 1920 году эффективность работы Отдела агитации и пропаганды (Агитпропа) значительно снизилась, возглавляемый Крупской Главный политико-просветительский комитет (Главполитпросвет) взял на себя культурно-просветительскую работу в деревнях, которой и занимался на протяжении большей части десятилетия, и в книге приводились письма, полученные ведомством от крестьян. Начиналась книга Крупской традиционно: «культурные меры» были необходимы для повышения уровня грамотности в сельской местности, а «производственная пропаганда» служила предпосылкой индустриализации. Но, перейдя к самым страшным картинам отсталости — грязи и заболеваниям, — она заявила о «93 процентах зараженных» «бытовым сифилисом» в Бурят-Монголии. Это заболевание, скорее вызванное отсутствием элементарной гигиены, чем передающееся половым путем, и «часто охватывавшее целые деревни», она называла «результатом нашей некультурности» и «отсутствия самых элементарных знаний о человеческом теле». Прежде чем начнется новая война между буржуазными государствами, писала вдова Ленина, наша задача — «цивилизоваться». Она повторяла это слово вновь и вновь¹. Но жалобы Крупской на опасное невежество сельского и общинного населения указывали на то, что осуществление культурной революции должно быть именно краткосрочным процессом. Опасность заражения бытовым

¹ *Крупская Н.К.* На путях культурной революции. М.: Долой неграмотность, 1927. С. 8–16. О взгляде на невенерический сифилис в русской медицинской и интеллигентской культуре см.: *Engelstein L.* The Keys to Happiness: Sex and the Search for Modernity in Fin-de-Siècle Russia. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1992. Р. 165–211; о научном и венерологическом интересе к Бурят-Монголии в то время см.: *Gross Solomon S.* The Soviet-German Syphilis Expedition to Buriat Mongolia, 1928: Scientific Research on National Minorities // *Slavic Review*. Vol. 52. № 2. 1993. Р. 204–232.

сифилисом, который можно было вылечить жизнью в новых, чистых условиях, свидетельствовала о насущной необходимости изменить быт.

Таким образом, внешние проявления культурной революции составляли неотъемлемую часть более широкого понимания преобразований, охватывавших быт, поведение и самого нового советского человека. В этом плане культурная революция представляла собой основной канал, посредством которого представления интеллигенции о том, каким должно быть благопристойное поведение отсталых других, проникали в большевистскую революционную идеологию. Подобное образцовое поведение являлось культурным аналогом политической сознательности. По иронии судьбы, оно также отражало некоторые классовые пристрастия диктаторов пролетариата. Джоан Нойбергер, исследуя культурную категорию благопристойного поведения в довоенный период, показывает, как либералы-реформисты, участники сборника «Вехи» и социал-демократы «в равной степени полагали, что их собственные политические и культурные коды должны служить моделью для ущербных низших классов... Культурные проекты нового режима были сопряжены с определенной системой ценностей и воспитательными методами, как и культуризм дореволюционной интеллигенции и благопристойных средних классов». В конкретных начинаниях, например Обществе борьбы с алкоголизмом, основанном в 1928 году партийными лидерами, в том числе Бухариным, Лариным, Семашко и Подвойским, нетрудно было уловить «прикус дореволюционного буржуазного реформизма»¹. Даже после того, как принудительные, негативные и направленные против представителей интеллигенции аспекты культурной революции

¹ *Neuberger J. Hooliganism: Crime, Culture, and Power in St. Petersburg, 1900–1914. Berkeley: University of California Press, 1993. P. 254, 280; Transchel K. Under the Influence: Drinking, Temperance, and Cultural Revolution in Russia, 1900–1932. PhD diss., University of North Carolina at Chapel Hill, 1996. P. 251 и далее.*

вдруг проявились более отчетливо после 1928 года, направления, связанные с цивилизаторской миссией и бытом, сохранялись.

Важным вектором переосмысления ленинской концепции культурной революции в середине 1920-х годов можно назвать более волюнтаристскую интерпретацию революционных задач. Это особенно заметно в работах философа Ивана Луппола (последователя А.М. Деборина), в 1925 году писавшего, что сопротивление культурной революции еще более жестоко, чем сопротивление революции политической или социальной, поскольку культурная революция предполагает перевоспитание масс. Разрушительная сторона волюнтаризма Луппола с наибольшей очевидностью проявилась в вопросе, который его наиболее непосредственно касался, — в понимании взаимоотношений культурной революции и буржуазных специалистов. Сделав условный реверанс в сторону общепринятой в эпоху нэпа аксиомы, что культуру нельзя переделать революционным насилием, диалектик продолжал, заявляя, что «необходимо взять всю науку, технику, все знание и искусство», которые сейчас находятся «в руках специалистов»¹. Более того, если мы говорим о культурной революции в контексте перевоспитания, мы видим, что это понятие шло намного дальше моделей поведения и ценностей, претендуя на переделку сознания, психики и души. Широко известная резолюция Политбюро «О политике партии в области художественной литературы» (18 июня 1925 г.), составленная Бухариным, начиналась с материалистического штампа: объективные экономические условия породили культурные запросы. Однако сразу же следовал переход к революции как «перевороту в умах», который следовало рассматривать как предпосылку строительства коммунистического общества².

¹ *Луппол И.* Проблема культуры в постановке Ленина // Печать и революция. 1925. № 5–6. С. 1–20, цитата со с. 18; *Луппол И.* Проблема культуры... Окончание // Печать и революция. 1925. № 7. С. 14–28, цитата со с. 26.

² Постановление Политбюро ЦК РКП(б) «О политике партии в области художественной литературы», 18 июня 1925 г. // «Счастье литературы»:

Большевики были не просто реформаторами-культуралистами; революция не была званым ужином.

Использование авторитета Ленина разными группами после его смерти в 1924 году также привело к рано сложившемуся в левом большевистском и пролетарском культурном лагере жесткому, намного более негативному сценарию культурной революции. Ярким примером тому может служить недвусмысленное заявление, сделанное в 1925 году Леопольдом Авербахом и предвосхищающее знаменитую формулировку Сталина периода «великого перелома». В 1928 году и позже вождь настойчиво повторял, что строительство социализма будет сопровождаться усилением классовой борьбы. Авербах опередил Сталина на несколько лет, и высказал он эту мысль в разгар нэпа: «Культурная революция есть обострение классовой борьбы в области идеологии». Через год в другой своей статье этот молодой воинственный полемист уверял, что проблема «пролеткультуры» была тождественна ленинскому пониманию культурной революции. Но она подразумевала не только обучение чтению и письму — культурная революция включала в себя «боевую переработку» идеологической надстройки путем классовой борьбы, итогом которой должна была стать «культурная гегемония пролетариата»¹.

Часто считается, что в этот период как большевики, так и интеллигенты в своих теориях отталкивались от высокой культуры. Но, как мы видели, в 1920-е годы концепция культурной революции также составляла часть активно развивающихся представлений о культурном и политическом. Прекрасной иллюстрацией

государство и писатели 1925–1938 / сост. Д.А. Бабиченко. М.: РОССПЭН, 1997. С. 17.

¹ *Авербах Л.* О политике партии в области художественной литературы // Октябрь. 1925. № 9. С. 126–127; *Авербах Л.* О пролетарской культуре, «напостовской путанице» и большевистских аксиомах // Большевик. 1926. № 6. С. 101–114. Керженцев, в свою очередь, открыто отстаивал культурную революцию как «борьбу против буржуазной культуры и ее пережитков» и «создание пролетарской культуры»: *Керженцев П.* Об ошибке тт. Троцкого, Воронского и др. // Октябрь. 1925. № 1. С. 115–116.

здесь снова могут послужить работы Луппола о ленинской идее культурной революции, поскольку он целенаправленно стремился расширить традиционное определение, которое называл «духовной» культурой (включающей в себя науку, искусство и литературу). Ссылаясь опять же на Ленина, он настаивал, что понятие культуры должно включать в себя традиции, привычки, идеи, обычаи и предрассудки. Бухарин, включившись в спор о нравственности молодежи, пришел к тем же выводам, но основанным не на явном расширении категории культуры, а на связи культурной революции с новым бытом и новым человеком: «Что означает культурная революция? Она означает переворот в свойствах людей, в их повседневных привычках, их чувствах и желаниях, их образе жизни, их быте — такой переворот, который сделает их новыми людьми»¹. Подобным же образом ведущий марксистский философ 1920-х годов Абрам Деборин пришел к выводу, что «культура в широком смысле слова» включает в себя и основу общества, и надстройку в той мере, в какой они подразумевают «сознательную обработку природы». Переделка природы неразрывно связана с переделкой «самого человека, его мозга, его умственных и моральных сил и способностей». Поэтому происходившая культурная революция «в широком смысле слова» означала изменение «человеческой психики»².

¹ Бухарин Н. За упорядочение быта молодежи // Комсомольский быт. М.: Молодая гвардия, 1927. С. 99.

² Луппол И. Проблема культуры. № 5–6. С. 3; Деборин А. Марксизм и культура // Революция и культура. 1927. № 1. С. 8–9. См. такой же ход мыслей: От редакции // Революция и культура. С. 5; Пашуканис Е. Заметки о культуре и политике // Революция и культура. 1927. № 2. С. 13–17. Осмысление культуры в середине 1920-х годов привело еще к двум следствиям: насаждению культуры как разновидности классовой идеологии в богдановском Пролеткульте и расширению сферы применения этнографических представлений о культуре, изначально употребляемых по отношению к крестьянам и некоторым народностям. О постепенном распространении антропологической концепции культуры в России после рубежа веков см.: Neuberger J. Hooliganism. P. 10–11; о Богданове и Пролеткульте см.: Mally L. Culture of the Future; spec.: P. 8–9, 29–30.

Мы прошли полный круг: в высшей степени объективистская установка на повышение уровня цивилизации могла за счет проникновения культуры в быт нового человека превратиться в то, что Сталин позже назвал инженерией человеческих душ.

ВНУТРЕННЯЯ КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ НЭПА

По мере того как ленинская идея культурной революции подвергалась переосмыслению в середине 1920-х годов, на третьем фронте, в революционном и внутривластном контексте, велась активная работа над получившими первоочередную значимость разнообразными культурными задачами. На 1920-е годы пришлась одна из крупнейших в истории России дискуссий о преобразовании человека. Но велась она главным образом в среде самой партии большевиков, в накаленной революционной атмосфере и с позиций силового воздействия государственной партии. Такое явно неравномерное развитие большевистского культурного проекта подготовило почву для радикализации концепции культурной революции к концу этого десятилетия.

Первую группу причин этой внутренней культурной революции можно назвать структурной и институциональной — они связаны с природой формирующегося партийного государства и его культурной политикой. Обособленность различных областей, четкое деление на сектора и набор разграничительных критериев — характерные черты культурной системы 1920-х годов. Отчасти это разделение вытекало из сложного, развивающегося соотношения партийного и государственного — соотношения, лежавшего в основе нового политического устройства и культурной политики. Бюрократическая какофония возникала из-за пересечения сфер деятельности, коммунистических представительств в государственных учреждениях и того обстоятельства, что сильные «левые» и «партийные» тенденции, преобладавшие в Главном управлении по делам литературы и издательств

(Главлите) и Агитпропе, становились частью бытовой формулировки официальной культурной политики. Просветительская деятельность, все виды общественной работы, политическое и культурное воспитание, образовательные инициативы, революционное преобразование повседневной жизни — всем этим партийные работники, представители партийной среды или партийных учреждений занимались с возрастающим энтузиазмом и располагали для этого все большими возможностями, по мере того как ведущая партия делала хотя бы шаг по направлению к обществу, которое пыталась построить¹.

В то же время дуализм партийного и государственного в 1920-е годы также накладывал существенные ограничения на революционную миссию за пределами партийных кругов, создавая для нее преграды и сдерживая ее. Некоторые из этих помех были прямым следствием политики нэпа в 1921 году: структура учреждений и принципы распределения сфер деятельности между ними составляли часть нэпа, экономическая теория которого сама по себе строилась на представлении о различных областях (государственном, сельском и кооперативном экономических секторах). На обширном поле культурной политики господствовали препятствия, разделение и раздробленность. Можно было указать, например, на политические различия, проводимые между социальными и естественными науками, преподаванием и зрелой исследовательской деятельностью, массовыми и малотиражными изданиями, целевыми и защищенными зонами, учреждениями и рядовыми индивидами, а также редкими знаменитостями². В то же время в области художественной

¹ О культурной политике см.: *Finkel S.* On the Ideological Front: The Russian Intelligentsia and the Making of the Soviet Public Sphere. New Haven, CT: Yale University Press, 2007; *Fitzpatrick Sh.* The Soft Line on Culture and Its Enemies // *Fitzpatrick Sh.* The Cultural Front: Power and Culture in Revolutionary Russia. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1992. P. 91–114.

² См. значимую и часто упускаемую из виду работу на последнюю из перечисленных тем: *Todes D.* Pavlov and the Bolsheviks // *History and Philosophy of the Life Sciences*. Vol. 17. № 3. 1995. P. 379–418.

культуры отчасти можно было говорить о прекращении поисков культурного единства. Кларк даже говорит о «растущей изоляции» высокой, массовой и пролетарской культуры, поглотившей мечту эпохи военного коммунизма о единой революционной культуре, вместо которой процветали специализированные области и «поиск границ»¹.

Вторая группа объяснений внутренней направленности культурных проектов периода нэпа связана с идеологией, дискурсом и политической культурой. Вынужденное отступление, которое представлял собой нэп, в сочетании с идеализацией героического прошлого военного коммунизма привели к тому, что бытовые и культурные задачи в коммунистическом лагере превращались в попытки построить квадратуру круга, придать отступлению революционный характер. Подобная ситуация также усугубляла кризис революционной чистоты, проявлявшийся в стремлении искоренить чуждые элементы путем новых партийных чисток, в борьбе с «деклассированием» пролетариата, в столкновении с «новой буржуазией» в лице нэпманов и кулаков, в медицинской риторике заразы, которую приносят разного рода отклонения в политике и в быту. Под внешним позитивистским, материалистским слоем марксистско-ленинской идеологии клочкотали угрожающие, опасные, зловещие образы, над которыми вставал призрак вызываемого ими распада². Если меч пролетарского возмездия удерживался от удара по политическим и социальным внешним врагам, то культурным скальпелем можно было делать надрезы, устраняя внутренних нарушителей.

Все цивилизаторские, просветительские инициативы и миссия советизации, связанные с концепцией культурной революции, переплетались с этими ускоренно развивающимися

¹ *Clark C.* Petersburg. P. 143–147.

² *Naiman E.* Sex in Public: The Incarnation of Early Soviet Ideology. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1997; *Pinnow K.* Lost to the Collective: Suicide and the Promise of Soviet Socialism, 1921–1929. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2010.

внутрипартийными культурными задачами. Не только сама расширяющаяся партия постоянно привлекала отсталых и непросвещенных, но к тому же всегда существовала более передовая, более революционная планка, к которой следовало стремиться, строя новый быт и новую личность. Интересная и примечательная особенность эпохи нэпа заключалась в том, что внутрипартийный прогресс должен был находить отражение в следовании коммунистической этике и новому быту. В 1927 году один комсомольский активист написал письмо-манифест о новом быте, в котором осудил рукопожатие как «антисанитарный» разносчик заразы, «преступную выдумку попов и буржуев», танцы, «дрыганье ногами», были опасны тем, что от них поднималась пыль и они представляли собой мелкобуржуазное, мещанское отступление от масс. Эссе задумывалось как сатира, но, судя по реакции читателей, многие не уловили иронии и в своих письмах выражали солидарность. В середине 1920-х годов в нескольких комсомольских организациях были утверждены «нормы поведения», «этические правила» или, в случае одного сельского провинциального комитета, «принципы морально-сексуального воспитания... или нравственности переходного периода»¹.

Представители партийного студенчества и комсомольской молодежи спорили о новом устройстве жизни и вопросах поведения с жаром, приводившим партийное руководство и носителей официальной морали в такое замешательство, что с какого-то момента излишнее внимание к проблемам личной жизни само по себе стало расцениваться как признак упадочничества. Один активист из Коммунистического университета им. Я.М. Свердлова воспроизвел эту точку зрения, когда заявил, что в нравственном плане пролетарского студента должна заботить преданность общественным интересам и революционным идеалам, а не

¹ Кузьмин Вл. Письмо о новом быте // Комсомольский быт. М.: Молодая гвардия, 1927. С. 319–321; *Ипполит*. Комсомольский быт как он есть. (Обзор литературы) // Печать и революция. 1927. № 4. С. 122; Политическое воспитание Комсомола. М.: Госиздат, 1925. С. 18.

сексуальный вопрос или личная жизнь¹. Тем не менее разработка коммунистической этики после 1917 года, так тесно связанной с новым бытом, изначально была встроена в систему властных отношений партии. Главным официальным идеологом 1920-х годов, занимавшимся вопросами морали, был Емельян Ярославский, которому это место досталось благодаря его работе во внутрипартийной полиции — Центральной контрольной комиссии (ЦКК), в круг повседневных обязанностей которой с момента ее основания в 1920 году входило выискивание не только политических отклонений, но и расхождений с коммунистическим образом жизни и нарушений партийной этики². Поэтому этика и быт составляли часть формирующейся партийной дисциплины. С точки зрения коммунистических властно-политических практик политический смысл обрели прежде нейтральные или частные сферы жизни; эта расширение области политического перекликалось с расширением понятия культуры.

А.А. Сольц, один из членов правления ЦКК, отметил на XI съезде партии в 1922 году, что подобное систематическое внимание к морали и быту является новым для партийной борьбы. Но оно теперь необходимо, поскольку «масса небольшевистских элементов» просочилась в благополучную правящую партию, а расставленные нэпом ловушки создали ситуацию, когда «мы не видим врага в лицо»³. Осуществление большевистских культурных задач также подразумевало чистку внутреннего врага. Попытка создать Нового Человека шла рука об руку с «борьбой против остатков Старого Человека внутри государства»⁴.

¹ Ф.В. Вопросы воспитательной работы // Свердловец. 1923. № 5–6. С. 42.

² См. в особенности: Макаревич М.А. (сост.). Партийная этика: документы и материалы дискуссии 20-х годов. М.: Политиздат, 1989.

³ Там же. С. 144.

⁴ *Fritzsche P., Hellbeck J.* The New Man in Stalinist Russia and Nazi Germany // *Beyond Totalitarianism: Stalinism and Nazism Compared* / ed. M. Geyer, Sh. Fitzpatrick. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. P. 302–344, цитата: P. 322. Можно провести приблизительную аналогию с характерной для нацистской революции попыткой искоренить в стране «еврейские»

КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И «ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ», 1928–1929

Наконец, мы можем наблюдать, как идея культурной революции была заново сформулирована и приведена в действие в 1928 году, ознаменовав начало серьезного сдвига в двойственных отношениях между партийным и государственным и попытку преодолеть сохранявшиеся до того времени границы. Пока шло «Шахтинское дело», в конце мая — начале июня 1928 года для обсуждения задач культурного строительства было созвано крупнейшее совещание Агитпропа. Согласно имевшему большое значение заявлению А.И. Криницкого, культурная революция теперь должна была отражать буржуазные атаки на культурном фронте, начиная с искусства и заканчивая бытом. Классово нейтральному стремлению повысить уровень культуры — сопряженному, как показала Фицпатрик, с нападками на Народный комиссариат просвещения (Наркомпрос), — теперь противостояла «задача строительства пролетарской культуры». Существовавшие в 1920-е годы разнообразные точки зрения относительно того, до какой степени следует «критически перерабатывать» культуру прошлого, бесцеремонно поглотила официально одобренная позиция, которую раньше среди представителей пролетарского культурного лагеря озвучивали приверженцы крайних взглядов. Преобладала «негативная» составляющая, борьба с буржуазной культурой и ее носителями. Нетрудно проследить быстрое распространение этого знакового агитпроповского текста в очень склонной к обрядовости политической культуре¹.

и «неарийские» ценности, начало которой положило определение духовного, равно как и биологического, облика врага. См.: *Mosse G.L. Nazi Culture: Intellectual, Cultural, and Social Life in the Third Reich*. Madison: University of Wisconsin Press, 1966; и в особенности: *Rupnow D. Racializing Historiography: Anti-Jewish Scholarship in the Third Reich // Patterns of Prejudice*. 2008. Vol. 42. № 1. P. 27–59.

¹ О совещании Агитпропа можно прочесть у Фицпатрик: *Fitzpatrick Sh. Cultural Revolution as Class War*. P. 10; *Cultural Revolution in Russia*. P. 41–42.

Однако антибуржуазная культурная революция, о которой говорили агитпроповцы, была направлена против суррогатной, советской культурной буржуазии (беспартийной интеллигенции); ее главная задача состояла не в том, чтобы сражаться против универсальной буржуазной культуры, ставя под вопрос еще сохранявшуюся установку на «цивилизованное» поведение. Немедленные изменения касались культурной политики периода нэпа, подвергшейся серьезному пересмотру. Эти изменения включали в себя сдвиг в соотношении партийного и государственного: представители партии занимали все более влиятельные места в культурном бюрократическом аппарате и активно продвигали свою программу. Тот же Агитпроп, если брать только один пример, был напрямую связан с предъявленными Наркомпросу обвинениями в «правизне» и устаревшем культуртрегерстве; Луначарского вскоре сменил Андрей Бубнов, а государственные учреждения подверглись чистке и претерпевали кризис. Кроме того, внезапно оказались под ударом до тех пор сохранявшиеся границы и особые зоны. Ограничусь опять же единственным примером: высказывалось правдоподобное предположение, что Объединенное государственное политическое управление (ОГПУ) сфабриковало «Академическое дело», наряду с другими показательными процессами: «Делом Промпартии», по которому привлекались инженеры, «Делом Трудовой крестьянской партии», в котором фигурировали агрономы, — чтобы нанести удар по тем группам беспартийной интеллигенции, которые раньше пользовались привилегией защищенности¹. Революционеры от культуры не только штурмовали прежде не переступавшиеся границы; на повестке дня вновь оказалось немедленное строительство социализма, но

О влиянии, которое оказали звучавшие на нем формулировки, см.: *Малецкий А.* Проблема культурной революции в программе Коминтерна // *Революция и культура.* 1928. № 19, С. 9.

¹ *Перченко Ф.Ф.* Академия наук на «великом переломе» // *Звенья: исторический альманах.* № 1. М.: Феникс, 1990. С. 232–233.

теперь ему сопутствовал двойной импульс индустриализации и коллективизации.

Стоявшие перед культурной революцией цивилизаторские задачи необязательно исходили из этого нового, подразумевающего принуждение и классовую вражду мотива, который нам слишком хорошо известен. «Как нам понимать культурную революцию?» — спрашивалось в одном учебном пособии для профсоюзов 1929 года. Эта книга, подражая агитпроповской риторике и провозглашая усиление классовой борьбы, отражала три направления культурной революции: преобразование масс, перековку кадров и самокритику. Перековка кадров, в первую очередь студентов младших курсов, которым было адресовано пособие, подразумевала приобретение ими знаний, культурности и управленческих навыков. Перевоспитание крестьян должно было включать в себя обучение женщин правилам гигиены и шитью, а также антирелигиозную кампанию. А трансформация масс касалась не только рабочих и крестьян, но прежде всего лично каждого. Динамика внутреннего и внешнего с еще большей резкостью проявилась в характерном для этого периода поиске кадров. Подобным же образом в брошюре о театре, изданной Пролеткультом в 1929 году, говорилось о «практических задачах культурной революции»: трудовой дисциплине, отношении ко времени, моральных нормах и новых способах регулирования быта. В 1930 году, на пике «великого перелома», в свете «борьбы» за всеобщее начальное образование массовая грамотность все еще могла изображаться как основная задача культурной революции¹.

Как и прежде, культурная революция оставалась емкой, гибкой категорией, в которую каждый мог вкладывать свои

¹ Культурная революция и культработа союзов: по программе районной (уездной) профшколы. М.: Издательство МГСПС «Труд и книга», 1929. С. 5–8; Культурная революция и задачи театра Пролеткульта. М.: Издания Пролеткульта, 1929. С. 5–7, 9; Вишневский А. О культурной революции // Революция и культура. 1930. № 13–14. С. 11–12.

смысловые нюансы, в которой можно было усмотреть связь с какими угодно современными задачами (об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что категория культурной революции, как уже упоминалось, использовалась в рамках кампании за самокритику 1928–1929 годов) и которая составляла часть намного более обширного семантического поля, связанного с преобразованиями. Однако последствия этой новой риторики, в которой отчетливо слышался призыв к принуждению, разрушению и резкой критике — изначально сформулированный в борьбе с буржуазной интеллигенцией, — оказались роковыми, поскольку она обусловила подход к массам и к отсталым объектам культурной революции. Нигде это не проявляется так ярко, как в литературе, посвященной искоренению отсталости среди различных народов. В статьях о Средней Азии, например, культурная революция по-прежнему изображалась как усвоение основ грамотности и образования, искоренение «предрассудков и старых привычек», но теперь усвоение новой культуры было неотделимо от «идеологии борьбы рабочего класса». Преодоление «диких идеологических, психологических и религиозных... предрассудков» теперь требовало «мощной атаки»¹. Юрий Слѣзкин в своей книге о малых народах Крайнего Севера, приводя страшные и одновременно комичные подробности, анализирует, как программы принудительных преобразований, сформулированные в центре, механически переносились в условия наиболее отдаленной и отсталой периферии. Однако, заключает он, новым в эпоху «великого перелома» было не стремление полностью вытеснить «устаревшие» бытовые практики, а «темпер перемены и готовность применять силу». К тому же основные стратегии культурной революции в этой области продолжали применяться

¹ *Письменный С.* О некоторых основных моментах культурной революции в Нацреспубликах Средней Азии // Революция и культура. 1928. № 10. С. 11–20; *Архинчеев И.* На путях культурной революции // Большевик. 1928. № 11. С. 58–70.

в 1931–1932 годах, когда центральное партийное руководство перешло к упрочению стабильности¹.

Двигаясь в направлении истории понятия культурной революции и анализа большевистского культурного проекта, я обозначил четыре варианта переплетения революционного преобразования себя и трансформации других. Первый можно назвать *частичным совпадением*: члены партии сами отдалялись от отсталых масс, и все крупные культурные миссии можно было рассматривать с партийных, передовых позиций. Второй можно обозначить как *взаимопроникновение*: те или иные подходы без изменений переносились с себя на других, с центра на периферию, с элиты на массы. Третий вариант назовем *неоднородным развитием*: задачи, относившиеся к разряду культурных, наиболее осознанно выполнялись и менялись внутри революционного лагеря, что отражалось на попытках перенести их на другую почву; динамика развития этого варианта особенно ярко проявилась в момент внезапного преодоления границ в 1928 году. Последний вариант можно назвать *экзорцизмом*: бдительность по отношению к внешним врагам и различным отклонениям была связана с борьбой против внутреннего врага.

Прослеживаемая здесь в контексте культурной революции связь между внутренними и внешними преобразованиями важна для советской истории и в более широком плане. Причин тому несколько: элита и власти играли чрезмерную роль в разработке преобразовательных проектов; всеобъемлющие требования предполагали множество различных изменений, которые должны были происходить одновременно; наконец, разница между элитой и отсталым населением может казаться такой огромной и в то же время, принимая во внимание массовость «партии нового типа», такой незначительной. Понятие внутренней колонизации заставляет задуматься, поскольку наводит на мысли о чрезвычайной характерности

¹ *Slezkine Y. Arctic Mirrors: Russia and the Small Peoples of the North. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1994. P. 198–204, 219–246.*

этого комплекса для советских преобразований, шла ли речь о преобразовании территорий, культуры или души. Например, Ян Гросс, обсуждая советизацию бывших польских территорий в 1939–1941 годах, отметил, что «стратегии и методы советских оккупантов не отличались от тех, которые они привыкли применять в своей стране (хотя для завоевателей это и нетипично)»¹. Намного реже, чем о сопровождавших советизацию карательных мерах, говорят об официальной советской цивилизаторской миссии на новых территориях. Как советские захватчики, так и советская пресса говорили о необходимости избавления завоеванных территорий от отсталости и уничтожения остатков капитализма. Та же риторика применялась в отношении нерусских народов в Советском Союзе². Но советские люди, своими глазами увидевшие эти вновь присоединенные территории, например в послевоенной Восточной Европе, на свою беду воспринимали их как отсталые, по крайней мере в главном. В этом отношении, как и во многих других, попытка коммунистов переделать других и их постоянное стремление к внутренним преобразованиям были неотделимы друг от друга.

КАМПАНИЯ ЗА КУЛЬТУРНОСТЬ КАК КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Поскольку культурная революция начала советской эпохи всегда сочетала в себе двоянные черты цивилизаторского просвещения и революционного принуждения, на последующих этапах она могла резко переходить от одного направления к другому. После

¹ Gross J. *Revolution from Abroad: The Soviet Conquest of Poland's Western Ukraine and Western Belorussia*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1988. P. 230, 115–122.

² Amar T.C. *Sovietization as a Civilizing Mission in the West // The Sovietization of Eastern Europe* / ed. B. Apor, P. Apor, E.A. Rees. Washington, DC: New Academia Publishing, 2008. P. 29–46.

того как агрессивно-утопистский напор «великого перелома» вошел в русло, проводившаяся в конце 1930-х годов кампания под знаменем культурности в некоторых отношениях напоминала характерный для 1920-х годов акцент на просвещении как ключевой составляющей социалистической цивилизации и нового быта. Однако эту значимую преемственность между культурной революцией и культурностью часто не замечают, традиционно изображая кампанию за культурность как прямо противоположную культурной революции, как часть «великого отступления». В свете сказанного здесь можно увидеть, как ключевая для Советского Союза концепция культурности продолжила, сначала в присущей сталинскому времени жестко кодифицированной форме, споры 1920-х годов о культурной революции и быте, к которым добавилась тема культурного или социалистического потребления, которое выстраивалось на протяжении 1930-х годов. Культурность по-прежнему подразумевала характерное для культурной революции отчетливо пренебрежительное отношение к «отсталым» (то есть неевропейским, нерусским или неинтеллигентским) нравам и недидактическим формам культуры. Однако новым в ней было то, что она полноценно включала в себя советскую идеологию потребления, внушая мысль, что некоторые виды потребления и некоторые виды собственности составляли часть культурной жизни¹. По мере насаждения концепции культурности в 1934 году черты «великого перелома», связанные с принуждением, агрессией и классовой враждой, могли сгладиться. Но на тот момент им необязательно было присутствовать явно: распространение идеи культурности сменилось Большим террором с присущими ему возрождением

¹ Volkov V. The Concept of *Kulturnost*: Notes on the Stalinist Civilizing Process // *Stalinism: New Directions* / ed. Sh. Fitzpatrick. New York: Routledge, 2000. P. 210–230; Smith S., Kelly C. Commercial Culture and Consumerism. Особенно: С. 113, 152; Вихавайнен Т. Внутренний враг: борьба с мещанством как моральная миссия русской интеллигенции. СПб.: Коло, 2004; Hoffmann D.L. Stalinist Values: The Cultural Norms of Soviet Modernity, 1917–1941. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2003. P. 118–145.



Соколов. «Полевому стану – культурный быт», 1936 год. Колхозные рабочие играют в шахматы и волейбол в условиях, отвечающих санитарным нормам, мужчина на переднем плане читает «Правду», а рядом на столе лежит роман Шолохова о коллективизации. Плакат иллюстрирует ценности, пропагандировавшиеся в ходе кампании за «культурность», которая проводилась в середине 1930-х годов. Публикуется с любезного разрешения библиотеки и архивного отдела Гуверовского института (Стэнфордский университет).

идеологии и массовыми репрессиями, и тогда гигиена, грамотность, просвещение оказались в тени «подлинных добродетелей советского человека», сознательности и преданности партийной идеологии¹. В сталинском обществе «своих» и «чужих» те, кто «оставался некультурным», подвергали себя серьезному риску.

В более поздние десятилетия культурная революция превратилась в тему глупых пропагандистских брошюр о достижениях советской эпохи, но культурность, во многом за счет того, что связывало ее с изначальной идеей культурной революции, стала частью самой структуры советской системы. Это произошло потому, что данное понятие могло выразить многие устремления представителей интеллигенции, продвинувшихся вверх кадров

¹ Volkov V. The Concept of *Kulturnost*. P. 226.

и представителей политической системы, которые теперь повышали культуру в цене как воплощение превосходства Советского Союза. Изначальная массовая пропаганда культурности периода агитационной кампании за чистки отошла в тень и, подобно лучшим маркетинговым стратегиям Запада, была широко усвоена. Она продолжала пользоваться большим спросом в эпоху хрущевской оттепели в 1950-е годы. Ведь Советский Союз располагал одним мощным культурно-идеологическим оружием, чтобы сдерживать привлекательность западной системы потребления или шок советских людей, наблюдавших относительное процветание Восточной Европы. Им была идея, что советская культура, ценности и быт возвещают прогресс в области технологий или товарных отношений. Между ранней советской культурной революцией, сталинской кампанией за культурность и настоящим культом высокой культуры в 1930-е годы, а также хрущевской оттепелью с ее конкурентной открытостью внешнему миру существует преемственность, совершенно ускользнувшая от исследователей.

КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ МАО

Традиционное обозначение периода с 1928 по 1931 год как культурной революции неизбежно влечет за собой правомерное и интригующее сравнение с явлением, известным как «Великая пролетарская культурная революция» в Китае. Шейла Фицпатрик вспоминала, что к собственному, принятому в 1970-е годы решению назвать утопизм и агрессию в отношении враждебных классов, характерные для 1928–1931 годов, «культурной революцией в России» она изначально пришла в Москве в конце 1960-х годов, когда столкнулась с советскими негативными оценками «Культурной революции» в Китае¹. Можно назвать три основных аспекта советско-китайской проблематики:

¹ *Fitzpatrick Sh.* Cultural Revolution Revisited // *Russian Review*. 1999. Vol. 58. № 2. P. 202–2009; здесь отсылка к: P. 202–203.

сопоставительная история в широком смысле слова, история понятия культурной революции в обоих случаях и проблема прямых китайских заимствований — которые трудно проследить — из опыта Советского Союза.

Когда речь заходит о сравнении, мне в первую очередь хочется подчеркнуть некоторые явные различия между сталинским «великим переломом» и маоистской «Культурной революцией», различия, которые можно недооценить, если называть эти два явления одинаково. В случае Советского Союза этот феномен носил мимолетный и краткосрочный характер; в Китае же он продлился по крайней мере еще десять лет после 1966 года. Одна из вероятных причин, по которым в СССР границы этого периода остались значительно более узкими, состоит отчасти в том, что культурный и идеологический подъем — радикализация культурной революции — не только стимулировался, но в конечном счете и ограничивался другим первостепенным измерением «великого перелома»: форсированной индустриализацией и пятилетним планом. Утверждение, что экономика (а также зависящие от нее сферы науки и образования) непосредственно содержала в себе идеологию, тесно переплетаясь с ней, было бы недоказуемо, но к 1931–1932 годам Сталин и партия явно приняли решение сократить конкретные расходы на все это культурно-идеологическое буйство. В Китае же между следовавшими одно за другим массовыми явлениями коллективизации, «Большого скачка» и «Культурной революции» прошло по несколько лет¹. Кроме того, между тем, к чему стремились и тем, чего могли добиться Сталин и Мао, существовали серьезные политические различия. Сталинский аппарат был относительно сплоченным, а после поражения «правых уклонистов» в 1929 году не только относительно нетронутым, но и, безусловно, упрочившимся за счет запущенной им культурно-идеологической кампании. Мао,

¹ Выводы из этого отчетливо обрисованы в работе: *MacFarquhar R. The Origins of the Cultural Revolution, 3: The Coming of the Cataclysm, 1961–1966.* New York: Columbia University Press, 1997. P. 466–471.

наоборот, начал «Культурную революцию» с целью развернуть ведущую к политической катастрофе травлю «ревизионистов» и буржуазных элементов в высших правящих кругах. «Великая пролетарская культурная революция» в Китае, в отличие от сталинизма, была направлена против представителей как новой политической, так и прежней культурной элиты. Местные партийные организации могли на годы оставаться парализованы, пока местные объединения буквально вели между собой войну до победного конца.

В области культуры, науки и образования «Великая пролетарская культурная революция» пошла даже дальше, чем пытался пойти Сталин в период «великого перелома». Это справедливо как в плане разрушительности ее нападков на западную и революционную культуру (которую сталинизм в конечном счете усвоил), так и в плане масштабов, которые принимали атаки на культурные учреждения и их уничтожение. Вся образовательная система Китая в 1966 году была подорвана и восстанавливалась лишь постепенно (некоторые колледжи и университеты оставались закрыты вплоть до 1970 года). Как хорошо известно, попытка стереть различие между физическим и умственным трудом в образовательной сфере за счет массовой отправки представителей элиты и интеллигенции в сельскую местность в Китае зашла гораздо дальше. Приведу лишь один пример: в 1968 году, на пике «Культурной революции» в Китае, вооруженные копьями и винтовками группировки ранили сотни людей в ожесточенных боях, которые велись в ходе «стодневной войны» в стенах университета Цинхуа. Советские университеты, в которых тоже бывали беспорядки, но иного качества и размаха, были поделены под покровительством промышленных комиссариатов¹.

¹ *Andreas J. Rise and Fall of the Red Engineers: The Cultural Revolution and the Origins of China's New Class*. Stanford, CA: Stanford University Press, 2009; spec.: P. 88–90, 113, 269; *David-Fox M. The Assault on the Universities and the Dynamics of Stalin's 'Great Break', 1928–1932 // Academia in Upheaval: Origins, Transfers, and Transformations of the Communist Academic Regime in Russia*

В целом огромные масштабы и разрушительные последствия беспорядочных столкновений различных группировок и политической борьбы, которую Мао развязал за счет хунвейбинов («красногвардейцев»), наводят на мысль, что культура и политика «великого перелома» в какой-то мере контролировались и сдерживались Сталиным и представителями партии, чьи основные интересы на тот момент были, безусловно, связаны с индустриализацией и коллективизацией.

Также очевидна разница между концепцией культурной революции в начале советской эпохи и ее китайским аналогом. В Китае это явление, в отличие от Советского Союза, началось с политики и вошло в историю как «Великая пролетарская культурная революция». Принятое Центральным комитетом Коммунистической партии Китая 8 апреля 1966 года решение официально объявить «Великую пролетарскую культурную революцию» новым этапом социалистической революции гарантировало использование в будущем именно этого термина для обозначения данной эпохи¹.

Наконец, следует задаться вопросом: как соотносится использование самого этого термина в Китае — 文化大革命 (иероглифы, обозначающие «Великую культурную революцию») — с его советскими предшественниками? Я располагаю весьма ограниченными сведениями, но Джоэл Андреас обнаружил некоторые любопытные и кое-что проясняющие факты. Во-первых, важно, что у термина «культурная революция» в коммунистическом Китае до 1966 года была своя история. «Большой скачок», который после 1957 года начал набирать силу, не просто представлял собой программу ускоренного промышленного развития, но содержал и масштабную культурную программу, которую иногда называли Образовательной революцией, а иногда — Культурной

and East Central Europe / ed. David-Fox M., Péteri G.. Westport, CT: Bergin and Garvey, 2000. P. 73–104.

¹ Decision of the Central Committee of the Chinese Communist Party Concerning the Great Proletarian Cultural Revolution. URL: www.marxists.org/subject/china/peking-review/1966/PR1966-33g.htm.

революцией. Она была призвана способствовать изживанию в обществе прежних эксплуатирующих классов, перенося революцию в область культуры. Было ли это первоначальное значение китайского термина обусловлено его советским предшественником? Андреас нашел непосредственные свидетельства того, что члены Коммунистической партии Китая изучали эволюцию советской образовательной политики, но это само по себе едва ли можно назвать удивительным. Он также считает возможным, что сохранившиеся в хрущевской политике радикальные элементы оказали влияние на Китай. В заключение он пишет: «До сих пор не проводилось систематических исследований, которые бы отвечали на вопрос, насколько для „Большого скачка“ и „Культурной революции“ в Китае важны были советские политические модели»¹.

Вопрос о моделях, как и история понятий, поднимает тему восприятия, адаптации и усвоения. С точки зрения такого последовательного, пусть и неполноценного подхода китайский коммунизм эпохи Мао, безусловно, следует рассматривать как близко родственный сталинизму и восходящий к нему, сопоставляя их намного более обстоятельно, чем это делалось до сих пор. В свете сказанного также следует добавить, что в китайской «Культурной революции» наблюдаются поразительные параллели с советским опытом, не ограничивающиеся определением культурной революции как классовой борьбы. «Культурная революция» в Китае произошла уже по окончании сталинской эпохи, поэтому следует проанализировать ее с точки зрения других аспектов наследия сталинизма, в особенности Большого террора 1936–1939 годов и апогея культа личности между 1945 и 1953 годами². Так что это послесловие к объемной и многогранной истории культурной революции в России можно считать приглашением к намного более обширной сопоставительной международной дискуссии.

¹ *Andreas J. Rise and Fall*. P. 48, 267, 316 n21.

² Этот довод см. в работе: *Walder A.G. Cultural Revolution Radicalism: Variations on a Stalinist Theme // New Perspectives on the Cultural Revolution* / ed. Joseph W.A. et al. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1991. P. 41–61.

5. ОТ СИМБИОЗА К СИНТЕЗУ

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ И БОЛЬШЕВИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК В 1918–1929 ГОДАХ

Анализируя особенности советской системы, всегда следует принимать во внимание одну из определяющих ее черт — раздвоение ее политического устройства на партийное и государственное. Когда большевики пришли к власти, вовсе не было очевидно, что Коммунистическая партия, от мельчайшей партийной ячейки до Политбюро, будет создавать «теневые» аналоги государственных учреждений и дублировать их, а также действовать внутри них. На самом деле вскоре после 1917 года звучали предложения упразднить партию за ненужностью, поскольку большевики стояли во главе государства¹. Изначальным аргументом в пользу партийно-государственной системы была, если говорить в общем, необходимость для партии оставаться носителем задач и миссии революции — то есть стражем идеологии, контролирующим государственный аппарат, в котором в 1920-е годы было много не принадлежащих к коммунистам. Однако на практике партия и государство вскоре переплелись, и на протяжении советской истории их связь становилась все

¹ *Kotkin S. Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization. Berkeley: University of California, 1995. P. 292.*

более тесной. Несомненно, партийную государственность следует считать одной из отличительных особенностей советского строя, если сопоставлять или соизмерять его с другими современными государствами.

Более того, дуализм партии и государства был настолько всепроникающим и значимым явлением, что повлек за собой в более поздние периоды множество последствий и перемен, выходявших далеко за пределы природы политической системы и государственного управления. Так, существовавшее в начале советской эпохи разделение на партийно-большевистские и советские государственные учреждения оставило глубокий след в истории советской науки, техники и культуры. Традиционное для нэпа деление на красных и интеллигентов отражало создание институтов и групп, фактически, если не формально принадлежавших партии большевиков¹. Это деление подготовило почву для атаки на оплоты непартийных групп, когда эфемерный нэповский уклад рассыпался под натиском «великого перелома» в 1929 году. В рассматриваемом здесь случае соперничества между Коммунистической академией и Академией наук, на вершине академической среды, итогом стало их сложное слияние, или синтез². Уникальная эволюционирующая природа партийной государственности воспроизводилась и в области науки. Хотя советский государственный аппарат характеризовался намного более значительной степенью «большевизации» в сталинскую эпоху, чем при нэпе, первый пятилетний план также скреплял новую сложную трансформацию в разделении партийного и государственного под видом коллизии приоритетов идеологии и индустриализации / экономики. Эта новая фаза дуализма партии

¹ *David-Fox M. Revolution of the Mind: Higher Learning among the Bolsheviks, 1918–1929. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1997.*

² Наиболее объемная хотя и неоднородная из новых работ по истории науки и образования в последние десятилетия существования Российской империи и в начале советской эпохи: *Дмитриев А. (сост.). Расписание перемен: очерки истории образовательной и научной политики в Российской империи — СССР (конец 1880-х — 1930-е годы). М.: Новое литературное обозрение, 2012.*

и государства — и ее влияние на отношения между экономикой, политикой и идеологией — представляют огромный интерес для исторической трактовки сталинизма¹.

Большевизацию Российской академии наук, которая рассматривается в этой главе как первый враждебный и принудительный шаг в сторону насильственного объединения партийной и внепартийной традиций, можно с полным правом назвать единственным в своем роде, ключевым эпизодом в истории советской науки и академического сообщества². Академия наук, старейшее российское научное учреждение и, безусловно, наиболее заметная организация непартийной интеллигенции эпохи нэпа, подверглась нападкам в процессе кампании за избрание первых коммунистических академиков в 1928–1929 годах. Установление над ней политического контроля, сопровождавшееся массовыми арестами и увольнениями в ходе сфабрикованного ОГПУ «Академического дела», привело к новому притоку марксистов и коммунистов. Репрессии и контроль были своего рода политической предпосылкой дальнейшего масштабного расширения и повышения статуса, поскольку они предшествовали трансформации Академии наук в «империю знаний», по определению Вучинича, — огромную, состоящую из множества элементов сеть научно-исследовательских институтов, определивших советскую систему высшего образования³. Поэтому

¹ См., например: *Kotkin S. Magnetic Mountain; Priestland D. Stalinism and the Politics of Mobilization: Ideas, Power, and Terror in Inter-War Russia*. Oxford: Oxford University Press, 2007; *Stotland D. Ideologues and Pragmatists: World War II, New Communists, and Persistent Dilemmas of the Soviet Party-State, 1941–1953*. PhD diss., University of Maryland, 2010.

² До 1917 года академия была известна как Императорская академия наук; после 1925 года — как Академия наук СССР; после 1991 года она снова превратилась в Российскую академию наук.

³ Важнейшие работы из внушительного к настоящему моменту корпуса литературы об академии после революции: *Graham L. The Soviet Academy of Sciences and the Communist Party, 1927–1932*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1967; *Перченко Ф. Ф. Академия наук на «великом переломе»*. С. 63–235; *Vucinich A. Empire of Knowledge: The Academy of Sciences of the USSR*,

проанализировать истоки и динамику преобразования академии — значит исследовать весь процесс изменений от обозначенных большевиками революционных задач до окончательного формирования советской модели¹.

Большевизация Академии наук широко обсуждалась в России в 1990-е годы и в начале 2000-х, когда долгое время засекреченные материалы о репрессиях, упоминать которые до этого запрещалось, стали доступны. Неудивительно, что эти дискуссии пришлось на постсоветский период, когда академия активно боролась за выживание. Затем академия пережила период постсоветского упадка, и с тех пор публикации сошли на нет, возможно потому, что историкам, работающим в привычной парадигме «репрессированной науки», уже нечего было добавить к сказанному. Однако в огромном множестве работ, посвященных Академии наук, давно забытая Коммунистическая академия фигурирует лишь эпизодически. Полная тишина. В этой главе утверждается, что важнейшим (хотя едва ли единственным) контекстом, из которого выросли планы и более широкое распространение большевизации, была десятилетняя конкуренция с главным научным и теоретическим средоточием большевистских интеллектуалов — Коммунистической академией (до 1924 года — Социалистическая академия, до 1922 года — Социалистическая академия общественных наук)². Хотя упоминанию этого партийного учреждения обычно находится

1917–1970. Berkeley: University of California Press, 1984; и об «Академическом деле»: *Леонов В.П. и др.* Академическое дело 1929–1931 гг.: документы и материалы следственного дела, сфабрикованного ОГПУ: В 2 т. СПб.: Библиотека Российской академии наук, 1998.

¹ Об этом см.: *David-Fox M., Péteri G. (eds.). Academia in Upheaval: Origins, Transfers, and Transformations of the Communist Academic Regime in Russia and East Central Europe.* Westport, CT: Bergin and Garvey, 2000; *Krementsov N.* Stalinist Science. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1997.

² См. документальные материалы: *Козлов Б.И., Савина Г.А. (сост.). Коммунистическая академия ЦИК СССР, 1918–1936: материалы к социальной истории.* М.: Слово, 2008.

место в истории его прославленного предшественника, тесно связанные друг с другом истории развития обеих организаций никогда не становились предметом систематического изучения. Приведенные здесь материалы показывают, что они оказались поставлены в отношения симбиоза в решающую эпоху создания новых институтов и культурных преобразований 1920-х годов. Этот любопытный симбиоз ведущих большевистских интеллектуалов и выдающихся ученых, отчасти сознательный, отчасти навязанный ходом революции, определил ход развития партийного и непартийного лагерей на верхушке академического сообщества. В то же время претензии большевистских интеллектуалов на главенство стали неотъемлемой частью их попытки бросить вызов и противопоставить собственную модель устоявшейся академической традиции, а вся история самозванной Коммунистической академии сыграла решающую роль в уничтожении существовавшей в период нэпа двойственной академической среды и создании единого руководящего научного центра. В этом отношении так называемая большевизация Академии наук представляла собой не просто репрессивную кампанию или попытку коммунистов реализовать свои планы в научной сфере¹. Это был также принудительный синтез двух институциональных интеллектуальных парадигм, на протяжении десяти лет развивавшихся в симбиозе друг с другом.

Противостояние Коммунистической академии и Академии наук отражало и подкрепляло традиционные бинарные оппозиции, столь характерные для СССР в 1920-е годы и для литературы о начале советской эпохи: партия и интеллигенция, власть и культура, политика и наука. Поэтому история двух академий должна побудить нас не только поместить эти категории в соответствующий контекст, но также проанализировать их, выявив всю их сложность. Ведь Коммунистическая академия, будучи фактически, но не формально партийным учреждением,

¹ Ярошевский М.Г. (сост.). Репрессированная наука: В 2 т. СПб.: Наука, 1991, 1994.

одновременно была всецело укоренена в коммунистической системе и составляла часть самостоятельного, быстро развивающегося интеллектуального движения партийных марксистов и марксистской науки в более широком плане (так как, разумеется, не все советские марксисты 1920-х годов были членами партии).

При таком подходе к периоду 1920-х годов нэп предстает как ключевой, пусть и противоречивый этап революционных культурных преобразований, но при этом усложняется и дуалистическая система: самостоятельное движение партийных интеллектуалов оказывается между партийной государственностью и академией старого образца. Поэтому одна из основных целей этого подхода — анализ институциональной структуры, близкой к центру культурной революции 1920-х и 1930-х годов. В то время как Шейла Фицпатрик убедительно доказывала, что когда начались волнения, сопряженные с «великим переломом», влияние и ценности старой интеллигенции в конце концов пересилили революционные планы большевиков в области культуры — по ее известному выражению, партия победила в борьбе за власть, а старая интеллигенция победила в борьбе за культуру, — исследование последствий коммунистического культурного проекта на институциональном уровне заставляет сделать не такие однозначные и вдвойне парадоксальные выводы¹. Дело не только в том, что самое подходящее определение здесь — принудительный синтез, в ходе которого проиграли обе стороны, но еще и в том, что ключевые направления коммунистического эксперимента 1920-х годов сохранялись долгое время после того, как от них внешне отказались. Даже в 1920-е годы эта дискуссия наводит на мысль о большем взаимопроникновении пролетарского и буржуазного лагерей, чем то, которое считалось допустимым раньше. Если, как мы увидим в конце этой главы, Коммунистическая академия во

¹ *Fitzpatrick Sh. On Power and Culture // Fitzpatrick Sh. The Cultural Front: Power and Culture in Revolutionary Russia. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1992. P. 15.*

многом продолжала жить в Академии наук после большевизации, значит, одним из памятников консерватизма сталинской эпохи (или, если использовать историографический термин, «отступления») можно назвать синтез крупнейшего революционного нововведения 1920-х годов с преобразованной старой академической традицией¹.

СТРАТЕГИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЯ: КОНКУРЕНЦИЯ ДВУХ АКАДЕМИЙ

Вполне естественно, что одним из важнейших начинаний большевиков при содействии левых социалистических ученых и теоретиков вскоре после 1917 года стало основание академии, причем такой, которая пять лет спустя оказалась радикальной противоположностью Императорской российской академии наук, основанной Петром Великим. Мысль о левоориентированной, современной, альтернативной академии будущего зародилась в среде радикально настроенной интеллигенции за десятки лет до революции. Оглядываясь назад, можно сказать, что общую историю двух академий в революционной России обусловило то, каким образом идея социалистической академии нового типа сформировалась как целое на фоне традиционной, консервативной старой академии. Большую часть членов Императорской академии, основанной раньше российских университетов, вплоть до 1860-х годов составляли иностранцы. Однако к началу XX века это была уже совершенно другая организация, участвовавшая в общероссийском движении за независимость научных и педагогических учреждений от государства и поддерживавшая связи с университетами. Тем не менее «у многих представителей интеллигенции она по-прежнему вызывала негодование» и не могла освободиться от стереотипов, окружавших ее сначала как

¹ О Николае Тимашеве и его концепции «великого отступления» см. ряд статей: *Stalinism and the Great Retreat* // *Kritika*. 2004. Vol. 5. № 4. P. 651–734.

«немецкую», а затем как ультраконсервативную и элитарную организацию, связанную с самодержавием¹.

В 1880 году, когда основную массу членов академии по-прежнему составляли иностранцы, они, как известно, отказались принять в свои ряды великого русского химика Д.И. Менделеева. Этот отказ вызвал бурю негодования со стороны образованного общества и стал толчком к полной русификации академии. Однако целых сорок девять лет спустя, в разгаре кампании за большевизацию 1929 года, Юрий Ларин, большевистский интеллигент и член Коммунистической академии, сравнил голосование членов академии против принятия Менделеева с не менее значимым отказом, который получили три кандидата-коммуниста в конце 1928 года².

На самом деле сформировавшаяся еще до 1917 года неприязнь интеллигенции к академии давала пищу нападкам большевиков на ее прошлое и настоящее вплоть до конца 1920-х годов. Так, один ключевой для советской эпохи доклад напрямую ссылался на критические суждения дарвиниста К.А. Тимирязева, до-революционного ученого левого толка, близкого к большевикам и настроенного против академии (его сын, физик А.К. Тимирязев, был известным членом Коммунистической академии). Это, как мы увидим, происходило в ходе имевшего большое значение

¹ *Vucinich A. Science in Russian Culture, 1867–1917. Stanford, CA: Stanford University Press, 1970. P. 66.* Образ академии в научной и интеллигентской культурной среде времен поздней Российской империи еще предстоит систематически проанализировать. Но просопографическое исследование Веры Тольц опровергает привычные мифы о присущем академии консерватизме, показывая, что большинство академиков в 1905 году и позднее поддерживали умеренные реформы (в основном они были сторонниками постепенных изменений и конституционной монархии, с воодушевлением приветствовавшими Манифест 17 октября 1905 года). См.: *Tolz V. Russian Academicians and the Revolution: Combining Professionalism and Politics. New York: St. Martin's Press, 1997.*

² Об эпизоде с Менделеевым см.: *Vucinich A. Science in Russian Culture, 1867–1917*; о Ларине см.: *Брачев В.С. Укрощение строптивой, или Как АН СССР учили послушанию // Вестник Академии наук СССР. № 4. 1990. С. 123*, а также: *Tolz V. Russian Academicians ... Chap. 2.*

анализа Совнаркомом роли и значения Академии наук, когда конкретные планы большевизации только зарождались. В длинной исторической части доклада приводились высказывания Тимирязева-старшего, иллюстрировавшие мысль, что организация, отказывающаяся в членстве Менделееву или другим выдающимся ученым, не может представлять российскую науку. Здесь перечислялись и «реакционные» аспекты, относящиеся к различным периодам прошлого академии: контроль со стороны высших царских чиновников, большой процент дворян среди членов академии, частичное влияние панславизма, — и подразумевалось, что все это накладывает отпечаток и на ее настоящее. Отнюдь не занимаясь чистой наукой, как утверждали академики, это учреждение, по мнению автора доклада, служило политическим орудием сначала царю, а затем Временному правительству¹.

Если старая академия продолжала существовать на правах признанного предшественника, вторая, прогрессивная, возможная академия в начале XX века превратилась в мечту, объединившую в себе революционное движение и авангард. Идея академии привлекала как противовес специализации, разграничению и распределению труда; она должна была стать институциональным воплощением органической, постлиберальной философии, которую частично разделяли авангардисты и большевистская интеллигенция². Члены левой большевистской группы «Вперед», в 1909 году и позднее разрабатывавшие понятие пролетарской культуры, коллективистскую науку и ставший ключевым для коммунистов план по созданию новой интеллигенции, около 1912 года участвовали в малоизвестном проекте основания Российской академии в изгнании, включавшей в себя творческую интеллигенцию и революционеров³. Среди тех, кто в 1918 году

¹ Воронов Е. Докладная записка. 2 апреля 1927 года // ГАРФ. Ф. А2306. Оп. 1. Д. 3438. Л. 6–11.

² Clark K. Petersburg, Crucible of Cultural Revolution. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1995. P. 21–22.

³ Biggart J. The 'Russian Academy' and the Journal *Gelios* // Сборник. 1980. № 5. С. 17–27.

основал в Москве Социалистическую академию общественных наук (САОН) и затем вошел в первые ряды ее членов, можно назвать ведущих интеллектуалов группы «Вперед»: прежде всего Александра Богданова, специалиста в области политэкономии, мыслителя и главу Пролеткульта; Анатолия Луначарского, наркома просвещения, ратовавшего за развитие искусства и театра; Павла Лебедева-Полянского, литературного критика, а с 1922 года — главного цензора; и в особенности Михаила Покровского, лидера школы марксистских историков в 1920-е годы и экстраординарного академика.

Официально сфера деятельности Социалистической академии в 1918 году определялась как научная разработка проблем социализма и коммунизма¹. Однако в период до 1921 года ее научная миссия и политические установки неоднократно менялись, хотя в это же время, в начале 1920-х годов, были предприняты первые шаги по направлению к тому, чтобы превратить академию во флагманский научный центр партии, противопоставив его буржуазной науке. Эту трансформацию едва ли можно назвать неизбежной. Сначала перед новоиспеченной организацией даже не стояли конкретные задачи каких-то передовых исследований; поскольку университеты относились к новому режиму враждебно, а воспитание кадров на тот момент представлялось как более насущной, так и более отвечающей требованиям революции задачей, все ее силы были сосредоточены на развитии в качестве социалистического высшего учебного заведения. С политической точки зрения в ней в 1918 году также проявлялись настроения, о которых впоследствии сожалели как о наивном воодушевлении по поводу союза социал-демократов и социалистов; в ряды ее членов (почетное звание «академик» тогда не употреблялось) изначально входили левые эсеры (социалисты-революционеры) и группа международных представителей, авторитетов зарубежной социалистической мысли, от Карла Каутского до Рудольфа Гильфердинга.

¹ Положение о Социалистической академии общественных наук, 1918 // Архив Российской академии наук (РАН). Ф. 643. Оп. 1. Д. 158. Л. 2–3.

Кроме того, упадок просветительского отдела, вызванный «кризисом 1919 года», как его стали называть позже, отбросил развитие новой академии на несколько шагов назад. Большинство студентов ушло на фронт, и, не считая создания библиотеки и распространения газет, деятельность новой академии фактически сошла на нет. И все же поразительно, насколько этому трудному и двусмысленному начальному этапу была присуща уверенность в исторической миссии, в 1920-е годы способствовавшая становлению и расширению сферы влияния Коммунистической академии. Эта уверенность нашла отражение, например, в прокламации, сочиненной осенью 1918 года и переведенной на основные иностранные языки. В ней была фраза, которую по крайней мере один из руководителей академии любил повторять в последующие годы: «Крестьянство строило храмы; дворяне — крепости и дворцы; буржуазия создала театры и университеты. Пролетариат — Социалистическую Академию»¹. Изначально с основанием новой академии были связаны надежды на закрепление за ней статуса ведущего авторитета в области социальных наук — это сразу же привело к конфликту со старой академией в Петрограде. В июне 1918 года Академия наук попыталась создать в Петрограде Институт общественных наук, который, как, очевидно, полагали академики, например А.С. Лаппо-Данилевский, смог бы противостоять дальнейшему вторжению марксистской социологии. Социалистической академии, с членами которой обсуждалась целесообразность этой инициативы, удалось наложить на нее окончательный запрет².

Линия фронта Гражданской войны смыкалась все теснее, и в Социалистической академии уже через год после ее основания прошла реформа. В 1919 году в новом уставе академии были отброшены

¹ Цит. по: *Удальцов А.Д.* Очерк истории Социалистической академии (1918–1922 гг.) // Вестник Социалистической академии (далее — ВСА). 1922. № 1. С. 17.

² *Vucinich A.* Empire of Knowledge. P. 97–98; *Shapiro J.* A History of the Communist Academy, 1918–1936. PhD diss., Columbia University, 1976. P. 43–45.

«пацифистские иллюзии», как их позже называли, а список членов подвергся радикальному пересмотру. Из тридцати девяти членов академии девятнадцать были новыми и принадлежали, за редким исключением (например, в случае бывшего большевика Богданова), к ведущим большевистским теоретикам марксизма и занимающим высокие посты партийным лидерам интеллектуального склада¹. Новые почетные места в академии остались за представителями партийного руководства, такими как Лев Троцкий и Григорий Зиновьев, участвовавшими в жизни академии не больше своих предшественников, Каутского и Гильфердинга.

Однако лишь благодаря оказавшей существенное влияние на последующие события исторической ситуации 1920–1921 годов новая академия стала главной институциональной опорой партийной науки, как ее можно назвать: партийного марксистского движения внутри академии, представители которого причисляли себя к большевикам; движения, которое представляло собой одновременно научное подразделение, полноправное интеллектуальное движение и органическую часть политики партии. Лишь к 1920-м годам новый режим сам определил себя как диктатуру пролетариата, при которой гораздо более централизованная партия дублировала государственные учреждения на всех уровнях. Примечательно, как уникальная, двойственная академическая среда, в которой сосуществовали соперничающие академии, в свою очередь, сформировалась в лоне этого дуализма партийного и государственного. В 1920 году также была создана целостная система партийных школ и институтов. Эта партийная академическая

¹ *Удальцов А.Д.* Очерк истории Социалистической академии (1918–1922 гг.). С. 13–37. Среди крупных партийных деятелей, которые в начале 1920-х годов участвовали, насколько им позволяла занятость, в делах академии, можно назвать Бухарина, Луначарского и Карла Радека; в числе активных участников были и такие заметные большевистские интеллектуалы, как Е.А. Преображенский, В.П. Милютин, И.И. Скворцов-Степанов, О.Ю. Шмидт и А.К. Тимирязев. У истоков академии также стояли правовед М.А. Рейснер, марксовед Д.Б. Рязанов, специалист по истории Французской революции и Парижской коммуны Н.Н. Лукин и историк европейской социальной мысли В.П. Волгин.

система была задумана — во многом при участии ведущих партийных интеллектуалов, имеющих отношение к академии, — как иерархия альтернативных большевистских средних школ, высших учебных заведений и исследовательских институтов; Социалистическая академия естественным образом призвана была увенчать эту систему¹. Упрочилось самоопределение Социалистической академии как большевистской организации. До 1927 года не выходило специальных декретов, обозначающих партийную сущность академической науки, но в 1920 году руководство приняло официальное решение принимать в академию только коммунистов².

Происшедшие в начале 1920-х серьезные изменения существенно расширили круг задач Социалистической академии, которая сразу же освоила новую роль, превратившись в мощную, вносящую беспорядок силу в ранней советской науке. Одной из основных целей в период с 1919 по 1921 год было сделать академию центром марксистской теоретической науки, что на деле означало главным образом чтение докладов и проведение заседаний, например, для обсуждения чернового варианта знаменитого учебника Николая Бухарина и Евгения Преображенского «Азбука коммунизма»³. Задача создания марксистского центра оставалась в силе, но ее заслонили другие заботы, поскольку активное расширение Социалистической академии совпало с введением нэпа и усилилось в 1924–1925 годах. К середине 1920-х годов новая организация могла похвастаться библиотекой, издательством и партийным высшим учебным заведением («курсами марксизма»), а также отделами или институтами, изучающими право, литературу и искусство, экономику, сельское хозяйство, естественные и точные науки, научную методологию, революционное движение,

¹ См. планы Евгения Преображенского разработать единую иерархию партийных учреждений: Девятая конференция РКП(б): Сентябрь 1920 года. Протоколы. М.: Политиздат, 1972. С. 124–125.

² См. письмо И.С. Гроссмана-Рощина А.В. Луначарскому от 10 января 1920 года (ГАРФ. Ф. А2306. Оп. 1. Д. 429. Л. 169).

³ Протокол заседания президиума Социалистической академии общественных наук, 15 октября 1921 // ГАРФ. Ф. 3145. Оп. 1. Д. 86. Л. 10.

мировую экономику и политику, советское строительство и деятельность высшей нервной системы; также существовали сообщества биологов, историков и специалистов в области статистики. Это усиленное расширение привело к новой, намного более конкретной и откровенно монополистической формулировке планов Коммунистической академии в научной среде.

Принципы Социалистической академии, устремления и постулаты, характеризовавшие самоопределение и задачи этой организации, часто излагались в будущем времени; в них использовались в основном повелительное и сослагательное наклонения. Будучи большевистским высшим учебным заведением, она сочетала в своей научной миссии ценности господства, иерархии и монополии, внедренные в коммунистическую политическую жизнь. Задачи по созданию научного центра вскоре пересеклись с намерением закрепить за этим учреждением статус главного научно-исследовательского социологического института; это было связано с его амбициями курировать научную работу в качестве методического и идеологического центра. Преображенский в своей имевшей большое значение статье удивительным образом сравнивал центральное для партийной государственности идеологическое планирование с экономическим, говоря о «Госплане в области идеологии»¹. В апреле 1923 года XII съезд партии открыл перед академией новые горизонты: в соответствии с предложением Агитпропа было принято решение расширить круг ее деятельности «за пределы общественнознания» («общественные науки» вскоре ушли из названия академии). Это первое принятое партией официальное решение, касающееся академии, поддерживало утопические претензии последней на монополию, отсылая к будущему, в котором Социалистической академии предстояло «объединить всю научно-исследовательскую работу»².

¹ Преображенский Е.А. Ближайшие задачи Социалистической академии // ВСА. 1922. № 1. С. 7.

² Резолюция по вопросам пропаганды, печати и агитации, принятая Агитпропсек. XII-го партсъезда 25 апреля 1923 // РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 367.

Покровский обеспечил максимально широкое распространение этой резолюции, отмечая, что служба партии и «борьба с влиянием буржуазной профессуры» придадут академии «ту определенную цель, которой до сих пор ей не хватало». Монополистические амбиции теперь, выйдя за пределы марксистской теории и социальных наук, распространились на высшее образование в целом. В 1924 году историк, выступая на общем собрании членов академии, заявил: «Если мы, действительно, признаем, что марксизм есть наука, то надо заставить эти [непартийные] учреждения работать по нашим планам»¹. В двойственной системе 1920-х годов Коммунистическая академия, как предполагали ее название и статус, сосредоточила свои ожидания прежде всего на Академии наук, что еще заметнее проявилось в середине 1920-х годов. В 1927 году Луначарский назвал Коммунистическую академию институтом, который должен увенчать всю научную систему и который уже приближается к этой цели². Покровский в своем наиболее важном выступлении, посвященном истории Коммунистической академии, отметил, что переход к нэпу привел к переосмыслению роли академии: «Мы имели возможность... превратиться в учреждение, которое является, как мне уже приходилось неоднократно говорить, нашей партийной Академией наук или, по крайней мере, очень крупным зачатком Коммунистической академии наук»³.

Л. 24–42; КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК, 5-е изд. Т. 3. М.: Политиздат, 1984. С. 106.

¹ Протокол общего собрания членов Социалистической академии, 11 октября 1923 // ВСА. 1923. № 6. С. 420–421; Протокол общего собрания членов Социалистической академии, 17 апреля 1924 г. // Вестник Коммунистической академии (далее — ВКА). 1924. № 8. С. 389.

² Высказывание Луначарского приводится в работе: *Есаков В.Д.* Советская наука в годы первой пятилетки. М.: Наука, 1971. С. 55.

³ *Покровский М.Н.* 10 лет Коммунистической академии. Вступительное слово М.Н. Покровского на юбилейном заседании пленума Коммунистической академии 25 мая 1928 г. // ВКА. 1928. № 8. С. 18.

Такая постановка задачи едва ли оживила бы партийную науку, если бы Академия наук, вразрез с надеждами Социалистической академии, не заявила о себе после 1917 года как об основном центре перспективных исследований, внешнем по отношению к советской системе. По иронии судьбы, в этом соперничестве двух академий Академия наук после Октябрьского переворота по-своему воплощала средоточие революционного триумфа — триумфа Февральской, а не Октябрьской революции. До свержения старого режима потенциальных академиков оценивали с политической точки зрения; президентом академии, до того как в 1917 году пал старый режим и на этот пост впервые свободно избрали одного из членов академии (геолога А.П. Карпинского), всегда был какой-либо высокопоставленный государственный деятель¹. Когда большевики в конце 1920-х годов впервые стали предпринимать систематические попытки вмешиваться во внутренние дела академии и таким образом права коллегиального и демократического общего собрания оказались под угрозой, члены академии еще прекрасно помнили, как тот же самый неперменный секретарь, востоковед Сергей Федорович Ольденбург, на протяжении 1905 года представлял заранее обдуманное решение по усовершенствованию собрания². К монархическому прошлому, которое ставили в укор академии, прибавлялись ее далеко не случайные связи с «буржуазной» Февральской революцией; некоторые академики входили в состав Временного правительства — прежде всего это относилось к Ольденбургу, который был министром просвещения с 26 июля по 31 августа 1917 года³.

¹ *Vucinich A.* Science in Russian Culture. P. 214–215.

² Записка о работе Сергея Федоровича Ольденбурга в качестве неперменного секретаря Академии наук в 1928–29 годах, составленная Еленой Григорьевной Ольденбург // АРАН. Ф. 208. Оп. 2. Ед. хр. 57. Л. 55. Благодарю Даниэля Тодеса за предоставление мне копии этого уникального дневника.

³ *Серебряков И.Д.* «Неперменный секретарь» АН академик Сергей Федорович Ольденбург // Новая и новейшая история. 1994. № 1. С. 223.

Как хорошо известно, старая академия сохранила внутреннюю независимость и после Октябрьского переворота благодаря взаимовыгодной договоренности с ленинским Совнаркомом, условия которой были оговорены весной 1918 года. Академия признавала новую власть и соглашалась оказывать правительству содействие в экономических и технических вопросах; взамен она получала государственное финансирование, непосредственные связи с Совнаркомом, чисто номинальное подчинение Наркомпросу во главе с Луначарским и Покровским и сохраняла за собой полное право определять направление своих исследований — не говоря уже об обширной материальной базе¹.

Не столь хорошо известны причины, вскоре побудившие академию отказаться от резкого неприятия захвативших власть большевиков (которое она первоначально разделяла с университетами и другими интеллигентскими организациями): на общем собрании 24 января 1918 года большинство членов академии впервые официально согласилось сотрудничать с новым режимом. Многими академиками двигало не только затаенное желание сохранить русскую науку, а позже и сознание, что новая власть, несмотря на деспотизм, стремится поддерживать науку и восстановить сильное государство. Они также ухватились за возможность вернуть академии место, отведенное ей уставом 1836 года, — место главной российской научной организации².

Но как облик Социалистической академии до начала 1920-х годов еще не вполне сложился, так и статус Академии наук в первые послереволюционные годы оставался неопределенным. Рискованное положение представителей прежних элит в период социальной революции, натиск красных

¹ *Островитянов К.В. (сост.). Организация науки в первые годы советской власти (1917–1925): сб. док. Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1968. С. 24, 103–105; Серебряков И.Д. «Непременный секретарь» ... С. 226, сн. 28; Bailes K.E. Science and Russian Culture in an Age of Revolutions: V.I. Vernadsky and His Scientific School, 1863–1945. Bloomington: Indiana University Press, 1990. P. 149–151.*

² *Tolz V. Russian Academicians. Chap. 2.*

в Гражданской войне и суровые последствия экономического упадка — все это сулило ученым невзгоды и кризис. Кризис усугубляли угрожающие действия большевиков и суровые карательные меры. Даже Ольденбург — типичнейший миротворец, — запятнанный тем, что когда-то состоял в партии конституционных демократов (кадетов), был унижительным образом заключен в тюрьму по делу «Тактического центра», которым тогда занималась ЧК¹. Не успела академия начать сотрудничать с советской властью, как со стороны левых начались нападки на ее внутреннее устройство. В 1918 году местное отделение Наркомпроса в Союзе коммун Северной области предложило ликвидировать академию, считая ее совершенно ненужным пережитком псевдоклассической эпохи классового общества². Покровский был автором другого нереализованного предложения, озвученного на собрании членов Наркомпроса в 1918 году: распустить старую академию и создать вместо нее объединение контролируемых государством научных учреждений. Ольденбург использовал свои связи, обратившись к Ленину с просьбой издать постановление, которое сдержало бы попытки уничтожить академию; решительный запрет Ленина поднимать шум вокруг академии был важным шагом в его борьбе, касающейся политики в отношении интеллигенции³.

Поэтому лишь в начале 1920-х годов — то есть как раз когда возникла обновленная Социалистическая академия, не скрывавшая своих связей с партией, которая отводила ей роль главного института партийной академической среды, — старая академия упрочила свое положение защищенного, надежно

¹ Об арестах ученых см.: Протокол № 1 Политического Бюро ЦК от 11 сентября 1919 года // РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 26. Л. 2; *Исаков С.Г.* Неизвестные письма М. Горького В. Ленину // *Revue des études slaves*. 1992. Vol. 64. № 1. С. 143–156.

² См.: *Леонов В.П. и др.* Академическое дело. Вып. 1. С.хiii–xiv.

³ *Серебряков И.Д.* «Непременный секретарь» ... С. 225, 229; *Fitzpatrick Sh.* The Commissariat of Enlightenment. Cambridge: Cambridge University Press, 1970. P. 72.

обеспеченного, независимого учреждения с новой гарантией своего исключительного статуса. Старшая академия нормализовала свои отношения с Совнаркомом и различными комиссариатами¹. Изменения, происшедшие в 1920-е годы в положении академии, повлекли за собой также серьезные перемены в статусе академиков. У физиолога И.П. Павлова, вероятно, самого знаменитого русского ученого, конфисковали его нобелевские медали; в годы Гражданской войны он вынужден был копать в мусорных свалках в поисках дров, чтобы выжить. Однако в 1920–1921 годах именно его угроза эмигрировать во многом побудила Ленина и занимавших руководящие посты большевиков, заинтересованных в поддержании международной репутации и восстановлении науки, улучшить условия жизни академика Павлова и, по его настоянию, петроградских ученых в целом. Теперь, в 1920-е годы, он оказался «процветающим диссидентом», который властной рукой управлял собственной научной империей и совершенно безнаказанно разносил в пух и прах марксизм и большевиков².

Говоря шире, укрепление этой советской «системы звезд» в науке было одним из наиболее очевидных проявлений новой системы классификации, иерархии и специализации, утвердившихся с переходом к новой экономической политике после 1921 года. В политике партии и государства 1920-х годов проводилось четкое разграничение между внепартийной исследовательской деятельностью и преподаванием, между учеными с мировым именем и рядовыми специалистами, между естественными и социальными науками. Главное противоречие состояло в том, что одновременно сформировалась самостоятельная, новая, большевистская научная среда во главе с Социалистической

¹ *Lewis R.A.* Government and the Technological Sciences in the Soviet Union: The Rise of the Academy of Sciences // *Minerva*. 1977. Vol. 15. № 2. P. 174–199.

² О том, как развивались отношения Павлова с революционным режимом, см.: *Todes D.* Pavlov and the Bolsheviks // *History and Philosophy of the Life Sciences*. 1995. Vol. 17. № 3. P. 379–418; *Todes D.* Ivan Pavlov: A Russian Life in Science. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2014. Parts 6 and 7.

академией, которая в своих действиях руководствовалась все еще продолжавшейся революцией, что грозило разрушить весь с трудом установленный порядок того времени.

Наконец, еще один парадокс аномального статуса старой академии в 1920-е годы состоял в том, что само привилегированное положение, которое можно было бы счесть доказательством того, насколько власть ценила ученых, иногда побуждало членов этой организации придерживаться более провокационных в политическом отношении взглядов, чем это могло быть им свойственно при других обстоятельствах. Не только Павлов критиковал марксизм, советскую систему и представления большевиков о науке. Конечно, Павлов мог высказываться с исключительной прямоотой, публично; его особое защищенное положение и уважение, испытываемое большевиками к его «материалистской» физиологии, на самом деле обесценивали выраженное им яростное негодование по поводу возможности как-то примириться с избранием в академию коммунистов в 1928–1929 годах. Ольденбург, бывший кадет, чей сын был белоэмигрантом, накануне выборов заметил, не сдержавшись, в одном из частных собраний членов академии, что Павлов может говорить все что угодно, поскольку его «не тронут»¹. Но с учетом этого, как убедительно показала Вера Тольц на материале переписки членов академии и даже официальных писем, критика марксизма и большевизма до 1928 года, равно как и протест против избрания ученых-коммунистов в академию в этом году, не являлись чем-то редким; наоборот, эти настроения разделяло большинство академиков, избранных до 1917 года. Более того, эта независимая организация стала своего рода магнитом для дворян и так называемых бывших людей, которые, не имея возможности работать где-то еще, находили в академии протекцию и средства к существованию².

¹ Записка о работе Сергея Федоровича Ольденбурга ... Л. 41.

² Пять вольных писем В.И. Вернадского сыну // Минувшее. Т. 7. 1992. С. 431; *Перченко Ф.Ф.* Академия наук на «великом переломе». С. 199–200.

Предоставляя относительную автономию Академии наук и одновременно поощряя амбиции Социалистической академии как расширяющегося партийного учреждения, на академическом уровне обстановка нэпа подготовила почву для конкуренции, определившей облик советской науки и системы высшего образования.

АГРЕССИВНЫЙ СИМБИОЗ: ВРАЖДА И ПОДРАЖАНИЕ В 1920-Е ГОДЫ

Главной причиной конкуренции между Социалистической академией и Академией наук была символическая и бюрократическая борьба за статус. До 1925 года, хотя формально старая академия и подчинялась Наркомпросу РСФСР, партийные ученые жаловались, что она обладала скорее всесоюзным (а не республиканским) статусом ввиду своей необычайной независимости. Но рассмотрение Политбюро этого вопроса в тот год обернулось «повышением» прежней академии: она стала официально подчиняться Совнаркому и получила название «Советской» как всесоюзная организация. Еще большее раздражение вызвало официальное присвоение Академии наук статуса «высшего учебного учреждения» в стране¹.

В 1917 году девятнадцать из сорока шести академиков были потомственными дворянами (*Tolz V. Russian Academicians. Chap. 2*).

¹ Протокол заседания № 70 Политбюро ЦК ВКП(б) от 8 июля 1925 года // РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 510. Л. 6; *Островитянов К.В. (сост.). Организация науки в первые годы советской власти. С. 207–208; Graham L. The Soviet Academy of Sciences. P. 74*. На самом деле выражение «высшее учебное учреждение Союза ССР» звучало двойственно, поскольку могло относиться и к привилегированному статусу, и к высшему образованию. Эта двусмысленность была снята лишь в уставе Академии наук 1935 года, где к определению «является высшим научным учреждением СССР» добавилась фраза «объединяющим наиболее выдающихся ученых страны» (см.: Уставы Академии наук СССР, 1724–1974. М.: Наука, 1974).

Однако за кулисами руководители Коммунистической академии активно предпринимали усилия, чтобы удержать официальные позиции, и Покровский заручился поддержкой Авеля Сафоновича Енукидзе, видного партийного деятеля, в 1920-е годы вовлеченного в постоянную борьбу партийной интеллигенции за преобразование советской науки. В 1925 году Енукидзе, секретарь Центрального исполнительного комитета, не только возглавил главную комиссию по контролю деятельности Академии наук (об этом ниже), но и вошел в состав Коммунистической академии как член нового Института советского строительства. Эта организация, задуманная как исследовательское подразделение Рабоче-крестьянской инспекции, для Коммунистической академии была важным шагом к упрочению своей полезной для государства функции¹. Покровский заручился вмешательством Енукидзе, чтобы обеспечить статус «высшего ученого учреждения» и партийной академии. Коммунистической академии удалось добиться для себя аналогичного всесоюзного статуса в 1926 году². Для руководителей Коммунистической академии не было тайной, что подобная партийно-государственная привилегия, если только добиться ее, могла оказаться решающей в любых столкновениях с «буржуазной наукой».

Академия наук, в свою очередь, пыталась подчеркнуть свое положение высшего научного учреждения, акцентируя свою традиционную и историческую роль в высших сферах академической среды. Владимир Вернадский, первым заговоривший об изучении биосферы, стал председателем комитета по истории

¹ Выписка из протокола № 7 заседания Оргбюро ЦК от 13 марта 1925 г. // РГАСПИ. Ф. 147. Оп. 1. Д. 33. Л. 15; Положение об Институте советского строительства при Коммунистической академии // АРАН. Ф. 350. Оп. 1. Д. 33. Л. 57; а также речь В.В. Куйбышева, главы Рабоче-крестьянской инспекции, на торжественной церемонии открытия Института советского строительства в 1925 году — см.: АРАН. Ф. 350. Оп. 1. Д. 39. Л. 1–34.

² Протокол № 1 заседания Бюро Президиума от 11 декабря 1924 года // АРАН. Ф. 350. Оп. 1. Д. 26. Л. 1; Стенограмма заседания Бюро Президиума Коммакадемии [*sic*], 27 февраля 1926 // АРАН. Ф. 350. Оп. 1. Д. 53. Л. 2.

науки, выразившего обеспокоенность сохранением традиций и культурного значения академии. «Больше всего Академия стремилась продемонстрировать, что именно она являлась главным двигателем развития научной мысли в России, а также наиболее значимым для мировой науки учреждением в российской академической среде»¹.

Между двумя академиями — старой, находившейся в Ленинграде, который был не только окном в Европу, но и средоточием беспартийной интеллигенции в 1920-е годы, и другой, расположенной в Москве, центре власти и мировой революции, — возникло негласное разделение труда, которое в чьих-то глазах могло оправдывать их сосуществование. В сферу влияния Коммунистической академии вошли марксистские социальные науки (включавшие в себя более узкие дисциплины, изучающие труд, социализм и что бы то ни было с очевидным социологическим, экономическим или философским уклоном), современные исследования в областях, по сути не являющихся марксистскими (таких, как литература и история), и консультации по вопросам, которые воспринимались именно как политические и стратегические (а не технические или научные). Консультирование партийных и государственных органов — тенденция, игравшая все более значительную роль, — составляла часть работы академии, в особенности Института советского строительства, сельскохозяйственного отдела и Института мировой экономики и политики².

Сфера интересов Академии наук в 1920-е годы, безусловно, изменилась под влиянием претендовавшей на социальное направление партийной науки. «Центр тяжести» научного поиска старой академии в послереволюционный период медленно перемещался от гуманитарных наук к естественным, и в этой области

¹ *Yucinich A.* Empire of Knowledge. P. 101.

² О последнем см.: *Duda G.* Jenő Varga und die Geschichte des Instituts für Weltwirtschaft und Weltpolitik in Moskau 1921–1970. Berlin: Akademie Verlag, 1994. S. 53–75.

предпринимались серьезные усилия для расширения прикладного знания¹. Ее гуманитарные подразделения, поскольку она не должна была вторгаться на марксистскую территорию, занимались эпохами, далекими от современности, узкоспециальными или вспомогательными исследованиями, о чем свидетельствуют ее знаменитые археологические и этнографические экспедиции. Первый советский устав Академии наук, разработанный в 1927 году при участии руководителей Коммунистической академии, содержал отсылку к «научным дисциплинам, входящим в круг ее [старой академии] ведения», и академики считали эту фразу указанием на то, что им не полагается затрагивать области, близкие к марксизму².

Однако некоторые тенденции нарушали это удобное разделение обязанностей. Хотя после 1917 года советская власть, выделяя средства на развитие Академии наук, старалась поощрять ее физико-математическое направление, продолжительный переход академии к естественным наукам едва ли можно назвать гладким. Два гуманитарных отдела — русского языка и словесности и историко-филологический — изображались партийными учеными как главная институционально-идеологическая угроза и в 1927 году были объединены³.

Более того, после 1923 года Коммунистическая академия сама вторглась в область естественных наук, косвенно угрожая тем самым мирному сосуществованию двух академий и пытаясь расширить сферу влияния марксистской методологии, перенеся ее на нетронутую почву. Хотя Коммунистическая академия оставалась слабой в естественных науках — и столкнулась с серьезными проблемами даже в процессе поиска компетентных марксистов, которых можно было бы привлечь к работе в ее подразделениях,

¹ *Vucinich A.* Empire of Knowledge. P. 101–106, 121.

² *Tolz V.* Russian Academicians. Chap. 2.

³ *Bailes K.* Natural Scientists and the Soviet System // Party, State, and Society in the Russian Civil War / ed. D. Koenker et al. Bloomington: Indiana University Press, 1989. P. 271; *Vucinich A.* Empire of Knowledge. P. 101; *Graham L.* The Soviet Academy of Sciences. P. 86.

занимавшихся естественными и точными науками, Обществе биологов-марксистов и Институте высшей нервной деятельности, — ее действия в этом направлении имели большое политическое и идеологическое значение. Когда в 1927 году на заседании президиума академии прозвучало предложение передать Институт высшей нервной деятельности Наркомздраву, Покровский убежденно заявил, что какие-либо признаки неудачи в области естественных наук чересчур обрадуют Всесоюзную академию наук и подобные учреждения, и от этой мысли отказались¹. В отчете для внутреннего пользования Покровский подчеркивал, что Комакадемия «не есть... учреждение только обществоведческое, это есть несомненный (и довольно уже зрелый) зародыш *Коммунистической Академии Наук*. <...> Академия... должна работать „во всех отраслях знания“. Попытки сузить в чем-либо работу академии в этом отношении были бы попытками определенно ослабить значение этого „научно-методологического центра“. И так как *центр* у всякой окружности бывает только *один*, то из этого вытекает, не будем бояться слов, известная монополия нашей академии на руководство партийно-научной работой во всесоюзном масштабе»².

Конкурентный симбиоз двух академических лагерей в 1920-е годы также наложил заметный отпечаток на то, что можно назвать научной идеологией каждой из сторон, — идеи и представления о роли и задачах науки и ученых. Октябрьская революция отбросила большую часть академиков, чьи взгляды сформировались в рамках дореволюционной академической культуры, из умеренно левого политического крыла в правое. При царском режиме движение за независимость академии было связано с освободительным движением и идеалами социального служения. Но в той борьбе, которая велась в научных

¹ Стенографический отчет заседания Бюро Президиума Коммунистической академии. 24 декабря 1927 // АРАН. Ф. 350. Оп. 1. Д. 119. Л. 36.

² Покровский М.Н. О деятельности Коммунистической академии, без даты, возможно, 1928 год // АРАН. Ф. 540. Оп. 4. Д. 31. Л. 8.

кругах через пять лет после 1917 года, противниками тех, кто отстаивал независимость академии, оказались самопровозглашенные носители прогресса и лидеры масс. На фоне большевистских высказываний о политической и даже классовой природе знания (которые касались прежде всего социальных наук, но не ограничивались ими) и настойчивых требований к естественным наукам ориентироваться на практическое применение исследовательская деятельность ради нее самой и ради чистой науки приобрела черты инакомыслия.

Последствия этих двухсторонних отношений еще заметнее проявились во второй половине 1920-х годов, когда академики были вынуждены реагировать на высказываемые большевиками идеи и защищаться от все более настойчивых коммунистических установок на планирование, коллективизм и работу во благо социалистического строительства. Этой реакции сопутствовали два ключевых спора, разделивших членов академии в 1920-е годы: между теми, кто поддерживал дальнейшее развитие прикладных исследований, и теми, кто относился к этому направлению скептически, а также между старающимися найти компромисс руководителями академии и ее более воинственно настроенными членами, критиковавшими тактику Ольденбурга¹.

Сам Ольденбург, например, считал возможным или целесообразным на праздновании десятилетия Коммунистического университета им. Я.М. Свердлова в 1928 году выйти на трибуну и заявить, что Академия наук поддерживает студентов-коммунистов в строительстве новой культуры. Но его дипломатические усилия и постоянные упоминания заботливого отношения Ленина к науке не предотвратили того, что случилось в 1927 году, когда он обратился к правительству с горячей просьбой сохранить

¹ Об этих спорах см.: *Graham L.* The Soviet Academy of Sciences. P. 28–29; *Беломорцев С.* Большевизация Академии наук // *Посев*. 1951. № 46. С. 11; Комиссия по наукам техническим: заседание от 20 октября 1928 г. // ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 45. Д. 1. Л. 353.

традиции академии, позволить ей и дальше заниматься гуманитарными науками и даже вновь внести в устав академии «индивидуалистическую» формулировку 1836 года, согласно которой «главная обязанность академика состоит в том, чтобы употреблять все силы к усовершенствованию своей науки». Даже те члены академии, которые прицельно занимались прикладными исследованиями, видели в них лишь практическое продолжение чистой науки¹.

Постоянное взаимодействие оставило след и в развитии Коммунистической академии в 1920-е годы. Партийные ученые формулировали свои задачи исходя из большевистского или марксистского наследия, одновременно сознательно противостоя тому, что считалось внепартийной традицией, «либеральными» и «идеалистическим» научными ценностями, которые были объявлены несостоятельными. На протяжении этого десятилетия альтернативная сфера интересов Коммунистической академии выстраивалась в зависимости от того, какие направления могли укрепить ее авторитет, и одновременно в борьбе за первенство со старой академической элитой. Вместо административной независимости и науки ради науки Коммунистическая академия взяла курс на службу революции, государству и партии. Поскольку практичность и прикладной характер дисциплины в действительности были новыми для марксистских социальных наук критериями, партийная наука в Коммунистической академии развивалась быстро. Акцент, сделанный сначала на отвлеченной марксистской теории, уступил место повышению ценности консультационной работы и задачам, которые расценивались как практически значимые, например исследованиям для партийных

¹ Луначарский А. Наука в СССР // РГАСПИ. Ф. 142. Оп. 1. Д. 179. Л. 49; Ольденбург С. В комиссию СНК СССР по содействию работе Академии наук СССР, 25 февраля 1927 // ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 45. Д. 34. Л. 188–194; Ольденбург С. Ленин и наука // Научный работник. 1926. № 1. С. 3–7; Vucinich A. Empire of Knowledge. P. 95.

съездов и фестивалей и коллективным проектам, таким как составление сборников на темы, приуроченные к актуальным политическим кампаниям¹.

О новой служебной функции академии особенно явственно свидетельствует резолюция, составленная в 1927 году Оргбюро при активном участии руководства академии, одобренная Политбюро и опубликованная от имени Центрального комитета. В ней говорилось, что Коммунистическая академия «должна уделять особое внимание теоретической подготовке актуальных экономических и политических проблем современности перед Коминтерном и ВКП». Эта резолюция вышла после заседания Оргбюро с участием руководителей академии Павла Милютина и Льва Крицмана, в ходе которого Сталин и Молотов выразили желание приблизить организацию к Центральному комитету.

Впоследствии Крицман в частном порядке на заседании президиума академии возразил против подобной резолюции, которая грозила тем, что академия, уступив контроль над направлением своей научной деятельности, превратится просто в часть партийного аппарата. Но в соответствии с заранее принятым решением о расширении занимающихся политическими вопросами отделов академии члены президиума проигнорировали эти соображения и помогли составить проект постановления Центрального комитета. На заседании прозвучала и еще более выразительная формулировка, нарекавшая академию научным органом Центрального комитета партии².

Хотя члены Коммунистической академии сознательно перекраивали идеалы старой академической интеллигенции,

¹ В 1922 году была создана специальная комиссия для расширения практических функций академии. См.: Протокол заседания Президиума Социалистической академии общественных наук, 26 февраля 1922 г. // РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 60. Д. 230. Л. 4–5; *Shapiro J.* A History of the Communist Academy. P. 43–48; 112–113.

² О работе Комакадемии (Постановление ЦК ВКП(б) от 22 июля 1927 г.) // Правда. 1927. 26 июля. С. 6. См.: Заседание Президиума Коммунистической академии 2 апреля 1927 г. // АРАН. Ф. 350. Оп. 1. Д. 93. Л. 1–2.

в других случаях они втайне восхищались престижем и авторитетом, которыми обладала Академия наук в Советском Союзе и за рубежом. Одним из наиболее важных аспектов, вызывавших подражание со стороны Комакадемии, была организация науки. Эта малоизвестная сторона симбиоза двух академий сыграла существенную роль в целостной организации науки в СССР.

До 1917 года многие представители научной интеллигенции высказывались в пользу идеи научно-исследовательского института — в особенности поддерживала эту инициативу Академия наук, стремившаяся таким образом укрепить свой престиж на фоне развивающихся исследовательских университетов. Однако царское правительство отвергло большинство проектов подобных институтов. После 1917 года эта новая форма прогрессивной исследовательской деятельности продолжала привлекать внимание, поскольку воспринималась как современный и передовой аналог сформировавшихся в начале XX века объединений научных институтов в Европе, в особенности Общества кайзера Вильгельма в Германии. Но научно-исследовательский институт можно было бы назвать и плодом революционной эпохи, как это утверждалось в отчете Главного управления научными, научно-художественными и музейными учреждениями (Главнауки) за 1922 год, поскольку в России расцвет таких институтов начался в основном уже после 1917 года. Из восьмидесяти восьми институтов, существовавших в РСФСР в 1925 году, семьдесят три были основаны после революции, а пятьдесят пять из них специализировались на естественных и прикладных науках¹. По при-

¹ Отчет Главнауки за 1922 год // Бюллетень Главнауки. 1922. № 3–4. С. 14. О количестве новых институтов см.: *Петров Ф.Н.* Научно-исследовательские институты СССР // Молодая гвардия. 1925. № 9–11. С. 146–149; о влиянии Общества кайзера Вильгельма см. в особенности: *Nötzold J.* Die deutsch-sowjetischen Wissenschaftsbeziehungen // *Forschung im Spannungsfeld von Politik und Gesellschaft: Geschichte und Struktur der Kaiser-Wilhelm / Max-Planck-Gesellschaft* / ed. R. Vierhaus, B. von Brocke. Stuttgart: Deutsche Verlag, 1990. S. 778–800. Я опираюсь на работу, которая остается самым значимым

меру Комиссии по изучению естественных производительных сил, основанной в 1915 году академиком В.И. Вернадским, уже в 1919 году Академия наук начала преобразовывать свои отделы в институты¹. Ольденбург поддерживал тесные связи с коллегами из немецкого Общества кайзера Вильгельма и, вернувшись из путешествия по Европе в 1926 году, сделал историческое заявление, которое вполне могло исходить от представителей большевистской интеллигенции: «Если восемнадцатый был веком академий, а девятнадцатый — веком высшей школы, то двадцатый начинается тем, что становится веком исследовательских институтов»².

Речь шла о действительно важном вопросе, решая который многие беспартийные и партийные ученые могли найти точку соприкосновения в двойственной системе нэпа. Однако не стоит забывать при этом о разнице в планах, которая стояла за широкой поддержкой новой структуры. В период нэпа беспартийная научная интеллигенция нередко поддерживала создание институтов, стремясь отстоять независимость, сохранить финансирование и развивать свои исследовательские направления в организованной форме³. Что касается Коммунистической академии, она, развивая научно-исследовательские институты, проецировала привлекательность западноевропейских моделей и престиж внепартийной академической традиции на стоящие перед большевиками задачи централизации и планирования.

исследованием на эту тему: *Graham L.R. The Formation of Soviet Research Institutes: A Combination of Revolutionary Innovation and International Borrowing // Social Studies of Science. 1975. Vol. 5. № 3. P. 303–329.* См. также другую точку зрения: *Kojevnikov A. The Great War, the Russian Civil War, and the Invention of Big Science // Science in Context. 2002. Vol. 15. № 2. P. 239–275.*

¹ Ульяновская В.А. Формирование научной интеллигенции в СССР, 1917–1937 гг. М.: Наука, 1966. С. 68–69.

² Ольденбург С.Ф. Из впечатлений о научной жизни в Германии, Франции и Англии // Научный работник. 1927. № 2. С. 89.

³ См., например: *Josephson P. Physics and Politics in Revolutionary Russia. Berkeley: University of California Press, 1991. P. 71.*

Проект преобразования скромных отделов Комакадемии в институты в 1924 году разрабатывался на основе детального сопоставления ее структуры как с Обществом кайзера Вильгельма, так и с Академией наук. Тогда Давид Рязанов, чьи суждения об оптимальном способе организации пользовались в партийной академии наибольшим авторитетом, предложил не только повторить ход конкурента, но и превзойти его, превратив всю Коммунистическую академию в систему институтов. В проекте Рязанова академия представляла как организующий центр, контролирующий институты, работа которых обеспечила бы ей быстрое развитие¹.

В 1928 году, когда Рязанов кратко обрисовал проект полного упразднения академий и замены их самостоятельными институтами (что в разгар большевизации явно было рискованно), его предложение подверглось резкой критике на пленуме Коммунистической академии на том основании, что лишь наличие академии обеспечивало централизованный политический контроль². Этот диалог важен не с точки зрения недолго просуществовавшего проекта Рязанова, гипотетически упразднявшего организующий центр, но потому, что показывал, насколько большевистская интеллигенция в Коммунистической академии, лидеры которой в скором времени приняли активное участие в попытке перестроить систему управления в сфере высшего образования, привыкла к мысли, что расширяющаяся сеть исследовательских институтов, подчиненных централизованной академии, является необходимой формой организации высшего уровня советского академического сообщества.

¹ Протокол общего собрания членов Социалистической академии 17 апреля 1924 г. // ВКА. 1924. № 8. С. 385; Пленарное заседание президиума Комм. академии, 15 июня 1926 г. // АРАН. Ф. 350. Оп. 1. Д. 45. Л. 4.

² Первая всесоюзная конференция марксистско-ленинских научно-исследовательских учреждений (22–25 марта 1928 г. Стенографический отчет) // ВКА. 1928. № 26. С. 266.

БОЛЬШЕВИЗАЦИЯ КАК ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Эта состоящая из двух частей и двух центров академическая система 1920-х годов, со всеми ее особенностями, обладала еще одной характерной чертой: партийные члены Коммунистической академии были не просто идейными противниками Академии наук, но играли ведущую роль в деятельности многих закулисных надзорных комиссий, стремившихся взять под контроль старую академию. Именно с них начался длительный политический процесс, кульминацией которого стала кампания за большевизацию.

Естественно, что внимание партийной интеллигенции привлек устаревший устав Академии наук 1836 года, поскольку принятие в 1922 году нового университетского устава, открывшее путь партийному контролю над университетскими управляющими органами, стало ключевым моментом в ее борьбе с беспартийной профессурой за высшую школу¹. Тот факт, что первый документ советской эпохи, касающийся академии, появился лишь в 1927 году, говорил о ее особом положении. Тем не менее ее уставом большевики заинтересовались уже в 1924 году, и он послужил отправной точкой планов реформирования старой академии.

Это был год, когда Покровский на правах заместителя наркома просвещения предложил проект нового устава Академии наук. О надеждах Покровского таким образом урезать автономию Академии наук можно судить по докладу, сделанному им на совещании Наркомпросов союзных и автономных республик в октябре 1924 года: в нем говорилось, что Академия наук собирает вокруг себя наиболее выдающихся российских ученых с мировым именем, которым прекрасно известно, что они

¹ *Иванов К.В.* Новая политика образования 1917–1922: реформа высшей школы // Расписание перемен: очерки истории ... С. 359–379; *Finkel S.* On the Ideological Front: The Russian Intelligentsia and the Making of the Soviet Public Sphere. New Haven, CT: Yale University Press, 2007. Chap. 2.

могут найти применение своим талантам где захотят и что поэтому необходимо подходить к ней с осторожностью, но что, тем не менее для академии разработан новый устав, который позволит более пристально наблюдать за ее работой¹. Незадолго до того Покровский обратился к Рыкову, председателю Совнаркома, с просьбой поддержать этот проект — документ, который предлагала Главнаука, входившая в состав Наркомпроса. Саркастически высказываясь о почете и независимости, которых академики добивались для своей организации, Покровский предупреждал Рыкова, что Ольденбург и тогдашний вице-президент академии В.А. Стеклов будут недовольны этим проектом: вместо того чтобы даровать академии статус всесоюзного учреждения, право «контроля и отчета» по делам академии передавалось Главнауке, а назначать президента академии должен был Совнарком². Во внутренних тезисах Главнауки по поводу Академии наук, составленных примерно в то же время, оговаривались причины подобных организационных решений: между деятельностью Академии наук и экономическим и культурным развитием СССР должны были установиться новые «органические» связи; тесное идеологическое и организационное взаимодействие предполагалось прежде всего между академией и двумя органами в составе Наркомпроса, Главнаукой и Государственным ученым советом (ГУС) — главой последнего был Покровский, а штат научно-политического подразделения ГУСа полностью состоял все из тех же ведущих представителей большевистской интеллигенции³.

Попытка ограничить независимость старой академии потерпела неудачу. Вместо этого в 1925 году, как раз в год двухсотлетнего юбилея академии, Политбюро приняло решение

¹ Совещание Наркомпросов союзных и автономных республик, 1-е заседание, 27 октября 1924 г. // АРАН. Ф. 1759. Оп. 2. Д. 5. Л. 64.

² Покровский М.Н. Председателю Совнаркома РСФСР А.И. Рыкову. 25 ноября 1924 // АРАН. Ф. 1759. Оп. 4. Д. 96. Л. 1–2.

³ Тезисы по докладу Главнауки о Российской академии наук // АРАН. Ф. 759. Оп. 2. Д. 18. Л. 4–5.

присвоить ей статус всесоюзной организации. Было выделено 60 тысяч рублей на одиннадцатидневные торжества и даже разрешено пригласить «буржуазных» иностранных гостей, таких как президент Чехословацкой Республики Томаш Гарриг Масарик, в надежде, что продвижение науки завоюет Советскому Союзу международный престиж¹. Эта попытка неожиданным образом привела к публичному одобрению старейшей академии партийным руководством. Старание Ольденбурга идти на компромисс с советской властью, вызывавшее негодование у некоторых из его коллег-академиков, казалось, приносило плоды; сам он поспешил объявить главе Совнаркома, что юбилей «явился не просто торжественным днем, а началом громадного нового научного движения», не упустив случая присовокупить новую просьбу².

Однако публичный триумф, выпавший на долю Академии наук по этому случаю, заставил ее врагов действовать. Политбюро создало специальную комиссию для наблюдения за празднованием юбилея во главе с новым фактическим вице-президентом Коммунистической академии Владимиром Милутиным (надежды Преображенского занять второе место в академии разрушились после того, как в 1924 году он возглавил троцкистскую оппозицию), который воспользовался возможностью предложить сформировать новую комиссию, чтобы контролировать деятельность Академии наук³. Это привело к созданию так называемой комиссии Енукидзе «по содействию работе Академии наук», которая стала движущей силой кампании за большевизацию.

¹ Протокол № 70 заседания Политбюро ЦК РКП(б) от 8 июля 1925 года // РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Ед. хр. 510. Л. 6; также: Ед. хр. 509. Л. 1, 3; Ед. хр. 516. Л. 1. О юбилее см.: *Sorokina M. Partners of Choice / Faute de Mieux? Russians and Germans at the 20th Anniversary of the Academy of Sciences, 1925 // Doing Medicine Together: Germany and Russia between the Wars / ed. S. Gross Solomon. Toronto: University of Toronto Press, 2006. P. 61–102.*

² Письмо С.Ф. Ольденбурга А.И. Рыкову, 9 декабря 1925 // Вестник Российской академии наук. Т. 63. 1993. № 4. С. 358–371.

³ Протокол № 86 заседания Политбюро от 29 октября 1925 года // РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Ед. хр. 526. Л. 5.

На тот момент, когда он был представлен Политбюро, Милютин уже стоял во главе другой комиссии, подчиняющейся Совнаркому и продолжавшей работу над изменениями в уставе Академии наук с июля 1925 года по март 1926 года. Проект устава, поданный от имени этой комиссии, впервые предлагал коренным образом изменить правила избрания членов академии — кандидатуры могли выдвигаться не только самими академиками, но и научными институтами СССР. Тем временем неприменный секретарь Ольденбург придерживался тактики промедления, чтобы предотвратить слияние двух гуманитарных отделов и увеличение числа академиков, прописанные в предложенном уставе¹. Новый устав, разработанный этой милютинской комиссией, был к концу концов одобрен Политбюро 26 мая 1927 года, но высший партийный орган отверг положение, в котором прямо говорилось, что новые члены академии должны утверждаться государством². Комиссия под руководством Милютина шла дальше Политбюро. Лишь месяцем раньше на заседании президиума Коммунистической академии Лев Крицман озвучил традиционную жалобу партийных ученых на то, что руководство научной сферой еще не перешло в их руки, а Отто Шмидт даже отважился заявить, что руководству в лице Центрального комитета предстоит расстаться с еще одной иллюзией, а именно что, привечая Академию наук, можно достичь каких-то существенных успехов на Западе³.

Согласно принятому в 1927 году уставу, в Академии наук также вводилась система управления, характерная для коммунистических научных учреждений, то есть крепкий президиум в духе Коммунистической академии (сам по себе сильно

¹ *Ольденбург С.* В комиссию СНК СССР по содействию работе Академии наук СССР, 25 февраля 1927 года // ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 45. Ед. хр. 34. Л. 194–198.

² Протокол заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 26 мая 1927 года // РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Ед. хр. 636. Л. 4–5.

³ Заседание Президиума Коммунистической академии, 2 апреля 1927 // АРАН. Ф. 350. Оп. 1. Ед. хр. 93. Л. 12–13.

напоминающий руководство партийной ячейки)¹. Уже в октябре 1927 года наделенные особыми правами члены Коммунистической академии — Покровский, Милютин, Луначарский, Рязанов и Вячеслав Волгин — получили от заведующего отделом научных учреждений Совнаркома Е.П. Воронова сверхсекретные копии списков предлагаемых кандидатур в члены Академии наук и новых мест в академии (среди которых были места, предусмотренные для сотрудников отделов, связанных с марксистской социологией, техническими и прикладными науками)².

Наиболее очевидной причиной закулисного контроля над Академией наук, который партийные ученые начали практиковать с 1920-х годов, являлось желание большевистской интеллигенции подорвать позиции и ресурсы старой академии. В 1927 году Милютина снова назначили главой еще одной комиссии Совнаркома, сформированной для проверки нового годового отчета Академии наук; в нее также вошли занимающие высокие посты в Коммунистической академии Покровский и Рязанов³. Это дало Покровскому возможность подвергнуть остроумным и едким нападкам непартийную организацию — оплот «„беспристрастных искателей истины“, соблюдающих благожелательный нейтралитет по отношению к советской власти», однако неспособных идти в ногу с научными требованиями современности.

Покровский считал самоочевидным, что роль центра научно-исследовательской деятельности должна была выполнять академия; но старая академия «никого и ничего» не объединяла. Он допускал, что после реорганизации старая академия может стать центром изучения естественных и точных наук, отмечая,

¹ Устав Академии наук СССР: проект комиссии СНК СССР — пред. В.П. Милютин, 3 марта 1926 // АРАН. Ф. 350. Оп. 1. Ед. хр. 284. Л. 14–27.

² Е. Воронов — В.П. Милютину // ГАРФ. Ф. 3415. Оп. 2. Ед. хр. 5. Л. 29. Было отправлено двенадцать копий этого документа. Его также получили Горбунов, Вышинский, Александр Криницкий и Максим Литвинов.

³ Протокол № 1 заседания Комиссии СНК СССР по рассмотрению отчета Академии наук СССР, 21 июня 1927 // АРАН. Ф. 1759. Оп. 2. Ед. хр. 18. Л. 49.

что закоснелые традиции мешают даже этому. Большевистский историк настаивал, что нуждам социалистического строительства полагается быть первым долгом всесоюзной академии; недопустимо было в исследовательских планах разделять «свободное научное исследование» и «индустриализацию», словно бы второе противоречит первому. В отношении отдела гуманитарных наук он поставил вопрос, имевший огромное значение для его собственной академии: должна ли старая академия ограничиться естественными и точными науками, или социальные и гуманитарные науки также следует включить в сферу ее деятельности? Из последних непартийная академия активнее всего, по словам Покровского, занималась историей, историей литературы и этнографией, но ее работа велась «вполне в духе доброго старого времени». Наконец, он подходил к решающему замечанию: «Нужно или радикально реорганизовать, и в смысле личного состава и в отношении программы занятий, гуманитарное отделение Академии, или вовсе его прикрыть»¹.

Эта атака на академию была лишь одним из нескольких докладов милютинской комиссии, которые вместе представляли собой новую попытку нанести удар по старой академии, шла ли речь о сокращении числа ее отделов, реорганизации или полном упразднении. Андрей Вышинский, партийный правовед и юрист, сыгравший существенную роль в преследованиях беспартийной академической интеллигенции в конце 1920-х годов (когда он в следующем году председательствовал в суде во время процесса по «Шахтинскому делу», он весьма символически облачился в охотничий костюм), утверждал, что целый ряд институтов в академии не имеют никакого права на существование². Волгин, который сам позже занимал должность постоянного секретаря Академии наук с 1930 по 1935 год, а с 1942 по 1953 год — ее вице-президента, в своем докладе отмечал, что отделение

¹ Покровский М.Н. К отчету о деятельности Академии наук за 1926 г. // АРАН. Ф. 1759. Оп. 2. Ед. хр. 18. Л. 88–102.

² ГАРФ. Ф. 3415. Оп. 2. Ед. хр. 3. Л. 6.

гуманитарных наук страдает от какого-то органического недостатка и ему присущ вульгарный, атеоретический эмпиризм. Основатель Коммунистической академии подчеркнуто добавил, что если сравнить публикации Академии наук с публикациями Коммунистической академии, то, несмотря на все научно-технические преимущества первых, работы членов Коммунистической академии обращают на себя внимание благодаря свежести научной мысли. Особенно интересно, что в это же время Волгин высказывался против назначения в гуманитарные отделы Академии наук марксистов, поскольку в существовавших на тот момент условиях это, по его мнению, ослабило бы такие учреждения, как Коммунистическая академия и Институт К. Маркса и Ф. Энгельса. Вместо этого Волгин предложил разделить Академию наук на части и присоединить ее гуманитарные институты к различным высшим учебным заведениям¹.

Таким образом, очевидно, что в 1927 году партийные ученые воспользовались сложившейся ситуацией, совпавшей с зарождением новых планов социалистического наступления и возведением Коммунистической академии в статус научного органа партии, чтобы настоять на более конкретных мерах, которые бы уменьшили значимость Академии наук. Это стремление объединило марксистских социологов, возглавляющих Комакадемию, с их партийными коллегами, специализирующимися на технических и прикладных науках, чья враждебность к Академии наук отчасти объяснялась желанием укрепить прикладные исследования и «отраслевую науку», представленные институтами прикладных наук при различных комиссариатах. Их союз получил административную форму — в 1927 году была основана Всесоюзная ассоциация работников науки и техники для содействия социалистическому строительству в СССР (ВАРНТИСО), создание которой контролировали Вячеслав Молотов и Николай Бухарин. В ходе первого заседания, прошедшего 7 апреля

¹ Волгин В.П. Доклад для комиссии Милютин 1927 года (без названия) // ГАРФ. Ф. 3415. Оп. 2. Ед. хр. 3. Л. 29–30.

1927 года, основатели ВАРНИТСО открыто заявили о своем решении укреплять материальную базу исследовательских институтов, подведомственных Наркомпросу, Научно-технического управления Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и других учреждений, ослабляя при этом материальную базу Академии наук¹.

Один из отцов-основателей ВАРНИТСО, почвовед Арсений Ярилов, которому долгое время удавалось с американской практичностью совмещать работу в разных научно-исследовательских институтах, уже в феврале 1926 года ратовал за радикальное преобразование Академии наук. Он отправил свой план официальным письмом Николаю Петровичу Горбунову, управделами Совнаркома и научному секретарю, и конфиденциально Милютину; в этом проекте с особенной отчетливостью отразились призывы к централизации, вера в плановую и прикладную науку, вписанную в социалистическую систему, и враждебность по отношению к наследию старой академии, которая лежала в основе союза между ВАРНИТСО и партийными учеными. Постоянно называя прежнюю академию устаревшей или пережитком прошлого, Ярилов выступал в пользу создания нового всесоюзного центра, который бы объединил весь комплекс научно-исследовательских институтов и организаций, весь коллектив научных работников со всего Союза в одно целое. Полумеры были бессмысленны — иначе «санскритологи, астрономы или математики» так и остались бы управлять этим важнейшим ядром вместо экономистов, техников и специалистов по политическому планированию².

¹ Протокол заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 13 октября 1927 года // РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Ед. хр. 655. Л. 5; *Тугаринов И.А.* ВАРНИТСО и Академия наук СССР (1927–1937 гг.) // Вопросы истории естествознания и техники. 1989. № 4. С. 46–55.

² Письмо А. Ярилова Н.П. Горбунову, 19 февраля 1926 года, с припиской от руки «т. Милютину В.П. Только лично» // ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 45. Ед. хр. 34. Л. 81–82. О его более ранних взглядах можно прочесть в его изданной в 1917 году брошюре «Демократизация высшей сельскохозяйственной школы и страхование науки».

Среди многочисленных связей между членами Коммунистической академии и ВАРНИТСО можно назвать включение в милютинскую комиссию 1927 года будущего академика А.Н. Баха. Бах, биохимик и сотрудник ВСНХ, избранный в академию в 1929 году, в своем докладе для комиссии Милютин сделал акцент на необходимости ограничить бюджет Академии наук и освободить ее от целого ряда институтов. Отрывки из всех этих докладов Милютин свел в единый документ, предназначенный для Совнаркома и категорически возражающий против увеличения бюджета старой академии за счет других таких же научных организаций¹.

Когда в 1927 году сформировались конкретные планы по реорганизации состава и деятельности Академии наук, та же группа занимающих видные посты интеллигентов-большевиков приступила к их осуществлению. В августе 1927 года Милютин от имени Отдела научных учреждений при Совнаркомом отправил Покровскому сверхсекретный список сорока шести возможных кандидатов в члены Академии наук, попросив его написать характеристику каждого из них².

Однако самой важной из комиссий, занимавшихся Академией наук за 1925–1929 годы, была, вероятно, так называемая комиссия Енукидзе. Она задумывалась как связующее звено между Совнаркомом и старой академией, после юбилея которой ее сформировали, и в 1926 году собиралась несколько раз, в основном для обсуждения вопросов, связанных с финансированием и зарубежной поездкой под руководством Ольденбурга. В нее (помимо председателя, по имени которого она и была названа) входили Милютин как представитель Коммунистической

¹ Бах А.Н. Отзыв об отчете о деятельности Академии наук за 1926 г. // ГАРФ. Ф. 3415. Оп. 2. Ед. хр. 3. Л. 40–42; Доклад о деятельности Всесоюзной Академии наук за 1926 и о плане работы ее 1927/1928 г. Проект (с рукописными исправлениями Милютин) // ГАРФ. Ф. 3415. Оп. 2. Ед. хр. 3. Л. 3–13.

² Зав. Отделом научных учреждений при СНК СССР М.Н. Покровскому. 29 августа 1927 г. // АРАН. Ф. 1759. Оп. 2. Ед. хр. 18. Л. 378–380. Ответы Покровского см.: Л. 381–383.

академии, заведующий Агитпропом Вильгельм Кнорин, а также Луначарский и Горбунов¹.

Как явствует из составленного в марте 1927 года примечательного протестного письма за подписью Ольденбурга, президента Академии наук Карпинского и ее вице-президента Александра Ферсмана, комиссия Енукидзе собиралась в 1926 году в произвольные сроки и уступила главную роль в решении вопросов бюджета и заграничной поездки Отделу научных учреждений при Совнарком (ОНУ). Этот манифест руководства академии отличает одновременно псевдосоветский язык его аргументации и излишняя самоуверенность, даже безрассудная смелость содержащихся в нем требований. Подчеркивая, что академия выполняет государственные задания и обладает серьезным авторитетом за рубежом, академики говорили об уважении к науке, которое их учреждение смогло привить участникам рабочих организаций и молодежи. Далее они совершенно недвусмысленным образом критиковали ненормальную ситуацию отсутствия у руководства академии прямых связей с правительством, сложившуюся на фоне охлаждения в отношениях после юбилея. Ругая ОНУ за непрофессионализм и бюрократию, а также за враждебность и неуважение к академии, академики требовали дать им возможность вновь наладить непосредственные связи с восстановленной комиссией Енукидзе².

¹ Протокол № 91 заседания Политбюро от 19 ноября 1925 года // РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Ед. хр. 531. Л. 9; Повестка заседания комиссии СНК СССР по содействию работам Академии наук Союза ССР // ГАРФ. Ф. А2306. Оп. 1. Ед. хр. 3438. Л. 79–80 и другие материалы: Л. 18–41, 47, 70–73, 77. По всей видимости, в работе комиссии Енукидзе также принимала деятельное участие тройка партийных ученых: вездесущий Покровский, ректор Коммунистического университета им. Я.М. Свердлова М.Н. Лядов и Отто Юльевич Шмидт, известная в Коммунистической академии фигура и главный авторитет в области естественных наук (К вопросу о расширении функции Комиссии А.С. Енукидзе // АРАН. Ф. 1759. Оп. 2. Ед. хр. 18. Л. 384–385).

² *Карпинский А., Ольденбург С., Ферсман А.* В Комиссию при СНК СССР по содействию работам Академии наук Союза ССР // ГАРФ. Ф. А2306. Оп. 1. Ед. хр. 3439. Л. 2–5.

Члены академии добились лишь того, что нажили себе врага в лице главы ОНУ Воронова. В ответ он послал комиссии Енукидзе длинейший список обвинений в адрес старой академии и нелестных для нее фактов; его исторической части мы уже касались, говоря о вымышленных претензиях, предъявляемых на тот момент коммунистами Академии наук. Отвечая на жалобы академиков, Воронов, в частности, обвинил неназванных членов академии в том, что под прикрытием зарубежных поездок те устанавливают связи между славистами-реакционерами и эмигрантами за рубежом; на самом деле поездки Воронов отсрочил потому, что председателю ОГПУ Вячеславу Менжинскому надо было обговорить с ОНУ политические характеристики академиков. Академия служила пристанищем дворянам и бывшим царским чиновникам, уклоняясь при этом от полного контроля со стороны советской власти. В октябре 1917 года Ольденбург выступал против революции, считая ее движением необразованных масс; вплоть до 1922 года академия публиковала работы на религиозную тематику. В целом, пусть академия и выполняла ценную работу, допускал Воронов, она все же была застойной и служила царскому режиму более ревностно, нежели советской власти. Вывод гласил: следует обновить и дополнить список членов академии, сделать организацию доступной для пристального надзора и обеспечить наличие в ней просоветски настроенных академиков. Через месяц после этого доклада кампания за большевизацию открылась первым публичным выпадом в адрес академии в виде обвинений в прессе, которым академия подверглась за наличие в ее рядах бывших дворян и другие грехи¹.

Доводы Воронова не пропали даром — комиссия Енукидзе вовсе не бездействовала, как полагали академики. Хотя она была сформирована в рамках Совнаркома, ее принадлежность к Совнаркому кажется видимостью, создаваемой ради того, чтобы

¹ *Воронов Е.* Докладная записка. 2 апреля 1927. Л. 6–11; *Levin A.E.* Expedient Catastrophe: A Reconsideration of the 1929 Crisis at the Soviet Academy of Sciences // *Slavic Review*. Vol. 47. 1988. № 2. P. 265.

вести в заблуждение общественность и самих академиков; протоколы Политбюро показывают, что эту надзорную комиссию в действительности учредили по особому распоряжению высшего органа партии. К 1928 году она определяла свою роль как политическое руководство Академией наук. Наряду с ленинградским обкомом партии она проводила в Академии наук предвыборную кампанию и приняла важное решение развернуть кампанию вокруг предстоящих выборов и в прессе¹.

В марте 1928 года комиссия Енукидзе представила окончательный доклад Политбюро, которое одобрило ее список потенциальных кандидатов в члены Академии наук. Список включал в себя несколько групп: коммунисты (составлявшие эту группу впоследствии стали членами академии), близкие к партии лица и «приемлемые кандидатуры». Политбюро уполномочило комиссию вносить в этот список изменения в зависимости от обстоятельств; в это же время были одобрены кампания в прессе и пересмотр состава академии (в 1929 году вылившийся в масштабную чистку в рядах академиков). Учитывая, как настойчиво партийные ученые старались подорвать статус Академии наук до 1928 года, одной из самых поразительных резолюций, вынесенных Политбюро, была такая: «Просьбу тов. Рязанова и тов. Покровского о снятии их кандидатур отклонить и обязать их согласиться на избрание в академики»². Неужели два основателя Коммунистической академии, один из которых был ее главой, а другой — директором Института Маркса и Энгельса, в этой ситуации не хотели выходить за рамки партийного лагеря?

Ближе к концу 1928 года отдел агитпропа ЦК, действуя по инициативе комиссии Енукидзе, начал всесоюзную кампанию

¹ Письмо М.Н. Покровского А.С. Енукидзе, июнь 1928 (без даты) // РГАСПИ. Ф. 147. Оп. 1. Ед. хр. 33. Л. 80.

² Протокол № 16 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 22 марта 1928 года // РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Ед. хр. 678. Л. 3; Постановление комиссии Политбюро по вопросу о выборах академиков // Там же. Л. 11–13.

молчаливого вмешательства в выборы в Академию наук. Ее цель заключалась в том, чтобы «поднять общественное мнение страны и развить кампанию в печати *за* одних и *против* других кандидатов, не уделяя особого внимания „нейтральным“», навязывая решения, основанные на рекомендациях агитпропа, причем кампания эта должна была охватить научные и образовательные организации по всей стране¹.

На фоне такого давления, оказываемого на ленинградских академиков, и состоялись знаменитые выборы принадлежащих к коммунистам и пользующихся покровительством партии членов академии в 1929 году. Обычно не говорят, что ключевым моментом процесса большевизации была серия необычных для того времени встреч партийных ученых и академиков. Эти встречи происходили, когда особые предварительные дисциплинарные комиссии, состоящие из академиков и представителей союзных республик, с 11 по 21 октября созывались, чтобы согласовать кандидатуры, которые планировалось представить на общем собрании академии. Среди представителей была делегация партийных ученых, в основном членов Комакадемии — в том числе Милютин, Шмидт, недавно приобретший известность теоретик марксизма Евгений Пашуканис, диалектик И.К. Луппол, а также бывший идеолог Пролеткульта и литературовед П.М. Керженцев². Две академии наконец сошлись лицом к лицу, но партийные интеллигенты выступали при этом как агенты режима. Когда академик А.Н. Крылов назвал гостей «представителями правительства», кто-то из присутствующих выкрикнул, что таких в зале нет, намекая, что математику

¹ Партийное руководство Академии наук: семь документов из бывшего архива Новосибирского обкома КПСС // Вестник Российской академии наук. Т. 64. 1994. № 11. С. 1033–1043; Матвеева А.В., Цыганкова Е.Г. Всеукраинская Академия наук: год 1929-й // In memoriam: исторический сборник памяти Ф.Ф. Перченка / сост. А.И. Добкин, М.Ю. Сорокина. М.: Феникс, 1995. С. 116–118.

² Объемные стенографические отчеты о собраниях комиссии можно найти в архивах: ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 45. Ед. хр. 1–34.

следует поправиться, что тот и сделал: «Нет? Значит, представители научных учреждений»¹.

На самом деле эти комиссии были не единственным посредником между партией и академией в обсуждении предстоящих выборов. Уже в ноябре 1927 года комиссия Енукидзе начала предварительные переговоры с Ольденбургом о претендентах на предполагаемые сорок пять новых вакантных мест. Однако в январе 1928 года Горбунов от имени комиссии выразил мнение, что искреннюю готовность Ольденбурга провести угодные партии кандидатуры нельзя принимать в расчет, поскольку его авторитет среди членов академии пошатнулся². Академия наук действительно представляла собой не слишком сплоченную организацию, а давнее недовольство примирительной тактикой, сопутствовавшей руководству Ольденбурга, прорвалось наружу во время предвыборного кризиса, усугубив разногласия и раздоры³.

Таким образом, диалог между партийными учеными и академиками в ходе заседаний дисциплинарной комиссии в конце 1928 года, несмотря на все интриги, которые вокруг этих заседаний плелись, оказался важным моментом в споре и противостоянии сторон. Посланники партии начали с сильного хода: они потребовали, чтобы предварительные комиссии отобрали по одному претенденту на каждое вакантное место, которое предстояло заполнить в процессе выборов (о чем в уставе 1927 года ничего не говорилось), сведя выбор общего собрания членов академии к голосованию за или против каждой кандидатуры.

¹ Общее собрание Особых комиссий: Заседание 10 октября 10 часа утра // ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 45. Ед. хр. 14. Л. 316.

² См. публикацию важных материалов из Президентского архива: «Наше положение хуже каторжного»: первые выборы в Академию наук СССР // Источник. № 3. 1996. С. 114, 120. См. также более позднее эмигрантское свидетельство, в котором акцент сделан на заблаговременном обсуждении решения между академиками (Ольденбургом и Платоновым) и большевиками (Енукидзе и Бухариным): *Беломорцев С.* Большевизация Академии наук. С. 11–12.

³ Об этом см.: «Наше положение...». С. 130–133; Записка о работе Сергея Федоровича Ольденбурга ... Л. 53, 178.

Эта мера изначально представлялась весьма сомнительной, ей яростно противились Вернадский, физик А.Ф. Иоффе и сам Ольденбург; даже после того как это решение было официально одобрено, к нему неоднократно возвращались в ходе заседаний комиссии¹. Однако примечательно, как академики добивались одной уступки за другой, поскольку партийные ученые стремились добиться избрания группы единомышленников-коммунистов. Несмотря на крайнее неодобрение более непримиримо настроенных членов академии, на заседаниях комиссии в открытую заключались сделки. Одним из наиболее очевидных среди множества примеров можно назвать избрание историка М.К. Любавского. Будучи ректором Московского университета, Любавский остался на своем месте в 1911 году, когда профессорская элита покинула свои посты в знак протеста против консервативной политики министра просвещения Льва Кассо. В ходе кампании 1928 года Любавский подвергался нападкам в печати как реакционер. На собраниях комиссии партийные ученые продолжали выступать против его кандидатуры, но вскоре одобрили ее одновременно с кандидатом коммунистов Николаем Лукиным. Взаимовыгодный обмен был очевиден².

Хотя внешне обе стороны вели себя по отношению друг к другу «культурно» и уважительно, а партийные ученые старались поразить своих хозяев осведомленностью о научных заслугах кандидатов, столкновение двух научных лагерей было разительно очевидным. Академики снова и снова повторяли, что принимать в расчет следует лишь научную значимость и научные достижения. М.М. Богословский выражал мысль, что, оценивая общественную деятельность того или иного кандидата, собравшиеся выходят за рамки научной дискуссии. На что Пашуканис возражал, что сам процесс избрания обширной

¹ Общее собрание. Л. 239–331; см., например: Заседание комиссии по наукам химическим, 20 октября 1928 // ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 45. Ед. хр. 14. Л. 71.

² Заседание комиссии по наукам историческим, 12 октября 1928 // ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 45. Ед. хр. 4. Л. 16.

группы академиков является событием большого общественного и политического значения и поэтому необходимо остановиться на общественно-политической характеристике каждого кандидата¹. Академики, как бы они ни голосовали, возражали против предъявления партийными учеными марксистских пособий и популярных брошюр в качестве научных трудов. Вернадский, оспаривая кандидатуру марксистского философа Деборина (в котором некоторые члены академии усматривали опасность для естественных наук из-за его работ о диалектике природы), указал на разницу между просто философией и «философскими науками»². Довод относился к конкретной ситуации, но его суть выражала характерную для академических кругов точку зрения.

Партийные ученые, в свою очередь, требовали, помимо одной лишь профессиональной компетенции, принимать в соображение самые разные обстоятельства. Представители Москвы настаивали, что играет роль не только политическая ориентация кандидатов, но и применение ими новых (то есть марксистских) методов, что важно продвигать специалистов, занимающихся полезными (то есть прикладными) дисциплинами, и что в академии должны быть представлены различные регионы и национальности, чтобы она была действительно всесоюзной. Когда академики отклонили кандидатуру украинского химика, Крылов заметил, что если учитывать еще и национальность, то одного придется избрать за то, что он чуваш, другого — за то, что он татарин, третьего — за то, что армянин³. Резкое противостояние двух лагерей бросалось в глаза — возражения сторонников одного обуславливали реакцию их противников.

Лишь на фоне этих длительных переговоров, в ходе которых партийные ученые шли на серьезные уступки, можно понять,

¹ Заседание комиссии по наукам историческим, 12 октября 1928 года. Л. 21, 27.

² Там же, 14 октября 1928 // ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 45. Д. 1. Л. 221–248.

³ Заседание комиссии по наукам химическим, 13 октября 1928 // ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 45. Д. 1. Л. 172.

какой решительный перелом произошел, когда три наиболее спорных кандидата-марксиста, предварительно одобренных комиссиями: диалектик Деборин, специалист по истории Французской революции Лукин и марксистский литературовед Владимир Фриче, — не набрали необходимых двух третей голосов в ходе тайного голосования на общем собрании 29 января 1929 года. Что не менее важно, едва прошли и коммунисты, единогласно утвержденные на заседаниях дисциплинарных комиссий¹. Буря негодования, вызванная этим эпизодом, — который многие расценили как политический протест несоветских академиков и который показывал, что многие голосовали по-разному на предварительных заседаниях и на общем собрании, — ознаменовала конец шаткой иллюзии вежливых переговоров между академиками и представителями партийной науки. Однако этот водоворот событий не объясняет, в каком болоте оказалась академия в 1929 году. Как свидетельствуют некоторые источники, состав академии после выборов в феврале 1929 года из-за сделок, заключавшихся предварительными комиссиями, стал, по выражению Вернадского, «более независимым», поскольку значительная часть новых академиков считала политику в духе Ольденбурга и Ферсмана ошибочной, слишком склонной к компромиссам. Ольденбург и сам указал на это правительству².

Учитывая создавшуюся ситуацию, уже в 1929 году академию могли ожидать или кардинальные преобразования (упразднение, масштабная реорганизация либо объединение с Коммунистической академией), или какие-то не столь резкие перемены. Из существующих вариантов угроза ликвидации Академии наук и разделения ее на множество самостоятельных учреждений представлялась все более вероятной: Коммунистическая

¹ По всей видимости, к таким неожиданным результатам привело тайное голосование. Перед голосованием академик Иоффе убеждал коллег в частной беседе не допустить, чтобы эти трое были избраны единогласно (*Перченко Ф. Ф.* Академия наук на «великом переломе». С. 186).

² Пять вольных писем. С. 433–434; Записка о работе Сергея Федоровича Ольденбурга ... Л. 82, 84, 118–120.

академия при таком исходе получила бы уникальную возможность занять ее место. В тот кризисный период подобная угроза озвучивалась не раз — как до провала трех партийных кандидатов, так и после. «Представители союзных республик» недвусмысленно угрожали непокорной академии расформированием организации. После того как тройка партийных ученых потерпела поражение на выборах, делегацию академиков, получившую распоряжение приехать в Москву, в срочном порядке отправили на экстренное совещание в Кремль в лимузине с занавешенными окнами. На совещании член Политбюро Валериан Куйбышев решительно высказался в пользу применения к академии самых суровых мер¹.

Однако все же нет оснований полагать, что в 1929 году Академия наук действительно была на грани упразднения, хотя то, что Коммунистическая академия ждала своего часа, придавало опасениям некоторую остроту. По иронии судьбы, решающим голосом за сохранение Академии наук стала резолюция новой «фракции коммунистов-академиков», партийных ученых, только что создавших в старейшей академии коммунистическую базу. В феврале 1929 года члены фракции сообщили Политбюро, что в ходе обсуждения единогласно пришли к следующему выводу: Академию наук следует не ликвидировать, а тщательно реконструировать².

Произошла внезапная перемена: вновь избранные коммунисты-академики, в том числе такие известные члены Коммунистической академии, как Покровский, Рязанов, Деборин, Бухарин и Фриче, теперь дали официальное разрешение защищать старую академию³. Более того, именно в процессе принятия

¹ Переченок Ф.Ф. Академия наук на «великом переломе». С. 184–185, 183, 188. Однако совещание в Кремле закончилось компромиссом: было принято решение об организации специальных перевыборов для не прошедшей в академию тройки.

² В Политбюро ЦК ВКП(б): протокол заседания фракции коммунистов-академиков от 25 февраля 1929 г. // РГАСПИ. Ф. 147. Оп. 1. Д. 33. Л. 105.

³ Лукин и Глеб Кржижановский также принадлежали к членам Коммунистической академии, избранным в Академию наук, но на обсуждении не

этого решения фракцией коммунистов-академиков, ведущих представителей партийной науки, впервые обозначилась связь между будущим курсом Коммунистической академии и неожиданной переменной отношения к Академии наук. Подготовив в Академии наук почву для развития партийной науки, партийные ученые явно посмотрели на перспективы обеих академий совершенно другими глазами.

Теперь именно реорганизованная старая академия, а не ее коммунистический аналог, мыслилась — впервые — большевистскими интеллигентами как главное научное учреждение будущего. Коммунисты-академики убеждали Политбюро, что в долговременной перспективе необходимо развивать единую научную организацию, охватывающую различные дисциплины единством метода, и добавляли, что Академию наук следует радикально преобразовать, реорганизовать и перестроить. Отделение гуманитарных наук решено было коренным образом реформировать — в этом могло помочь руководство Коммунистической академии и другие партийные организации.

Более того, коммунисты-академики согласились печататься в журналах, участвовать в посещающих зарубежные страны делегациях и формировать вокруг себя молодые кадры в реформированной академии. Бухарин, Покровский и Рязанов были выбраны, чтобы передать предложения фракции Политбюро, и группа назначила через неделю совещание с руководителями ВАРНИТСО в Институте Маркса и Энгельса. Коммунистическая академия не была забыта: новые академики одновременно приняли решение, что Коммунистическая академия должна остаться научным центром коммунизма с культурной точки зрения¹. Хотя представители фракции, возможно, не хотели в своем докладе подробно останавливаться на Коммунистической академии, найденная ими формулировка звучала

присутствовали. Иван Губкин был единственным коммунистом-академиком, не состоявшим в Коммунистической академии.

¹ Протокол заседания фракции коммунистов-академиков. Л. 105–106.

достаточно жалко для организации, десять лет стремившейся к лидерству.

Рязанов теперь уверял своих новых коллег, что, потратив «колоссальную энергию» на «завоевание» Академии наук, он и его товарищи-коммунисты едва ли ставят своей целью разрушить ее изнутри. Они скорее заинтересованы в реформировании, поддержке и укреплении этой организации. Но удивительнее всего, что Рязанов позволил себе принизить Коммунистическую академию, одним из руководителей которой он с самого начала являлся. Она, по его словам, представляла собой лишь бледную копию структуры Академии наук¹.

Единственной причиной этого поразительного отречения могли стать разочарование видного марксистского ученого в основанной им академии и его разрыв с ней. Некоторые тенденции в Комакадемии в середине — конце 1920-х годов, по-видимому, способствовали этому охлаждению Рязанова. В середине этого десятилетия партийная академия резко «помолодела» благодаря притоку молодых научных сотрудников: если в 1925 году их было только двадцать, то в 1927 году — уже сто пятьдесят шесть. Из этих последних три четверти были выпускниками Института красной профессуры и своим появлением привнесли особый тип большевистской политической культуры, отличавшийся воинственностью². Накануне «великого перелома» новое поколение кадров бросилось в гущу баталий, которые шли не только на дисциплинарном и идеологическом фронте, но и между поколениями. Кроме того, на фоне происходившего среди партийных ученых брожения хваленая служебная функция академии во всех областях, за исключением партийной идеологии, становилась предметом насмешек; к 1930 году самопожертвование

¹ Речь Рязанова. Без названия // РГАСПИ. Ф. 301. Оп. 1. Д. 80. Л. 57–69.

² Черепнина Б.И. Деятельность коммунистической партии в области подготовки научно-педагогических кадров по общественным наукам СССР за 1918–1962 гг. (Дисс. на соискание ученой степени кандидата наук, Институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, М., 1964. С. 70–71.

партийных ученых зашло так далеко, что «Вестник» академии, который задумывался как наиболее научное из всех партийных изданий, основанных в начале 1920-х годов, практически перестал выполнять свои функции исследовательского журнала¹. Рязанову, человеку прямолинейному и эрудированному, неоднократно приходилось участвовать в политических перепалках с уверенными в своих знаниях студентами на курсах марксизма в Комакадемии, а также на встречах партийной ячейки Института Маркса и Энгельса, которым он руководил твердой рукой. Это обстоятельство существенно осложняло ситуацию на момент, когда около 1929 года произошло его первое серьезное столкновение с группой красных ученых. Раздражение, которое вызывала в Рязанове необходимость отслеживать отклонения, заставила его в том же году неофициально отстраниться от всякого участия в работе президиума Комакадемии².

На другом полюсе новых академиков-коммунистов находился Покровский. Его собственные агрессивность и умение маневрировать помогали ему оставаться у руля Комакадемии, где он пережил «великий перелом» и участвовал в метаморфозах партийной науки. Будучи лидером марксистских историков, он инициировал нападки на историков немарксистского толка в Академии наук, прежде всего Сергея Платонова и Евгения Тарле, о которых он в середине 1920-х годов на партийных совещаниях неоднократно отзывался как о представителях самый реакционной в СССР группы историков. Растущее число свидетельств (хотя и косвенных) говорит о связи между личной неприязнью,

¹ Об итогах работы и новых задачах, стоящих перед Комакадемией на новом этапе // ВКА. № 37–38. 1930. С. 11.

² См. его примечательное письмо, в котором он снимает с себя обязанности: *Рязанов Д.Б.* В президиум Коммунистической академии, 8 февраля 1931 // РГАСПИ. Ф. 147. Оп. 1. Ед. хр. 33. Л. 52–59. См. также: *Рокитянский Я., Мюллер Р.* Красный диссидент: академик Рязанов — оппонент Ленина, жертва Сталина. Биографический очерк, документы. М.: Академия, 1996; *Рокитянский Я.* Трагическая судьба академика Д.Б. Рязанова // Новая и новейшая история. 1992. № 2. С. 107–148.

которую вызывали эти историки у Покровского, и карательными мерами, примененными ОГПУ к фигурантам «Академического дела» 1929–1930 годов¹. Более того, в 1929 году Покровский выступил против намерения своих новых коллег, коммунистов-академиков Рязанова и Бухарина, создать в Академии наук Институт истории, в рамках которого совместно работали бы партийные и беспартийные историки. Более молодые партийные историки, такие как Григорий Самойлович (Цви) Фридлянда, возражая против предложения Бухарина и Рязанова, шли еще дальше своего учителя и открыто заявляли, что Коммунистическая академия должна оставаться единственным центром научно-исследовательской работы в области социальных наук².

Но несмотря на резкое обострение конфликтов в партийном лагере, фракция коммунистов-академиков единогласно решила взять курс на сохранение старой академии как главного научного учреждения и нового потенциального объекта, который мог бы удовлетворить их стремление к единоличной власти в научной сфере. Вопрос теперь заключался в том, должны ли этому сопутствовать радикальная и жестокая ломка старых традиций и пересмотр состава академии (сторонником этой точки зрения, безусловно, считался Покровский) или достаточно более мягких реформ и, возможно, постепенного слияния с Коммунистической академией, — позиция, которую по крайней мере некоторые источники приписывают Рязанову и Бухарину³.

¹ См.: Письмо Покровского в секретариат Центрального комитета, Л.М. Кагановичу и А.И. Криницкому, 18 декабря 1928 // РГАСПИ. Ф. 147. Оп. 1. Ед. хр. 37. Л. 18; *Ананич А.В.* О воспоминаниях Н.С. Штакельберг // *In memoriam*. С. 85; *Каганович Б.С.* Евгений Викторович Тарле и петербургская школа историков. СПб.: Дмитрий Буланин, 1995. С. 35–36.

² Протокол заседания коммунистической фракции Совета Общества историков-марксистов от 11 марта 1929 // РГАСПИ. Ф. 147. Оп. 1. Д. 30. Л. 2–3; *Калистратова Т.И.* Институт истории ФОН МГУ-РАНИОН (1921–1929). Нижний Новгород: Издательство Нижний Новгород, 1992. С. 161–162.

³ Записка о работе Сергея Федоровича Ольденбурга ... Л. 18, 108, 177; Пять вольных писем. С. 434, сн. 11.

Именно в общей установке на реорганизацию старой академии, а не в определении меры ее суровости партийная интеллигенция сыграла, по-видимому, решающую роль. Значимость высказанных коммунистами-академиками соображений подтвердилась, когда в марте 1929 года Политбюро по инициативе фракции распустило комиссию Енукидзе и на ее место назначило новую комиссию Политбюро, состоящую из коммунистов-академиков во главе с Покровским, для составления плана реорганизации Академии наук. В апреле 1929 года Политбюро одобрило планы коммунистической фракции академиков, направленные на дальнейшую координацию и организацию работы академии, воздерживаясь при этом — как было сказано, на данном этапе — от создания новых гуманитарных институтов¹. Предполагалось, что после большевизации академии Политбюро было согласно на расширение ее отделов, занимавшихся гуманитарными и социальными науками, но лишь со временем.

Долго лелеемые планы относительно будущего Коммунистической академии не улетучились в одночасье. Некоторые из новых академиков, например Луначарский и в первую очередь порицаемый как «реакционер» Бухарин, тогда еще член Политбюро, к середине 1929 года оказались в опале и не обладали почти никаким авторитетом, а Коммунистическая академия приближалась к высшей точке своего расцвета. Существовали глубинные причины, в силу которых многие партийные ученые еще несколько лет продолжали поддерживать Коммунистическую академию. Во-первых, организация сохранила свое значение коммунистического научного противовеса, поскольку кампании против Академии наук продолжались, ее состав подвергался пересмотрам, не смолкали призывы к радикальной культурной революции. Одного из главных фигурантов «Академического дела», директора библиотеки академии, историка

¹ Протокол № 68 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 14 марта 1929 // РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Ед. хр. 730. Л. 5; Протокол № 73 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 15 апреля 1929 // РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Ед. хр. 735. Л. 3.

С.В. Платонова ОГПУ обвинило в создании мифической антисоветской организации «Всенародный союз борьбы за возрождение свободной России». Во время волны арестов, прокатившейся по Академии наук в 1930 году, некоторые члены Коммунистической академии участвовали в происходящем, с идеологической точки зрения обосновывая сфабрикованные обвинения¹.

Однако следствием политических обвинений в адрес беспартийных академиков и сопровождавшей их масштабной чистки всего состава академии в 1929 году стало увеличение притока партийных ученых в Академию наук, поскольку две трети из 150 академиков и исследователей, об аресте которых до нас дошли сведения, занимались гуманитарными науками². После существенного расширения Академии наук, которая в 1929–1930 годах пополнилась выпускниками и приняла в свои ряды множество ученых-марксистов, увеличив штат сотрудников-коммунистов практически с нуля в 1928 году до почти трехсот пятидесяти в 1933-м, претензии Коммунистической академии на первенство среди всех научных учреждений Советского Союза утратили свою политическую значимость и практическую привлекательность³. Большевизация Академии наук оказалась для ее давнего противника пирровой победой. Хотя очевидным этот факт стал только после того, как были обузданы беспорядки и волнения «великого перелома», на деле Коммунистическая академия разом потеряла смысл и мотив своего существования.

¹ Брачев В.С. «Дело» академика С.Ф. Платонова // Вопросы истории. № 5. 1989. С. 117–129.

² Переченок Ф.Ф. Академия наук на «великом переломе». С. 209; Стенограмма заседания пленума комиссии по проверке аппарата Академии наук СССР

³ В 1930 году Коммунистической академии и ее Ленинградскому отделению (ЛОКА) был поручен подбор этих новых кадров для Академии наук и их подготовка. См.: Выписка из протокола заседания Президиума Ученого комитета ЦИК Союза ССР, 26 марта 1930 г. // ГАРФ. Ф. 7668. Оп. 1. Д. 209. Л. 54; Д. 210. Л. 3–21; Д. 360. Л. 7–8.

Когда в 1932 году были восстановлены в правах «буржуазные специалисты», роль Коммунистической академии как основного средоточия стремлений партии к монополии в научной сфере еще более пошатнулась, после чего она вскоре пришла в упадок. Соперничество Москвы и Ленинграда, проступающее сквозь историю двух академий, закончилось тем, что в 1934 году Академия наук переехала в столицу и в довершение разместилась в новом здании, изначально предназначавшемся для Коммунистической академии. По особой иронии судьбы, в 1936 году Академия наук поглотила партийную организацию¹.

Если говорить о центральной роли Коммунистической академии в преобразовании старой академии, теперь это кажется лишь закономерным завершением извилистого пути от симбиоза и конкуренции 1920-х годов к сложному объединению двух организаций и представляемых ими традиций. Многие официальные, внешние формы, в которых выразилось это слияние (главенство научно-исследовательских институтов, значительное расширение и централизация, коренное «преобразование» отдела гуманитарных наук и приоритет служебных функций со всеми вытекающими последствиями), отчасти отсылают к стремлениям, новшествам или академической идеологии партийной науки — в том виде, в каком она развивалась внутри Коммунистической академии, постоянно оглядывающейся на своего старшего противника.

Длительная борьба Коммунистической академии за право монополии в 1920-е годы уже в 1930-е была благополучно забыта, однако, возможно, из всего ее наследия эта борьба наложила наиболее заметный отпечаток на дальнейшие события. В 1991 году, когда «коварная история» превратила Академию

¹ *Перченко Ф.Ф.* «Дело Академии наук» и «великий перелом» в советской науке // Трагические судьбы: репрессированные ученые Академии наук СССР. М.: Наука, 1995. С. 228; *Shapiro J.* A History of the Communist Academy. P. 291–331; *Fitzpatrick Sh.* Cultural Orthodoxies under Stalin // The Cultural Front: Power and Culture in Revolutionary Russia. P. 246.

наук, представлявшуюся научной моделью будущего, в пережиток прошлого, о Коммунистической академии едва ли вспоминали иначе, чем как о безжалостном враге ее благородного предшественника. Но разве новая, разросшаяся до огромных масштабов Академия наук не осуществила в каком-то смысле ее стремление увенчать собой обширную систему? Господство исполинской советской «империи знаний» не являлось плодом двухсотлетней непрерывной традиции, восходящей к Петру Первому. Оно было наследием давно забытой Коммунистической академии.

ЧАСТЬ III.
ПОСРЕДНИКИ
И ПУТЕШЕСТВЕННИКИ



К гл. 6. «Беседа т. Сталина с Ромэн Ролланом», «Правда», 29 июня 1935 года. Крайняя справа на фотографии — Мария Кудашева. 28 июня 1935 года в ходе встречи Сталина с Ролланом Александр Аросев, глава ВОКС (крайний слева), переводил, а Кудашева делала записи на французском.



К гл. 7. Эрнст Никиш — социал-демократ и член Исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов в Мюнхене, начало 1919 года. Фотоархив Гофмана. Публикуется с любезного разрешения Баварской государственной библиотеки (Мюнхен) / Архива изображений.

6. ПОНЯТЬ И ПОЛЮБИТЬ НОВУЮ РОССИЮ

МАРИЯ КУДАШЕВА КАК КУЛЬТУРНЫЙ ПОСРЕДНИК РОМЕНА РОЛЛАНА

2 июня 1931 года Ромен Роллан писал Максиму Горькому о представительнице русских литературных кругов и переводчице, которая становилась главной женщиной в его жизни, — Марии Павловне Кудашевой (урожденной Кювилье), позже, когда в 1934 году они поженились, известной как Мари Роллан. «Мария Павловна очень много сделала, — писал великий французский литератор великому пролетарскому писателю, — чтобы я лучше понял и полюбил новую Россию»¹. Поездки Кудашевой, одна в 1929 году, вторая — с июля 1930 года по май 1931-го, в Вильнев, где Роллан жил на берегу Женевского озера, пришлось как раз на момент сближения писателя с Советским Союзом сталинской эпохи. Руководствуясь искренними побуждениями, Роллан отошел от свойственных ему в 1920-е годы пацифизма и восхищения Ганди и вступил в ряды более почетной группы появившихся в межвоенное время «друзей Советского Союза», западных

¹ «Maria Pavlovna a beaucoup fait pour me faire mieux comprendre et aimer la Russie nouvelle». Письмо Ромена Роллана Максиму Горькому, 2 июня 1931 года. См.: Correspondance Romain Rolland — Maxime Gorki. Paris: A. Michele, 1991. P. 236. Письма издавались и на русском языке: М. Горький и Р. Роллан: переписка (1916–1936). М.: Наследие, 1995. Цитата: С. 194.

интеллектуалов и литераторов, которые вызывали необыкновенный ажиотаж в СССР 1930-х годов, в период расцвета сталинской культуры. После визита Кудашевой уже немолодой Роллан, который был старше ее на двадцать девять лет, сообщил Горькому о своем решении согласиться принять на себя обязанности почетного президента французского Общества друзей Советского Союза и защищать СССР от любой угрозы или нападок¹. Роллан, известный своей прямолинейностью и неподдельным стремлением поступать по совести, продолжал молчать во время чисток и был, возможно, самым знаменитым из европейских интеллектуалов, в 1930-е годы взявшихся защищать сталинизм.

Кудашева сыграла несколько ролей, значимых для понимания отношения Роллана к Советскому Союзу, когда этот писатель-попутчик своей убедительностью и моральным авторитетом поддерживал сталинизм на протяжении 1930-х годов. Прежде всего она стала его секретарем и эффективно координировала активное в те годы общение Роллана с советской прессой, издательствами и культурными учреждениями. Таким образом Кудашева не только пополнила историю советской культурной дипломатии 1930-х годов еще одним удачным примером, но и способствовала настоящему культу французского писателя в СССР. Переводы Роллана, его высказывания и участие в жизни Советского Союза издавала, на правах главного друга СССР, которые стали возможными благодаря организаторской деятельности Кудашевой, содействовали превращению ее мужа в живую легенду в сталинской культуре эпохи Народного фронта. Сам Роллан лишь отчасти сознавал и контролировал этот статус, а роль Кудашевой в его создании осталась в научной

¹ Письмо Роллана Горькому, 10 августа 1931 года. См.: Correspondance ... Р. 243. О категории «друзей Советского Союза» и о том, как в 1930-е годы принадлежность к ней воспринималась советскими людьми и самими сочувствующими почти в качестве обещания, см.: *David-Fox M. Showcasing the Great Experiment: Cultural Diplomacy and Western Visitors to Soviet Russia, 1921–1941*. New York: Oxford University Press, 2011. Chap. 6.

литературе практически неисследованной. Более того, будучи личным переводчиком Роллана, Кудашева знакомила его с советской культурной жизнью и присутствовала при его встрече со Сталиным в Кремле в 1935 году. Наконец, роль Кудашевой в присоединении Роллана к попутчикам была столь существенна, что в свое время критики Роллана ставили ей в вину пособничество НКВД и манипулирование преданностью ее мужа Советскому Союзу. Ее отношения со спецслужбами по сей день остаются загадкой. В этой главе рассматривается влияние Кудашевой на Роллана — как полноправной участницы событий с собственной точкой зрения и уникальной, многогранной ролью в выстраивании отношений писателя с Советским Союзом. Она предстает здесь и как особый тип культурного посредника.

Под посредниками в данном случае можно понимать людей, поддерживающих постоянное общение со сторонним наблюдателем или путешественником и поверх границ обеспечивающих коммуникацию между заинтересованными иностранцами и советской системой. Если речь шла о попутчиках и европейских интеллектуалах, успешный посредник должен был уметь налаживать отношения и действовать сразу в двух мирах: с одной стороны, в европейской культурной и интеллектуальной среде, с другой — в контексте культурной политики и идеологии сталинского времени. Благодаря тесным отношениям с теми, кто сочувствовал советскому строю, некоторые такие посредники были на особом счету как у советских учреждений, занимающихся культурной дипломатией, так и у необыкновенно успешных организаций под эгидой Коминтерна, созданных Вилли Мюнценбергом. Часто одного значимого попутчика, как это было и с Ролланом, окружало несколько таких посредников. Сталкиваясь с полемическими дискуссиями о советской политике межвоенных лет, языковым барьером и трудностями, сопряженными с передвижением по все более закрытой стране, сочувствующие иностранцы вполне полагались на своих советских коллег, что давало последним возможность влиять на суждения

и представления о Советском Союзе в период, когда Запад с необычайно пристальным интересом наблюдал за коммунизмом¹. В советской культурной дипломатии таким фигурам придавалось преувеличенное значение, особенно в период первой пятилетки, когда на Западе резко усилились просоветские настроения, и в период антифашистской культуры народного фронта. Когда по окончании первого этапа сталинского правления в конце 1920-х годов в Советском Союзе стало труднее выехать за границу и поддерживать контакты с иностранцами, статус советских посредников парадоксальным образом вырос. Это была привилегированная партийная советская интеллигенция, представители культурных учреждений и дипломаты, которые могли путешествовать по Европе, общаться с иностранцами и сообщать всей стране о международных достижениях.

В то же время на посредников оказывалось все большее давление: от них ждали положительных результатов, а действовать им приходилось под прессом сталинской политики и идеологии. В своих действиях они были ограничены своей официальной или квазиофициальной миссией. Но поскольку среди них нередко встречались талантливые, яркие и самостоятельно мыслящие интеллигенты, у них были свои взгляды на политику, культуру и своих «подопечных». Как мне уже приходилось говорить в одной статье, многих из этих посредников можно назвать западниками сталинской эпохи, поскольку они видели возможность сблизить советскую культуру с левой культурой Европы, и многие из них, в том числе Кудашева, искренне восхищались интеллектуалами,

¹ См. размышления о посредниках: *Coeuré S.* «Comme ils dissent SSSR»: Louis Aragon et l'Union soviétique dans les années 1930 // *Les engagements d'Aragon* / ed. J. Girault, B. Lecherbonnier. Paris: L'Harmattan, 1997. P. 59–67; особенно: P. 62–65. О зарубежных писателях в Советском Союзе можно больше прочитать в работах: *Максименков А.* Очерки номенклатурной истории советской литературы: западные пилигримы у сталинского престола (Фейхтвангер и другие) // *Вопросы литературы*. № 2. 2004. С. 242–291; № 3. 2004. С. 274–353; *Максименков А. (сост.)*. Большая цензура: писатели и журналисты в Стране Советов 1917–1956. М.: Материки, 2005. О Роллане см. с. 238, 300, 378–381, 389–390, 391, 411.

на которых воздействовали или которыми манипулировали¹. Их официальная миссия, состоявшая в том, чтобы поддерживать у западной интеллигенции положительные представления об СССР, могла совпадать с их собственным стремлением приблизить советскую культуру к Европе, что, в свою очередь, было предпосылкой превращения Москвы в главную столицу мировой культуры².

Кудашеву, работавшую с Ролланом, а затем ставшую его женой и секретарем, нельзя назвать типичным или обыкновенным посредником. Ее случай заставляет задуматься о разных типах посредников, поддерживавших длительное и тесное общение с симпатизировавшими Советскому Союзу европейскими интеллектуалами, такими как Роллан. Можно выделить по меньшей мере три основных (и, как показывает пример Кудашевой, пересекающихся) типа посредников в истории взаимодействия Советского Союза с иностранными гостями. Первый тип включал в себя представителей советской интеллигенции, ученых или культурных деятелей, занятых той же работой, что и их западные коллеги. С ростом мобилизации советской интеллигенции в 1920-е годы и ужесточением контроля над ней выдающиеся советские интеллектуалы с международными связями стали выполнять официальные или квазиофициальные функции, принимая зарубежных коллег и поддерживая с ними связь. Часто эти функции поручались им потому, что они уже контактировали или состояли в дружеских отношениях с тем или иным иностранцем. Роллан, например, на протяжении двенадцати лет состоял в переписке с Горьким, до того как последний в 1928 году вернулся в Советский Союз и стал видным участником строительства сталинской культуры. Именно Горький еще в начале 1930-х годов

¹ *David-Fox M.* Stalinist Westernizer? Aleksandr Arosev's Literary and Political Depictions of Europe // *Slavic Review*. Vol. 62. № 4. 2003. P. 733–759.

² Об этом см.: *Кларк К.* Москва, четвертый Рим: сталинизм, космополитизм и эволюция советской культуры (1931–1941) / пер. А. Фоменко, О. Гавриковой. М.: Новое литературное обозрение, 2018.

приглашал Роллана посетить СССР и сыграл важную роль, когда в 1935 году тот наконец приехал.

Ко второму типу относились официальные представители советских культурных учреждений (а на более низком уровне — гиды и переводчики) или культурные дипломаты, назначаемые из рядов партийной или близкой к партии интеллигенции. Роллан был достаточно значительной фигурой, чтобы им занимался Александр Аросев, председатель ВОКС, главной советской организации, ведавшей культурной дипломатией. Аросев, старый большевик, революционер и друг детства Вячеслава Молотова и сам к тому же второстепенный литератор, поддерживал общение с французским писателем, которое, по словам Аросева, завязалось еще тогда, когда он до революции жил в эмиграции во Франции. Уже в 1931 году, когда стал вероятен приезд Роллана в СССР, Аросев хвастался Сталину, что хорошо знаком с этим французским интеллектуалом, который явно симпатизирует левым (в тот период Аросев пытался добиться дипломатического назначения во Францию). 17 мая 1935 года Аросев передал просьбу Роллана о его желании в ходе предстоящего визита встретиться со Сталиным и предложил проинформировать Сталина об «интеллектуальном облике» французского писателя. Аросев также посещал Роллана в Швейцарии в середине 1930-х годов, от имени ВОКС курировал его визит в СССР в 1935 году и предоставил Роллану и Кудашевой две смежные комнаты в Доме на набережной. Как и Кудашева, Аросев в качестве переводчика присутствовал при аудиенции Роллана у Сталина¹. Переписка Аросева с Ролланом показывает, что он писал Кудашевой отдельно в преддверии этого визита².

¹ Письмо А. Аросева И.В. Сталину, 25 января 1935 // ГАРФ. Ф. Р-5283. Оп. 1а. Д. 276. Л. 26; письмо Аросева Сталину, 31 июля 1931 // РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Ед. хр. 695. Л. 59–60; письмо Аросева Сталину, 17 мая 1935 // ГАРФ. Ф. Р-5283. Оп. 1а. Д. 276. Л. 109; письмо Аросева Сталину, 23 мая 1931 // РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Ед. хр. 695. Л. 56–57. См. также: *David-Fox M. Stalinist Westernizer?*

² Aleksandr Arosev écrit à Romain Rolland pour la preparation de son voyage (1935) // Cousu de fil rouge: Voyages des intellectuels français en Union soviétique / ed. S. Couéré, R. Mazuy. Paris: Éditions CNRS, 2012. P. 142–143.

Среди других посредников этих двух типов, сыгравших существенную роль в приеме важных иностранных гостей и общении с ними, можно назвать советского посла в Лондоне Ивана Майского, близко знавшего Сидни и Беатрис Уэбб; авангардиста Сергея Третьякова, бывавшего в Берлине и оказавшего влияние на настроения Вальтера Бенямина; колоритного партийного журналиста Михаила Кольцова, который вместе со своей гражданской женой Марией Остен активно участвовал в приеме Лиона Фейхтвангера¹. Об Илье Эренбурге, для которого обе культурные среды были родной стихией, следует упомянуть отдельно, поскольку он располагал обширными связями почти со всем левым крылом французской интеллигенции².

Кудашева же принадлежала к третьему типу, который можно назвать интимными посредниками. Она была одной из тех возлюбленных или жен — русских, советских или коммунисток, — у которых была эмоциональная связь с их партнерами, недоступная для других типов посредников, и которые сами олицетворяли или символизировали «новую Россию», чего не

¹ О Майском и Уэббах см.: *Майский И.М.* Дневник дипломата: Лондон 1934–1943: В 2 т. М.: Наука, 2006; *The Maisky Diaries: The Wartime Revelations of Stalin's Ambassador in London* / ed. G. Gorodetsky. New Haven: Yale University Press, 2016. О Третьякове и берлинских интеллектуалах см.: *Кларк К.* Москва, четвертый Рим. Глава 1. С. 42–77; о Кольцове и Фейхтвангере см. работы Анны Хартман, в том числе: *Hartmann A.* Lion Feuchtwanger, zurück aus Sowjetrußland: Selbstzensur eines Reisebericht // *Exil: Forschung, Erkenntnisse, Ergebnisse*. Vol. 29. 2009. № 1. S. 16–40; *Hartmann A.* Abgründige Vernunft: Lion Feuchtwangers *Moskau 1937* // *Neulektüren — New Readings: Festschrift für Gerd Labrousse zum 80. Geburtstag* / ed. N.O. Ekke, G.P. Knapp. Amsterdam: Rodopi, 2009. S. 149–177; *Hartmann A.* Lost in Translation: Lion Feuchtwanger bei Stalin 1937 // *Exil: Forschung, Erkenntnisse, Ergebnisse*. Vol. 28. 2008. № 2. S. 5–18.

² Лучшей биографией Эренбурга остается книга: *Rubenstein J.* *Tangled Loyalties: The Life and Times of Ilya Ehrenburg*. Tuscaloosa: University of Alabama Press, 1999 (1996); выдающийся русский специалист по Эренбургу, комментатор и составитель многих изданий его произведений — Борис Фрезинский.

могли другие посредники. Но начинала она не с этого. Познакомилась она с Ролланом как второстепенный посредник первых двух типов — с одной стороны, как представительница литературной среды, начавшая общение с французским писателем еще в 1922 году, с другой — как гид и переводчик ВОКС, сопровождающий французских интеллигентов.

ИНТИМНОЕ ВДОХНОВЕНИЕ: СОВЕТСКАЯ ДРУЖБА КУДАШЕВОЙ И РОЛЛАНА

Мария Кудашева, родившаяся в 1895 году в Санкт-Петербурге, была дочерью Адель Кювилье, французской гувернантки, служившей в русских дворянских семьях. Отцом Марии был некий русский офицер; она считалась незаконнорожденной¹. Впоследствии она вышла замуж за князя Сергея Кудашева² (во время Гражданской войны Кудашев присоединился к Белому движению и, по слухам, умер в Крыму от тифа в 1920 году). Постепенно Кудашева стала поэтом и второстепенной, но самостоятельной

¹ *Аракелова М.П., Гордницкая А.А.* «Очарованная душа»: М.П. Кудашева-Роллан // *Российская интеллигенция на родине и в зарубежье* / сост. Т.А. Пархоменко. М.: Российский институт культурологии, 2001. С. 161–175. В статье Г.В. Обатнина «Кювилье, Иванов и Беттина фон Арним» (опубликована в «Россия и Запад: сб. ст. в честь 70-летия К. М. Азадовского» (М.: НЛО, 2011. С. 345–402)) приводится цитата из письма Марии (Майи) Кювилье поэту Вяч. Иванову о том, что ее отцом был Евгений Яковлевич Максимов (1849–1904), подполковник русской армии, журналист и путешественник. Из-за незаконнорожденного статуса присутствует путаница в фамилиях: как следует из приведенного в статье Обатнина письма Марии к свекрови (Е.В. Кудашевой), при рождении она была записана под фамилией «Михайлова», при выдаче паспорта — «Павлова» (под этой фамилией она выходила замуж); в кругу друзей она была известна как Кювилье.

² Об обстоятельствах знакомства Марии Кювилье с Сергеем Кудашевым в 1915 году в Москве, на квартире у Эфронов, см.: *Обатнин Г.В.* Кювилье, Иванов ... С. 346; *Герцык Е.* Воспоминания. Париж: YMCA-Press, 1973 (электронная версия: URL: http://az.lib.ru/g/gercyk_e_k/text_0030.shtml).

фигурой в литературной среде. Будучи близким другом поэта Максимилиана Волошина, который стоял в центре легендарного литературного кружка, собиравшегося в его крымском доме в прибрежном Коктебеле, юная Майя, как ее тогда называли, вращалась в тесном обществе литературной интеллигенции, куда входили Эренбург, Осип Мандельштам и Борис Пастернак¹. В конце 1922 года овдовевшая Кудашева, с увлечением читавшая первые тома романа Роллана «Жан-Кристоф» — монументального «романа-реки», — начала переписку с французским писателем, обрушивая на него шквал своих стихов и восхваляя новый режим, пока не добилась ответа. Как можно понять по этому поведению, Кудашева принадлежала к той части литературной интеллигенции, которая приспособилась к советским условиям, и на протяжении 1920-х годов она оставалась лояльной по отношению к советской власти². Как часто случалось в период нэпа, такая политическая позиция в сочетании со знанием иностранных языков и культурной эрудицией позволила ей, вдове князя и белого офицера, найти применение своим талантам в ВОКС как гиду-переводчику поколения 1920-х годов.

В 1922 году Кудашева стала личным секретарем Петра Семеновича Когана (1872–1932), президента Академии художественных наук, основанной годом раньше, чтобы дополнить советскую науку изучением искусства и литературы. Коган занимался историей западноевропейской литературы, развивая марксистские идеи, пока в годы «великого перелома» не подвергся нападкам

¹ Walker B. Maximilian Voloshin and the Russian Literary Circle. Bloomington: Indiana University Press, 2005. P. 4–5, 142. Кудашева познакомилась с Пастернаком в середине 1910-х годов, чему способствовало издание ее стихов, а позже содействовала его общению с Ролланом. См.: Barnes Ch. Pasternak: A Literary Biography. Vol. 2: 1928–1960. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. P. 12–13.

² Аракелова М.П., Городницкая А.А. «Очарованная душа»: М.П. Кудашева-Роллан; *Coeur é S. La grande lueur à l'Est: Les français et l'Union soviétique 1917–1939*. Paris: Éditions du Seuil, 1999. P. 65, 67; Duchatelet B. Romain Rolland tel qu'en lui-même. Paris: Éditions Albin Michel, 2002. P. 161–175, 285, 331–332, 398.

агрессивных сторонников пролетарской литературы¹. У Когана с Кудашевой был роман. Поскольку возглавляемая Коганом академия вскоре стала финансировать организацию международных выставок, он смог взять ее с собой на одну из таких выставок прикладного искусства в Париже в 1925 году. Там Кудашева познакомилась с французским писателем и поэтом Жоржем Дюамелем, который так увлекся ею, что захотел приехать в СССР. Этот план Дюамель осуществил в 1927 году, путешествуя со своим коллегой-писателем Люком Дюртеном. Дюамель рассказал о Кудашевой Роллану, который в письме к Горькому 5 апреля 1928 года спросил его, знает ли он «преданного гида» Дюамеля и Дюртена: она писала «преlestные» французские стихи и была теперь «страстно увлечена большевизмом»². Тогда Горький еще не был знаком с Кудашевой.

В 1928 году переписка между Ролланом и советским литературным гидом стала более нежной. Роллан, следуя модели, которая выработалась у него в отношениях с другой женщиной, которая прежде занимала важное место в его жизни, разговаривал с Машей как мудрый старший товарищ, старающийся помочь молодой женщине понять себя³. Роллан происходил из мелкобуржуазной католической семьи, жившей в Бургундии, и именно провинциальные корни по крайней мере один из его биографов считает причиной его рассудительной умеренности, его презрения к богеме и пуританской морали (Райнер Мария Рильке однажды заметил, что в его личной жизни есть «что-то от старой девы»⁴). Однако, будучи писателем, одержимым своими идеями, и корреспондентом со склонностью к графомании,

¹ Большая советская энциклопедия / 1-е изд.. М.: ОГИЗ, 1938. Т. 33. С. 217–218.

² «Elle s'est maintenant passionnée pour le bolshevisme». Письмо Роллана Горькому, 5 апреля 1928 года // М. Горький и Р. Роллан: переписка. С. 159. См. также: *Correspondance* ... Р. 199.

³ *Duchatelet B. Romain Rolland*. Р. 291.

⁴ *Fisher D.J. Romain Rolland and the Politics of Intellectual Engagement*. Berkeley: University of California Press, 1988. Р. 13.

Роллан умел проявлять настойчивость, а он был намерен ближе познакомиться со своей почитательницей. В июле 1929 года он обратился к Горькому с просьбой, «не терпящей отлагательств», — чтобы Кудашеву назначили представителем ленинградского издательства «Время», которое готовило к публикации переводы его произведений на русский язык, и она могла бы встретиться с писателем. «Она мой друг, — сказал он Горькому просто, — и я хочу видеть ее лично»¹. Кудашева была назначена представителем, и, когда Роллан решил передать свой гонорар для выплаты стипендий студентам Московского университета, чтобы показать свою солидарность с системой образования новой России, он уполномочил «*mon amie*» Кудашеву сообщить о его намерении ВОКС².

Период, когда Роллан лично сблизился с Кудашевой, — начавшийся с завязавшихся между ними в 1928 году новых, более тесных отношений и продолжавшийся до конца визита Кудашевой в Вильнев в 1931 году — совпал с изменением взглядов французского писателя на СССР. В 1928–1929 годах Роллан все больше склонялся в сторону просоветской позиции, которая укрепилась во время первой пятилетки; к 1931 году его можно было назвать полноценным попутчиком, публично защищающим Советский Союз и занимающим различные посты в дружественных СССР общественно-политических организациях. Политизация и усиление прокоммунистических настроений среди прежде не ангажированной европейской интеллигенции в годы

¹ Письмо Роллана Горькому, 28 июля 1929 года // М. Горький и Р. Роллан: переписка. С. 161. См. также: Correspondance ... Р. 200. Редактором двадцатитомного собрания сочинений, вышедшего в издательстве «Время», первого изданного в СССР собрания сочинений Роллана, был П.С. Коган, у которого Кудашева раньше работала в Академии художественных наук; предисловие к нему было написано Горьким, а также австрийским другом и поклонником творчества Роллана Стефаном Цвейгом. Книги начали выходить в 1932 году.

² Письмо Ромена Роллана Марии Кудашевой, 29 сентября 1929 года // ГАРФ. Ф. 5283. Оп. 1а. Д. 129. Л. 120–121. ВОКС сообщило о субсидии Наркомпросу 4 ноября 1929 года (л. 119).

Великой депрессии, набирающего силу фашизма и сталинской революции представляли собой гораздо более обширное явление. На сходный путь официального закрепления симпатий или дружеского отношения к советскому строю в то время встали и такие разные писатели, как Андре Жид и Теодор Драйзер. Но у растущего влечения Роллана к Советскому Союзу было множество своеобразных особенностей, и чтобы понять, какую роль здесь сыграла Кудашева, следует анализировать эти особенности в их совокупности.

Еще в 1917 году Роллан в целом с одобрением отнесся к Октябрьскому перевороту, поскольку его всю жизнь увлекали идеи Французской революции. Тенденция рассматривать опыт советской революции сквозь призму французской или, если воспользоваться формулировкой Мишеля Вовеля, «играть в аналогии», отличала именно французских интеллектуалов и ученых, наблюдавших за происходящим на востоке¹. Но пламенный пацифизм Роллана, за который он подвергся нападкам во время Первой мировой войны, опубликовав сборник антивоенных статей «Над схваткой» (*Au-dessus de la mêlée*), противился применению насилия, которое открыто оправдывалось в годы большевистского переворота. В 1920-е годы Роллан отверг и культурную агрессию нового режима. От Горького, в начале 1920-х годов поссорившегося с Лениным и с лидерами партии, он узнал о препятствующих интеллектуальному развитию чертах большевизма и о регламентации культуры².

Изначальная позиция Роллана по отношению к СССР после революции проявилась в 1921–1922 годах в ходе его знаменитого спора с одним из его молодых последователей, Анри Барбюсом, который собирал вокруг журнала «Кларте»

¹ *Vovelle M.* 1789–1917: The Game of Analogies // The French Revolution and the Creation of Modern Political Culture. Vol. 4: The Terror / ed. K.M. Baker. Tarrytown, NY: Pergamon, 1994. P. 349–378; *Oberloskamp E.* Fremde Neue Welten: Reisen deutschen und französischer Linksintellektueller in die Sowjetunion 1917–1939. Munich: Oldenbourg Verlag, 2011. Chap. 5, section B.

² *Fisher D.J.* Romain Rolland. P. 53–59, 65.

прокоммунистически настроенных интеллектуалов. В 1923 году Барбюс занял позицию, побудившую его вступить во Французскую коммунистическую партию и стать одним из ее главных борцов, что привело к его конфликту с Ролланом, отказавшимся следовать по этому пути. В Советском Союзе те, кто наблюдал за происходящим в Европе, прекрасно знали о полемике между Барбюсом и Ролланом. Барбюс нападал на интеллигентов, «стоявших над схваткой», предупреждая, что «кто не с нами, тот против нас»; Роллан в ответ осудил советский террор, скрытность, нетерпимость и централизацию, отстаивая «независимый дух» интеллигенции. Несмотря на то, что Роллан на тот момент был далек от коммунизма, он остался в хороших отношениях с Барбюсом и, как утверждает Дюшатель, неотрывно наблюдал за ходом русской революции¹.

В то же время Роллан был «приверженцем культа героев» и постоянно искал образцы для подражания и героические фигуры среди исторических личностей. Только этим можно объяснить резкую перемену в его симпатиях и скачок от Ганди в 1920-е годы к Сталину в 1930-е. Между 1903 и 1912 годами Роллан написал «Жан-Кристофа», свой главный роман, основанный на жизни Бетховена (именно это произведение привлекло Кудашеву, а позже оказало влияние на многие поколения советских читателей). Написанная Ролланом в 1903 году популярная биография Бетховена положила начало его циклу «Героические жизни», — позже благодаря Максиму Горькому этот замысел был перенесен на советскую почву, воплотившись в серии «Жизнь замечательных людей», — который в последующие годы пополнился биографиями Льва Толстого, Микеланджело, Ганди и других. Как в «Жан-Кристофе» и других его романах, в биографиях Роллана занимала «героическая жизнь» творцов культуры. Во всех этих произведениях, написанных доступным, но серьезным языком «высокой популяризации»

¹ О споре Роллана и Барбюса см. в особенности главу 5 книги: *Fisher D.J. Romain Rolland*; см. также: *Duchatelet B. Romain Rolland*. P. 231–245.

(*haute vulgarisation*), Роллан исследовал героическую природу гениев, сохранявших, несмотря на страдания, «неослабевающую преданность человечеству»¹. Другим связующим звеном его противоречивых общественных и политических взглядов — о которых можно судить по его сменявшимся настроениям: пацифизму под влиянием Толстого во время и после Первой мировой войны, увлечению Ганди в 1920-е годы и защите сталинизма в 1930-е — была его последовательная убежденность в необходимости восстановить мир между Францией и Германией, между всеми европейскими странами, между Западом и Востоком. Такая разновидность интернационализма выросла из его ранних симпатий по отношению к социализму, которые восходили примерно к 1895 году и, сформировавшись вне доктрины какой-либо партии, были чужды представлениям о классовой борьбе. Одной из констант в интеллектуальной эволюции Роллана, на которую указывает Фишер, было его «интуитивное ощущение соприкосновения с мощными силами», высшей связи с человечеством и миром, которое он в переписке с Фрейдом назвал «океаническим чувством»². По мере того как после 1931 года Роллана все больше привлекал Советский Союз и он заметно отдалялся от пацифизма, Сталин как рациональный «человек действия» стал адресатом его восхвалений героического творца культуры³.

Наконец, у восхищения, с которым Роллан смотрел на Советский Союз сталинской эпохи, было культурное измерение. Он давно питал убеждение в необходимости просвещать массы и писал произведения в духе нравоучительного реализма, сближавшего его с советской культурой в период заката склонного к экспериментам авангарда и становления социалистического

¹ *Krampf M.* La conception de la vie héroïque dans l'oeuvre de Romain Rolland. Paris: Le Cercle du Livre, 1956. P. 96; *Fisher D.J.* Romain Rolland. P. 27–29.

² *Fisher D.J.* Romain Rolland. P. 10–12; см. также: *Duchatelet B.* Romain Rolland. P. 11.

³ См. сопоставление восприятия Сталина Ролланом и другими попутчиками: *David-Fox M.* Showcasing the Great Experiment. Chap. 6.

реализма. Еще в 1902 году, за год до возникновения большевизма, он написал «Четырнадцатое июля» (*Le 14 juillet*) и «Народный театр» (*Le Théâtre du peuple*). Первое произведение открыло цикл его пьес о Французской революции, в которых изображался героизм народа, решавшего собственную судьбу, и которые заканчивались всеобщим торжеством. Второе эссе, опубликованное лишь в 1913 году, отражало деятельность Роллана как инициатора создания французского народного театра на рубеже веков, одной из ранних попыток привлечь в театр массы и организовать театральные представления в рабочих районах¹. После Октябрьской революции Роллан был хорошо известен советским теоретикам нового театра и массовых празднеств, и они относились друг к другу с обоюдным восхищением². Таким образом, Роллан давно сделал выбор в пользу социальной роли искусства, отказавшись от модернистских экспериментов. Эти особенности его творчества в эпоху соцреализма можно противопоставить эстетизму Андре Жида, из-за которого последний всегда чувствовал себя неуютно на фоне тенденций советской культуры того же периода³. В целом монументализм сталинской культуры не претил Роллану. Некоторые черты интеллектуального облика Роллана — в особенности влияние Рихарда Вагнера и Фридриха Ницше — частично присутствовали и в большевистской культуре, начиная с довоенного богостроительства и заканчивая революционным романтизмом Горького. Отчасти в силу этого сходства траекторий ряд изменений, происшедших в советской культуре в сталинские 1930-е годы: сосредоточение на словесном искусстве и прежде всего на дидактической массовой литературе, размывание границ между высокой и популярной культурой, восхваление просвещения, писателей и науки, включение в новую

¹ Fisher D.J. Romain Rolland. P. 23.

² Von Geldern J. Bolshevik Festivals 1917–1920. Berkeley: University of California Press, 1993. P. 26, 111.

³ Harris F.J. André Gide and Romain Rolland: The Two Men Divided. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1973. P. 68.

культуру классиков XIX столетия и массовое насаждение культуры, — были созвучны взглядам Роллана.

Поэтому превращение Роллана в убежденного попутчика, начавшееся в 1928–1931 годах и достигшее пика в середине 1930-х во время его поездки в СССР и разговора со Сталиным, было обусловлено некоторыми давними интеллектуальными, политическими и культурными особенностями его мировоззрения. Их усилению способствовали значительные изменения в международной обстановке, начавшиеся после 1920-х годов: расцвет фашизма, кризис капитализма в период Великой депрессии и сталинская революция — которая и привлекла его, как и многих других, к Советскому Союзу. В то же время его статус первого друга СССР — подразумевающий заметное присутствие в советской культуре и последовательную публичную поддержку советского строя за рубежом — мог реализоваться лишь в процессе взаимодействия с посредниками и советскими или находящимися под влиянием Советского Союза культурными организациями. В этом плане Кудашева была лишь одним из таких посредников, в число которых входили Горький и Аро-сев. Однако выражения, которые использовал Роллан в своих письмах к Горькому в 1928–1931 годах, когда рассказывал о Кудашевой, в том числе о ее страстном увлечении большевизмом и передавшей ему от нее любви к новой России, заставляют предположить, что в этот переходный период зачарованность литературного мэтра Кудашевой и его зачарованность сталинизмом были тесно взаимосвязаны. С этой точки зрения Кудашева была необходимым катализатором, благодаря которому Роллан охотно принял на себя официальную роль попутчика.

КУДАШЕВА И СПЕЦСЛУЖБЫ

Когда в 1929 году Роллан впервые пригласил Кудашеву посетить его за границей, имел место выразительный эпизод. Хотя ее просьбу поддержало ВОКС, власти — то есть отдел

виз Наркомата иностранных дел, действовавший на основании результатов проверки ОГПУ, — сначала отклонили заявление Кудашевой на получение заграничного паспорта для того, чтобы провести три недели с Ролланом в Швейцарии в августе 1929 года¹. Это случилось в начале сталинской эпохи, когда советская власть решительно ужесточала правила, регулирующие заграничные поездки. К тому времени как Роллану сообщили о задержке, он оплатил все дорожные расходы Кудашевой, выхлопотал ей швейцарскую визу и проделал путь через всю Швейцарию, чтобы ее встретить. Неудача заставила Роллана отправить несколько гневных писем советским знакомым, побуждая их вступить в схватку с бюрократической системой в его поддержку. В частности, в письме к Горькому, который в 1929 году только занял руководящие позиции, вернувшись на почетное место в советской культуре, Роллан возмутился: «Можно подумать, что в Москве только и заняты изобретением способов растерять последних своих друзей, которые еще остались среди независимых умов Запада. Я никогда не забуду такого неуважения ко мне»².

Роллан избрал правильного адресата для своих жалоб. 10 августа, через день после того, как в ВОКС пришла копия негодующего письма Роллана к Горькому, руководитель ВОКС написал в ОГПУ, настаивая на пересмотре просьбы Кудашевой. От имени ВОКС он обратился напрямую к Мееру Абрамовичу Трилиссеру, главе иностранного отдела. Трилиссер, член партии с 1901 года и сотрудник ЧК с 1918 года, стал и заместителем директора всего ОГПУ; судя по тому, как часто его имя фигурирует в документах, в 1920-е годы он больше всех из представителей

¹ О получении разрешения на выезд за границу в СССР того времени см.: *David-Fox M. From Illusory 'Society' to Intellectual 'Public': VOKS, International Travel, and Party-Intelligentsia Relations in the Interwar Period // Contemporary European History. Vol. 11. № 1. 2002. P. 7–32.*

² Письмо Роллана Горькому, 6 августа 1929 года // М. Горький и Р. Роллан: переписка. С. 163. См. также: *Correspondance ... P. 202.*

ОГПУ занимался делами ВОКС¹. Немаловажно, что в обращении ВОКС к Трилиссеру просьба помочь Роллану обосновывалась тем, что он подлинный «друг» СССР, неоднократно демонстрировавший свое расположение к Советскому Союзу в европейской прессе. Добавлялось, что у СССР слишком мало друзей среди западноевропейских писателей с мировым именем, чтобы раздражать Роллана. Еще через неделю, 17 августа — долгий срок для Роллана, но на удивление короткий для советской бюрократии, — Горький известил Роллана телеграммой, что Кудашева получила разрешение на выезд². Тот факт, что Роллану удалось за такое короткое время добиться своего, интересно в двух отношениях. Во-первых, это свидетельствовало о том, что в СССР его действительно считали другом. По отношению к иностранцам в Советском Союзе не использовалось слово «попутчик», но в личное звание *друга СССР* вкладывался подлинный смысл этого слова. Во-вторых, этот эпизод указывает на то, что, когда Кудашева в первый раз обратилась с просьбой о заграничном паспорте, собираясь поехать к Роллану в Швейцарию, она действовала вопреки бюрократическому аппарату, а значит, не была в сговоре с ОГПУ (после 1934 года — НКВД) или, по крайней мере, этот сговор не планировался заранее. Если бы спецслужбы с самого начала поручили ей заманить Роллана, зачем было отклонять ее первую просьбу о поездке в Швейцарию?

Кроме того, у нас нет сведений относительно контактов Кудашевой со спецслужбами после того, как было пересмотрено первоначальное решение по поводу ее заявления. Но в целом они наблюдали за видными представителями интеллигенции как внутри страны, так и за рубежом; для сбора сведений об иностранцах существовала обширная сеть сексотов (секретных

¹ Кокурин А.И., Петров Н.В. Лубянка: органы ВЧК—ОГПУ—НКВД—НКГБ—МГБ—МВД—КГБ, 1917–1991. Справочник. М.: РОССПЭН, 2003. С. 24, 189, 276, 292.

² Ю.В. Мальцев, врио председателя ВОКС, тов. Трилиссеру, зам. пред. ОГПУ, 10 августа 1929 года // ГАРФ. Ф. 5283. Оп. 1а. Д. 125. Л. 54; телеграмма Горького Роллану, 17 августа 1929 года. См.: Correspondance ... Р. 203.

сотрудников), под пристальным контролем находились и советские путешественники за границей¹. Поэтому трудно себе представить, чтобы Кудашева, у которой, когда она уехала к Роллану в Швейцарию, в Москве оставались родные и сын Сергей, за все время, проведенное у Роллана, никак не контактировала и не соприкасалась со спецслужбами.

Ходившие в 1930-е годы настойчивые слухи, что Кудашева сама была советским агентом, исходили, по всей видимости, от Дюамеля, с которым она вновь встретилась в 1930-м. В дневниковых записях 1932 года, размышляя о влиянии Кудашевой на Роллана, Дюамель язвительно назвал ее «революционной русской интриганкой» (*intrigante révolutionnaire russe*), которая в силу своей «естественной склонности» «специализировалась на знаменитых писателях». После того как в 1927 году она была их с Дюртеном «доброжелательным секретарем», Кудашева, когда он вернулся домой, завязала с ним романтическую переписку (*correspondence amoureuse*), предвосхитившую то, что позже произошло с Ролланом. «Она любит письма, любовные затруднения, писателей, а может быть, немножко и славу, — записывал Дюамель в своей издевательской манере. — Она не будет возражать, если история литературы, а заодно и революции пополнится новой страницей». Несмотря на насмешливый тон Дюамеля, он мог частично догадываться о характере и мотивах Кудашевой. Мог он, конечно, и ревновать. Так или иначе, за поведением Кудашевой он видел советскую власть, которая сначала пыталась приворожить женскими ухищрениями его, а теперь использовала то же средство против Роллана. Догадка о связи между цепкой рукой советской власти и хваткой спецслужб была не лишена проницательности².

¹ О сексотах см.: Куликова Г.Б. Под контролем государства: пребывание в СССР иностранных писателей в 1920–1930-х годах // Отечественная история. 2003. № 4. С. 56.

² *Duhamel G. Le livre de l'amertume: Extraits du journal de Blanche et Georges Duhamel / ed. B. Duhamel. Paris: Mercure de France, 1983. P. 184–192.*

Полвека спустя после того, как Жорж Дюамель сделал запись о своем бывшем гиде, Бернар Дюамель, публиковавший дневники отца, нанес визит постаревшей Кудашевой, все еще жившей в Париже, показал ей эти саркастические отрывки наряду с обвинением, которое его отец высказывал в адрес Кудашевой, утверждая, что она манипулирует Ролланом, следуя инструкциям властей. Как вспоминал Бернар, Кудашева, разговаривая с ним, иногда протестовала против выводов, к которым подталкивали записи Жоржа Дюамеля, с поразившей молодого Дюамеля горячностью. В конечном счете, рассказывал он, она стала оправдываться, признавая, что на нее давила советская власть¹. Но эта расплывчатая формулировка, конечно, была применима к разным вариантам развития событий. Советская власть и спецслужбы не были синонимами. К этому следует добавить, что в 2001 году Борис Носик, русский писатель, написал о своей беседе с Кудашевой в Париже в начале 1980-х годов, приводя ее же слова о том, что ее «послали» к Роллану. Однако если убрать из беспорядочного эссе Носика домыслы, слухи и бездоказательные утверждения, остаются лишь его воспоминания о загадочных высказываниях Кудашевой, в которых чувствовалось некоторое презрение к Роллану, — якобы столько лет спустя она называла его дураком и мистиком. Учитывая, что Роллану, почти по любым меркам, действительно был присущ мистицизм, а если говорить о его искреннем восхищении Сталиным и сталинизмом, то и глупость тоже, мало что можно почерпнуть из заявлений, сделанных через сорок после его смерти².

В период Большого террора бывший коммунист Анри Гильбо, который ранее встречал Кудашеву в Москве, где был по поручению Коминтерна (а теперь он поддерживал Бенито Муссолини), обвинил ее в том, что именно она является причиной

¹ *Duhamel B.* Note sur Marie Pavlovna // *Duhamel G.* Le livre de l'amertume. P. 415–417.

² *Носик Б.* Кто ты? — Майя. URL: www.pseudology.org/chtivo/Kudasheva.htm. Впервые опубликовано в журнале «Звезда» (2001. № 4).

просоветских взглядов Роллана; Роллан тогда счел это оскорблением¹. Ссылки на Кудашеву как агента ОГПУ/НКВД без указания источника фигурируют и в литературе более позднего времени. Так, Стивен Коч в своей рассчитанной на сенсацию и якобы представляющей собой художественное изложение реальных событий книге о «шпионах и писателях в секретной советской идейной борьбе против Запада» рассуждает так, словно ему известно все, что следует знать о «княгине Марии Павловой Кудачовой» [он пишет *Pavlova Koudachova*]: она была «кремлевской женщиной» и «агентом, находившимся под непосредственным контролем советских спецслужб... проникающим в каждую подробность жизни Роллана по заданию партии»². Книга предсказуемым образом вызвала восторг у публики, лишь слегка подпорченный сомнениями и недоверием нескольких историков. Во многих основанных на сплетнях сочинениях такого рода различия между НКВД, Кремлем, Сталиным и Советами отсутствуют и в любом случае не играют особой роли, поскольку

¹ Coeuré S. La grande lueur. P. 65, 67; Duchatelet B. Romain Rolland. P. 331–332, 398; Hartmann A. Literarische Staatsbesuche: Prominente Autorin des Westens zu Gast in Stalins Sowjetunion (1931–1937) // Die Ost-West-Problematik in den europäischen Kulturen und Literaturen / Проблематика «Восток — Запад» в европейских культурах и литературах. Dresden: Neisse Verlag, 2009. S. 112. Как вспоминал Виктор Серж, Гильбо «вел заметки, полные сплетен о своих товарищах» и «осаждал ЧК конфиденциальными записками»: Серж В. От революции к тоталитаризму: воспоминания революционера / пер. Ю.В. Гусевой, В.А. Бабинцева. М.: Практис; Оренбург: Оренбургская книга, 2001. С. 174.

² Koch S. Double Lives: Spies and Writers in the Secret Soviet War of Ideas against the West. New York: Free Press, 1994. P. 21, 223. У Коча вообще нет никаких конкретных доказательств относительно Кудашевой, не считая интервью, взятого в 1989 году у Бабетты Гросс, вдовы Вилли Мюнценберга, и работы Гильбо, фамилия которого также написана с ошибкой (см. с. 345, сн. 35). Чем меньше у Коча доказательств, тем больше он говорит об архивных документах: в одном из отрывков о Кудашевой встречается фраза о «бесчисленных досье», хранящихся в Центральном партийном архиве в Москве, а позже автор восклицает: «Стоял ли на досье Триоле, как на деле Кудачовой [sic], зловещий штамп „Наш“?» (с. 230). Выражение «кремлевские женщины» позаимствовано им у Нины Берберовой (с. 376, сн. 62).

цель состоит в том, чтобы построить версию о вероломстве, а не понять, что же происходило на самом деле¹.

На мой взгляд, логично предположить, что какое-то взаимодействие между Кудашевой и советскими спецслужбами было практически неизбежно. Но архивы ФСБ (которая является преемником ОГПУ, НКВД и КГБ) закрыты, и у нас нет свидетельств, позволяющих сделать вывод о характере этого взаимодействия. Возможные связи, отчеты и даже оказываемые услуги необязательно говорят о том, что она была агентом или что у нее, опять же полностью отсутствовала свобода действий. Все, чем мы располагаем, — это ее обширная переписка с Иностранной комиссией Правления Союза писателей СССР и отчеты Аросева для ВОКС. Эти документы, как мы увидим, показывают, что Кудашева настойчиво высказывала собственное мнение и старалась оградить Роллана от нежелательных контактов с Советским Союзом в эпоху чисток. Эти документы подкрепляют меткое замечание Софи Кёре, предостерегающей против искушения, которое возникает при чтении рассчитанной на сенсацию антикоммунистической литературы, воспринимать всех советских посредников как всемогущих агентов, занятых исключительно выполнением партийного задания. Их действия, как и действия их западных коллег, осложнялись любовью, дружбой, соперничеством за административный или интеллектуальный авторитет, а не только стремлением к политической эффективности. Но, как пишет Кёре, в отличие от западной интеллигенции, которой посчастливилось иметь больше возможностей выбора и более твердую почву под ногами, «советские посредники были гораздо сильнее ограничены в своих действиях, и поэтому судьбы их часто оказывались трагическими»².

¹ См. упоминание об «агенте НКВД Марии Кудашевой, жене Ромена Роллана»: *Brackman R. The Secret File of Joseph Stalin: A Hidden Life*. London: Frank Cass, 2001. P. 248. То же обвинение звучит в книге: *Fedorovski V., Saint-Bris G. Les égéries russes*. Paris: J.C. Lattes, 1994. P. 263–279 и еще более категорично — в статье Носика «Кто ты? — Майя».

² *Coeuré S. «Comme ils dissent SSSR» ...* P. 64.

КУМИР СТАЛИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

После того как в начале 1930-х годов Роллан проявил недюжинный энтузиазм, оказывая политическую поддержку Советскому Союзу, его престиж в СССР начал расти. Это стало шагом к его превращению в литературного и культурного кумира. Произведения Роллана, переводившиеся на русский язык для массовых изданий с конца 1920-х годов, к ноябрю 1937 года достигли тиража в 1,3 миллиона экземпляров. Доступность книг Роллана, равно как и занимаемая им просоветская и антифашистская позиция, делали его идеальным объектом почитания среди широкой советской публики. Например, литературный критик Михаил Аплетин, который, будучи наиболее активным членом Иностранной комиссии Правления Союза писателей СССР, в 1930-е годы регулярно и много контактировал с Кудашевой, высказал свои соображения относительно сложного, экспериментального, модернистского стиля Андре Жида, заявив, что это не Роллан, а писатель, менее доступный советскому читателю¹.

Квазиофициальный советский культ Роллана не определял для многообразных советских читателей, что именно они у него позаимствуют. Однако знакомство советских читателей с Ролланом состоялось и восприятие его творчества сформировалось в рамках процесса, который Катерина Кларк назвала «великой ассимиляцией»: включения произведений мировой и дореволюционной русской литературы в культуру — центром которой была Москва — для утверждения превосходства Советского Союза в культурной сфере, как и в других². Типичным примером заявления Роллана, представленного советским читателям,

¹ Заседание ино. комиссии ССП СССР 29-го мая 1936 г. // РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 14. Д. 5. Л. 19.

² *Clark K.* From Production Sketches to 'World Literature': The Search for a Grand Narrative [доклад, представленный в Институте перспективных исследований в Берлине в июне 2010 года; неопубл.].

можно назвать его статью «Мой путь к пролетарской революции», опубликованную в 1934 году в качестве международного приветствия только что созданному Союзу писателей СССР. Эта статья не только представляла автобиографию Роллана как историю обращения, венцом которой был его приход к просоветской позиции: в русскоязычной версии Роллан подозрительно хорошо ориентировался в советской идеологической лексике. Так, в русском переводе Роллан критиковал себя в молодости как «буржуазного индивидуалиста», резко осуждал классовые стереотипы паразитирующей интеллигенции и преодолевал свои буржуазные интеллектуальные колебания, вставая на сторону Советского Союза¹.

Культ Роллана достиг апогея после встречи писателя со Сталиным 28 июня 1935 года. Близость к кремлевским кругам сама по себе привлекала внимание к этому массово рекламируемому визиту, в ходе которого Роллан и Кудашева три недели жили у Аросева в Москве, а затем провели три недели на даче у Горького. В Кремле Кудашева сопровождала мужа, делая записи по-французски во время встречи, а Аросев переводил. Встреча со Сталиным, как и поездка в целом, сыграли ключевую роль в окончательном превращении Роллана в одного из ведущих интеллектуалов среди друзей Советского Союза — звание, пошатнувшееся из-за сомнений писателя относительно чисток в 1937 году и окончательно отвергнутое им после подписания договора между СССР и нацистской Германией в 1939 году. Как показывает полная стенограмма беседы в Кремле и многочисленные разговоры Роллана того времени с его французскими и русскими знакомыми, Роллана завоорожила личность Сталина как человека действия, своего рода философствующего правителя, который наконец уничтожил давний разрыв между мыслью и действием. Роллан стал непосредственно ассоциировать жизнь большевистских

¹ *Роллан Р.* Мой путь к пролетарской революции // Иностранная литература. 1934. № 3–4. С. 9–10.

революционеров, в особенности Сталина, с героическими, полными энтузиазма творческими гениями, такими как Бетховен и Толстой, которым он посвятил столь значительную часть своего творчества.

Изданный в 1935 году сборник эссе Роллана о писателях, которые были его «спутниками»: Шекспире, Гёте, Гюго, Толстом, — назывался «Попутчики» (*Compagnons de route*), что предполагало связь между объектом его сочувственного отношения и этими колоссами культуры. Более того, за этими главами следовало заключительное эссе о Ленине, которого Роллан критиковал при жизни, но вновь открыл для себя в 1930-е годы. Традицию русской революции, утверждал он в этой работе, можно соединить с культурным наследием Европы: «Две максимы парадоксальным образом дополняют друг друга: „Мы должны мечтать“, — говорит человек действия [Ленин]. А человек мечты [Гёте] заявляет: „Мы должны действовать!“»¹ Побывав в Кремле, Роллан заменил Ленина Сталиным, подтверждая ключевую для сталинского культа мысль, что Сталин — это Ленин сегодня. Ближе к концу встречи, по версии стенограммы, хранящейся в личном архиве Сталина, Роллан спросил «возждя» об источнике «нового гуманизма», «провозвестником» которого, по его словам, Сталин являлся². В письме Сталину, написанном накануне отъезда из Москвы, Роллан торжественно, с искренней убежденностью заверял, что долг всего человечества состоит в том, чтобы защищать ведущееся в СССР героическое строительство нового мира от всех его врагов. «От

¹ Цит. по: Fisher D.J. Romain Rolland. P. 255. Гёте был ключевой фигурой антифашистской немецкоязычной культуры того времени.

² Беседа т. Сталина с Ромен Ролланом. Переводил разговор т. А. Аросев. 28.VI.сг [1935]. С рукописной пометой «не для печати» // РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Ед. хр. 775. Л. 1–16, цитата с л. 13. См. интерпретацию различных версий стенограммы беседы Роллана со Сталиным: David-Fox M. The 'Heroic Life' of a Friend of Stalinism: Romain Rolland and Soviet Culture // Slavonica. Vol. 11. 2005. № 1. P. 3–29.

этого долга — Вы это знаете, дорогой товарищ, — я никогда не отступал, не отступаю никогда до тех пор, пока буду жив»¹.

У Кудашевой, сидевшей рядом с Ролланом в кабинете Сталина, вероятно, были гораздо более реалистичные представления о сталинской власти. Например, как-то Кудашева в письме Аплетину выразила беспокойство по поводу неудачного перевода на русский одного из писем Роллана, который заставлял предположить недовольство ее мужа тем, что стенограмма встречи в Кремле не была опубликована. Она тревожилась о том, что подумает Сталин, если и на него это письмо произведет такое впечатление². По словам Аросева, именно Кудашева убедила Роллана отклонить личное приглашение Сталина остановиться на правительственной даче, поехав вместо этого к Горькому — который, не поладив со сталинским режимом, жил под пристальным надзором³. В 1938 году, когда Аросев был уже репрессирован, Роллан вспоминал, как опекающий супругов глава ВОКС настойчиво советовал им принять приглашение Сталина, даже когда они уже гостили у Горького. Аросев убеждал Роллана не наносить Сталину обиды отказом от его гостеприимства⁴.

Враждебное отношение Аросева к Кудашевой, такое типичное для посредников-конкурентов, соперничающих между собой за внимание западных знаменитостей и Сталина или партийного руководства, особенно усилилось, когда председатель ВОКС отчаянно старался организовать визит Роллана. Ставки были

¹ Письмо Ромен Роллана товарищу Сталину, 20.VII.1935 // РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 11. Д. 283. Л. 13. См. схожее заявление Роллана в письме Керженцеву от 4 апреля 1936 года (Там же. Оп. 14. Ед. хр. 729. Л. 19).

² Письмо Марии Кудашевой Михаилу Аплетину, 28 декабря 1936 года // РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 14. Д. 729. Л. 201.

³ Письмо А. Аросева И.В. Сталину, 14 июля 1935 года // ГАРФ. Ф. 5283. Оп. 1а. Ед. хр. 276. Л. 188.

⁴ *Rolland R. Notes complémentaires (de 1938) a mon récit de voyage en U.R.S.S. // Voyage à Moscou: Juin — juillet 1935 / ed. B. Duchatelet. Paris: Éditions Albin Michel, 1992. P. 281.*

особенно высоки, поскольку встреча дружественного западного интеллигента носила характер визита государственной важности, тем более что приезд Роллана непосредственно затрагивал Сталина и руководство партии. Неприязнь Аросева к Кудашевой, вероятно, зародилась во время беседы со Сталиным в Кремле, в ходе которой Аросев выполнял функцию переводчика. Кудашева часто перебивала и поправляла его, поскольку, как отмечал Роллан в дневнике, «Аросев переводил очень неважно, и Маша, по мере возможностей, его исправляла». Позже Аросев поспешил спасти свой престиж в глазах Сталина, уверяя его, что, хотя перевод Кудашевой и звучал лучше, поскольку она заранее знала список вопросов Роллана, его перевод был буквально и точнее¹. Настойчивые уговоры Аросева согласиться на предложенную Сталиным дачу заставляли предположить, что или визит к Горькому расценивался как нежелательный, или Аросев боялся последствий неудачи, или и то и другое.

Отказавшись от приглашения Сталина остановиться на правительственной даче, Кудашева с Ролланом, как 14 июля 1935 года писал Сталину Аросев, отправились к Горькому, которого следовало считать противником всех проявленных ими о Роллане «забот» и под влияние которого, по мнению главы ВОКС, попали Роллан и Кудашева. Аросев пояснял, что до поездки Кудашева демонстрировала исключительную лояльность к «ним» и курсу партии в целом. Но, живя у Горького, Кудашева, как Аросев не побоялся заявить Сталину, изменила свое отношение. Затем старый большевик продолжал, обвиняя уже Сергея Третьякова, бывшего авангардиста и известного члена Иностранной комиссии Союза писателей, в дурном влиянии. Третьяков, по версии Аросева, пытался убедить Кудашеву и других, что одно дело настоящая, литературная общественность,

¹ Роллан Р. Дневник. Цит. по: Куликова Г.Б. Новый мир глазами старого. Советская Россия 1920–1930-х годов глазами западных интеллектуалов. М.: Институт российской истории РАН, 2013. С. 95; письмо А. Аросева И.В. Сталину, 14 июля 1935 года // ГАРФ. Ф. 5283. Оп. 1а. Ед. хр. 276. Л. 190–191.

а другое — коммунисты со своим Центральным комитетом¹. Так Аросев одновременно предъявлял обвинение двум посредникам-конкурентам, Кудашевой и Третьякову, укреплял свою репутацию переводчика и ограждал себя от последствий, на случай если что-то пойдет не так, как планировалось. В этом письме Сталину Аросев больше внимания уделил взглядам Кудашевой, чем самого Роллана.

Присутствие Кудашевой во время приезда Роллана в СССР в 1935 году было важно и потому, что она представила его своему сыну, Сергею Кудашеву, на тот момент талантливому студенту мехмата МГУ, и своим родным, которых Роллан стал называть своей «маленькой русской семьей». Хотя вероятность, чтобы живущий под присмотром Горький вел с Ролланом откровенные беседы в этот период, представляется сомнительной, Роллан на протяжении своего визита действительно несколько раз общался с критикующими советскую систему людьми, которые рассказали ему, например, о терроре в Ленинграде, последовавшем за убийством Кирова. Среди тех, от кого Роллан получил такие сведения, следует прежде всего назвать его пасынка Сергея. Разговаривая с отчимом без посторонних вблизи виллы Горького, Кудашев рассказывал ему об условиях жизни в СССР, успев упомянуть навязывание единой идеологии и лагеря ГУЛАГа².

Поэтому восхваление Ролланом сталинизма не объяснялось полной неосведомленностью. От людей, с которыми ему случилось беседовать лишь вследствие его женитьбы на Кудашевой, прославленный зарубежный писатель узнал о суровой советской действительности. В то время он решил не придавать значения этим разговорам. На самом деле дневники и переписка Роллана показывают, что почетный иностранный гость не был совсем уж некритически настроен по отношению к Сталину, Горькому

¹ Письмо А. Аросева И.В. Сталину, 14 июля 1935 года. Л. 188.

² *Rolland R. Voyage à Moscou*. P. 142–143, 161, 182, 199, 284; *Fisher D.J. Romain Rolland*. P. 248–249; *Duchatelet B. Romain Rolland*. P. 317–325; *Hartmann A. Literarische Staatsbesuche*. P. 257.

или режиму. Так, описывая визит Сталина и других советских руководителей 3 июня 1935 года в Горки, он заметил недоброжелательное поведение Сталина за столом у Горького и стремление последнего оправдать эту грубость. Однако после своей поездки в 1935 году он стал еще чаще прибегать к понятиям, преобладающим как в сталинской, так и в антифашистской культуре, например называя писателей инженерами человеческих душ. После своеобразной перемены, которую можно отнести к лету 1935 года, Роллан начал публиковать открытые заметки, в основном в коммунистических и сочувствующих коммунизму изданиях, и, несмотря на остававшиеся у него внутренние сомнения, воздержался от какой бы то ни было публичной критики советского строя¹. Но в то же время Роллан не забыл того, что услышал от родственников Кудашевой. Когда с началом Большого террора Советский Союз захлестнула волна насилия, Роллан начал по-новому воспринимать увиденное им в 1935 году. Он записал эти свои новые, относящиеся к 1938 году размышления, в приложении к «Московскому дневнику», куда вошла и точка зрения, озвученная молодым Кудашевым².

Однако между поездкой Роллана в Москву в 1935 году и его мучительными сомнениями в период репрессий превращение его в живой символ сталинского интернационализма достигло своего апогея. Кульминацией стало всесоюзное празднование семидесятилетнего юбилея Роллана, проходившее с невероятным размахом. По замыслу планового комитета Союза писателей, организующим принципом торжества должен был стать «путь Р. Роллана к революции», который призван был постулировать целенаправленный прогресс к высшей форме сознания, изображая биографию Роллана как путь к признанию превосходства СССР³.

¹ *Duchatelet B.* Romain Rolland. P. 317–325, 277, 252; *Fisher D.J.* Romain Rolland. P. 245–250.

² *Rolland R.* Notes complémentaires (de 1938) // Voyage à Moscou. P. 277–293.

³ Михаил Аплетин, секретарь МОРПа, председателю Ино. комиссии ССП СССР тов. Кольцову М.Е. 8.XII.1935 // РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 11. Д. 283. Л. 6; см. также л. 75; В Большом зале Консерватории: программа на 29 января

Аплетин начал подготовку мероприятия за два месяца, планируя разнообразную программу торжественного вечера в большом зале Московской консерватории. В интерьере ощущался тяжело-весный символизм: между колоннами висели занавесы до пола с портретами Сталина, Молотова, Кагановича и Роллана. Вечер включал в себя выставку, чтение стихов, литературные сцены из музыкальной драмы по произведениям Роллана, ученые диспуты и запись приветственного слова самого мэтра. Состоялся также показ специально подготовленного документального фильма о визите Роллана в СССР в 1935 году. С речами в честь юбиляра выступили советские писатели и заводские рабочие, знакомые с его творчеством. Масштаб события подчеркивался тем, что члены Союза писателей провели аналогичные вечера в крупных городах по всей стране, оно транслировалось по радио и к нему было приурочено массовое издание биографии Роллана¹. Советские газеты от Минска до Владивостока, опубликовавшие отчет об этом событии, чествовали Роллана как писателя, занимающего почетное место среди всех европейских литераторов, которые стали друзьями Советского Союза: его неоднократно именовали «духовным вождем лучшей части зарубежной интеллигенции». Аросев в своей статье, опубликованной во многих изданиях, писал о Роллане как о просветителе масс; перефразируя известное высказывание Маркса о своей задаче как мыслителя, он помещал Роллана в один ряд с великими художниками слова, не просто изучающими мир, но меняющими его. Трудно было не заметить связи между искусством и политикой, культурным наследием и марксизмом-ленинизмом и, в конечном счете, между Ролланом и Сталиным. Но для самых ненаблюдательных Аросев добавлял: Роллан понимает, что все подлинное искусство революционно, но что одного искусства

1936 года (л. 63). См. десятки полученных Ролланом поздравительных писем (л. 52, 55–62).

¹ 70 лет Ромен Роллану: торжественный вечер в Большом зале Консерватории // Комсомольская правда, 1936. 30 января. (цит. по: РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 14. Д 735. Л. 17).

недостаточно, — факт, отмечаемый также «величайшим гением человечества товарищем Сталиным». Празднество в честь духовного вождя служило данью вождю политическому; культ великого европейского писателя оправдывал и умножал культ Сталина.

Кудашева, будучи секретарем Роллана, вскоре стала пытаться заниматься его разрастающимися контактами с советскими организациями. В 1930-е годы сюда относилось и сотрудничество с Аплетиным из Иностранной комиссии при Правлении Союза писателей, которая была создана в 1934 году и в качестве органа культурной дипломатии оттеснила ВОКС на второй план. Например, в тот год Аплетин умолял Марию Павловну убедить Роллана написать одну-две страницы для сборника «Писатели мира об СССР», утверждая, что без Роллана сборник будет неполным¹. Однако на то, что интерес советских СМИ к Роллану не регулировался какой-то конкретной организацией, указывает ряд свидетельств — начиная с потока запросов, касающихся пестрого набора советских издательских проектов, до отдельных ошибочных переводов с французского его высказываний на страницах провинциальных газет. Роллан — разумеется, с помощью переводившей для него Кудашевой — отвечал на письма почитателей, выступая в роли мудрого советчика советских школьников и начинающих авторов². Кудашева также отвечала на многочисленные приходившие из Советского Союза письма, в которых Роллана просили дать подкрепленные его международным авторитетом комментарии о важных событиях, например о смерти Горького в 1936 году. Предполагалось, что Роллан должен играть заметную роль в политических кампаниях, включая те, которые касались репутации СССР за рубежом. Например, в рамках кампании против Андре Жида, которая развернулась после

¹ Письмо Михаила Аплетина Марии Кудашевой, 14 мая 1934 года // РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 14. Д. 741. Л. 44–45.

² Письмо Кудашевой Аплетину, 28 декабря 1936 года. Л. 201; *Au cercle littéraire R. Rolland, Section artistique, Moscou* // РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 14. Д. 741. Л. 102 (письмо Р. Роллана, адресованное литературному кружку, носившему его имя).

вызвавшей возмущение критики последнего в адрес сталинского СССР в 1936 году, Роллан выступил с язвительными замечаниями, не желая иметь ничего общего со своим соотечественником. Статья, опубликованная на русском языке за подписью Роллана, имела мало общего с возвышенной гуманистической риторикой, к которой он питал склонность; вместо этого она вторила сталинскому обвинению в двурушничестве, лежавшему в основе советской кампании против Жида. Если верить Роллану, суть ничтожной критики Жида не столь значима, как его нежелание открыто выступить со своей критикой в СССР. Это означало, что он вел двойную игру. Статья Роллана затем снова вернулась в Европу благодаря французским коммунистам¹.

Кудашева постоянно знакомила Роллана с произведениями русских и советских писателей, переводя их для него устно. Ее работа как личного переводчика Роллана простиралась от напечатанных в газетах статей Горького начала 1930-х годов до новых художественных текстов, которые ей особенно хотелось прочесть ему. Так, Кудашева рассказывала Аппетину, что читает Роллану отрывки из получившего высокую оценку романа Петра Павленко «На востоке» (1936), в котором молодая женщина, летчик-истребитель, проявляет себя как героиня, отправляясь на войну. Кудашева называла эту книгу одной из лучших за последние годы и выражала уверенность, что ее обязательно надо перевести на французский². Очень много времени посвящала она

¹ Ромен Роллан об Андре Жиде. Ответное письмо иностранным рабочим Магнитогорска // РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 14. Д. 718. Л. 33; Письмо Ромен Роллана // Бакинский рабочий, 1936. 21 июня. Л. 5. О выступлении Роллана против Жида, опубликованном в *L'Humanité* от 18 января 1937 года, см.: *Harris F.J. André Gide and Romain Rolland. P. 156; Duchatelet B. Romain Rolland. P. 330–331.*

² Письмо Марии Кудашевой Михаилу Аппетину, 28 октября 1936 года // РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 14. Д. 729. Л. 127, 153. О романе Павленко 1936 года см.: *Krylova A. Stalinist Identity from the Viewpoint of Gender: Rearing a Generation of Professionally Violent Women-Fighters in 1930s Stalinist Russia // Gender and History. Vol. 16. 2004. № 3. P. 626–653.*

и классикам XIX века. В том же 1936-м, например, она читала мужу Чехова. Отмечавшийся в Советском Союзе в 1937 году с огромным размахом юбилей Пушкина, в ходе которого, по словам Анджелы Бринтлингер, «Пушкин преподносился публике как политизированная фигура с навязанной ей версией собственного прошлого, которая должна была подтверждать правомерность советского государства», застал Кудашеву за переводом чуть ли не всей пушкинской прозы для Роллана¹. Как часто случалось в ходе общения между сочувственно настроенными представителями Запада и русскими, отношения Роллана с Кудашевой подогревали его интерес ко всему русскому и советскому. Аплетин в огромных количествах снабжал ее новой советской литературой и политическими материалами для перевода Роллану. В 1936 году Кудашева даже начала учить Роллана русскому языку, собираясь вновь приехать в СССР в 1937 году, но из-за начала Большого террора эта поездка так и не состоялась.

В своей обширной переписке с Аплетиным Кудашева находила время не только рассказывать о литературных впечатлениях, но и выражать отчетливую политическую позицию относительно мировых событий. В июле 1936 года Кудашева сообщала ему, что они внимательно следят за событиями в Испании, где должно решиться и будущее французского Народного фронта, и выражала удивление, что существуют люди, готовые вернуться в Средневековье и жить подобно диким зверям. Той же осенью она с воодушевлением писала Аплетину, что боится даже поверить в победу республиканского правительства. Можно было, как она выражалась, читать Павленко, не страдать, а радоваться, ощущая братство всех народов и рас². За ее словами не скрывались

¹ Письмо Марии Кудашевой Михаилу Аплетину, 2 мая 1937 года // РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 14. Д. 741. Л. 42–43; *Brintlinger A. Writing a Usable Past: Russian Literary Culture, 1917–1937*. Evanston, IL: Northwestern University Press, 2000. P. 4.

² Письма Марии Кудашевой Михаилу Аплетину, 22 июля 1936 года и 28 октября 1936 года // РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 14. Д. 729. Л. 127, 153, 158; см. также: Выписка из письма жены Ромен Роллана от 30/XII-35 года // ГАРФ. Ф. 5283. Оп. 1а. Д. 324. Л. 32. Документы этого дела показывают, насколько

цинизм или пресыщенность; Кудашева была полна энтузиазма, которым заражала и Роллана.

По крайней мере один любопытный документ, относящийся к 1935 году, наводит на мысль, что Кудашева расспрашивала своих советских корреспондентов, как помочь Роллану в его полемике с европейскими критиками Советского Союза. Выписка из ее письма, обращенного к неизвестному советскому адресату, хранилась в папке у Арсеева вместе с важными материалами, касающимися его путешествий по Европе. В письме говорилось об итальянском анархисте Альфонсо Петрини, эмигрировавшем в СССР после прихода к власти фашистов. После того как Петрини отбыл срок наказания в Советском Союзе, его выдали Италии. Из антифашистской газеты «Аванти» Кудашева узнала, что в Италии Петрини судили, освободили, а позже приговорили к двадцати годам тюрьмы. Из этого она сделала вывод, что Петрини был провокатором и именно поэтому советское правительство его выдало. В таком случае, считала она, было бы чудесно, если бы Роллан ответил своим корреспондентам, неоднократно упоминавшим об этом деле. Это должно было нанести сокрушительный удар по движению троцкистов, к которым, по мнению Кудашевой, принадлежали все анархисты¹.

Какими бы ни были столь часто обсуждаемые отношения Кудашевой со спецслужбами, подобные высказывания выдавали в ней скорее эмоционального, склонного к рассуждениям любителя, чем опытного конспиратора. А форма этой машинописной выдержки из письма Кудашевой заставляет предположить, что она распространялась среди представителей советского бюрократического аппарата.

Если в середине 1930-х годов представленность Роллана в советской прессе и культуре существенно возросла благодаря

интенсивными были поддерживаемые с помощью Кудашевой контакты Роллана с представителями советской печати и другими лицами в 1936 году, на пике дружбы Роллана с Советским Союзом.

¹ Выписка из письма жены Ромен Роллана от 30/XII-35 года. Л. 32.

деятельности Кудашевой, в 1937 году, с началом Большого террора, Кудашева старалась сократить его вовлеченность. Роллан обращался к Сталину с многочисленными просьбами, пытаясь защитить от репрессий своих друзей и знакомых, с которыми он встречался в 1935 году, в том числе Николая Бухарина и Аросева. Разумеется, Сталин ничего не отвечал. В этих письмах Роллан, явно рассчитывая на влияние, продолжал заверять Сталина, что останется верным делу Советского Союза¹. Происходящее причиняло Роллану боль, но он не разорвал отношений с СССР. Очевидно, принятое Ролланом решение вопреки своим сомнениям не выступать с публичной критикой советского режима убедило советскую сторону, что его по-прежнему можно считать другом². Кудашева изменила тактику, ограждая Роллана от обширных контактов с Советским Союзом, которые он так охотно поддерживал прежде.

В конечном счете культ Роллана в СССР и склонность льстить западным интеллектуалам, предъявляя им доказательства их известности в Советском Союзе, привели к огромному запросу на издание переписки Роллана с советскими гражданами и учреждениями. В июне 1936 года, до того как в Москве (в августе) начался первый судебный процесс, Кудашева прямо сказала Аплетину, что, с ее точки зрения, ему или кому-либо другому в СССР никогда не следует публиковать письма Роллана, чтобы доставить ему удовольствие, потому что его такая публикация скорее

¹ Письмо Романа Роллана И.В. Сталину, 1 октября 1935 года // РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Ед. хр. 775. Л. 120, 121–122; письмо Роллана Сталину, 27 декабря 1935 года // Там же. Л. 125–130; письмо Роллана Сталину, 18 марта 1937 года // Там же. Л. 140–141; письмо Роллана Сталину, 29 декабря 1937 года // Там же. Л. 154–155; письмо Роллана без указания адресата о жене Аросева (с которой он не был знаком, но мать которой обращалась к нему), 26 января 1939 года // Там же. Л. 162–163.

² См. положительный отзыв об отношениях между Ролланом и СССР, представленный А.И. Ангаровым, главой Отдела культуры и пропаганды ЦК, И.В. Сталину, Л.М. Кагановичу и А.А. Андрееву (РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Ед. хр. 775. Л. 123).

смутит. Однако тут же добавила, что иногда — и Роллан это понимает — надо отодвигать в сторону собственные предпочтения и действовать «с точки зрения пользы общественности»¹. Годом позже, осенью 1937 года, когда террор был в самом разгаре, ее тон резко изменился. Она писала, что неправильно и нелепо каждый раз просить Роллана писать по поводу годовщины Октября, Первого мая и всех юбилеев для пяти газет и что у него это давно уже вызывает негодование. Его следует просить писать лишь о совершенно новых событиях, настаивала она, когда он сам хочет и может, иначе и слова, и чувства «стираются»². Отсылка к возмущению Роллана служила косвенным предупреждением, что просьбы начинают производить обратный эффект. Но механизмы советского культа Роллана продолжали функционировать, что свидетельствовало о масштабах и ритуальном характере этого культа. Больше года спустя, в октябре 1938-го, Кудашева в письме Аплетину повторила свою просьбу в еще более резких выражениях: «Телеграммы ни к чему и не надо звонить по телефону... Сейчас на Западе не до „юбилеев“ и „поздравлений“... Нельзя вечно отрывать его на ерунду... и вредно даже». Кудашева настойчиво просила, чтобы из газет перестали посылать телеграммы, ограничившись в случае каких-то важных дел официальными письмами. Она сетовала на бесконечные просьбы, с которыми обращались к Роллану, начиная с десяти писем по поводу годовщины Октября (за которыми неизбежно должны были последовать просьбы написать обращение по случаю Нового года, Международного женского дня, Первомая и т.д. и т.п.) и заканчивая запросом от Комитета по радиовещанию, надеявшегося, что Роллан выскажется относительно годовщины выхода книги «День мира». Кудашева ссылаясь на здоровье мужа, его возраст и загруженность

¹ Письмо Марии Кудашевой Михаилу Аплетину, 8 июня 1936 года // РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 14. Д. 729. Л. 68.

² Письмо Марии Кудашевой Михаилу Аплетину, 4 сентября 1937 года // РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 14. Д. 741. Л. 70–71. В другом письме Аплетину, от 12 июня 1937 года, Кудашева выразила те же чувства (л. 54–55).

литературным трудом, говоря, что ему скоро семьдесят три, что он очень болен и устал. Но, упоминая о том, как изменилась обстановка на Западе, о постоянных волнениях и угрозе войны, она намекала, что Роллан уже не склонен постоянно участвовать в торжественных ритуалах сталинизма¹.

О размышлениях самого Роллана можно судить по его переписке в период репрессий с другим представителем французских литературных кругов и одним из наиболее ярых сторонников советского строя, Жаном-Ришаром Блоком. Обоих встревожили происходящие в Москве судебные разбирательства, однако оба приняли сознательное решение не высказываться открыто, чтобы еще больше не повредить уже запятнанной репутации СССР. В письме Блоку от 3 марта 1938 года Роллан продолжал питать иллюзорные надежды на то, что непубличное обращение «лучших друзей СССР» заставит советские власти осознать «плачевные последствия» чисток для антифашистского Народного фронта². Таким образом, в 1938 году Роллан несколько раз отказывался от возможности выступить с осуждением Большого террора в СССР. Но показательно и то, что в этот год он воздерживался от открытого выражения поддержки Советского Союза и ограничил непосредственные контакты с советскими организациями. В последнем ему помогла Кудашева.

При анализе отношений Роллана с Советским Союзом возникает вопрос, насколько на его позицию в период репрессий повлияло то обстоятельство, что Сергей, сын Кудашевой, и другие родственники по-прежнему оставались в Москве. Конечно, Роллан старался помочь Сергею, студенту механико-математического факультета, женатому на балерине. В 1935 году Роллан попытался использовать свои связи с Горьким, чтобы улучшить их жилищные условия, которые он называл ужасающими: Сергей

¹ Письмо Марии Кудашевой Михаилу Аплетину, 26 октября 1938 года // РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 14. Д. 754. Л. 43.

² Цит. по: *Мотылева Т.* Друзья Октября и наши проблемы // Иностранная литература. 1988. № 4. С. 166.

Кудашев с женой и больной бабушкой жили в одной комнате. Секретарь Горького обещал помочь, но безрезультатно. В сентябре 1937 года Роллан с той же целью пытался воспользоваться своим положением в СССР, обратившись к организации, ведавшей многими ресурсами, — Союзу писателей СССР: «Думаю, члены Союза советских писателей в достаточной мере считают меня своим собратом [*confrère*], чтобы принять меня в один из своих домов». Само собой, в выполнении таких просьб участвовал и Аплетин. В 1938 году он писал Кудашевой, что через Вячеслава Молотова, который на тот момент был председателем Совнаркома, а значит, фактически возглавлял советское правительство, получена двухкомнатная квартира (а не трехкомнатная, как просил Роллан). Обеспечив Сергея Кудашева жильем, Роллан и Кудашева стали через Аплетина хлопотать о предоставлении Сергею места в аспирантуре механико-математического факультета МГУ. В июне 1940 года Аплетин сообщил Роллану, что принял все необходимые меры и поступление Сергея подтверждено ректором университета¹.

Был ли отказ Роллана открыто критиковать советскую власть в конце 1930-х годов — шаг, который бы немедленно разрушил представления о Роллане как о друге СССР из числа зарубежной интеллигенции, — продиктован его беспокойством о сыне и родственниках жены? Хотя на этот счет мы можем лишь строить догадки, этот фактор мог сыграть значительную роль². Но есть по крайней мере некоторые основания утверждать, что за его осторожным отдалением от Советского Союза крылись также определенные политические и идеологические соображения.

¹ Письмо Ромена Роллана В.П. Ставскому, 20 сентября 1937 года // РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 14. Д. 74. Л. 74; письмо Михаила Аплетина Марии Кудашевой, 7 октября 1938 года // Там же. Л. 43; письмо Аплетина Роллану, 9 июня 1940 // Там же. Оп. 11. Д. 283. Л. 11–12. Сергей Кудашев погиб в ноябре 1941 года при обороне Москвы.

² *Stern L.* Western Intellectuals and the Soviet Union, 1920–1940: From Red Square to the Left Bank. London: Routledge, 2007. P. 194–195, 201. О переписке Аплетина с Ролланом и другими см. главу 8.

Если чистки обеспокоили Роллана, то договор, заключенный в 1939 году между нацистской Германией и Советским Союзом, совершенно перевернул его мировоззрение. В частной переписке и дневниках он горячо порицал циничное предательство Сталина и сожалел о своей ошибке — вере в то, что новый мир строится на принципах гуманизма. Тогда же он сложил с себя обязанности одного из ведущих членов французского Общества друзей СССР. Но, опять же, сделал он это, не предавая свой жест огласке. Главной причиной, по которой он так поступил и которую приводил в частных письмах, было сохраняющееся у него нежелание помогать врагам Советского Союза¹.

Смерть Роллана в 1944 году пролила свет на еще одну загадку жизни Марии Кудашевой. После его смерти посольство проявило большой интерес к обществу «друзей Ромена Роллана», основанному Кудашевой и сестрой Роллана Мадлен, занимавшейся главным образом упорядочиванием многочисленных бумаг своего брата². 12 ноября 1946 года советское посольство в Париже сообщило председателю правления ВОКС В.С. Кеменову об «отказе» Кудашевой предоставить коммунистам заметную роль в организации «друзей Роллана». Ближе к концу жизни Роллана Кудашева приняла католичество. Разумеется, Кеменову должно быть известно, писал представитель советского посольства, что жена Роллана — ярая католичка³.

Рассматривая роль Кудашевой как культурного посредника Ромена Роллана в 1930-е годы, я бы хотел сделать два обширных вывода, вытекающих из приведенного анализа этой ее роли.

¹ О Роллане в период 1939–1944 годов см. прежде всего: *Duchatelet B. Romain Rolland*. P. 340–392. Роллан дожил до своего рода примирения с СССР в лице советского посольства во Франции в 1944 году. Однако за год до смерти он не стремился вернуться к прежним своим политическим взглядам или деятельности.

² *Fischer D.J. Romain Rolland*. P. 14.

³ «L'ambassade soviétique en France à la VOKS au sujet de la publication posthume des notes prises en URSS par Romain Rolland (1946)». См. перевод этого документа: ГАРФ. Ф. 5283. Оп. 22. Д. 2. Л. 356–360; Cousu de fil rouge. P. 324–327.

Во-первых, очевидно, что Кудашева скорее содействовала интеллектуальному и политическому сближению Роллана с СССР, чем играла в нем решающую роль. Готовность Роллана заявить о своей поддержке Сталина и сталинизма была обусловлена сложным переплетением мировоззренческих установок, которые формировались у писателя на протяжении десятилетий, и исторической ситуацией в Европе в 1930-е годы. Свою роль сыграли другие крупные фигуры, такие как Горький и Аросев, принимавшие более непосредственное участие в диалоге, в результате которого за Ролланом закрепился статус друга Советского Союза из числа зарубежной интеллигенции. Однако уникальность роли Кудашевой как интимного посредника состоит, как представляется, в ее способности вызвать у Роллана личную, эмоциональную привязанность к советскому строю (включая большевистскую революцию, сталинское государство, русскую и советскую культуру). Конечно, советская власть, обращаясь к иностранным попутчикам в период между пиком просоветских настроений в других странах в конце 1920-х годов и ксенофобией эпохи сталинских репрессий, намеренно и иногда успешно пыталась создать некую эмоциональную связь, утверждая понятие «социалистической родины», которой иностранцы могли бы чувствовать себя преданными. В некоторых случаях эмоциональное переживание преданности могло возникать без каких-либо посредников, как это произошло с афроамериканским певцом Полем Робсоном, у которого надолго сохранились положительные впечатления о Советском Союзе, после того как его поразило отсутствие в советской повседневности расизма¹. Однако в случае Роллана и его любви к Кудашевой речь, по всей видимости, шла о другой форме эмоционального сопереживания или даже переноса. Как

¹ О Робсоне и других в этом контексте см.: *David-Fox M. Showcasing the Great Experiment*, Chap. 7. О претензии СССР на звание «идеологической родины», которая должна была заменить американским евреям США и Палестину, см.: *Soyer D. back to the Future: American Jews Visit the Soviet Union in the 1920s and the 1930s* // *Jewish Social Studies*, 6. № 3. 2000. P. 124–159.

только Роллан сблизился со страстно увлеченной пробольшевистскими настроениями Кудашевой, ее роль как посредника приобрела гораздо большую значительность. Его привязанность к ней как представительнице русской культуры и советского порядка укрепила и усилила его приверженность сталинизму.

Второе, более широкое явление, о котором свидетельствует случай Кудашевой, связано с той ролью, которую играл Роллан в советской культуре 1930-х годов. Ее деятельность как секретаря Роллана и организатора его взаимодействия с культурными учреждениями, несомненно, значительно расширяла его связи и контакты с советскими литературными кругами. Однако не Кудашева единолично создала настоящий культ Роллана в сталинском СССР до начала репрессий, кульминацией которого стало празднование его юбилея в 1936 году; она лишь способствовала его присутствию в советской культуре тем, что постоянно занималась переводами и передавала многочисленные, носящие ритуальный характер выступления писателя для публикации в советских газетах. Таким образом, центральная роль Кудашевой в установлении связей между Москвой и Вильневом говорит не столько о ее успешном воздействии на Роллана, сколько о связи, которая раньше не становилась предметом изучения, — связи между Ролланом как объектом советской международной миссии за границей и Ролланом как объектом культурного наследия внутри страны.

Подумаем о множестве обстоятельств, сыгравших свою роль в процессе превращения Роллана одновременно в европейского друга коммунизма и в кумира сталинской культуры. Во-первых, просоветские настроения Роллана начиная с периода первой пятилетки были необходимым идеологическим условием почетного места, какое он занял в культуре СССР последующих лет. Во-вторых, сталинизм с его всепроникающим культом политического вождя не ограничивался созданием культов научных и культурных советских авторитетов, таких как Павлов в физиологии,

Макаренко в педагогике и Горький в литературе¹. Он также избирал кумиров среди представителей иностранной интеллигенции, считавшихся друзьями коммунизма. За Ролланом этот статус закрепился после его дружеской встречи со Сталиным в Кремле, которая подчеркивала сочетание культурных и политических факторов, лежащее в основе таких мини-культов. В-третьих, слава Роллана и массовые публикации его произведений в СССР служили инструментом советской культурной дипломатии за границей. Это был действенный способ ослепить представителей зарубежной интеллигенции наглядным доказательством их высокого статуса и авторитета в стране революционного социализма. Ничто не свидетельствует об этом факте так красноречиво, как солидный альбом, который содержал не менее четырехсот вырезок из советских газет, посвященных юбилею Роллана, и который Аплетин отправил последнему через Кудашеву². На самом деле поддержка, оказываемая Ролланом сталинизму с конца 1920-х до конца 1930-х годов, то усиливалась, то ослабевала, не в последнюю очередь в зависимости от его иллюзий относительно собственного влияния на великий эксперимент. В конечном счете дружба Ромена Роллана с Советским Союзом сформировалась на стыке его сочувственного отношения к СССР и его культа, имевших место по разные стороны границы. Кудашева, сыгравшая роль главного катализатора, помогла установить связь между этими двумя факторами.

¹ Об этом см.: *Fitzpatrick Sh. Cultural Orthodoxies under Stalin*. P. 238–256. О функции культуры в целом как своего рода замены религии в 1930-е годы см.: *Кларк К.* Москва, четвертый Рим.

² РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 14. Ед. хр. 729. Л. 55–56.

7. «ПРУССКИЙ БОЛЬШЕВИК» В СТАЛИНСКОЙ РОССИИ

ЭРНСТ НИКИШ НА ПЕРЕПУТЬЕ МЕЖДУ КОММУНИЗМОМ И НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМОМ

20 августа 1932 года, когда нацисты подвигались все ближе к власти, а сталинская революция неминуемо вела страну к массовому голоду, советскую границу пересекла как нельзя более неподходящая личность немецкого происхождения. Эрнст Никиш (1889–1967), сочетавший различные взгляды, но постоянно бросавшийся в крайности, совмещал противоречащие друг другу идеологии левых революционеров и правых радикалов, переходя от одной к другой поистине уникальным для XX столетия, века крайностей, образом. Будучи левым социал-демократом, короткое время занимавшим пост председателя центрального Совета рабочих в Мюнхене во времена недолго просуществовавшей Баварской Советской республики в 1918 году, Никиш в середине 1920-х годов стал приверженцем нового народного национализма и встал на крайние антизападные позиции в ходе консервативной революции в Германии¹. Он был одним из первых немцев, наряду с Эрнстом Юнгером, кто использовал

¹ Термин «консервативная революция» относится к периоду Веймарской республики. По мнению одного историка, его авторами являются писатель Гуго фон Гофмансталь и политолог Эдгар Юнг. См.: *Woods R. The Conservative Revolution in the Weimar Republic. Houndmills: Macmillan, 1996. P. 2.*

термин «тоталитаризм», употребляя его в положительном смысле в контексте сравнения фашистской Италии, Германии и СССР. Из числа тех, кто принадлежал в Германии к крайнему правому ультранационалистическому крылу, Никиш наиболее последовательно выражал симпатию к большевизму, говоря о необходимости «восточной ориентации» и называя себя при этом сначала идеологом пролетарского национализма, а затем — прусского большевизма¹. Это последняя концепция утверждала предполагаемую преемственность между прусским военным абсолютизмом, средоточием которого в начале современной эпохи был Потсдам, и тоталитарной Москвой, а также Берлином будущего. Союз ориентированных на Восток сторонников национальной и социалистической революции стал известен в Германии — и в Советском Союзе — как движение национал-большевизма (*Nationalbolschewismus*). Никиш, которого нацисты впоследствии арестовали и отправили в концлагерь за государственную измену, после 1945 года совершил нетипичное возвращение в ряды левых, примкнув к Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) и преподавая социологию в Университете им. Гумбольдта в Восточном Берлине².

¹ Gleason A. Totalitarianism: The Inner History of the Cold War. New York: Oxford University Press, 1995. P. 29.

² Основные работы о Никише: Sauermann U. Ernst Niekisch und der revolutionäre Nationalismus. Munich: Bibliotheksdienst Angerer, 1985; Sauermann U. Ernst Niekisch zwischen allen Fronten. Munich: Herbig Aktuell, 1980; Rättsch-Langerjürgen B. Das Prinzip Widerstand: Leben und Wirken von Ernst Niekisch. Bonn: Bouvier Verlag, 1997; Pittwald M. Völkischer Sozialismus, nationale Revolution, deutsches Endimperium. Cologne: PapyRossa Verlag, 2002. Никишу также отводится значительное место в важнейших работах о немецком национал-большевизме: Schüdekopf O.-E. Nationalbolschewismus in Deutschland 1918–1933, rev. ed.. Frankfurt: Verlag Ullstein, 1972 (1960); Dupeux L. «National-bolchevisme»: Stratégie communiste et dynamique conservatrice. Essai sur les différent sens de L'Expression en Allemagne, sous la République de Weimar (1919–1933). Lille: Atelier reproduction des theses, 1976; Dupeux L. (ed.). La «Révolution conservatrice» dans L'Allemagne de Weimar. Paris: Éditions Kimé,

Свою поездку в СССР в 1932 году Никиш предпринял в рамках столь же необычной группы, которая сама представляла собой гибрид левого и правого крыла, — «Рабочего общества по изучению плановой экономики Советской России» (*Arbeitsgemeinschaft zum Studium der Sowjetrussischen Planwirtschaft — Arplan*), в котором коммунисты, в частности Дьёрдь Лукач и Карл Виттфогель, соседствовали с Никишем и другими видными идеологами консервативной революции, такими как Эрнст Юнгер, Карл Шмидт и член нацистской партии граф Эрнст цу Ревентлов¹. В горячие дни перед закатом Веймарской республики в кафе, кружках и салонах социальное смешение и до некоторой степени взаимный обмен между представителями противоположных политических крайностей стали относительно повседневным явлением. Но за «Арпланом» стоит нечто большее, а именно малоизвестная попытка советской власти через берлинского представителя ВОКС, главного органа советской культурной дипломатии, «проникнуть» в радикальные правые группировки и завербовать их членов, в особенности тех интеллектуалов и националистических политических деятелей, национал-большевизм которых может послужить почвой для их благосклонного отношения к Советам.

1992. Фигура Никиша также подробно рассмотрена в книге: *Breuer S. Anatomie des konservativen Revolution. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1982.*

¹ Об «Арплане» см.: *David-Fox M. Annäherung der Extreme: Die UdSSR und die Rechtsintellektuellen vor 1933 // Osteuropa. Vol. 59. 2009. № 7–8. S. 115–124; Дмитриев А.Н.* К истории советско-германских научных и политических связей начала 1930-х гг.: Арплан (немецкое общество по изучению советского планового хозяйства) // Немцы в России: проблемы научных и культурных связей. СПб.: Дмитрий Буланин, 2000. С. 251–272; *Ланге Б., Дмитриев А.Н.* Рабочее объединение по изучению советского планового хозяйства (Арплан) // Советско-германские научные связи времени Веймарской Республики / сост. Э.И. Колчинский. СПб.: Наука, 2001. С. 197–206. Об исследовательской поездке (*Studienreise*) группы «Арплан» в 1932 году см.: *Дэвид-Фокс М.* Витрины великого эксперимента. Культурная дипломатия Советского Союза и его западные гости, 1921–1941 годы / пер. В. Макарова. М.: Новое литературное обозрение, 2015. Гл. 7.

Этому плану сопутствовали отдельные мимолетные эпизоды, например, в начале 1930-х годов, когда Коммунистическая партия Германии (КПГ) ввела в свою пропаганду националистические лозунги, чтобы привлечь сторонников национализма. В то же время члены многочисленных групп и кружков, известные в Германии периода Веймарской республики как правые национал-революционеры, взаимодействовали и с нацистской партией, которая также пыталась их завербовать, и многие из товарищей Никиша перешли под знамя набирающего силу национал-социализма. Как мы увидим, у Никиша и возглавляемого им движения *Widerstand* (Сопротивления) тоже были эпизодические контакты с нацистами, например, с Геббельсом и братьями Штрассерами, уклонившимися от основного курса представителями «левого нацизма». Но после 1930 года Никиш стал самым ожесточенным противником Гитлера среди крайних правых.

В этой главе сквозь призму непосредственного контакта Никиша с Советами анализируются два взаимосвязанных вопроса: логика идеологической эволюции Никиша и попытки Советского Союза в период поздней Веймарской республики проникнуть в круги немецких праворадикалов и завербовать их. Если говорить о первом, восхищение Никиша отдельными элементами сталинской революции — или, если использовать его выражение, взаимосвязью между прусским и русским большевизмом, — составляло сердцевину в целом характерного для него стремления совместить революционный национализм с социализмом. Пристальное рассмотрение его поездки на Восток может способствовать раскрытию важных особенностей его фантастической «восточной идеологии» (*Ostideologie*), построенной им геополитической теории о мифическом Востоке. В этом отношении авторы существующих исследований о Никише, по-видимому, затрудняются определить его политические убеждения, именно в силу того, что радикальный национализм сочетался у него с восхищением советским коммунизмом, к которым вдобавок примешивались терминология и переосмысленные понятия,

сохранившиеся у него со времени принадлежности к революционным социал-демократам. Означал ли его антинацистский национал-большевизм, как полагало большинство историков (и, по всей видимости, наблюдавших за ним из Советского Союза современников), что он был «левым правым», как Отто и Грегор Штрассеры, национал-социализм которых, опираясь на рабочие массы и будучи антикапиталистическим по своей сути, ставил их в положение «левых нацистов»? Или же радикальное отрицание им западной культуры, фанатически яростная критика «идей 1789 года» и восхваление решений, ведущих к уничтожению и катастрофам, свидетельствовали о том, что он «самый правых из правых», как полагает Дюпё?¹ Кроме того, указывали ли сохранявшееся тяготение Никиша к рабочему классу и его убежденность в необходимости лишить капиталистов собственности на то, что он был одним из немногих подлинных национал-большевиков в Веймарской республике, или же его националистское, расистское толкование большевизма было столь причудливым, что этот термин теряет смысл применительно к его взглядам?² Как в таком случае расценивать то, что он унаследовал от социал-демократии, и то, в чем разошелся с ней? В этой главе прежде всего ставится вопрос, как мимолетное знакомство Никиша с советской действительностью повлияло на место большевизма в его мировоззрении.

Вторая группа вопросов строится вокруг советской политики и взглядов относительно Никиша, «Арплана» и поворота коммунистов в сторону немецких праворадикалов в преддверии захвата власти нацистами. В одной из своих статей я писал, что

¹ *Dupeux L.* Pseudo-‘travailleur’ contre prétendu ‘état bourgeois’: L’interprétation de l’Hitlersime par Ernst Niekisch en 1933–1935 // La «Révolution conservatrice» dans L’Allemagne de Weimar / ed. Dupeux L. Paris: Éditions Kimé, 1992. P. 361–375; *Dupeux L.* «National-bolchevisme». P. 282, 308.

² Первой точки зрения придерживается Эрик ван Ри: *Van Ree E.* The Concept of ‘National Bolshevism’: An Interpretive Essay // *Journal of Political Ideologies*. Vol. 6. № 3. 2001. P. 289–307; второй — Уве Зауэрманн: *Sauermann U.* Ernst Niekisch (spec.: S. 297–304).

Германия периода Веймарской республики — после Рапалльского договора поддерживавшая взаимовыгодные дипломатические, научные и военные связи с Советским Союзом, — создала новые условия для проверки ключевой дилеммы советской культурной дипломатии: выбора между идеологически дружественными левыми и влиятельными, но идеологически далекими, хотя и благожелательно настроенными партнерами¹. Но как советская сторона могла пройти мимо искаженных взглядов Никиша на русскую и советскую историю, мимо его крайнего национализма, расистской концепции истории и антисемитизма? Яростные конфликты внутри ВОКС — между теми, кто стремился к налаживанию прочных отношений с сочувствующими левым немецкими идеологами и признанными учеными, и теми, кто втайне пытался сблизиться с крайними правыми, — многое говорят о расчетливом, прагматичном утилитаризме, двигавшем обеими сторонами в этой скрытой советской полемике об «Арплане»². Кроме того, прицельный анализ фигуры Никиша дополняет и проясняет то, что можно почерпнуть из документов об этих внутренних дискуссиях. В частности, встреча Никиша в Москве с Карлом Радеком, на тот момент главным советчиком Сталина по вопросам, связанным с Германией, лишний раз подтверждает, что скрытые

¹ *David-Fox M.* Leftists versus Nationalists in Soviet-Weimar Cultural Diplomacy: Showcases, Fronts, and Boomerangs // *Doing Medicine Together: Germany and Russia between the Wars* / ed. S. Gross Solomon. Toronto: University of Toronto Press, 2006. P. 103–158. О дипломатических и политических отношениях, а также идеологических связях между Германией и СССР в более широком контексте см.: *Koenen G.* Der Russland-Komplex: Die Deutschen und der Osten 1900–1945. Munich: C.H. Beck, 2005; *Mick Ch.* Sowjetische Propaganda, Fünfjahrplan und deutsche Russlandpolitik 1928–1932. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1995; *Севостьянов Г.Н. (сост.).* Дух Рапалло: советско-германские отношения 1925–1933. Екатеринбург: Научно-просветительский центр «Университет», 1997; *David-Fox M., Holquist P., Martin A.M. (eds.).* Fascination and Enmity: Russia and Germany as Entangled Histories, 1914–1945. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2012; и работы, остающиеся классикой: *Laqueur W.* Russia and Germany: A Century of Conflict. Boston: Little, Brown, 1965.

² Об этом см.: *Дэвид-Фокс М.* Витрины великого эксперимента. Гл. 7.

попытки установить связи с крайним правым крылом немецких националистов через представителя ВОКС в Берлине были одобрены на высшем уровне советского руководства и продиктованы его тактикой в целом. Таким образом, пристальное рассмотрение политических и идеологических установок Никиша может помочь осмыслить, что именно эпизод с «Арпланом» говорит о понимании и непонимании советской стороной Никиша, немецкого национал-большевизма и утверждения нацизма.

ОТ БАВАРСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ К АНТИВЕРСАЛЬСКОМУ СОПРОТИВЛЕНИЮ

Никиш, как и его будущий «закадычный враг» (или «заклятый друг», это как посмотреть) Гитлер, родился в 1889 году в городе Требниц (после 1945 года — Тшебница) в Силезии, неподалеку от Бреслау; его отец был видным ремесленником. Когда Никишу было два года, семья переехала в Баварию, где его отец открыл в Нёрдлинге собственное небольшое дело. Мы располагаем скудными данными о ранних годах его жизни, а в своих дидактических воспоминаниях он прежде всего сосредоточен на современном ему периоде истории Германии и мировой истории, а не на своих первых впечатлениях. Но все же есть отдельные намеки, обретающие значительность в свете его дальнейшей деятельности. Молодой Никиш получил специальность школьного учителя, пройдя подготовку для учителей начальных классов. Уже в ранние годы на него произвела сильное впечатление «Воля к власти» Ницше, но Маркса он, по его словам, прочел лишь в двадцать шесть лет. Этого возраста он достиг в 1915 году, и тогда он исполнил свой воинский долг, осенью начав службу в чине сержанта в лагере для русских военнопленных в Пуххайме, близ Мюнхена¹.

¹ *Niekisch E.* Erinnerungen eines deutschen Revolutionärs. Cologne: Verlag Wissenschaft und Politik, 1974. P. 5, 26, 33–35.

Было ли совпадением, что его первая встреча с русскими в этом лагере произошла тогда же, когда он впервые открыл для себя Маркса? Известен тот факт, что с 1914 года немцы сознательно допускали, чтобы группы русских эмигрантов занимались революционной агитацией в лагерях для военнопленных, в надежде возбудить антиправительственные настроения среди русских узников. Никиш в своих мемуарах упоминает лишь о своем интересе к жизни лагеря и о том, что в тот год он читал Маркса и, часто бывая в Мюнхене, начал изучать экономику¹. Возможно, контакты Никиша с русскими в ходе Первой мировой войны были важны в другом отношении. Как показала Оксана Нагорная, колониальные амбиции Германии на Востоке в таких лагерях для военнопленных проявлялись в полную силу, и к русским пленным относились не как к европейцам, а так, словно речь шла о захваченных в плен колониальных войсках².

Можно предположить, что непосредственные наблюдения за русскими военнопленными и общение с ними могли создать фон для формирования взглядов Никиша на Октябрьскую революцию как освобождение от западного ига. Эти взгляды впоследствии стали той почвой, на которой выросла его навязчивая идея о союзе с советским Востоком, призванным разрушить колониальную власть Германии, установившуюся после подписания ненавистного Версальского договора. Говоря шире, Никиш вероятно был знаком с идеями Достоевского, пользовавшегося огромной популярностью в довоенной Германии, которую обещал ему переводчик Артур Мёллер ван ден Брук, один из первых идеологов консервативной революции. Так или иначе, Никиш и основанный им затем журнал *Widerstand* («Сопротивление») позже проявляли огромный интерес к Достоевскому³.

¹ Нагорная О.С. Другой военный опыт: российские военнопленные Первой мировой войны в Германии (1914–1922). М.: Новый хронограф, 2010. С. 309–310; Nickisch E. Erinnerungen. P. 34.

² Нагорная О.С. Другой военный опыт. С. 149–156, 182–183.

³ Байсвенгер М. «Консервативная революция» в Германии и движение евразийцев: точки соприкосновения // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. № 2. 2009. С. 23–40, см. сн. 42.

Доподлинно известно, что Никиш вступил в ряды революционных социал-демократов в тот же месяц, когда произошла революция 1917 года, и что он присоединился к ответвлению их левого крыла — Независимой социал-демократической партии Германии (НСДПГ), в которой состоял до 1922 года. В 1917–1918 годах он написал неизданную работу о России под названием «Свет с Востока», которая была впоследствии утрачена¹. В одной из немногих эмоциональных фраз ближе к началу своих мемуаров Никиш вспоминал, что всеми фибрами своей души жаждал революционной бури².

Таким образом, неизменными во взглядах Никиша в процессе его сближения с крайними правыми в середине 1920-х годов, очевидно, остались его надежды на то, что будущее Германии зависит от России и ориентации на Восток. На заре своей политической карьеры в Баварской Советской республике он тем не менее сохранял нейтралитет по отношению к зарождающимся немецким коммунистическим силам и позже всегда проводил границу между необходимостью геополитического союза с советским коммунизмом и своим более негативным отношением к Коммунистической партии Германии (КПГ). Взлет Никиша в движении за Баварскую Советскую республику оказался молниеносным. Вскоре он возглавил Совет рабочих и солдатских депутатов в Аугсбурге, а в декабре 1918 года принял участие в съезде Советов в Берлине, где видел Карла Либкнехта. В январе 1919 года он на короткое время возглавил Центральный Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов и стал главным редактором его еженедельного издания. Никиш был связан лишь с первой, несостоявшейся Баварской Советской республикой, выйдя в отставку накануне формирования ее второго, коммунистического правительства во главе с Евгением Левине. Но, поскольку его отставка не

¹ *Mohler A. Zeittafel // Saueremann U. Ernst Niekisch zwischen allen Fronten. S. 177–178.*

² *Niekisch E. Erinnerungen. S. 35.*

была принята официально, его сочли виновным и приговорили к двум годам тюрьмы после жестокого подавления режима «добровольческим корпусом»¹.

Важно отметить также различия между «левым» и «правым» этапами политического пути Никиша. В противовес своим убеждениям в ходе консервативной революции с ее прославлением войны и фронтового духа, в советский период Никиш был близок к пацифизму. Кроме того, будущий идеолог «тоталитарного государства» в бытность социал-демократом рассматривал государство как инструмент правящего класса².

Однако другой, помимо восточной ориентации, важной устойчивой чертой идеологии Никиша, сохранившейся после его перехода из левого крыла в правое, была его приверженность рабочему классу. Между 1922 и 1925 годами Никиш неожиданно занял должность главы молодежного секретариата при центральном правлении Германского союза рабочих текстильной промышленности. Об этом периоде опять же мало что известно, однако связь со вторым на тот момент по величине профсоюзом в Германии позднее могла повлиять на нежелание Никиша в своих формулировках заменить рабочий класс обманчиво единой «нацией». Даже после начала его сближения с националистами в 1924 году Никиш продолжал считать пролетарскую революцию одним из существенных элементов национальной революции. Между серединой 1920-х годов, когда он стал тяготеть к националистическому правому крылу, и его радикальными ультранационалистическими взглядами после 1929 года, когда ключевыми для его системы стали «пруссский» и «романский» расово-цивилизационные типы, он называл себя пролетарским националистом.

В то же время антикапиталистические настроения Никиша и однозначное отрицание им частной собственности оставались важными чертами его мышления. Следует особо отметить,

¹ Mohler A. Zeittafel. S. 181; Niekisch E. Erinnerungen. S. 44–45, 70.

² Saueremann U. Ernst Niekisch und der revolutionäre Nationalismus. S. 23.

что его идеологический вклад в национализацию экономики и теорию пролетарского класса представляется наиболее большевистской — или советской — частью его национализма. Эти две черты также представляются необычными в сравнении с системами крупнейших идеологов консервативной революции — от Освальда Шпенглера и Мёллера ван ден Брука вначале до друга и наперсника Никиша Эрнста Юнгера на более поздних этапах. Они были одинаково уникальны среди его товарищей на политическом поприще в отколовшихся группах и воинственных фракциях, относившихся к тому, что тогда в целом называли национал-революционным лагерем (в отличие от партии национал-социалистов, НСНРП). Даже те из них, кто в 1920-е годы называл себя национал-большевиками, поддерживали геополитическую ориентацию на Восток и сильное государство, но их антикапиталистический настрой носил скорее политический и культурный характер, не касаясь национализации средств производства. Но с точки зрения усвоенного Никишем после 1926 года революционного национализма освобождение Германии из-под колониальной власти Запада требовало мобилизации всех видов оружия, включая отказ от капиталистического экономического строя¹. Поэтому его интерес к перенесению модели советской экономической автаркии на новую Германию составлял одну из главных причин его последующего участия в объединении «Арплан».

Если говорить в общем, Никиш, эволюционируя в сторону крайних правых взглядов, не отрекался прямо от своих левых идей. Даже после того, как он начал действовать в рамках политической культуры радикального национализма, получая удовольствие от риторики «крови и почвы» и воли к власти, его речь сохранила отпечаток былой его приверженности социал-демократии. По сути, он умудрился не отказаться от идеи классовой борьбы и антибуржуазного радикализма даже после того, как

¹ Ibid. S. 225–226; *Breuer S.* Anatomie des konservativen Revolution. S. 61–68; *Van Ree E.* The Concept of 'National Bolshevism'. P. 294.

стал поддерживать национальную революцию¹. В целом переход Никиша в 1920-е годы из левого лагеря в правый нельзя было назвать радикальным обращением и отрицанием прежних убеждений. Подобные метания стали типичным делом очень многих интеллектуалов, проделавших тот же путь от левых к правым в самых разных обстоятельствах XX столетия — даже с учетом того, что в этих переменах прослеживалась неявная преемственность. Эволюция взглядов Никиша была более своеобразной. Сначала его убеждения развивались в рамках традиционной революционной идеологии, а затем, сохранив очевидную преемственность вопреки разрыву, — в рамках силового поля нелиберальной, столь же радикальной революционной идеологии правого толка, которая сама по себе характеризовалась некоторыми точками соприкосновения с первой². Примкнув к правым, Никиш занял более радикальную и более революционную позицию. Кроме того, важно отметить, что вторая, национал-революционная идеология — прусский большевизм Никиша — представляла собой попытку нащупать третий, средний путь между немецким коммунизмом и нацизмом, которые оба вызывали у Никиша возражения, но с которыми он как амбициозный политический лидер в мире противоречий и крайностей поддерживал интенсивные взаимосвязи.

Никиш обнаружил, что оказался не просто между двумя борющимися за власть тоталитарными идеологиями, но между двумя полюсами Веймарской республики с ее «риторикой социального радикализма, в которой идеи, традиционно ассоциирующиеся с „левыми“ и „правыми“, вступали в игру между

¹ Об этом см.: *Rätsch-Langerjürgen B.* Das Prinzip Widerstand. Spec.: P. 101, 190; *Dupeux L.* «National-bolchevisme». P. 282–309.

² С недавнего времени историки задумались над объяснением этого сходства. См. особенно актуальную в этом плане работу: *Brown T.S.* Weimar Radicals: Nazis and Communists between Authenticity and Performance. New York: Berghan Books, 2009. О проектах модернизации и стремлении к новому порядку как движущей силе германской политики в целом после войны и революции см.: *Fritzsche P.* Germans into Nazis. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

собой»¹. Движение Никиша от крайнего левого крыла к крайнему правому происходило по мере того, как он прокладывал собственную дорогу среди множества групп, на которые раскололся национал-революционный лагерь «третьего пути». В частности, уникальность его концепции заключалась в навязчивой идее, преследовавшей его с середины 1920-х годов, — что немецкий революционный национализм надо было сочетать с русским большевизмом. На короткое время это сделало его важной фигурой с точки зрения планов и предполагаемых действий Советского Союза в Берлине, а в 1932 году привело его в СССР. В период радикализации германской политики в начале 1930-х годов национал-революционный лагерь, к которому принадлежал Никиш, оказался точкой пересечения двух мощных крайностей: коммунизма и фашизма, — а также их вариаций и отклонений от них.

ПРАВЫЙ РАДИКАЛ

Переход Никиша к национализму был обусловлен его яростной и неизменной враждебностью Западу. Впервые она проявилась в 1924 году, когда в ответ на неуплату репараций, прописанных в Версальском договоре, французы и бельгийцы оккупировали Рур. Никиш потребовал, чтобы Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) превратила мятеж против репараций в революционную борьбу с западным империализмом, и написал на эту тему брошюру, вызвавшую резонанс в социал-демократических кругах. Не кто иной, как старый марксист-ревизионист и известный социал-демократ Эдуард Бернштейн, обвинил Никиша в том, что тот рассматривает внешнюю политику в духе германского национализма. Рурский конфликт, как писал Никиш в своих мемуарах, стал единственной основной причиной

¹ *Brown T.S. Weimar Radicals. P. 5.*

политической трансформации, в июле 1926 года заставившей его выйти из СДПГ¹.

Путь от социал-демократии к новому национализму Никиш проделал, возглавляя альтернативную социалистическую партию (Старую социалистическую партию, ССП), сформированную в Саксонии бывшими депутатами СДПГ, встревоженные ослаблением позиций СДПГ в Саксонии после 1923 года. Чтобы сохранить союз с буржуазными, националистическими политическими партиями, ССП (число членов которой в разное время насчитывало от восьми до десяти тысяч человек) стремительно «правела», подхватив идеи сильного государства и единства немецкого народа (*Volksgemeinschaft*). В июле 1926 года Ева Бютнер, основательница ССП, пригласила Никиша стать редактором издаваемой ССП газеты *Der Volksstaat* («Народное государство»), и к осени 1927 года Никиш возглавил партию. Как официальный представитель ССП в 1927–1928 годах, когда она играла наиболее значительную роль, Никиш придал партии национал-революционный уклон и попытался расширить ее влияние за пределы Саксонии. В этот период Никиш отверг прежнюю, якобы чуждую революции, социалистическую традицию XIX века и восхвалял новый социализм, родившийся в 1914 году; он вел отсчет от Лассалю, к которому Никиш относился с одобрением, поскольку тот, в отличие от Маркса, поддерживал идею сильного национального государства. Никиш, который теперь писал о «духе 1914 года» и «темном потоке крови», создающем народ (*Volk*), объявил, как ранее Мёллер ван ден Брук, немцев пролетарской нацией. «Отличие риторики старых социалистов от традиционного правого крыла Веймарской республики и теоретиков „консервативной революции“ в Веймаре заключалось

¹ Lapp B. Revolution from the Right: Politics, Class, and the Rise of Nazism in Saxony, 1919–1933. Atlantic Highlands, NJ: Humanities Press International, 1997. P. 119; Niekisch E. Erinnerungen. P. 114; статья Бернштейна была опубликована в журнале *Glocke* от 8 января 1925 года.

в том, — пишет Бенджамин Лапп, — что первая пыталась ориентироваться на рабочий класс и совместить националистическую программу с установкой на социальную реформу». На самом деле речь шла о попытке создать своего рода национал-социализм, и нацисты видели в ССП потенциальных союзников¹. Никиш, придерживавшийся все более крайних взглядов, был не просто радикалом или маргинальной фигурой в разделенном на противоположные политические лагеря обществе Веймарской республики. Однако ССП лишилась поддержки профсоюзов и на выборах 1928 года потерпела сокрушительное поражение.

У Никиша в запасе были другие стратегии. Возглавив журнал *Widerstand* («Соппротивление»), выходявший с 1926 по 1934 год и обязанный своим названием сопротивлению условиям Версальского договора, Никиш разработал сначала свою концепцию пролетарского национализма, а после 1929 года — прусского большевизма. К началу 1930-х годов тираж *Widerstand* колебался от трех до четырех с половиной тысяч экземпляров; вокруг журнала собирался кружок (*Kreis*) тех, кто поддерживал политику журнала и его руководителя, — типичная для консервативной революции форма организации. В 1929 году Никиш расширил охват своей деятельности, основав в Берлине издательство *Widerstand*, просуществовавшее до 1937 года. До прихода к власти нацистов кружок «Соппротивления» был одним из наиболее сплоченных и активных среди сторонников консервативной революции, а его члены считали Никиша блестящим писателем и харизматичным революционером, не в последнюю очередь потому, что его идеологическая позиция представлялась им уникальной². В этот кружок входили и видные идеологи, такие как Эрнст Юнгер и Август Винниг, ближайший сподвижник и наряду с Никишем руководитель ССП в Саксонии, но все же

¹ Lapp B. Revolution from the Right. Spec.: P. 119–125.

² Самое глубокое исследование о *Widerstand* — работа Зауэрманна: Sauer-mann U. Ernst Niekisch und der revolutionäre Nationalismus. S. 5–6.

курс «Сопротивления» прежде всего отражал взгляды самого Никиша.

Таким образом, к концу 1920-х годов Никиш начал развивать идеологию, которую назвал прусским большевизмом, поскольку она сочетала в себе национализм и социализм. Здесь он в значительной мере опирался на двух ключевых для консервативной революции мыслителей — Шпенглера и Мёллера ван ден Брука. Понятие «прусский социализм», введенное Шпенглером в его книге «Пруссачество и социализм» (*Preussentum und Sozialismus*), опубликованной в 1919 году, представляло собой попытку «освободить немецкий социализм от Маркса» и создать теорию диктатуры германского государства, а не пролетариата. Как впоследствии и Никиш, Шпенглер продемонстрировал «поразительную неосведомленность в отношении большевизма как идеологии и отсутствие интереса к нему»¹. Мёллер ван ден Брук в своей наиболее значительной работе «Третий рейх» (*Das Dritte Reich*, 1923) развивал фантастическую «восточную идеологию» (*Ostideologie*), в которой «молодые народы» Востока — к ним он относил как немцев, так и русских, — противопоставлялись капиталистическому, материалистическому Западу. Мёллер ван ден Брук в еще большей степени, нежели Шпенглер, был увлечен Достоевским и совершал «глубокие экскурсии в понятия русской души, русской жизни, в тайну славянского мира»². Никиш, о чем

¹ Herf J. *Reactionary Modernism: Technology, Culture, and Politics in Weimar and the Third Reich*. Cambridge: Cambridge University Press, 1984. P. 67–68; *Schüddekopf O.-E.* Nationalbolschewismus. S. 44. Никиш прочел Шпенглера, Ревентлова и Ранке в 1919 году (см.: *Dupeux L.* «National-bolchevisme». P. 283). Интересно, что после того как в 1922 году переведенный на русский язык «Закат Европы» Шпенглера произвел фурор в СССР, организация, которая была председателем ВОКС, и Наркомат просвещения в 1924 году сообщили советскому посольству в Берлине, что визит Шпенглера в Советский Союз был весьма желателен. См.: *Каменева О.Д.* Пред. Комиссии заграничной помощи Президиума ЦИК. Советнику Полпредства в Германии С.И. Бродовскому, 30 сентября 1924 года // АВП РФ. Ф. 082. Оп. 7. Д. 52, п. 18. Л. 14.

² Stern F. *The Politics of Cultural Despair: A Study in the Rise of the Germanic Ideology*. Berkeley: University of California Press, 1961. P. 209, 246–247; о биографии Мёллера ван ден Брука в общих чертах см. часть третью.

еще будет сказано подробнее, в своем видении нового союза Германии и России в будущей утопии пошел еще дальше Мёллера ван ден Брука. Большевизм для Никиша олицетворял противостояние Западу и политической ситуации после Версальского договора, поворот к национальной революции, которая не просто дополнит, но возродит и спасет «идею Потсдама». Столкнувшись с колонизаторской тактикой Запада, Россия в 1917 году усвоила прусскую традицию и при Ленине и Сталине довела ее до логического предела. В 1931 году Никиш сделал поразительное заявление, утверждая, что «Россия стала ближе к Пруссии, чем остаемся мы сами»¹. Таким образом, для Германии, как и для России (как Никиш и другие националисты всегда называли СССР), современным воплощением прусского абсолютизма должно было стать тоталитарное государство, в котором экономика, культура, общественная и личная жизнь находились под контролем.

Мысли Никиша об ориентации на Восток — то есть то, как он видел интересы Германии, которые для него были связаны с Востоком, — носили на себе отпечаток характерного для того времени приоритета внешней политики. Подразумевалось, что все касающееся будущего самой Германии вытекает из ее международной ориентации. На самом деле по отношению к радикальным идеологическим установкам Никиша правильное было бы говорить о приоритете геополитики, поскольку его интересовала отнюдь не просто внешняя политика. Вопрос заключался, пользуясь выражением, которое он позаимствовал у Мёллера ван ден Брука, в «общности судеб» (*Schicksalsgemeinschaft*) Германии и России. Как сказал он в 1929 году, «быть или не быть» Германии, само ее существование зависело от судьбы России. В прусском большевизме Никиша содержалась также идея, роднившая его с коммунизмом, — представление о новом человеке, только для Никиша это перерожденное человеческое существо было неотделимо от своей национальной и немецкой

¹ *Niekisch E. Das Gesetz von Potsdam // Widerstand. № 8. 1931, S. 225–233, цитата: Р. 230.*

природы (*der deutsche Mensch*). Хотя «Европа» хотела положить конец немецкому народу, мрачно пророчествовал он, личность нового немца еще проявит себя, когда он будет прокладывать дорогу через «руины [*Trümmern*] Европы»¹.

Как можно догадаться из сказанного, политические интересы Никиша в период его радикализации в конце 1920-х годов лежали в области историографии расовых типов. Принятие им «мистики крови» (*Blutmystik*) можно отнести на счет различных сторонних влияний середины 1920-х годов, в первую очередь влияния его сподвижника по ССП и «Сопротивлению» Августа Виннига. Прошлое Виннига, воздействие которого после их встречи в 1925 году послужило одним из факторов, толкнувших Никиша к усвоению категорий народности, расизма и антисемитизма, также было связано с социал-демократией и профсоюзами, до того как он начал тяготеть к правому ультра национализму. В 1919 году его назначили комиссаром Восточной и Западной Пруссии и затем, в тот же год, — обер-президентом Восточной Пруссии; Винниг, пришедший к национализму раньше Никиша и участвовавший в капповском путче, был исключен из СДПГ в 1920 году².

Другим членом окружения Никиша, повлиявшим на него в этот период, был философ Альфред Боймлер, в 1928 году познакомивший его с Эрнстом и Фридрихом Георгом Юнгерами³. Общение с Боймлером пробудило у Никиша интерес

¹ *Niekisch E.* Gedanken über deutsche Politik. Dresden: Widerstands-Verlag, 1929), S. 253, 386. О новом человеке в контексте сопоставления см.: *Fritzsche P., Hellbeck J.* The New Man in Stalinist Russia and Nazi Germany // *Beyond Totalitarianism: Stalinism and Nazism Compared* / ed. M. Geyer, Sh. Fitzpatrick. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. P. 302–344.

² *Sauermann U.* Ernst Niekisch und der revolutionäre Nationalismus. S. 51; *Breuer S.* Anatomie des konservativen Revolution. S. 93; *Dupeux L.* «Nationalbolchevisme». P. 297.

³ *Fröschle U., Haase V.* Friedrich Georg Jünger und Ernst Niekisch // Jünger F.G. „Inmitten dieser Welt der Zerstörung“: Briefwechsel mit Rudolf Schlichter, Ernst Niekisch und Gerhard Nebel / ed. U. Fröschle, V. Haase. Stuttgart: Klett Cotta, 2001), S. 61; *Fröschle U., Kuzias Th.* Alfred Bauemler und Ernst Jünger. Dresden: Thelem, 2008), S. 73–79.

к расистской исторической теории. Среди расистских исторических концепций Никиша, в полной мере развернувшихся после 1929 года, было понятие гендерно маркированных рас. Изначальная сущность (*Ursubstanz*) германской расы, утверждал Никиш, была бисексуальной. Затем под романским воздействием — которое у него обозначало все западное и южное, равно как и «идеи 1789 года», — она преобразовалась в женскую, но, смешавшись с примитивной мужественной восточной или славянской расой, приобрела черты маскулинности¹. Никиш смутно представлял себе границы будущего восточного блока, его новой революционной империи, простиравшейся от Рейна до Тихого океана, но возглавить его, очевидно, предстояло сильной Германии. Восточный союз и освобождение Германии от буржуазии (*Entbürgerlichung*) были тождественны друг другу².

Радикализация Никиша после 1929 года совпала с Великой депрессией и резким обострением его враждебности по отношению к Западу. Его наиболее страстные воззвания, посвященные будущему союзу духа Пруссии и мощи России, шли рука об руку с его растущей ненавистью к Западу³. Как указывает Уве Зауэрманн в своей работе, примерно 28% статей в журнале *Widerstand* в 1930 году содержали упоминание России (Советского Союза); в 1931 году эта цифра подпрыгнула до 47% и осталась

¹ В 1930 году Никиш с похвалой отзывался о другой сложной расовой интерпретации немецкой и мировой истории — «Мифе двадцатого века» Альфреда Розенберга: *Breuer S. Anatomie des konservativen Revolution. S. 93.*

² *Rätsch-Langerjürgen B. Das Prinzip Widerstand. S. 104–106.* Возможно, Никиш был знаком с работами Карла Хаусхофера, профессора Мюнхенского университета и главного представителя мюнхенской геополитической школы в период Веймарской республики и нацистской Германии, поскольку и Хаусхофер, и Никиш были близки к Союзу «Оберланд» в середине 1920-х годов. См.: *Jacobsen H.-A. Karl Haushofer: Leben und Werk, 1: Lebensweg 1869–1946 und ausgewählte Texte zur Geopolitik. Boppard am Rhein: Harald Boldt Verlag, 1979. S. 201–202.*

³ *Rätsch-Langerjürgen B. Das Prinzip Widerstand. S. 106; Dupeux L. «National-bolchevisme». S. 281.*

равной 46% в 1932 году¹. Никиш и раньше использовал понятие романизма для обозначения буржуазного Запада, но лишь теперь последний предстал как единственный смертельный враг, чьи владения, древние и современные, простирались на юг (Средиземноморье) и на запад. В политической программе, опубликованной в 1930 году на страницах *Widerstand*, Никиш подобным же образом свалил в одну кучу Просвещение, гуманизм, индивидуализм, буржуазную экономику и политическую систему, парламентаризм и демократию.

В этот период Никиш, по-видимому, искал еще более широкого простора для своего революционного национализма. Так, несмотря на свою давнюю приверженность антибуржуазной позиции рабочего класса, в 1930 и 1931 году он временами начинал петь дифирамбы немецкой деревне, в приступе ненависти к городу восхваляя сельские «примитивизм» и «варварство» и приветствуя возвращение к дохристианской эпохе². В отличие от Мёллера ван ден Брука, также видевшего родство между молодыми народами Германии и России, Никиш считал прежнюю Германскую империю западной и романизированной. В 1930 году он писал, что славянская кровь уничтожит этот романский элемент, что произойдет благодаря миграции населения (*Bevölkerungsumschichtungen*) на юге и западе Германии³. Хотел ли Никиш обратить этническую чистку в Германии против самих немцев? По мере того как в этот период прусский большевизм Никиша усиливался, он приобретал характер разрушительного, уничтожающего антизападного импульса, так как Никиш «прямо настаивал на полном разрушении и уничтожении всего, что принято считать важным для западной цивилизации... Запад со всеми его „выдумками и вычурами“ должен был быть уничтожен»⁴.

¹ *Sauermann U.* Ernst Niekisch und der revolutionäre Nationalismus. S. 106, 291.

² *Ibid.* S. 227, 229, 232, 242, 251.

³ *Breuer S.* Anatomie des konservativen Revolution. S. 112.

⁴ *Donohoe J.* Hitler's Conservative Opponents in Bavaria 1930–1945. Leiden: E.J. Brill, 1961. P. 19.

Если идеология Гитлера могла породить геноцид славян и евреев на Востоке, Никиш в своих неосуществленных фантазиях и утопическом стремлении к истреблению желал стереть с лица земли Запад — не исключая и западной части Германии.

ТАКТИКА ЛЕВЫХ: КОММУНИСТЫ

Чтобы объяснить, каким образом человек с такими одиозными с точки зрения коммунистической традиции воззрениями мог в конце концов оказаться в почете в Советском Союзе наряду со своими правыми сподвижниками из «Арплана» и затем быть принятым в СССР в 1932 году, требуется рассказать о Коминтерне, КПГ и тактике Советов в отношении противоположного политического лагеря. Все значимые эпизоды совпали с кризисными для Веймарской республики моментами: первый из них был связан с кризисом рождения, когда Никиш был социал-демократом в Баварской Советской республике. Большевик-космополит и интриган Карл Радек в своем тюремном «политическом салоне» в период своего длительного заключения в 1919 году часто встречался с разными представителями правого крыла среди военных и политических деятелей, и эти встречи могли подготовить почву не только для отношений между Веймарской республикой и СССР, но и для длительного сотрудничества националистов и коммунистов¹.

Радек также присутствовал при рождении идеи национал-большевизма и принимал в нем активное участие. В Германии этот термин вошел в политический обиход еще в 1919 году, когда Пауль Эльцбахер, член Немецкой национальной народной партии, призвал к формированию немецкого большевизма — прежде всего к созданию советов и общественному владению средствами производства во благо народа. «Национальным большевизмом»

¹ *Fayet J.-F.* Karl Radek: Biographie politique. Bern: Peter Lang, 2004. P. 289–311.

(*nationaler Bolschewismus*) это явление впервые было названо на страницах «Дойче Тагесцайтунг». В том же 1919 году гамбургская фракция КПП во главе с Генрихом Лауфенбергом и Фрицем Вольфхаймом выступила за союз национал-коммунистов с правыми националистами, направленный на свержение правительства после восстания спартакистов. Насколько Радек игрывал с этим нетрадиционным союзом, остается спорным, но он одновременно сочувствовал ему и в конечном счете пытался восстановить порядок, заклеив гамбургских мятежников как «национальных большевиков» — вмешательство, благодаря которому это понятие проникло в немецкую прессу и политическую жизнь¹. Таким образом, термин «национал-большевизм», используемый в исторических исследованиях и фигурирующий в документах, которые советские аналитики составляли в поздний период существования Веймарской республики, появился в результате осуждения коммунистами националистических отклонений. Как часто бывает с пейоративными терминами, впоследствии его переняли те, кто стремился использовать его в качестве самоназвания, но это относилось лишь к некоторым второстепенным членам национал-революционного лагеря, таким, как Карл Отто Петель, употреблявший это понятие в своем журнале. Однако Никиш, считающийся главным представителем национал-большевизма, никогда не отождествлял себя с ним, как и многие другие, кого причисляли к национал-большевикам².

Карл Радек, знавший несколько языков представитель большевиков и ведущий авторитет Коминтерна по вопросам,

¹ Lerner W. Karl Radek: The Last Internationalist. Stanford, CA: Stanford University Press, 1970. P. 86–90; Van Ree E. The Concept of 'National Bolshevism'. P. 292–293.

² Петель впоследствии задним числом сформулировал псевдонаучное обоснование этого термина: Paetel K.O. Versuchung oder Chance? Zur Geschichte des deutschen Nationalbolschewismus. Göttingen: Musterschmidt-Verlag, 1965. В январе 1933 года Петель опубликовал «Национал-большевистский манифест» [*Das nationalbolschewistische Manifest*], призывая национал-революционеров и КПП заключить союз (*Rätsch-Langerjürgen B. Das Prinzip Widerstand. S. 199*).

связанным с Центральной и Восточной Европой, сыграл ключевую роль в двух наиболее значительных эпизодах политического заигрывания коммунистов с силами крайнего националистического и правого фашистского лагеря: первый из этих эпизодов произошел во время франко-бельгийской оккупации Рура, второй — в период все большего тяготения Веймарской республики к правому режиму, кульминацией которого стал захват власти нацистами. Более ранняя из этих попыток взаимодействия стала известна как «курс Шлагетера». Она была предпринята в разгар Рурского конфликта, в ходе которого националисты возглавили движение противостояния и саботажа, и примечательным образом задействовала Коминтерн, КПП и высшие уровни советского государства. КПП приняла курс Шлагетера 21 июня 1923 года в ходе открытого заседания Исполнительного комитета Коминтерна. Радек, выступавший на этом заседании в качестве главного советского и коминтерновского стратега (позже, в октябре, во время революционных событий в Руре, он был направлен Коминтерном в Германию), «произвел волнение в коммунистических кругах, предлагая объединить усилия с немецким фашизмом». В своем панегирике Шлагетеру — лейтенанту добровольческого корпуса в отставке, расстрелянному французами за саботаж в Руре, которого ультра националисты и нацисты объявили мучеником, Радек высказал мысль, что «тех, кто обратился к фашизму, придя в отчаяние от социальных болезней и порабощения своего народа», не нужно больше считать заслуживающими проклятия. Летом 1923 года курс Шлагетера привел к нескольким совместным переговорам и действиям коммунистов, военизированных правых групп и нацистов в Руре (однако ни одной операции с участием Гитлера среди них не было). В течение короткого времени создавались плакаты, на которых советская звезда соседствовала с немецкой свастикой¹.

¹ *Schüddkopf O.-E.* Nationalbolschewismus. S. 7, 55–56, 61–62, 70–86, 111–125, 175; *Fayet J.-F.* Karl Radek. P. 445–467; *Lerner W.* Karl Radek. P. 86–90, цитаты: P. 120–121; *Космач Г.А.* Национал-большевизм в Германии и советская

Автор наиболее значительной работы о Радеке утверждает, что заинтересованный публичный диалог большевика Радека с идеологами немецкого фашизма свидетельствовал об «исключительно» раннем осознании им угрозы фашизма, ставшей с тех пор его «навязчивой идеей». Хотя вполне правдоподобно, что в 1923 году Радек надеялся не на союзнические отношения с фашистскими лидерами, а на то, чтобы заполучить часть их войск, трудно отделить эту тактику от присущей ему на протяжении всей жизни склонности к политическим интригам и революционному оптимизму. На подступах к неудавшемуся «немецкому Октябрю» в 1923 году, а затем еще после 1930-го, когда взаимодействие было скорее скрытым, чем публичным, Радек рассчитывал либо нейтрализовать фашистские силы, либо привлечь их на свою сторону в ходе попытки свергнуть правительство¹.

Хотя ненависть Никиша к Западу и его тяготение к правым настроениям были, как мы видели, изначально спровоцированы оккупацией Рура, он оставался убежденным членом СДПГ и еще не обратился к революционному национализму. Поэтому на него не оказал никакого воздействия Радек, и курс Шлагетера его не интересовал². Однако главный вдохновитель консервативной революции, а значит, идеологической сферы, в рамках которой позже действовал Никиш, Мёллер ван ден Брук, стал наиболее влиятельной фигурой из ответивших на открытый призыв Радека к диалогу между коммунистами и националистами. Еще некоторые также охотно поддерживали дискуссию с левым коммунистическим лагерем. Среди них было по меньшей мере два будущих сподвижника Никиша по радикальной правой группе «Арплан». Первый — граф Эрнст цу Ревентлов, автор знаменитой работы о внешней политике Германии (изданной

Россия (1919–1932 гг.) // Россия и Германия. № 1 / сост. Б.М. Туполев. М.: Наука, 1998. С. 281–293.

¹ *Fayet J.-F.* Karl Radek. P. 289–311, 445–467, 661–682, цитаты: P. 453, 454; *Hoppe B.* In *Stalins Gefolgschaft: Moskau und die KPD, 1928–1933*. Munich: Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2007. S. 178, 221.

² *Sauermann U.* Ernst Niekisch und der revolutionäre Nationalismus. S. 23.

в 1914 году), который стал народным революционером и вступил в нацистскую партию в 1927 году, но даже после этого подерживал контакты с Советами. Второй — Йозеф («Беппо») Рёмер, военный лидер добровольческого корпуса «Оберланд», непосредственно причастный к жестокому подавлению сопротивления Баварской советской республики и установивший связи с КПГ уже в 1921 году. Рёмер участвовал в ряде точечных, эпизодических контактов между коммунизмом и фашизмом, в которых был задействован и Никиш. В 1923 году Рёмер был полувоенным лидером образовавшегося из одноименного добровольческого корпуса Союза «Оберланд», который позже, когда Мёллер ван ден Брук ввел свое знаменитое понятие, наделенное мистическими и христианскими коннотациями, назвал свой журнал «Третий рейх». Во время оккупации Рура в 1923 году французский военный суд вынес Рёмеру заочный смертный приговор за его деятельность как руководителя местных групп «Оберланда» в союзе с местными рабочими-коммунистами. В сентябре того же года Рёмер заключил кратковременный союз с нацистами, чтобы противостоять попытке противника взять «Оберланд» под свой контроль. Затем, в 1925 году, Рёмер совершил недельную поездку в Москву, посетив Кремль и другие стандартные достопримечательности; он был убежден в необходимости ориентации на Восток и придерживался национал-большевистских взглядов. Никиш, в свою очередь, в 1926 году поддерживал связи с Союзом «Оберланд» под руководством Рёмера, а в 1920-е годы у него появились там сторонники. И действительно, когда в 1930 году Союз распался, часть его членов вступила в НСНРП, а часть присоединилась к товариществу «Оберланд», непосредственно связанному с кружком «Сопротивления» Никиша. По мнению одного исследователя, таким образом у идеологии Никиша появился настоящий опорный пункт¹. В конце концов Рёмер

¹ Здесь я опираюсь на работу: *Bindrich O. Vom Nationalbolschewisten zum Anhänger der KP. (1923 bis 1933) // Beppo Römer, ein Leben zwischen Revolution und Nation. Berlin: Edition Hentrich, 1991. S. 10–50; см. также: Dupoux L.*

вступил в КПГ в 1932 году — в тот же год, когда он стал участником «Арплана».

В целом наследие провозглашенного Радеком в 1923 году курса Шлагетера для немецких национал-революционеров и национал-социалистов сыграло значительную роль. Ко времени борьбы за власть в начале 1930-х годов эти право- и леворадикальные политические маневры переросли в попытки обоих политических лагерей ниспровергнуть противника и захватить его с тыла. Одной из целей осуществленного Радеком в 1923 году предприятия было внушить крайним правым идеологам и критикам культуры уважение к советскому строю, контрастировавшее с характерной для националистов ненавистью к коммунизму, и показать его политическую значимость. Восстановление дружественных отношений между левыми и правыми в 1923 году подготовило почву для повторного применения той же тактики в начале 1930-х.

После 1929 года немецкие коммунисты оказались вовлечены в «третий период» Коминтерна, когда борьба коммунистических партий с «социальными фашистами» (социал-демократами) поощрялась больше, нежели борьба с правыми. Вследствие этого, как хорошо известно, представители левого крыла в Германии серьезно отдалились друг от друга во время расцвета нацизма. После выборов в рейхстаг в сентябре 1930 года, сопровождавшихся ошеломляющим продвижением нацистов, которые стали второй по популярности партией в стране, КПГ внезапно осознала «прекрасную возможность привлечь на свою сторону из НСНРП социалистически настроенные элементы»¹. Во второй половине 1930-х годов, как раньше в 1923-м, КПГ попыталась наладить отношения

«National-bolchevisme». P. 181, 191–195, 578–579. Об «Оберланде» как опорном пункте Никиша см.: *Rätsch-Langerjürgen B.* Das Prinzip Widerstand, S. 157–163; *Dupeux L.* «National-bolchevisme». P. 298, 300, 304; *Niekisch E.* Erinnerungen. S. 155.

¹ *Schüddekopf O.-E.* Nationalbolschewismus. S. 287.

с националистами. Это нашло отражение в подготовленной Центральным комитетом «Программе национального и социального освобождения немецкого народа», где «с официального одобрения коммунистов воспроизводились почти все требования, выдвинутые нацистами и другими правыми радикалами за многие годы: от аннулирования Версальского договора до отказа от плана Юнга»¹. В 1931 году силами Коминтерна и КПП удалось заглушить публичную идеологическую риторику, рассчитанную на националистов, пока она не возобновилась в 1932 году². Но за кулисами попытки представителей обоих лагерей склонить противника на свою сторону на протяжении этого периода не прекращались.

Наиболее удачный в этом плане ход коммунистов последовал за так называемым «делом Ульмского полка», разбирательство по которому проходило в Лейпциге в сентябре — октябре 1930 года, резонансным процессом, приведшим к аресту троих офицеров рейхсвера по обвинению в государственной измене, после того как они агитировали войска за нацистов. Один из этих офицеров, Рихард Шерингер, заворуженный зрелищем штурмовых отрядов (*Sturmabteilung, SA*), надеялся разжечь национально-социальный революционный мятеж. На суде он, однако, услышал, как Гитлер уверял, что нацисты действуют только в рамках закона. Предводитель нацистов, по словам Тимоти Брауна, открытым текстом заявил, что не имеет ничего общего с «теми нацистами, которые играют с идеей „революции“, сославшись на пример недавно исключенного Отто Штрассера, вышедшего из партии в июле 1930 года из-за несогласия по вопросу „социализма“». Шерингер, обеспокоенный тем, что Гитлер, по-видимому, отрицал социальный компонент национальной революции, а также обещанием нацистского лидера действовать исключительно в законных рамках,

¹ Ward J.J. «Smash the Fascists...» German Communist Efforts to Counter the Nazis // Central European History, 14. № 1. 1981. P. 30–62, цитата: P. 38.

² Hoppe B. In Stalins Gefolgschaft. Kap. 5, 8.

демонстративно перешел в Коммунистическую партию, о чем было объявлено в марте 1931 года¹.

Как раньше Шлагетер, Шерингер стал символом, вдохновившим коммунистов на попытку привлечь националистов на свою сторону, побудив их перестать поддерживать профашистские элементы. КПГ ухватилась за эту возможность, и попытка стала известна как «курс Шерингера». Отто-Эрнст Шюддекopf в своей опубликованной в 1960 году классической работе отметил в сноске, что проводимый КПГ курс Шерингера «был, несомненно, основан на непосредственном распоряжении Сталина»². Недавние архивные исследования подтвердили это логичное предположение. Сталин, которого устраивало использование мобилизующего потенциала национализма в советской национальной политике, санкционировал «национально-популистскую» стратегию КПГ, прежде всего через посредничество члена Политбюро КПГ Гейнца Неймана, «своего человека» в Берлине, говорившего по-русски и посещавшего Сталина на его черноморской даче в некоторые решающие моменты³.

В то же время КПГ принимала скрытые меры, борясь с растущей массовой популярностью нацистов и опираясь при этом на секретное отделение партии, занимавшееся шпионажем и военными вопросами, — «М-Аппарат». Это «немецкое ГПУ» (аналог советских спецслужб), как его иногда называли, с 1928 года возглавлял Ханс Киппенбергер, прошедший

¹ Этот процесс — центральная тема работы Брауна: *Brown T. Weimar Radicals*. P. 15–18, цитата: P. 17. Шерингер был уверен, что уверения нацистов относительно легальности своих действий были уловкой и что они продолжали рассматривать свое восхождение к власти как революцию.

² *Schüddekopf O.-E. Nationalbolschewismus*. S. 502, Bem. 11. См. также: *Космач Г.А. Национал-большевизм*. С. 281–293; *Дмитриев А.Н. К истории*. С. 235; *Гинцберг Л.И. Накануне прихода фашизма к власти в Германии: новые данные о позиции КПГ // Новая и новейшая история*. 1996. № 1. С. 38.

³ *Норпе В. In Stalins Gefolgschaft*. Kap. 5, 8, spec. S. 184–188, 263, 291–297, 311; Политбюро ЦК РКП(б) и Коминтерн, 1919–1943: Документы. М.: РОССПЭН, 2004. С. 647–652.

подготовку в военном училище Красной армии и в качестве депутата КПП в Рейхстаге пользовавшийся правом политической неприкосновенности. Киппенбергер не случайно был не только главой «М-Аппарата», но и членом Центрального комитета КПП, самым тесным образом связанным с теми, кто стремился извлечь выгоду из отречения Шерингера от нацизма. В задачи «М-Аппарата» на тот момент входила подрывная деятельность в полувосенных образованиях и организациях национал-революционного и нацистского толка за счет незаметного проникновения в них и шпионажа, а также публикации фальшивых заявлений с коммунистическим уклоном, авторы которых выдавали себя за правых. Одна из таких публикаций, осуществленная в рамках курса Шерингера, как показал Тимоти Браун, представляла собой «попытку КПП искусственно создать „национал-большевизм“ под руководством коммунистов»¹. Как мы увидим, эта осуществлявшаяся в 1931–1932 годах деятельность отражала и дополняла попытку СССР продвинуть национал-большевиков в находившийся под влиянием Советов «Арплан».

У Никиша, в отличие от Беппо Рёмера и нескольких других национал-революционеров, в этот период не было соблазна присоединиться к коммунистическому лагерю. В 1931 году Карл Трёгер, один из главных соратников Никиша по «Сопротивлению», действительно встречался с главой «М-Аппарата» КПП Киппенбергером. Встречались с ним и представители возглавляемой Карлом Отто Петелем группы социал-революционных националистов. Но

¹ *Brown T.* Weimar Radicals. P. 3, 10, 25, 100–101, 158 (ref. 100), цитата: P. 102; *Ward J.J.* «Smash the Fascists...» ... P. 47–49; еще на эту тему см.: *Ward J.J.* Terror, Revolution, or Control? The KPD's Secret *Apparat* during the Weimar Republic // *Terrorism*. Vol. 7. 1984. № 3. P. 257–297. Организованная КПП «национал-большевистская» публикация носила название «Aufbruch: Kampfblatt in Sinne des Leutnant A.D. Scheringer» и представляла собой попытку завербовать правых; инициатором ее выступал Киппенбергер, а издан этот текст был в 1932 году при содействии Беппо Рёмера.

эти контакты ни к чему не привели¹. Более того, представители КПГ, организовав кампанию по вербовке националистов, ориентировались и на последователей Никиша из «Оберланда», что, возможно, побудило Никиша отдалить свое «Соппротивление» от КПГ. Немецкие коммунисты, язвительно писал он в 1931 году, были «чистым продуктом буржуазного общества». Поскольку КПГ опиралась на «западническую» часть пролетариата, немецкие коммунисты обладали достаточной «духовной и народной глубиной», чтобы произвести национальную революцию — как, по его мнению, уже сделал русский большевизм. Удивительно, но Никиш назвал «Соппротивление» «не коммунистическим и не антикоммунистическим» движением, примечательным образом добавив: «Но оно готово на коммунизм [*des Kommunismus fähig*], если другого выхода нет»².

РАСЧЕТЫ СССР И СОЗДАНИЕ «АРПЛАНА»

Александр Гиршфельд, главный организатор кампании по привлечению идеологов правого национализма, представлял в Берлине ВОКС, которое в первую очередь занималось установлением контактов с представителями некоммунистической интеллигенции и культуры. Кроме того, Гиршфельд был кадровым дипломатом советского посольства в Берлине и (судя по его агрессивному отказу подчиняться как ВОКС, так и Центральноевропейскому отделу Наркомата иностранных дел) главным двигателем тайных, исходивших от высшего руководства планов, осуществление которых могло проходить при содействии ОГПУ. Гиршфельд был преемником длинной,

¹ *Rätsch-Langerjürgen B.* Das Prinzip Widerstand. S. 197; *Ward J.J.* «Smash the Fascists...» ... P. 50, где цитируется интервью с Петелем 1970 года.

² *Niekisch E.* Der politische Raum deutschen Widerstandes // Widerstand. 1931. № 11. S. 331; *Sauermann U.* Ernst Niekisch und der revolutionäre Nationalismus. S. 283–285; *Rätsch-Langerjürgen B.* Das Prinzip Widerstand. S. 281–284.

тянущейся с начала 1920-х годов череды представителей ВОКС в Берлине, которых явно меньше интересовали разделявшие левые настроения члены подведомственных ВОКС организаций, таких как «Друзья новой России», и которые намного больше стремились воздействовать на немцев с хорошими политическими связями, тех, кого нельзя было считать занимающими маргинальные просоветские позиции.

Но, разумеется, ВОКС было связано с основными аналогичными немецкими организациями: левым «Обществом друзей» и поддерживающим основной политический курс научным «Германским обществом по изучению Восточной Европы». В результате среди советских представителей, поддерживавших связи с Германией, продолжались внутренние конфликты между теми, кто отдавал предпочтение дружественно настроенным левым, и теми, кто стремился наладить контакты с более влиятельными фигурами. На закате Веймарской республики, в период, который аналитики ВОКС связывали с «фашизацией» Германии, ожидания Советского Союза были связаны с потенциалом сотрудничества с правыми радикалами. Тем оставшимся в меньшинстве советским эмиссарам в Германии, которые по-прежнему склонны были искать расположения «буржуазных националистов», эти националисты уже не казались прежними. Раньше это были достаточно умеренные деятели, такие как «рациональный республиканец» (*Vernunftrepublikaner*) Отто Хёч, придерживающийся центрально-националистических взглядов историк и главный специалист по России во главе «Общества по изучению Восточной Европы», долговременное (с 1923 года) взаимодействие которого с ВОКС и Советами было продиктовано его стремлением к налаживанию внешне-политических отношений и научными интересами¹. Однако теперь, по иронии судьбы, фигурами с немецкой стороны,

¹ David-Fox M. Leftists versus Nationalists. О Хёче см.: Liszkowski U. Ost-europaforschung und Politik: Ein Beitrag zum historisch-politischen Denken und Wirken von Otto Hoetsch: 2 vols. Berlin: Arno Spitz Verlag, 1988; Schlögel K.

оказывающими наиболее существенное практическое влияние на германско-советские отношения, считались ультранационалистические радикалы, которых привлекала сталинская революция, те, кого считали национал-большевиками, — идеологи, подобные Никишу.

«Арплан», весьма нетипичное гибридное образование, включавшее в себя и коммунистов, и фашистов, был ключевой организацией, посредством которой Гиршфельд осуществлял коммуникацию с представителями правых революционеров. Председателем и главным инициатором создания «Арплана» был профессор права и экономики Гиссенского университета Фридрих Ленц, вращавшийся в национал-революционных кругах, куда входил и Никиш. В этой среде экономический кризис и картины регламентированной мобилизации советской промышленности наряду с привлекательностью автаркии как способа уклониться от подчинения Западу возбудили интерес к советской плановой экономике. Ленц, ранее изучавший политэкономию, в период Веймарской республики перешел от научного социализма к новому национализму¹. Но то обстоятельство, что в своих теоретических объяснениях он оставался реалистом, не придерживаясь иррациональных и националистских трактовок, делало его более подходящим посредником для контактов с Советами, чем, например, Никиш. В своем «Очерке политической экономики» (*Aufriss der politischen Ökonomie*), изданном в 1927 году, гиссенский профессор, развивая экономическую теорию, описывал Запад в духе знакомой, присущей националистам риторики как средоточие вульгарного материализма и индивидуализма. В тот же год он выступил главным инициатором журнала *Vorkämpfer* («Борец»), тираж которого насчитывал семь тысяч экземпляров и в котором все чаще затрагивались темы радикального противодействия капитализму

Von der Vergeblichkeit eines Professorenlebens: Otto Hoetsch und die deutsche Russlandkunde // Osteuropa. Vol. 55. 2005. № 12. S. 5–28.

¹ *Dupeux L.* «National-bolchevisme». P. 428–463.

в рамках «нового национализма»¹. В октябре 1929 года Ленц написал в праворадикальном журнале *Die Kommenden* («Грядущий»), что Россия — единственная страна, защищающая Германию от версальских оков.

В конце 1929 года Ленц вместе с другим будущим членом «Арплана», Вернером Крейцем, основал кружок «Борец» (*Vorkämpfer*) — национал-революционную группу². Крейц, вместе с Ленцем издававший журнал *Vorkämpfer*, также поддерживал тесную связь с Эрнстом Юнгером. Всех троих объединяла зачарованность военно-утопической мобилизацией и национальной автаркией, воплотившимися в промышленном развитии СССР. В 1931 году Крейц посвятил советскому планированию ряд статей в этом журнале, в которых не скрывал своего восхищения Сталиным как лидером национальной русской революции; эти обстоятельства послужили для Ленца толчком к решению о создании «Арплана» в следующем году³.

«Борец» Ленца и Крейца был во многом близок «Сопротивлению» Никиша⁴. И в своих мемуарах Никиш заявлял, что именно он вдохновил Ленца на образование «Арплана». Никиш вспоминал, что впервые эта идея прозвучала на собрании членов «Сопротивления» в 1931 году, где присутствовал и Ленц, который позже подхватил эту идею, опираясь на свои контакты с советским посольством в Берлине⁵. Воспоминания Никиша подтверждают причастность Советского Союза к «Арплану», возникшему благодаря контактам представителей СССР с Ленцем в Берлине.

Гиршфельд как дипломат и представитель ВОКС стал главным советским посредником для Ленца и «Арплана», причем

¹ Наиболее ясно о Ленце (из известных мне исследований) сказано в работе Дюпё, на которую я и опираюсь в этой главе: *Dupeux L.* «National-bolchevisme». Р. 428–463.

² *Schüddekopf O.-E.* Nationalbolschewismus. S. 220, 222, 282, 361.

³ О Крейце см.: *Dupeux L.* «National-bolchevisme». Р. 457–458, ref. 3.

⁴ *Paetel K.O.* Versuchung oder Chance? S. 23.

⁵ *Niekisch E.* Erinnerungen. S. 216.

свои тайные планы получить контроль над организацией и использовать его в интересах СССР он пытался осуществить через секретаря «Арплана», правую руку Ленца. Это был политический журналист Арвид фон Харнак, которого Гиршфельд называл «вполне близким нам человеком». Примечательно, что фон Харнак в прошлом принадлежал к правым радикалам (в начале 1920-х годов состоял в добровольческом корпусе), но в начале 1930-х стал «неофициальным» — то есть тайным — членом КПП. Гиршфельд выражал полную уверенность, что через Харнака и других сможет манипулировать «Арпланом». Как Гиршфельд писал в Москву, визит делегации «Арплана» в СССР летом 1932 года был организован ВОКС, поэтому он как представитель ВОКС регулирует состав «Арплана» в целом, а также деятельность и контакты этого общества¹.

В чем же тогда заключалась суть членства в организации, на которую Гиршфельд так уверенно возлагал надежды и к которой присоединились Никиш и другие национал-революционеры? Хотя сам факт существования «Арплана» много раз упоминается в литературе, посвященные ему работы страдают от нехватки архивных свидетельств, в особенности с советской стороны, и не вполне ясно даже, что подразумевало членство в нем. В этом отношении список пятидесяти одного участника «Арплана», присланный Ленцем в ВОКС в августе 1932 года, представляет огромный интерес. Идеологически пестрый состав «Арплана» объединял членов из ряда отчетливо прослеживаемых групп. Первую из них составляли научные работники — экономисты и инженеры, интересующиеся советским планированием; вторая маленькая группа включала в себя лиц, поддерживавших постоянные, тесные контакты с Советским

¹ Письмо Гиршфельда ВОКС, 19 января 1932 года; письмо Шумана Гиршфельду, 4 февраля 1932 года; письмо Гиршфельда Центральноевропейскому отделу ВОКС, 29 февраля 1932 года, копии — в Народный комиссариат иностранных дел (НКВД) // АВП РФ. Ф. 082. Оп. 15. Д. 28, п. 71. Л. 10, 22, 31–32. О связях фон Харнака с КПП см.: *Ланге Б., Дмитриев А.Н.* Рабочее объединение. С. 205.

Союзом через другие организации, таких как Эрих Барон из «Общества друзей» или Отто Хёч и Клаус Менерт из «Центральноевропейского общества». В третью группу входили коммунисты и левые идеологи, в том числе Дьёрдь Лукач и Карл Виттфогель, ряд коммунистических деятелей и левых попутчиков, таких как архитектор Бруно Таут и марксист Франкфуртской школы Фридрих Поллок. Наконец, были среди участников национал-революционеры и национал-социалисты, составлявшие около трети членов «Арплана». Помимо Никиша, Юнгера, Рёмера, Ревентлова и Ленца, о которых мы уже говорили, среди других консервативных революционеров можно назвать Гуго Фишера и Ханса Церера — деятельность обоих была связана с журналом *Die Tat* («Дело»), — а также Адольфа Грабовского из Высшей политической школы Берлина (бывшей Антибольшевистской лиги)¹. Однако состав «Арплана» со дня его первого собрания 14 июля 1931 года менялся. В других документах членом «Арплана» назван правовед Карл Шмитт, которого Никиш знал в начале 1930-х годов как человека, поддерживавшего тесные связи с братьями Юнгер и их окружением, и который впоследствии стал известен как «королевский юрист» Третьего рейха. Согласно тем же источникам, в «Арплан» входил и национал-революционный публицист Фридрих Хильшер, более отдаленно связанный с Эрнстом Юнгером и в этот период начавший издавать журнал *Das Reich*².

¹ Mitgliederliste // ГАРФ. Ф. 5283. Оп. 6. Д. 172. Л. 190. Имя Гуго Фишера фигурировало среди тех, кто «поддерживал» «Сопrotивление» Никиша (см.: Frösche U., Kuzias Th. Alfred Bauemler und Ernst Jünger. S. 74).

² Справка о деятельности Арбплана [*sic*] и Союза работников умственного труда в Германии, подготовленная Д. Лукачем для отдела кадров ИККИ // Беседы на Лубянке: следственное дело Дёрдя Лукача. Материалы к биографии / под ред. Р. Мюллера и Я. Рокитянского; 2-е изд. (испр.). М.: Институт славяноведения РАН, 2001. С. 118–120; *Mehnert K.* Memorandum über die 'Arbeitsgemeinschaft zum Studium der sowjetrussischen Plawirtschaft', 8 Januar 1932 // *Russland in der deutschen Geschichtsschreibung, 1843–1945* / ed. G. Voigt. Berlin:

На протяжении 1932 года между Гиршфельдом и целым рядом чиновников ВОКС, НКВД и Госплана возникали жаростные внутрисоветские споры относительно необходимости привечать крайних правых немецких националистов. В январе 1933 года занимающий высокую должность представитель ВОКС выговаривал Гиршфельду, разъясняя главные цели советской культурной дипломатии в Германии: стимулировать дружественное отношение к СССР и — в противовес остающимся за кулисами попыткам влияния — стремиться к разрыву с фашизмом и «социальным фашизмом»¹. Из Москвы Гиршфельду сделали замечание относительно «чрезвычайной пестроты» состава «Арплана», а один из сотрудников ВОКС недоверчиво поинтересовался: «Какой это граф Ревентлов, известный ли гитлеровец или кто другой, попал в члены „Арплана“?»² Дальнейшие возражения можно резюмировать следующим образом: беспокойство, что Гиршфельд проявил чрезмерное внимание к национал-большевикам ценой возможности установить другие контакты, прежде всего с немецким научным сообществом; страх, что связи с фашистами поставят под угрозу влияние Советов на дружественно настроенных левых; и, наконец, неверие в возможности Гиршфельда контролировать «Арплан». Гиршфельду сказали, что «Арплан» не пойдет на уступки настолько, чтобы позволить ВОКС проводить с его помощью какие-то свои кампании. Наконец, главной причиной обеспокоенности, сопряженной с официальным приглашением в СССР крайних правых интеллектуалов, было то, что их приверженность жесткой националистической идеологии сделает их нечувствительными к высокоразвитым советским методам впечатлять гостей. По словам председателя Отдела Центральной Европы Х. Тимма, значительную часть

Akademie-Verlag, 1994. S. 381–382; *Koenen G.* Der Russland-Komplex (о Шмитте см. с. 343).

¹ Письмо Е.О. Лернер [ВОКС] Гиршфельду, 2 января 1933 года // АВП РФ. Ф. 082. Оп. 16. Д. 33, п. 76. Л. 7–13; см. л. 12.

² Шуман, зав. Отделом Центральной Европы [ВОКС] — Гиршфельду, 19 марта 1932 года // АВП РФ. Ф. 082. Оп. 15. Д. 28, п. 71. Л. 77.

делегации «Арплана» составляли фашисты, на которых поездка не произвела бы глубокого впечатления¹. Разумеется, все эти доводы облекались в термины практической пользы. Бюрократическое противостояние по необходимости пришло на смену открытой политической дискуссии. Но в любом случае было ясно, что многие советские чиновники предпочитали придерживаться традиционного для СССР акцента на контактах с левыми попутчиками. Более того, у отказа от инициативы Гиршфельда были вполне конкретные последствия: сократились размеры финансовой поддержки, предлагаемой Советским Союзом «Арплану»².

Внутрисоветские споры по поводу «Арплана» говорят о множестве советских программ, совместных международных операций и советских партийных учреждений, сыгравших свою роль в отношениях Советского Союза с представителями европейской культуры и европейской интеллигенции в целом. В то же время важно, что «проникновение в слои радикальной и правооппозиционной интеллигенции» признавалось — даже теми, кто негативно оценивал тактику Гиршфельда, — необходимой задачей советской «культурной работы» в Германии³. Повтор этого клише подтверждает, что налаживание контактов с немецкими праворадикалами, несмотря на все возражения и препятствия с советской стороны, возникающие на уровне повседневных решений, составляли часть обязательной политической программы, диктуемой сверху. Гиршфельд отнюдь не был деятелем-одиночкой — он осуществлял более обширный политический план.

Закрытость архивов не позволяет нам узнать, в чем именно заключались тайные советские намерения относительно

¹ Тимм Х. Отчет без названия (на немецком) // ГАРФ. Ф. 5283. Оп. 6. Д. 172. Л. 171–176.

² Шуман — Гиршфельду // АВП РФ. Ф. 082. Оп. 15. Д. 28, п. 71. Л. 77.

³ Зам. Пред. ВОКСа Е.О. Лернер. Уполномоченному ВОКС в Германии т. Гиршфельду. Копия: Штерну НКВД. 16 декабря 1932 // АВП РФ. Ф. 082. Оп. 15. Д. 28, п. 71. Л. 214–215; Зав. 2-м Западным отделом (Штерн). Референт (Шейнин). В Коллегию НКВД. 16 ноября 1932 // Там же. Л. 207–208.

«Арплана» или в каких отношениях Гиршфельд состоял с ОГПУ, но представляется вероятным, что советские органы госбезопасности были еще одним действующим лицом этой более широкой программы привлечения правых в Германии. Существуют документальные свидетельства, указывающие по крайней мере на некоторое отношение спецслужб как к «Арплану», так и к другой гибридной лево-правой организации, наблюдение за которой было поручено Гиршфельду, — «Союзу интеллектуальных профессий» (*Bund Geistige Berufe*). В частности, в сообщении советских спецслужб из резидентуры в Берлине содержалась справка об «Арплане» и «Союзе», которые, как указывалось, были основаны «для вовлечения в орбиту нашего влияния ряда высококвалифицированных интеллигентов правого направления»¹.

О «Союзе интеллектуальных профессий» известно еще меньше, чем об «Арплане», но, по всей видимости, отношения СССР с этими организациями строились одинаково. «Союз» был основан осенью 1931 года, примерно тогда же, когда возник замысел создания «Арплана». Два представителя партийной интеллигенции, присоединившиеся к коммунистической фракции «Арплана», Дьёрдь Лукач (вступивший в КПГ в июле 1931 года после своего приезда в Берлин) и Карл Виттфогель, в рамках этих смешанных лево-правых организаций тесно сотрудничали с представителями правых интеллектуальных кругов. Согласно стенограмме допроса Лукача НКВД на Лубянке в 1936 году, его деятельность включала в себя координирование фракции КПГ в рамках «Арплана» и установление тайных связей с кругами, близкими «Делу» и «Сопrotивлению» Никиша². Он также

¹ Факсимиле совершенно секретной «Справки», без даты, берлинская резидентура ОГПУ, со штампом «Рассекречено Служба внешней разведки РФ» // Секреты Гитлера на столе у Сталина: разведка и контрразведка о подготовке германской агрессии против СССР / сост. В.К. Виноградов и др. М.: Мосгосархив, 1995. С. 95.

² Справка А. Габора о работе Д. Лукача в Германии, 16 мая 1936 года // Беседы на Лубянке. С. 102–103.

участвовал в вербовке правых радикалов в «Союз», подобно «Арплану» объединявший активных коммунистов и правых революционеров. Арвид фон Харнак, тайный коммунист, который отчитывался Гиршфельду и работал для Ленца в «Арплане», вступил в «Союз», как и некоторые другие национал-революционеры из «Арплана», включая Ленца, Юнгера и Никиша. Более того, записи в официальном дипломатическом дневнике Гиршфельда за 1932 год подтверждают, что он сам имел непосредственное отношение к созданию «Союза», включавшего в себя по меньшей мере одного представителя нацистов¹.

В «Союзе», деятельность которого началась в 1932 году, хорошо известные коммунисты воздерживались от выступлений на открытых собраниях и участия в дискуссиях по «тактическим причинам», хотя и помогали планировать мероприятия. Эти данные заставляют с высокой степенью вероятности предположить, что на тот момент, когда Гиршфельду поручили наладить контакты коммунистических Советов с национал-большевиками и крайними правыми, состоящими в «Арплане», он поддерживал связь с ведомством ОГПУ в Берлине. Это предположение кажется еще более правдоподобным, если принять во внимание деятельность этого советского дипломата в середине 1930-х годов. После прихода нацистов к власти именно Гиршфельд завербовал фон Харнака, которого хорошо знал со времен «Арплана», в ряды «Красной капеллы», разведывательной группы под руководством НКВД². Пр процитированное выше рассекреченное сообщение спецслужб примечательно еще по одной причине. В нем говорится исключительно о необходимости привлечь в орбиту советского влияния «интеллигентов правого направления» и указывается, что именно с этой целью основаны «Арплан» и «Союз интеллектуальных профессий». Не упомянуты

¹ Дневник тов. Гиршфельда. Берлин, 7 октября 1932 года // ГАРФ. Ф. 5283. Оп. 1а. Д. 196. Л. 188–191; письмо Александра Гиршфельда Ф.Н. Петрову, 25 апреля 1932 года // АВП РФ. Ф. 082. Оп. 15. Д. 28, п. 71. Л. 90.

² Ланге Б., Дмитриев А.Н. Рабочее объединение. С. 205.

никакие другие мотивы советской культурной дипломатии, связанные с «Арпланом», например те, которые обозначало ВОКС, в частности укрепление связей с немецкими учеными и создание выгодного образа плановой экономики.

В важном отчете, подготовленном для Наркомата иностранных дел в октябре 1932 года, Гиршфельд яснее описывал свои стратегии и цели, связанные с проникновением в правые круги, и сам язык этого описания напоминает уже процитированное секретное сообщение. Текущая советская «культурно-политическая линия», писал он, состояла в том, чтобы «глубоко проникнуть в радикальные и правооппозиционные круги интеллигенции, имеющие политический вес», пропагандируя идею политэкономического «сближения» с СССР. Поскольку эту миссию приходилось осуществлять на фоне все большего распространения и усиленного развития фашизма, методы советской стороны должны были быть более тонкими — по-видимому, по сравнению с прежними более открытыми инициативами в Германии, например, при содействии «Общества друзей», опиравшегося на ВОКС. Теперь же советская сторона собиралась работать лишь с теми организациями, для которых был характерен «сугубо немецкий облик». Гиршфельд подчеркивал, что немецкие лидеры не должны ощущать влияния Москвы, которое «должно быть глубоко и надежно спрятано за кулисами». Что касается «Арплана», основная цель, по словам Гиршфельда, заключалась в том, чтобы проникнуть в различные «праворадикальные группировки интеллигенции», представляющие так называемый национал-большевизм (*Tat, Aufbruch, Vorkämpfer* и т. д.)¹.

¹ Гиршфельд. Берлин, 27 октября 1932 года. НКВД, 2-й Западный Отдел — т. Шейнину // ГАРФ. Ф. 5283. Оп. 1а. Д. 196. Л. 193–195. Копии были отправлены Крестинскому, советскому послу в Германии, и Лернер из ВОКС. Тираж *Aufbruch*, в котором публиковались те, кто отдался от нацизма и, некогда сочувствуя ему, теперь его критиковал, к концу 1932 года насчитывал сто тысяч экземпляров, а одноименная группа поддерживала «сообщества для дискуссий» в тридцати двух городах, стремясь завербовать представителей крайнего правого крыла, в особенности «правой интеллигенции» и офицерского

В этой примечательной и важной фразе о национал-большевиках Гиршфельд упоминал журналы и общества, возглавляемые участниками «Арплана» — Церером, Рёмером и Ленцем соответственно; «Соппротивление» Никиша и его журнал *Widerstand* входили в число тех, кто скрывался за «и т. д.». Цели миссии Гиршфельда — способствовать сближению Германии с СССР, приобрести сведения и добиться влияния — на самом деле можно назвать типичными для культурной дипломатии ВОКС, которое, в особенности в этот период, небезосновательно стремилось к выполнению определенных внешнеполитических задач и нейтрализации критики в кризисное для межгосударственных отношений время. Основное различие состояло в том, что в данном случае не ставилась задача повлиять на общественное мнение, а предполагаемая сфера влияния вторгалась на идеологически чуждую территорию настолько, насколько это было возможно. В данном случае сближения намечалось достичь тайно — в противовес явным дружественным связям. В конечном счете предполагалось, что улучшения германско-советских отношений — на тот момент включавшего в себя интенсивное двустороннее сотрудничество между рейхсвером и Красной армией — можно достичь даже в период фашизации Германии или после него.

Предположение, что некоторое влияние на авторитетных представителей правого крыла может иметь свои плюсы для Советов, нельзя назвать совершенно беспочвенным. Так, Никиш хвалился своими привлекающими внимание связями с офицерами рейхсвера именно потому, что его идеологическая позиция вызвала у них интерес к укреплению военного сотрудничества Германии и СССР¹. Однако с советской стороны оптимистические ожидания касательно того, как расцвет фашизма скажется на отношениях

корпуса, тех, у кого не было иллюзий относительно Гитлера. Ее идеологическую линию контролировал глава «группы С» (фашистских организаций) в составе «М-Аппарата» КПП (*Brown T. Weimar Radicals. P. 100–102; Ward J.J. «Smash the Fascists...» ... P. 50–52*).

¹ *Niekisch E. Erinnerungen. S. 170.*

между странами, как мы увидим, нашли отражение на уровне высшего советского руководства, и свою роль здесь сыграло преувеличение авторитета «национал-большевиков» среди крайних правых в Германии. В этом плане формулировка Гиршфельда показывает, что сам по себе национал-большевизм — как своего рода положительная оценка советского строя и возможности германско-советских отношений — был ключевым для советской стороны фактором в ее скрытой попытке повлиять на представителей правого крыла в Германии. Воззрения национал-революционеров — в случае Никиша подразумевавшие национализм, расизм, антисемитизм и фантастические расово-исторические теории, — если они вообще принимались в расчет Гиршфельдом и предположительно работавшими вместе с ним сотрудниками спецслужб, имели значение лишь постольку, поскольку способствовали советскому влиянию и установлению контактов.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НИКИША О РОССИИ И ЕГО ПОЕЗДКА В СОСТАВЕ ДЕЛЕГАЦИИ «АРПЛАНА» В 1932 ГОДУ

Когда в январе 1932 года «Арплан» начал свою деятельность, организовав серию конференций, дискуссий, чаепитий и собрав советскую литературу о плановом хозяйстве, между входившими в него представителями левых, правых и научных кругов развернулись оживленные дискуссии о применимости советской плановой модели в Германии. На двухдневном съезде «Арплана» в Берлине в январе 1932 года Сергей Бессонов из ВСНХ, высокопоставленный член советского торгового представительства, в характерной советской манере поведал немецким интеллектуалам о фактах, цифрах и схемах. Третьего января обсуждался вопрос о возможности частичного планирования. Часть немецких ученых утверждала, что плановое хозяйство возможно и без революции или советской политической системы; Лукач возражал, что лишь социалистическое государство в состоянии обеспечить

распределение средств производства. Этот спор продолжал занимать представителей смешанной лево-правой делегации «Арплана», отправившейся в Советский Союз в 1932 году¹. Однако нет свидетельств, что Никиш участвовал в дискуссиях о подобных деталях советской плановой экономики, интересовавших многих других членов «Арплана». Чтобы понять, почему он вступил в «Арплан» и что для него означала поездка в СССР в 1932 году, нам следует подробнее остановиться на месте российской истории и советского строя в его идеологии.

Никиш рассматривал весь ход истории России как успешную борьбу против Запада, его ценностей и его власти. «В русской крови, — писал он в 1930 году в своей статье «Пятилетний план», в которой изложены его основные взгляды до поездки 1932 года, — присутствует элемент крайней враждебности в отношении Европы. Это ее азиатское наследие». Носителями вестернизации дореволюционной России были названы евреи, а их представителем после 1917 года — Троцкий; Ленин, однако, был «метисом, полуславянином-полутатаринном». Древнейшие русские инстинкты (*Urinstinkte*) дополнили устремления Ленина, благодаря чему после 1917 года народные массы (*Volkskörper*) воспротивились западному яду. Все внутривосточное развитие Советского Союза, включая пятилетний план, было результатом геополитической борьбы против Запада. Завершалась статья восходами по поводу регламентированного советского коллективизма: Никиш считал «чудесным и непостижимым», что народ численностью сто миллионов человек может в своей экономической, культурной и социальной жизни согласованно добиваться свободы от западного владычества². При наличии такой теории уже едва ли имело значение, что Никиш оперировал статистикой

¹ Abschrift. Protokoll über die Sitzung am 3. Januar 1932, 4 Uhr [Arplan] // ГАРФ. Ф. 5283. Оп. 6. Д. 172. Л. 243–252; Abschrift. Protokoll über die Sitzung am 4. Januar 1932 10 Uhr // ГАРФ. Ф. 5283. Оп. 6. Д. 172. Л. 250–252; Arplan, Protokolle der Studienreise nach der Sowjet-Union vom 20. August bis 12. September 1932. Berlin: n.p., 1930. Abs. 3–4.

² *Niekisch E.* Der Fünfjahrplan // *Widerstand*. 1930. № 6. S. 196–202.

каких-то фантастически высоких производственных показателей и приправил свой текст такими эпитетами, как «чудесный» (*wunderbar*) и «великий» (*grossartig*). Его влекла «общность судьбы», а не приземленные разработки пятилетнего плана.

В другой работе, написанной им в 1930 году, «Решение» (*Entscheidung*), Никиш продолжал развивать свою концепцию российско-советской истории. Никиш придерживался славянофильской трактовки всего западного (*Westlertum*) как искусственно навязываемого стране с эпохи Петра Великого. Говоря, очевидно, о декабристах, — превратившихся в его изложении из офицеров в генералов, которые в 1812 году побывали в Париже и которых «развратило» соприкосновение с Францией, — он приписывал наплыв западной цивилизации таким контактам и усилению либеральной буржуазии. Затем он пустил в ход столыпинскую аграрную реформу: попытка разрушить земельную общину, «мир», и превратить русских в индивидуалистов провалилась, потому что «мир» был «у них в крови». Как раз когда в ходе Первой мировой войны России грозила опасность стать колонией Запада, большевизм, рожденный войной, преградил Западу путь, привлекая к себе «русские души, которым присущ коллективизм». После поражения еврея Троцкого большевизм стал полноценным воплощением «возрожденной азиатской России».

Какое отношение имела Германия к этой метаисторической борьбе азиатского добра с западным злом? Хотя со времен Рапалльского договора Европа делала все, чтобы разрушить отношения Германии и России, путь Германии к «деевропеизации» лежал на восток. Лишь там прусская воинственность (*Kämpfertum*) могла соединиться с русским коллективизмом. Заканчивал Никиш призывом к созданию «мощной германо-славянской мировой империи [*Weltreich*]»¹.

¹ *Niekisch E. Entscheidung*. Berlin: Widerstands-Verlag, 1930. S. 137–140, 142, 186.

Имела ли эта примитивно-редукционистская интерпретация российско-советской истории какое-то отношение к реальному миру? В работе, опубликованной годом ранее, Никиш изображал Польшу как преграду между Германией и Россией, воздвигнутую торжествующим версальским порядком¹. Упомянув в этой связи попытки Запада вмешаться в отношения Пруссии и России в XVI-II веке, когда две державы участвовали в разделе Польши, Никиш ясно дал понять, что разрушение польского государства составляло необходимое условие вождьенного судьбоносного союза.

Этот экскурс раскрывает некоторые особенности той роли, какую Россия играла в политической идеологии Никиша. Россия наравне с большевизмом олицетворяла отвержение ненавистных «идей 1789 года», которые Германия должна была отсечь от сознания своего народа. В его изложении истории России и СССР как противостояния навязанной вестернизации и врожденных азиатских инстинктов Ленин и Сталин представляли как национальные революционеры, возглавляющие собственную национально-социалистическую революционную борьбу против Запада. В его представлении марксистско-ленинская идеология либо подчинялась геополитике, либо служила лишь оболочкой для этой более фундаментальной истины. В работе 1929 года Никиш расширил эту концепцию, сравнивая СССР с фашистской Италией, единственной страной, противостоящей западному порядку. Фашизм и большевизм объединяло духовное родство: антилиберализм, антииндивидуализм и готовность к насилию. Но большевизм начинал с области социального и сочетал социальные установки с национальными, в то время как фашизм шел обратным путем.

Тем не менее намного более смелый в своем противостоянии Западу большевистский Восток заслуживал в глазах Никиша большей похвалы, нежели фашистский Юг². С его точки зрения,

¹ *Niekisch E.* Gedanken über deutsche Politik. Dresden: Widerstands-Verlag, 1929. S. 251.

² *Niekisch E.* Gedanken. S. 241–242.

социальная составляющая советского социализма подтверждала теорию, которую он продолжал лелеять в отношении Германии, — о необходимости внутреннего конфликта для осуществления девестернизации. Но в других работах Никиш ясно указывал на то, что большевизм вырос на русской почве и перенести его в другие реалии нельзя. Большевизм не был образцом для подражания — он прокладывал путь консервативной революции, он должен был стать динамитом, который взорвет версальский порядок и существующую цивилизацию. Никиш, всегда очень неопределенно изображавший сущность предвосхищаемого им германо-славянского союза, лишь давал понять, что русский большевизм поможет прусскому большевизму создать «новую форму диктатуры»¹.

Никиш отправился в страну, на которую возлагал столько идеологических надежд, в рамках «исследовательской поездки» делегации «Арплана», посетившей СССР по приглашению ВОКС и находившейся там с 20 августа по 15 сентября 1932 года. Представители ВОКС, настроенные против берлинской операции Гиршфельда по вербовке правых, воспротивились тому, чтобы советская сторона полностью финансировала поездку «Арплана», поэтому Никиш оплатил путешествие, добыв средства у одного из жертвователей «Сопrotивления»². В период поездки институты и практики, регламентирующие прием иностранных гостей в Советском Союзе, столкнулись с серьезными трудностями из-за крайне тяжелых экономических условий, вызванных форсированной индустриализацией и коллективизацией. Маршрут группы (Ленинград — Москва — Харьков — Днепрострой — Одесса — Киев) был стандартным. Но делегация проезжала территорию Украины в начальную

¹ *Breuer S.* Anatomie des konservativen Revolution. S. 150; *Taschka S.* Das Russlandbild von Ernst Niekisch. Erlangen, Jena: Palme & Enke, 1999. S. 30, 36–37 (эта полезная, но неполная работа представляет собой переработку магистерской диссертации).

² *Pittwald M.* Ernst Niekisch. S. 71.

пору острейшего сельскохозяйственного кризиса эпохи коллективизации. Скудный урожай и насильственные реквизиции в преддверии зимы вылились в массовый, искусственно спровоцированный голод, в результате которого от трех до четырех миллионов человек умерло от отсутствия пищи и связанных с этим заболеваний. Позже, ближе к концу 1932 года и в 1933-м, на Украину перестали пускать иностранных журналистов, а начиная с зимы 1933 года там прекратил работать «Интурист», на некоторое время отменив продажу билетов в этом направлении¹. Попытка создать благоприятное впечатление, несмотря на суровые условия и надвигающуюся сельскохозяйственную катастрофу, оказалась самой хитроумной задачей, с которой советская сторона столкнулась, принимая делегацию «Арплана». В целом едва ли можно было скрыть всеобщее обнищание. Следовало найти ему объяснение. Гостям, в том числе Никишу, надо было предоставить убедительное обоснование бедственного положения в стране, поскольку предполагалось, что они должны увезти с собой благоприятные впечатления от Советского Союза.

Маршрут делегации, встреченной представителями ВОКС и Госплана и сопровождаемой гидами «Интуриста», был спланирован так, как это обычно делалось для гостей, значимых с политической и профессиональной точки зрения. «Почти каждый день нас приглашали на встречу с очередным наркомом, который излагал и разъяснял огромные объемы статистического материала», — вспоминал Никиш, явно утомленный и несколько раздраженный, но при этом «магазины были пусты»². Череда встреч с чиновниками, отвечающими за планирование, и посещений экономических учреждений, в том числе Госплана и Института мировой политики и экономики, директором которого был Енё Варга, дополнялась поездками на крупнейшие заводы, которые часто показывали иностранцам, например

¹ Heeke M. Reisen zu den Sowjets: Der ausländische Tourismus in Russland 1921–1941. Münster: Lit Verlag, 2003. S. 240.

² Nickisch E. Erinnerungen. S. 217; Arplan, Protokolle der Studienreise.

Электрозавод. Довершало программу посещение музеев, культурных учреждений и образцово-показательных заведений, в том числе Трудовой коммуны имени Дзержинского — колонии ОГПУ, предназначенной для «трудового перевоспитания» несовершеннолетних преступников¹. Плотный график, который представлял собой норму для таких делегаций, позволял сократить до минимума количество неподконтрольного времени, когда за гостями нельзя было наблюдать. Остановка делегация в Киеве, который один из сотрудников ВОКС назвал совершенно неподходящим для «показа», была сокращена; если говорить о других происшествиях, в Ростове-на-Дону пришлось изменить маршрут, когда сопровождавший группу гид «получил неприятные сведения об обстановке» в другом традиционном остановочном пункте на пути зарубежных гостей — гигантском совхозе «Верблюд». Но к концу временной остановки группы в Москве Никиш заболел и решил пропустить последнюю часть маршрута делегации. Перед отъездом из страны он в одиночку доехал до Киева, минуя Харьков и Одессу (а значит, не увидев ни еврейской животноводческой коммуны «Красная звезда», ни санаториев и пляжей черноморского побережья)².

В межвоенные годы многие сочувствующие левым находили оправдания бедственному положению населения или другим негативным явлениям, которые им случалось наблюдать в Советском Союзе, но как реагировал Никиш и другие немецкие праворадикалы? В этой связи показательно сравнение реакций Никиша и его друга и соратника по национал-большевизму, председателя «Арплана» Ленца. Как бы положительно Ленц

¹ Тимм Х. Отчет без названия (на немецком) // ГАРФ. Ф. 5283. Оп. 6. Д. 172. Л. 171–176; см. также: Отчет по делегации Арплана, прибывшей в Ленинград 23 августа и выехавшей в Москву 26 августа, за подписью В. Покровского // ГАРФ. Ф. 5283. Оп. 6. Д. 172. Л. 143.

² *Niekisch E.* Erinnerungen. S. 218; М. Любченко. Пред. Всеукраинского общества культиязы. Тов. Лернер. Зам. Пред. ВОКС. 8 августа 1932 года (Харьков) // АВП РФ. Ф. 082. Оп. 15. Д. 28, п. 27. Л. 187; Arplan, Protokolle der Studienreise. Abs. 2 (без указания страниц).

ни относился к мысли о внешнеполитическом сотрудничестве с СССР, он, как и другие представители делегации, мог посоветоваться с немецкими дипломатами, входившими в число иностранных наблюдателей, которые были прекрасно осведомлены об ухудшающейся сельскохозяйственной обстановке. Ленца явно шокировали резкое сокращение расходов и общая отсталость, которые ему довелось увидеть, и публичные заявления, сделанные им после возвращения в Германию, во многом носили отпечаток его впечатлений от СССР. Так, в конце 1932 года немецкая пресса сообщала, что Ленц, выступая перед «группами красных студентов», рассказывал об «ужасных условиях» и «чудовищных лишениях», от которых страдает советское население. Ему казалось немыслимым сравнивать обстановку в Германии с «чудовищной отсталостью» России¹. Никиш, напротив, открыто, даже с жадностью ухватился за масштабный экономический кризис как свидетельство коллективистской преданности делу. Его представления отличались от идеи светлого будущего, оправдывающего сегодняшние трудности, — распространенного штампа культурно-дипломатической риторики ВОКС и советской идеологии в эпоху расцвета соцреализма, штампа, усвоенного многими симпатизирующими левым. Однако Никиш не оправдывал принятые меры во имя будущего — он откровенно наслаждался картиной суровых, беспощадных лишений самой по себе, здесь и сейчас.

В отчете о поездке для журнала *Widerstand* Никиш не пытался умалить или скрыть то обстоятельство, что советские люди одеты бедно или что даже самые знаменитые магазины на Невском проспекте в Ленинграде или в окрестностях Кремля в Москве напоминают нищенские лавки старьевщика (*Trödellden*). Его

¹ «Wir sind alle krank und hungern...» // Sport Zeitung, December 28, 1932 (цит. по: ГАРФ. Ф. 5283. Оп. 6. Д. 172. Л. 11). См. другие негативные отзывы, зафиксированные советской стороной: Бюллетень не для печати № 39 иностранной информации ТАСС, 9/11–33. Лист № 15: «Антисоветский доклад фон-Гофмансталь», Берлин, 2 ноября 1932 // ГАРФ. Ф. 5283. Оп. 6. Д. 172. Л. 11.

реакция показывает, что главным во впечатлениях иностранцев были не потемкинские деревни, не приукрашивание советской действительности, а скорее *осмысление* серого, пыльного и сурового однообразия. Увиденная им мрачность советской жизни в глазах Никиша лишь подтверждала, что «Россия — поистине пролетарская страна; это отражается в каждом взгляде». Повсеместная нужда как нельзя более ясно свидетельствовала о том, что русская национальная воля к жизни (*Lebenswille*) расширилась до «славяно-азиатской воли к империи» (*Imperiumswille*). Чем более бедственную обстановку наблюдал Никиш, тем больше крепла его уверенность в готовности населения страны к великой жертве в борьбе с внешним врагом — Западом.

Быстро перейдя от условий советской жизни к привычным для него отвлеченным рассуждениям о мировой истории, Никиш продемонстрировал лишь отдаленное знакомство с советским порядком. По его словам, проституция была уничтожена, каждый отдельно взятый рабочий гордился своим участием в социалистическом строительстве, а отношения между мужчиной и женщиной были лишены чувственности. Переворачивая с ног на голову традиционное презрение к восточному варварству, Никиш охотно допускал, что Германия — более цивилизованная, более процветающая страна, более чистая и содержащаяся в большем порядке, но все эти качества, «в конечном счете», были присущи государствам без «мировой исторической миссии»¹. Суровые советские условия 1932 года открыли Никишу жизненную стойкость варваров-пролетариев. Он обнаружил то, что, как он теперь полагал, должно было стать ключевым фактором возрождения и имперского расцвета самой Германии.

Написанное им после поездки о пролетарском государстве наводит на мысль, что пребывание Никиша в СССР способствовало восстановлению его прежней близости к рабочему

¹ *Niekisch E. Betrachtungen zu einer Russlandreise // Widerstand. 1932. № 10. S. 289–298.*

движению — элемент идеологического мышления, выделявший его на фоне многих других тенденций и фигур немецкой консервативной революции, которые в какой-то степени могли разделять его восхищение Советским Союзом. Вновь усилившееся тяготение Никиша к рабочему классу вытеснило восхваление им немецкого сельского народа (*Volk*), которое мы наблюдали в некоторых его работах 1930 и 1931 годов. До поездки в СССР он был склонен превозносить полный жизни примитивизм немецкой деревни. В написанном же им в 1932 году отчете о поездке коллективистски мыслящий, полный энтузиазма рабочий олицетворял одновременно инстинктивную, древнейшую русскую ненависть к Западу и более современное, развитое человеческое существо. В противовес европейским и немецким рабочим, в сердцах которых могли гнездиться буржуазные — то есть западные — идеалы, русский рабочий едва ли вообще когда-либо соприкасался с буржуазной цивилизацией. Поэтому русский рабочий-коммунист, веривший в свою мировую миссию, был более развитой «человеческой формой» (*Art Mensch*). Разумеется, признавал Никиш, «рабочий как тип представляет собой менее интересную, более бедную, более скромную и более плоскую человеческую форму по сравнению с существовавшими по сей день господствующими человеческими типами». Но он верил в себя, в свою созидательную мощь и свое будущее¹.

Эта двусмысленная похвала советскому рабочему сочеталась с переосмыслением Никишем своей революционной теории, согласно которой часть немецкого рабочего класса должна была проложить дорогу новой Германии. Однако эта идея сформировалась не только под впечатлением от поездки в СССР, но и под влиянием его соратника по «Арплану» Эрнста Юнгера и написанной последним книги «Рабочий: господство и гештальт» (*Der Arbeiter: Herrschaft und Gestalt*, 1932). В 1928–1932 годах Никиш лично сблизился с братьями Юнгер и стал часто бывать у них. годы спустя он вспоминал впечатление, произведенное на

¹ Ibid. E. Betrachtungen. S. 291, 296.

него при первой встрече Эрнстом Юнгером, равнодушным к политике холодным интеллектуалом из числа консервативно-революционной элиты: «Он казался человеком в высшей степени сдержанным и выглядел безукоризненно. В его репликах было что-то от отточенных афоризмов»¹.

«Рабочий» был наиболее значительным произведением Юнгера после его книги «В стальных грозах» (1920). Никиш написал на него хвалебный отзыв, поместив его в тот же номер *Widerstand*, где опубликовал отчет о своей поездке в СССР, так что можно предположить, что он одновременно размышлял над впечатлениями от своего путешествия и над прочитанной книгой. В «Рабочем», который, возможно, представлял собой наиболее ранний пример «реакционного модернизма», предпринималась попытка преодолеть и национализм, и социализм как пережитки прошлого и указывался путь к новому надыдеологическому, космическому порядку, в котором всемирным технократическим обществом будут управлять рабочие, в конечном счете — рабочие-солдаты. На страницах фотокниги Юнгера «Измененный мир» (*Die veränderte Welt*, 1933) соседствовали фотографии, изображающие первомайский парад в Москве, небоскребы Нью-Йорка и нацистских штурмовиков. В «Рабочем» Юнгер предлагал «подробно разработанную концепцию будущего тоталитарного строя, мобилизованного для промышленного производства и разрушения», и «новым человеком» в нем изображался «рабочий-солдат»². Самого Юнгера в советском коммунистическом плане больше всего привлекала контролируемая государством милитаризация труда. В рецензии на книгу, опубликованной в 1933 году в журнале Никиша *Widerstand*, Юнгер отметил характерную для сталинизма «тотальную

¹ Niekisch E. Erinnerungen. S. 188.

² Herf J. Reactionary Modernism. P. 75, 81, 91, 100, цитата: P. 72; Nevin Th. Ernst Jünger and Germany: Into the Abyss, 1914–1945. Durham, NC: Duke University Press, 1996. P. 115–117. Библиография работ Юнгера, как и литература о нем, слишком обширна, чтобы приводить ее здесь.

мобилизацию» (*totale Mobilmachung*) как заслуживающую особого восхищения¹.

Если Юнгер в нарисованной им технократической милитаристской модели возвещал будущее всемирное общество, то Никиш провозгласил «Рабочего» «преобразованием экспериментального мира России», подводя книгу своего друга под упорно отстаиваемую им самим теорию «ориентации на Восток»². Важнее, однако, что представления Никиша о Советском Союзе не претерпели существенных изменений после того, что ему довелось увидеть в СССР в 1932 году. Он по-прежнему считал германо-славянский союз дорогой к империи; по-прежнему рассматривал русский большевизм как необходимый стимул для прусского большевизма, который проложит путь к полному разрушению западной цивилизации. Написанное им после поездки в целом по духу не отличалось от написанного до нее. Представшая в новом свете фигура рабочего своим появлением, по всей видимости, была обязана воздействию Юнгера, которое, возможно, подкреплялось впечатлениями от его состоявшихся за время путешествия с делегацией «Арплана» разговоров с худосочными, но полными энтузиазма советскими рабочими на заводах³.

С одной стороны, Никиш являет собой яркий пример того, как для немцев «от крайних левых до крайних правых» до 1933 года «Советская Россия во многом была проекцией их фантазий о новой Германии»⁴. Однако для многих путешественников и интеллектуалов, побывавших в Советском Союзе в межвоенный период, эта поездка была далеко не просто проекцией.

¹ *Jünger E.* Ein neuer Bericht aus dem Lande der Planwirtschaft. Widerstand, September 1933 // *Jünger E.* Politische Publizistik 1919 bis 1933 / ed. S.O. Berggötz. Stuttgart: Klett-Cotta, 2001. S. 652–659, цитата: S. 657.

² Цит. по: *Nevin Th.* Ernst Jünger and Germany. S. 132; рецензия Никиша на «Рабочего» была опубликована в *Widerstand*. № 10. 1932, S. 307–311.

³ Такой точки зрения придерживается и автор работы: *Taschka S.* Das Russlandbild. S. 33.

⁴ *Clark K., Schlögel K.* Mutual Perceptions and Projections // *Beyond Totalitarianism*. Chap. 10. P. 396–441, цитата: P. 414.

Для некоторых она стала событием, изменившим жизнь; многим другим она дала возможность окунуться в различные проявления советской культуры и быта. Никиш принадлежал к третьей, возможно еще более многочисленной группе — тех, чьи наблюдения были поверхностными и большей частью просто подтверждали то, что они хотели увидеть. Но именно потому, что Россия и большевизм занимали такое огромное место в сердцевине идеологии Никиша, поразительно, что он относится к этой наименее наблюдательной и любознательной группе. Это указывает на то, насколько исключительно германоцентричной была его «ориентация на Восток» и насколько отвлеченными и фантастичными оставались его представления о большевизме.

Однако особенно интересно потенциальное значение, какое визит представителей «Арплана» мог иметь для понимания советской стороной укрепления фашизма в Германии. Пример Никиша ставит вопрос о возможном влиянии правых представителей «Арплана» и других национал-большевиков, поддерживавших контакты с СССР, на расчеты советской власти. Ярким примером таких контактов может служить «очень подробная» политическая дискуссия между Никишем и Радеком во время дневного заседания в Москве. Никиш вспоминал, как его впечатлила осведомленность Радека о тенденциях среди представителей правого крыла: «Радек внимательно следил за всей выходившей в Германии литературой, в том числе и правого толка. Поэтому он был знаком с работами Отто Штрассера и был в курсе всех политических веяний в Германии»¹. На самом деле ранее в 1932 году Радек совершил тайную поездку в Польшу с особой целью оценить отношение немцев к СССР (поехать в Германию в это время он по понятным причинам не мог)².

На момент своего знакомства с Никишем Радек был на пике своего влияния на расчеты и политику СССР в отношении Германии. Став в 1923 году инициатором курса Шлагетера, Радек

¹ *Niekisch E.* Erinnerungen. S. 217.

² *Fayet J.-F.* Karl Radek. P. 664.

впоследствии примкнул к левой троцкистской оппозиции и был исключен из партии в 1927 году, после чего публично покался и в 1930 году был принят обратно, неизменно и усердно заискивая перед Сталиным и расточая ему подобострастные похвалы в своих статьях. В 1932 году его обильные уверения в преданности Сталину принесли ощутимые плоды. В окружении Сталина очень недоставало присущего Радеку понимания международной политики и знания Германии, и в 1932 году генеральный секретарь уполномочил его сформировать новое авторитетное Бюро международной информации в составе Центрального комитета. Здесь Радек собирал конфиденциальную информацию и давал рекомендации относительно тактики Советского Союза за рубежом, непосредственно контактируя со Сталиным¹.

Известно также, что встреча с Никишем не была единственным случаем, когда Радек беседовал с членами «Арплана». Например, в тот же период отдел печати Наркомата иностранных дел сообщал, что, когда делегация «Арплана» была в Москве, Радек в течение пяти или шести часов беседовал с Адольфом Грабовским, одним из членов группы, при этом отмечалось, что Карла Бернгардовича интересовали характеристики отдельных участников группы «Дело»². Группа «Дело» (*Tat*), представленная в «Арплане» (но не в составе исследовательской делегации) своим лидером Хансом Церером, сформировалась вокруг одноименного журнала, тираж которого к 1932 году достиг тридцати тысяч экземпляров. Группу «Дело» объединяла с Никишем тенденция к ориентации на Восток и попытка преодолеть границу между левыми и правыми, хотя Никиш и Церер были в ссоре. Хотя Церер не принимал свойственного Никишу культа Пруссии, группа «Дело» разработала понятие «Срединной Евро-

¹ Ibid. P. 661–682; *Rosenfeldt N.E.* The «Special» World: Stalin's Power Apparatus and the Soviet System's Secret Structures of Communication: 2 vols. Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 2009. Vol. 1. P. 192–223.

² Отдел печати НКВД. Зав. О.П. (Уманский). Ответ. референт (Муронов). Тов. Виноградову, Берлин, 3 сентября 1932 // АВП РФ. Ф. 082. Оп. 15. Д. 28, п. 71, 173.

пы» (*Zwischeneuropa*), германо-славянского пространства между Востоком и Западом¹. Радек, очевидно, был поглощен течениями внутри немецкого национал-большевизма. Его разговоры с Никишем и Грабовским о правом крыле в Германии в очередной раз подтверждают его непосредственную причастность к стратегии проникновения в группы революционных националистов, частью которой был и сам «Арплан».

Из тех, кто был близок к высшему советскому руководству, Радека можно назвать наиболее осведомленным относительно обстановки в Германии, однако он не был единственным советским руководителем, проявлявшим интерес к немецкому национал-большевизму. Есть и другие свидетельства того, что заявления крайних правых националистов, заинтересованных в «ориентации на Восток», как внутри НСНРП, так и за ее пределами могли оказать влияние на расчеты советской власти. В частности, в августе 1932 года — начале того месяца, когда в СССР прибыла делегация «Арплана», — член Политбюро Лазарь Каганович писал Сталину, что прочел стенограмму переговоров между советскими дипломатами в Германии и двумя представителями немецкой стороны, выразившими готовность продолжать сотрудничество с Советами. Ими были нацист Ревентлов, еще один участник «Арплана», а также военный разведчик, авантюрист и профессор военной географии Оскар Риттер фон Нидермайер, восемь лет проживший в СССР в качестве главного представителя вермахта в рамках тайного советско-германского военного сотрудничества. Со времен курса Шлагетера в 1923 году и на протяжении 1930-х Ревентлов поддерживал связь с советским посольством в Берлине. Нидермайер, со своей стороны, предложил советскому посольству в Берлине установить контакты с нацистским лидером Германом Герингом, а через него поддерживать постоянную связь между Советским Союзом

¹ Koenen G. Der Russland-Komplex. S. 342–343; Woods R. The Conservative Revolution. P. 88–100; Rätzsch-Langerjürgen B. Das Prinzip Widerstand. S. 173–180. Помимо Церера, в группу «Дело» входили Гуго Фишер и Гизелер Вирзинг.

и НСНРП. «Из записок видно, — уверял Каганович Сталина, — что даже фашистские элементы вынуждены заверять нас, что не намерены нарушать сложившихся с нами отношений. Это, конечно, очень важно, ибо, по-видимому... эти элементы останутся у власти в Германии». Как отмечает Олег Хлевнюк и другие составители собрания писем Сталина и Кагановича, именно это Сталин, вероятно, и хотел услышать. В период, предшествующий захвату власти нацистами, Гитлер и другие правые радикалы не вызывали особенного интереса у Сталина, который был занят происходившими внутри самого Советского Союза беспорядками и стремился избежать открытого разрыва с Германией¹.

В таком контексте воспоминания Никиша о разговоре с Радеком приобретают особое значение. Если верить Никишу, Радек был «хорошим пророком» и предсказал скорую победу фашизма, выразив мнение, что при необходимости Советский Союз «стерпит» необходимость поддерживать отношения с нацистской Германией. Однако он полагал, что Гитлер и нацисты «слишком лишены политического чутья», чтобы разглядеть огромный потенциал сотрудничества между Германией и Россией². Анализируя эти замечания, следует учитывать временное расстояние, разделяющее описываемые события и момент написания Никишем своих мемуаров, а также хитрость интригана Радека. Но, если Никиш вообще верно воспроизводит их разговор, это означает, что Радек говорил с Никишем о том, что было его собственным давним горячим желанием, — о возможности сотрудничества между Германией и Советским Союзом. Это, в свою очередь, заставляет предположить, что Радек пытался наладить отношения с Никишем и другими немецкими

¹ Письмо Кагановича Сталину, 3 августа 1932 года // Сталин и Каганович: переписка 1931–1936 гг. / сост. О. Хлевнюк и др. М.: РОССПЭН, 2001. С. 259, 304; Политбюро ЦК РКП(б) и Коминтерн. С. 666–667; о Ревентлове и советском посольстве см.: *Hoppe B.* In Stalins Gefolgschaft. S. 315. О Нидермайере см.: *Seidt H.-U.* Berlin, Kabul, Moskau: Oskar Ritter von Nidermayer und Deutschlands Geopolitik. Munich: Universitas Verlag, 2002.

² *Niekisch E.* Erinnerungen. S. 217.

национал-большевиками, чтобы поддержать или защитить германско-немецкие связи, — тактика, в точности соответствовавшая советской стратегии в отношении «Арплана».

Что касается любительской интерпретации Кагановичем якобы просоветских настроений немецкого фашизма — «даже фашистские элементы вынуждены заверять нас, что не намерены нарушать сложившихся с нами отношений», — она показывает, что советское правительство, делая обобщения на основе разговоров с теми, кто выражал наибольшую готовность вступать в контакты с Советами, рисковало впасть в заблуждение. Какой бы утилитарный характер ни носило для обеих сторон взаимодействие советских культурных дипломатов и немецких фашистских интеллектуалов в 1932 году, оно открывало каналы коммуникации, которая могла внушить советской власти оптимистический взгляд на продолжающееся сотрудничество Германии с Советским Союзом в период триумфа крайних националистов в Германии. Берт Хоппе в своей работе высказывает мысль, что Сталин высоко оценивал потенциал прагматических связей с просоветски настроенной антизападной группой нацистов, которая продолжит существовавшее в эпоху Веймарской республики экономическое и военное сотрудничество с СССР¹. Если так, Сталин совершил роковую ошибку, серьезно недооценив антикоммунизм нацистов. Что касается Никиша, на момент своей встречи с Радеком он был известен как наиболее яростный критик Гитлера среди представителей крайних правых политических кругов в Германии.

НИКИШ И НАЦИСТЫ

В конечном счете, нельзя в полной мере понять интерес коммунистов к национал-революционерам и национал-большевикам, не рассмотрев во многом аналогичные стратегии нацистов, стремившихся завербовать немецких коммунистов и консервативных

¹ *Hoppe B.* In *Stalins Gefolgschaft*. S. 311–315.

революционеров за пределами нацистской партии и оказывать на них влияние. На самом деле попытки КПП проникнуть в группы правых радикалов и переманить их на свою сторону в начале 1930-х годов, хотя и принесли несколько существенных удач, никогда не имели такого успеха, как предпринимаемые в тот же период нацистами попытки вербовать коммунистов¹. По словам одного историка, «националистическая риторика КПП была менее убедительна для тех, кто был готов встать на сторону правых, чем социально-революционная риторика нацистов — для некогда занимавших левые позиции». Если у КПП был «М-Аппарат», а также тактика проникновения в ряды политического противника изнутри, параллель которой можно усмотреть в советских попытках подобных вылазок, то нацистская партия, по-видимому, использовала схожие стратегии².

Как же тогда Никиш и его соратники выстраивали отношения с этим конкурирующим национал-социалистическим давлением? Уве Зауэрманн, историк, являющийся основным специалистом по взаимоотношениям Никиша и «Сопротивления» с НСНРП, показывает, как нацистская пресса, в которой редко появлялась реакция на какие-то публикации вне партии, уделила немало внимания «Сопротивлению» в ранние годы его существования как интересному сочетанию национализма и социализма. В 1927 году Грегор Штрассер, на тот момент глава отдела пропаганды НСНРП, указал на общность между нацистами и представителями «Сопротивления»: тем и другим были свойственны «фанатичный национализм», социалистический уклон и приверженность революции. В том же году в нацистских изданиях появились и другие положительные упоминания Никиша. Но та значительная роль, какую Никиш отводил России, настораживала Альфреда Розенберга, нацистского идеолога родом из Прибалтики, который был редактором газеты *Völkischer Beobachter* («Народный обозреватель»)

¹ *Schüddekopf O.-E.* Nationalbolschewismus. S. 285–296, 392, 396–403.

² *Brown T.S.* Weimar Radicals. P. 117.

и который в 1928 году решил сознательно игнорировать прусского большевика. Йозеф Геббельс, в середине 1920-е годов частично разделявший национал-большевистские настроения, заинтересовался Никишем, когда тот еще состоял в Старой социалистической партии в Саксонии. В 1930 году, когда «Сопротивление» еще не заняло откровенно антинацистскую позицию, Геббельс попытался привлечь Никиша на свою сторону. Они встретились в доме одного из товарищей Никиша по «Сопротивлению». Это была последняя попытка такого рода со стороны нацистов: после 1930 года критика Никишем нацизма как «романского» явления, а Гитлера — как немецкого Муссолини стимулировала первые в нацистской прессе публикации, где Никиш был назван врагом, симпатизирующим Советскому Союзу¹. В том же 1930 году Никиш, Эрнст Юнгер и другие национал-большевики приняли участие во встрече Группы социал-революционных националистов, в которую входили Грегор и Отто Штрассеры (как известно, Отто был исключен из НСНРП в 1930 году)².

Однако часть соратников Никиша смогла преодолеть пропасть между революционным национализмом и национал-социализмом. Так, Боймлер, философ, который, как мы видели, имел явное влияние на Никиша и познакомил его с Эрнстом Юнгом, после 1929 года сам подпал под влияние нацистов, а после 1933-го стал одним из придворных идеологов Альфреда Розенберга³. Существовала крайняя правая полувоенная группировка «Союз Вервольф» (*Werhwolfverband*), основанная в период оккупации Рура; ее возглавлял Фриц Клопф, публиковавшийся в журнале *Widerstand* и тепло отзывавшийся о Никише, но не сочувствовавший его идее союза с большевизмом. В июне 1933 года войска «Вервольфа»

¹ *Sauermann U.* Ernst Niekisch und der revolutionäre Nationalismus. S. 106–111, 124; о Геббельсе и ЦСП см.: *Pittwald M.* Ernst Niekisch. S. 63.

² *Pittwald M.* Ernst Niekisch. S. 136; о «социалистическом национализме» братьев Штрассер и о некоторых связях их организаций с Никишем и его сторонниками см.: *Rätsch-Langerjürgen B.* Das Prinzip Widerstand. S. 180–188.

³ *Frösche U., Haase V.* Friedrich Georg Jünger und Ernst Niekisch. S. 61.

соединились с нацистскими отрядами СА. Как уже отмечалось, «Союз Оберланд», добровольческое полувоенное объединение, раскололось в 1930 году, когда часть его участников присоединилась к НСНРП, а другие образовали «Товарищество Оберланд», поддерживающее «Соппротивление»¹. Наконец, некоторые члены «Соппротивления» отчасти приветствовали расцвет национал-социализма на страницах *Widerstand* в 1930–1933 годах².

Никиш, наоборот, с 1930 года стал откровенно враждебно относиться к нацизму. Отчасти здесь опять же можно усмотреть влияние его общения с Юнгером, который, как известно, презирал нацизм как вульгарный и плебейский продукт чистой демократии³. В 1932 году, когда Гитлер был кандидатом в президенты Рейха, Никиш издал брошюру, носившую явный антинацистский характер и озаглавленную «Гитлер — злой рок для Германии» (*Hitler, ein deutsches Verhängnis*). Таким образом его открытая враждебность по отношению к нацизму совпала с его радикализацией и рождением его прусского большевизма, то есть еще более горячей приверженности идее германо-славянского союза. Последовательно отстаиваемая Никишем и глубоко укоренившаяся в его мировоззрении «ориентация на Восток» — именно то, что выделяло его среди сторонников консервативной революции, — а также его глубокая убежденность в необходимости «срединного пути» к одновременно социальной и национальной революционной борьбе служили главными источниками его противостояния нацизму. Отчасти старый социал-демократ рассматривал фашизм с позиций левой традиции: он был мелкобуржуазен и искажал немецкий социализм.

Вскоре Никиш нашел еще один способ включить нацизм в свою причудливую историософию. Он отказался от итальянского термина «фашизм» как «романизированного»,

¹ *Rätsch-Langerjürgen B.* Das Prinzip Widerstand. S. 151–163.

² *Sauermann U.* Ernst Niekisch und der revolutionäre Nationalismus. S. 438.

³ *Fröschele U., Haase V.* Friedrich Georg Jünger und Ernst Niekisch. S. 62; *Breuer S.* Anatomie des konservativen Revolution. S. 139.

а нацизм, центром которого был Мюнхен, также принадлежал чуждому романскому миру: «Фашистским преобразованием [*Faschisierung*] национал-социализма была его мюнхенизация [*Vermünchenerung*]». Никиш утверждал, что нацизм принадлежит западно-католическо-южной цивилизации, а его идеология отстаивала прусско-протестантско-русский мир. В книге «Гитлер — злой рок для Германии» Никиш изображал Гитлера как «романизированного немца», всего лишь «жандарма с Запада». Никиш критиковал нацизм с крайних расистских позиций национал-революционного лагеря, нападая на Гитлера как особенно опасное порождение англо-франко-еврейского Запада¹. Стоит задуматься над словами Штефана Бройера: «Если Никиш был врагом Гитлера, то лишь в том же смысле, что и Сталин. Вопрос заключался вовсе не в том, чтобы предотвратить террор, а лишь в том, кто будет его осуществлять»².

ПРЕЦЕДЕНТЫ И ТОЧКИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ: РУССКИЙ НАЦИОНАЛ-БОЛЬШЕВИЗМ

Термин «национал-большевизм», как мы видели, появился в 1919 году на немецкой почве. Но русское явление, известное под тем же названием, представляло собой влиятельное течение в среде русских политических теоретиков-эмигрантов, усматривавших в большевистской революции положительные, национальные черты. Это течение сформировалось примерно к 1920 году, когда белые потерпели поражение в Гражданской войне и уже не могли считаться альтернативой новому укрепляющемуся советскому режиму. В научной литературе о русском национал-большевизме исследователи вслед за Михаилом Агурским отводят центральное место «Смене вех» — группе,

¹ *Dupeux L.* Présentation generale // La 'Révolution conservatrice' dans l'Allemagne. P. 12; *Rätsch-Langerjürgen B.* Das Prinzip Widerstand. S. 111–115.

² *Breuer S.* Anatomie des konservativen Revolution. S. 112.

в 1921 году издавшей в Праге одноименную работу. Агурский, однако, не сводил национал-большевизм к этой маленькой, хотя и влиятельной группе: он определял русский национал-большевизм более широко как государственный национализм, или «русскую государственную идеологию, в которой советская политическая система обосновывалась с точки зрения русской государственности, а не исключительно в марксистском плане»¹. Поэтому русский национал-большевизм, как и немецкий, был связан с конкретными фигурами, но значение его при этом было шире.

Анализ русского национал-большевизма в контексте Никиты и немецкого национал-большевизма представляется весьма продуктивным. Решение этой задачи позволяет выявить не только некоторые параллели в развитии, обусловленные схожими обстоятельствами и потребностями межвоенного периода, но также малоизвестные взаимодействия и точки соприкосновения. В начале 1920-х годов и в начале 1930-х как сменовеховцы, так и сторонники евразийства интересовались немецким национал-большевизмом или непосредственно Никитишем. Более того, опыт советской ассимиляции этих русских националистов-эмигрантов опередил взаимодействие коммунистов с «Арпланом» на целых десять лет и был весьма успешным.

Сменовеховцы, работа которых произвела сенсацию в среде русской эмиграции, а в Советском Союзе пользовалась широкой известностью и даже переиздавалась, призывали русскую интеллигенцию «пойти в Каноссу» и поддержать новое советское государство. Большевики вновь объединили Россию, превратив ее в одну из великих мировых держав, и революция завоевала поддержку русского народа. И, что важнее всего, вопреки, а не в силу своей идеологии Ленин и большевики

¹ *Agursky M. The Third Rome: National Bolshevism in the USSR. Boulder, CO: Westview Press, 1987. P. xvi.* Более ранняя русскоязычная версия появилась под названием «Идеология национал-большевизма (Paris: YMCA-Press, 1980). Интересно, что в англоязычном издании нет главы о евразийстве.

в действительности осуществляли русскую национальную миссию¹. Статья Н.В. Устрялова «Патриотика» вбирала в себя все эти темы и занимала центральное место в «Смене вех». Ее автор, правый кадет, разочаровавшийся в политике своей партии, прежде служил начальником пресс-бюро Колчака и восхвалял диктатуру Колчака в Омске. Накануне его отъезда в Харбин после поражения Устрялов пережил мгновенное обращение, став убежденным сторонником сильного советского государства.

«Противобольшевистское движение силою вещей слишком связало себя с иностранными элементами и поэтому невольно окружило большевизм известным национальным ореолом», — писал Устрялов в духе Гегеля; интернациональное движение диалектическим образом играло национальную роль. Как и некоторые сторонники консервативной революции в Германии, Устрялов выражал восхищение Лениным как сильным лидером, способным пренебречь чистым коммунизмом ради национальной революции². Хотя Устрялов в «Патриотике» много писал о Великой французской революции и термидоре, он при этом пристально изучал обстановку в националистической Германии того времени. В письме П.Б. Струве от 15 октября 1920 года, которое последний обнародовал, Устрялов прямо ссылался на пример Германии и называл собственную позицию «национал-большевизмом». Хотя в России этот термин никогда не пользовался такой популярностью, как его немецкий эквивалент в 1920-е годы, его подхватили как русские эмигранты, так и те, кто наблюдал за ними из Советского Союза³. Главное различие между немецкими и русскими консерваторами, усматривающими

¹ Чахотин С.С. В Каноссу! // Смена вех. Прага: Политика, 1921. С. 150–166. Основная научная работа на эту тему: *Hardeman H. Coming to Terms with the Soviet Regime: The 'Changing Signposts' Movement among Russian Émigrés in the Early 1920s.* DeKalb: Northern Illinois University Press, 1994.

² Устрялов Н.В. Патриотика // Смена вех. С. 59, 63.

³ *Hardeman H. Coming to Terms.* P. 40, 214 n. 96; *Agursky M. The Third Rome.* P. 249. В Народном университете в Харбине Устрялов читал лекции о Шпенглере и евразийстве (*Hardeman H. Coming to Terms.* P. 42).

в большевизме положительные моменты, состояло, разумеется, в том, что в Германии речь шла о совершенно чуждых либерализму правых радикалах, жаждущих собственной национальной революции, в то время как русские с их великодержавным национализмом, подобно Устрялову, принадлежали к бывшим либералам, все сильнее подпадавшим под обаяние решительной в своих действиях диктатуры и вынужденным смириться с фактом свершившейся революции, по-видимому народной, но продолжающей приобретать новые оттенки.

Движение евразийцев, сформировавшееся примерно в одно время с группой сменовеховцев, носило не гегельянский, а религиозно-философский характер; они отвергали сотрудничество с советским режимом, видя, однако, в революции решающий исторический шаг, направленный против Запада. К началу 1930-х годов среди евразийцев начался внутренний кризис, поскольку некоторые первоначальные участники движения (например, Н.С. Трубецкой) вышли из него, а другие увлеклись марксизмом. Но, как обнаружил Мартин Байсвенгер, те, кто остался, серьезно заинтересовались немецкими национал-революционными группировками той поры и вышли на связь с ними. В начале 1932 года в отчете, предназначенном для П.Н. Савицкого, главы «Центрального комитета» сообщества евразийцев, участник движения А.П. Антипов, юрист и публицист, выразил особый интерес к Никишу и его «Сопrotивлению». В особенности его привлекла антизападная историософия, и в первую очередь — «потсдамская идея» Никиша. В конце концов, Никиш, рисуя воображаемый им исторический путь из Потсдама, распространял «идеи российской государственности», а это означало, что Германии есть чему поучиться у России. Байсвенгер соглашается с Леонидом Люксом, что общность между немецкими консервативными революционерами и евразийцами объяснялась прежде всего сходством контекстов, в которых родились эти идеи, — внутренней обстановки в стране и в Европе в целом в межвоенный период. Эти направления мысли роднит между собой отрицание западной цивилизации, антилиберальные

и утопические установки, а также идеологически обусловленный протест одного поколения против другого. Но, даже учитывая все сказанное, Байсвенгер совершенно справедливо замечает, что непосредственные контакты между этими группами недостаточно изучены¹.

Большевики, со своей стороны, сами начиная с 1918 года инициировали тактику привлечения в свои ряды русской интеллигенции, в первую очередь тех, кто был готов примириться с Советами на национальных, патриотических и имперских основаниях. В 1921 году большевистский литератор Н.А. Мещеряков приветствовал их как национал-большевиков, которые неизбежно станут ближе к подлинным большевикам-коммунистам. В Советском Союзе 1920-х годов идеи сменовеховцев торжествовали и распространялись, в то же время подвергаясь резкой критике, а само понятие «сменовеховство» стало относиться не только к первоначальной группе «Смена вех», а вобрало в себя множество типов людей, способных поладить с новым режимом, в частности известных украинских эмигрантов, прошедших подобную же — и, однако, обладавшую своими отличительными особенностями — переориентацию. На самом деле в годы нэпа в СССР вернулась целая череда русских и украинских эмигрантов, нашедших здесь работу. Во время новой идеологической атаки в эпоху «великого перелома» после 1928 года эти люди подверглись нападкам; в годы Большого террора они попали в число особенно уязвимых². Устрялов, со своей стороны, считал возможным вернуться лишь в 1935 году; в 1937-м его арестовали. В конечном счете русско-германские связи в этой области не ограничивались идеологическими аналогиями и взаимодействием между представителями интеллигенции, а входили в сферу

¹ *Байсвенгер М.* «Консервативная революция» в Германии. С. 26, 36; *Luks L.* Die Ideologie der Eurasier in zeitgeschichtlichen Zusammenhang // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*. Vol. 34. 1986. № 3. S. 374–395.

² *Gilley Ch.* The «Change of Signposts» in the Ukrainian Emigration: A Contribution to the History of Sovietophilism in the 1920s. Stuttgart: ibidem-Verlag, 2009; *Hardeman H.* Coming to Terms. P. 100.

политической стратегии Советского Союза. Можно высказать весьма вероятное предположение, что успех СССР в привлечении русских «национал-большевиков» в 1920-е годы подготовил почву для стратегии коммунистов в Германии, в которую в начале 1930-х годов входило налаживание контактов с немецкими национал-революционерами.

В период своего участия в работе «Арплана» и поездки в СССР Никиш стал одним из тех, кто придерживался самых крайних взглядов в эпоху крайностей, какую представляло собой XX столетие. Его политическую траекторию и эволюцию его идеологии можно назвать своеобразными, даже уникальными. Но сама эта уникальность, в которой преувеличены и доведены до крайности некоторые более общие черты взаимодействия между левыми и правыми, указывает на важность более широких явлений в нескольких отношениях. Во-первых, Никиш пошел дальше любого другого сторонника консервативной революции, поставив свое носившее более широкий характер восхищение сталинизмом и советским порядком в центр своего мировоззрения. Поэтому его пример наводит на мысль, что положительное восприятие элементов большевизма — несомненно, адаптированного, прирученного и искаженного — играло существенную роль среди крайних правых, в особенности если говорить о национал-революционном лагере. Во-вторых, такого рода взаимодействие стало более интенсивным в период сближения левых и правых на закате Веймарской республики, когда коммунисты противостояли укрепляющему свои позиции национал-социализму и национальная революция, которую должно было возглавить правое крыло, казалась уже близкой. В-третьих, хотя Никиш и противился всякому сближению как с коммунизмом, так и с национал-социализмом, его случай показывает, как и коммунисты, и нацисты пытались проникнуть внутрь лагеря национал-революционеров, чтобы переманить на свою сторону его членов. Более того, как демонстрирует пример «Арплана», присутствие представителей Советов и Коминтерна в Берлине придавало таким попыткам международный характер, за счет

чего немецкие деятели правого революционного крыла оказались в непосредственном контакте с СССР.

Веймарская республика накануне нацистской революции была необычна как этим взаимопроникновением крайних левых и крайних правых, так и влиянием того влечения, а не только ненависти, какое у радикальных националистов вызывали отдельные черты сталинизма. Никиш, прокладывая свой уникальный и независимый путь, олицетворял собой крайности обоих этих явлений. Прусский большевизм Никиша наглядно иллюстрирует сложные переплетения нелиберальной модерности и силу притягательности тоталитарного государства. Тем не менее следует добавить, что, как с совершенной очевидностью свидетельствует совершенная им в 1932 году поездка, Никиш не позаимствовал у большевизма и сталинизма какой-то модели, не усвоил из них никакого политического урока и еще менее погрузился в породившую их политическую культуру. Скорее он получил вдохновение, оставаясь в рамках собственной идеологической системы. Его мифологизированные представления о большевизме как в прусском, так и в русском варианте были так сильны, что беглый взгляд на советскую действительность разве что упрочил их.

В конечном счете споры о том, критиковал ли Никиш Гитлера с левых или с правых позиций, заходят в тупик вследствие присущих Никишу революционных крайностей. Важно понять: что именно Никиш, будучи национал-революционером, сохранил от той поры, когда состоял в рядах революционных социал-демократов? Прежде всего это его концепция внутреннего или классового национального конфликта. Как отметил Реч-Лангерюрген, сформулированная Никишем идея «прусской расы», контрастировавшая с гитлеровской концепцией арийской крови, низвела бы немало немцев до уровня прислуги, если не хуже¹. Видение национальной революции, которое у Никиша всегда было противоречивым и которое он формулировал исходя из традиции классового конфликта, представляло собой резкий

¹ *Rätsch-Langerjürgen B.* Das Prinzip Widerstand. S. 115.

контраст по отношению к идее «единого немецкого народа» (*Völksgemeinschaft*). В то же время отвращение к Западу и жажда революционного опустошения, свойственные Никишу, не знали себе равных. Здесь, в области соприкосновения противоположностей, можно проводить четкие полярные разграничения. Никиш сопротивлялся и нацизму, и коммунизму, поскольку всегда шел наперекор большинству и был радикальным, выбравшим «третий путь» оппозиционером. Его позиция отражала укорененность и живучесть крайностей в чрезвычайно критические моменты.

На основании этого анализа можно сделать некоторые выводы и о немецком национал-большевизме в целом. В десятках научных работ Никиш изображен как образцовый национал-большевик, поскольку из всех фигур немецкой «консервативной революции» он наиболее последовательно поддерживал ориентацию на Восток и пролетарскую риторику. Однако, как мы видели, не только сам он никогда не использовал этого термина, но и его большевизм, хотя и тяготел к идее антикапиталистической национализации экономики, сформировался исключительно как явление его собственной национально-революционной идеологии. В любом готовом политологическом определении национал-большевизма мы найдем мало имен его представителей — помимо Никиша, — которые пытались бы сочетать идею национальной революции с каким-то якобы подлинным большевизмом (как в немецком, так и русском варианте), наделяя ее такими важными для этого явления чертами, как пролетарская классовая борьба и национализация экономики. Хотя среди представителей крайнего правого крыла в Германии Никиш был одним из немногих, кто проявлял эпизодический интерес к этим аспектам, он делал это с крайних националистических позиций, что уже само по себе ограничивает возможность классификации. Было бы больше оснований — и это выглядело бы убедительно — рассматривать Никиша, как он сам определял себя на тот момент, в качестве участника национал-революционного лагеря, пытавшегося сочетать социальную и национальную

революции — создать национал-социализм вне нацизма. Однако необходимо также понять и проанализировать, насколько распространено было на тот момент понятие национал-большевизма. В этот период как сторонники консервативной революции в Германии, так и русская эмигрантская интеллигенция попытались усвоить и приспособить успех большевизма в национальном контексте. Как мы видели, между русской и немецкой версиями тенденций, в то время получивших название национал-большевизма, существовало не только сходство, но и непосредственный контакт. Более того, как советские, так и немецкие коммунисты на протяжении более чем десяти лет пытались извлечь выгоду из этих тенденций.

Возможно, самое интересное, что представители советской стороны, наблюдавшие последний кризис Веймарской республики, например Гиршфельд в своих отчетах по «Арплану», также использовали понятие «национал-большевик». Как показывает пример Никиша, для Советов готовность восхвалять СССР и сотрудничать с ним затмевала все прочие соображения, в том числе суть остальной части его идеологии. На самом деле, когда сети советской культурной дипломатии захватывали достаточно потенциально заинтересованных в сотрудничестве с советской властью попутчиков и сочувствующих, тогда смотрели сквозь пальцы на некоммунистические левые идеологии; при желании можно было легко пренебречь идеологической пробой и в отношении правых. Если брать случай «Арплана», в Советском Союзе относительно Никиша, вероятно, заблуждались так же, как он сам заблуждался относительно СССР. Но неверное понимание Никиша советской стороной — полагавшей, что национал-большевизм сделает его открытым советскому влиянию, — отражало более общую проблему непонимания в Советском Союзе сущности правого революционного крыла и опасностей нацизма. Утилитарный подход коммунистов и скрытые намерения, особенно очевидные на примере «Арплана», заставляли советских представителей охотно поверить, что национал-большевизм предоставляет им

благоприятную возможность. Но, выискивая национал-большевиков — то есть тех, кто разделял убеждение об ориентации на Восток или был открыт влиянию, — советская власть в конечном счете получила сведения и уверения, подпитывавшие ее иллюзии относительно того, что укрепление фашизма будет значить для советско-германских отношений. Как мы со всей очевидностью наблюдаем на примере Никиша, именно в этом ошибочном чувстве своего влияния, а не в каком-то очевидном подражании состояла суть этого диалога.

ПОСЛЕ 1933 ГОДА

После захвата власти нацистами журнал и издательство Никиша продолжали свою деятельность, но сам он, живя уединенно, передал почти все организационные обязанности своим соратникам Карлу Трёгеру и Йозефу Дрекслею. Как свидетельствуют документы КПП, однажды, уже после прихода нацистов к власти, Никиш встретил в Париже занимающего высокий пост немецкого коммуниста — скорее всего, Ханса Киппенбергера, главу «М-Аппарата». Согласно отчету КПП, во время этой встречи 12 августа 1933 года Никиш выразил недовольство попытками Советского Союза договориться с Гитлером, что было ясно из позиции советского посольства в Берлине; Никиш назвал их признаком слабости¹. В 1935 году Никиш опубликовал работу «Третья имперская фигура» (*Die dritte imperiale Figur*), которую нацистские власти разрешили распространять в течение года после того, как она была издана в Берлине. В этом трактате Никиш перенес свою геополитическую и расистскую историософию в эпоху Третьего рейха. В представленной там исторической картине действовали два персонажа: первый — римлянин — олицетворял все, что было отдаленно связано с античным миром посредством католического Средневековья. Второй был евреем, ассоцииру-

¹ *Rätsch-Langerjürgen B.* Das Prinzip Widerstand. S. 205–206.

ющимися с гуманизмом, протестантизмом, масонством, либерализмом и революцией. Наконец, в качестве третьего персонажа выступал завоеватель с Востока, варвар, который уничтожит Запад и овладеет мировой историей¹. В конце 1930-х годов Никиш под псевдонимом опубликовал в Швейцарии статью, в которой повторял свои критические суждения о нацизме, сформулированные им в работе о Гитлере в 1932 году, что послужило причиной процесса, в 1939 году закончившегося обвинением его в государственной измене и тюремным заключением. Освобожденный в 1945 году под Берлином Красной армией, но к тому времени уже изувеченный и почти слепой, он присоединился к немецким коммунистам и Социалистической единой партии Германии².

В своей новой роли немецкого коммуниста в ГДР Никиш в 1947 году начал преподавать социологию в Берлинском университете им. Гумбольдта. В 1949 году, получив звание профессора, он был назначен директором Института изучения империализма. Но Никишу едва ли было свойственно оставаться в русле традиции: в 1950 году он оказался в опале, а в 1951-м его институт закрыли. После подавления рабочего восстания 17 июня 1953 года Никиш окончательно разочаровался в восточногерманском коммунизме и переехал в Западный Берлин, где когда-то располагалась его квартира в Шарлоттенбурге. В послевоенные годы Никиш начал систематически пересматривать свое прошлое, в чем ему помогал Йозеф Дрексель, который некогда был его правой рукой в «Соппротивлении», а теперь стал крупным издателем в Нюрнберге. Прежние соратники Никиша по «Соппротивлению» изображали это движение так, будто его целью была борьба с Гитлером, а не с Версальским договором³. Написав свои мемуары, Эрнст Никиш умер в 1967 году в возрасте семидесяти

¹ *Donohoe J.* Hitler's Conservative Opponents. P. 19–21.

² *Mohler A.* Zeittafel // Saueremann U. Ernst Niekisch zwischen allen Fronten. S. 203–210.

³ *Mohler A.* Vorwort // Saueremann U. Ernst Niekisch zwischen allen Fronten. S. 7–10.

восьми лет, всего год не дожив до революционной бури совсем иного рода. Но в период разочарования в неомарксизме и переоткрытия некоторыми радикалами понятия нации после 1968 года наследие Никиша также было заново открыто новым поколением немецкой молодежи. Труды Никиша скупались, их ксерокопии передавались из рук в руки. Эта реабилитация в миниатюре завершилась, когда профессиональные историки, такие как Уве Зауэрманн, заставили умолкнуть его «апологетов», положив начало научным исследованиям политической эволюции Никиша¹.

Но пока еще рано называть Никиша и его удивительную идеологию достоянием исключительно профессиональных служителей Клио. Учитывая, насколько устойчивыми оказались в постсоветский период тенденции, претендующие на преемственность по отношению к национал-большевизму, и какую необычайную, тревожную популярность они приобрели в путинской России, неудивительно, что здесь снова вспомнили о Никише. В 2011 году вышел русский перевод его политических сочинений 1920-х и 1940-х годов с предисловием О.Ю. Пленкова. В этом тексте можно обнаружить примечательное утверждение: «Идею Никиша о сплаве национального освобождения и социализма в единое целое осуществили позднее Мао, Хо Ши Мин, Кастро, Хоменей и другие антибуржуазные, антизападные революционные течения. Истинным теоретиком этих движений был не Маркс или Ленин, а Эрнст Никиш»². Это заявление, столь же преувеличенное, как и фантастическое смешение революционных идей у самого Никиша, завершило последним русским витком необычайную и многосложную идеологическую одиссею.

¹ Ibid. S. 7. В 1977 году в Германии был снят фильм «Допрос Эрнста Никиша» (*Das Verhör des Ernst Niekisch*).

² Пленков О.Ю. Эрнст Никиш: попытка синтеза большевизма и прусской этики // Никиш Э. Политические сочинения / пер. А.П. Шурбелева и др. СПб.: Даль, 2011. С. 5–34, цитата: С. 9.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АВП РФ — Архив внешней политики Российской Федерации

АРАН — Архив Российской академии наук

ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации

РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства

РГАСПИ — Российский государственный архив современной политической истории

ЦАОПИМ — Центральный архив общественно-политической истории Москвы

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ. ПРОКЛАДЫВАЯ ПУТЬ.....	9
ЧАСТЬ I.	
РОССИЙСКАЯ И СОВЕТСКАЯ МОДЕРНОСТЬ	
1. МНОЖЕСТВЕННЫЕ МОДЕРНОСТИ VS.	
НЕОТРАДИЦИОНАЛИЗМ. О несмолкающих спорах	
в российской и советской историографии.....	47
Первое поколение исследователей советской модерности.....	50
О неотрадиционализме и традиции	75
Переключки и сходства.....	85
Отголоски и перестановки.....	90
К новой дискуссии.....	103
2. ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ, МАССЫ И ЗАПАД. Особенности	
российской/советской модерности.....	106
Особенности интеллигентско-элитарной модерности	108
<i>Sattelzeit</i> в России: модерность ускоренного	
и скачкообразного развития.....	116
Служить массам и переделывать их.....	120
От революционного противостояния к всеобщему	
единообразию	128
Социалистический реализм и отказ от деления на высокое	
и низкое	137
Постсталинизм и переоткрытие Запада	145

ЧАСТЬ II.

ИДЕОЛОГИЯ, ПОНЯТИЯ И ИНСТИТУТЫ

3. СЛЕПЦЫ И СЛОН. Шесть ликов идеологии в советском контексте	159
Доводы в пользу эклектизма.....	169
Идеология как доктрина.....	172
Идеология как мировоззрение	181
Идеология как историческая концепция	188
Идеология как дискурс.....	194
Идеология как театральное действо.....	199
Идеология как вера.....	203
Идеи против обстоятельств в контексте французской, русской и нацистской революций	208
Множество ликов идеологии.....	217
4. ЧТО ТАКОЕ КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ? Ключевые концепции и кривая трансформации советской культуры в 1910–1930-е годы.....	221
За рамками культурной революции как классовой борьбы: историографическое наследие.....	229
Рождение большевистского культурного проекта	237
Расширение понятия в 1920-е годы	246
Внутренняя культурная революция нэпа.....	262
Культурная революция и «великий перелом», 1928–1929...	267
Кампания за культурность как культурная революция.....	272
Культурная революция Мао	275
5. ОТ СИМБИОЗА К СИНТЕЗУ. Коммунистическая академия и большевизация Российской академии наук в 1918–1929 годах.....	280

СОДЕРЖАНИЕ

Стратегия противостояния: конкуренция двух академий	286
Агрессивный симбиоз: вражда и подражание в 1920-е годы ...	300
Большевизация как принудительное объединение	311

ЧАСТЬ III.

ПОСРЕДНИКИ И ПУТЕШЕСТВЕННИКИ

6. ПОНЯТЬ И ПОЛЮБИТЬ НОВУЮ РОССИЮ.

Мария Кудашева как культурный посредник Ромена Роллана	339
---	-----

Интимное вдохновение: советская дружба

Кудашевой и Роллана	346
Кудашева и спецслужбы	354
Кумир сталинской культуры	361

7. «ПРУССКИЙ БОЛЬШЕВИК» В СТАЛИНСКОЙ РОССИИ. Эрнст Никиш на перепутье между коммунизмом и национал-социализмом	381
--	-----

От Баварской Советской республики к антиверсальскому сопротивлению	387
---	-----

Правый радикал	393
----------------------	-----

Тактика левых: коммунисты	401
---------------------------------	-----

Расчеты СССР и создание «Арплана»	410
---	-----

Представления Никиша о России и его поездка в составе делегации «Арплана» в 1932 году	422
--	-----

Никиш и нацисты	438
-----------------------	-----

Прецеденты и точки пересечения: русский национал- большевизм	442
---	-----

После 1933 года	451
-----------------------	-----

Список сокращений	452
-------------------------	-----

Майкл Дэвид-Фокс

ПЕРЕСЕКАЯ ГРАНИЦЫ

Модерность, идеология и культура в России
и Советском Союзе

Дизайнер обложки *А. Рыбаков*

Редактор *С. Тимофеева*

Корректоры *С. Крючкова, О. Семченко*

Верстка *А. Ланцова*

Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

ООО РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА

«НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ»

Адрес издательства: 123104, Москва, Тверской бульвар, 13, стр. 1

тел./факс: (495) 229-91-03

e-mail: real@nlobooks.ru

<http://www.nlobooks.ru>

Формат 60 × 90¹/₁₆

Бумага офсетная № 1

Печ. л. 29. Тираж 1000. Заказ №

Отпечатано в АО «Первая образцовая типография»

филиал «Ульяновский Дом печати»

432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14